А. Ф. ПИСЕМСКИЙ

3

А. Писемский

# А. Ф. ПИСЕМСКИЙ

## СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕВЯТИ ТОМАХ



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1959

Издание выходит
под наблюдением
А. П. Могилянского.

Подготовка текста
и примечания
М. П. Еремина.

# ТЫСЯЧА ДУШ

*Роман в четырех частях*

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### I

В приказах гражданского ведомства было, между прочим, сказано: «Увольняется штатный смотритель эн-ского уездного училища, коллежский асессор Годнев с мундиром и пенсионом, службе присвоенными»; потом далее: «Определяется смотрителем эн-ского училища кандидат Калинович».

Прочитав этот приказ, автор невольно задумался. «Увы! — сказал он сам себе.— В мире ничего нет прочного. И Петр Михайлыч Годнев больше не смотритель, тогда как по точному счету он носил это звание ровно двадцать пять лет. Что-то теперь старик станет поделывать? Не переменит ли образа своей жизни и где будет каждое утро сидеть с восьми часов до двух вместо своей смотрительской каморы?»

В Эн-ске Годнев имел собственный домик с садом, а под городом тридцать благоприобретенных душ. Он был вдов, имел дочь Настеньку и экономку Палагею Евграфовну, девицу лет сорока пяти и не совсем красивого лица. Несмотря на это, тамошняя исправница, дама весьма неосторожная на язык, говорила, что ему гораздо бы лучше следовало на своей прелестной ключнице жениться, чтоб прикрыть грех, хотя более умеренное мнение других было таково, что какой уж может быть грех у таких стариков, и зачем им жениться?

Петра Михайлыча знали не только в городе и уезде, но, я думаю, и в половине губернии: каждый день, часов в семь утра, он выходил из дома за припасами на рынок и имел, при этом случае, привычку поговорить со встречным и поперечным. Проходя, например, мимо полуразваливше-

гося домишка соседки-мещанки, в котором из волокового окна выглядывала голова хозяйки, повязанная платком, он говорил:

— Здравствуй, Фекла Никифоровна.

— Здравствуйте, батюшка Петр Михайлыч,— отвечала та.

— Давно ли из губернии воротилась?

— Вчерашним днем, сударь, прибыла. Не на конной, батюшка, подводе, пешком отшлепала по экой пó грязи.

— Как дела-то идут?

— Дела мои, Петр Михайлыч, по начальству пошли.

— Ну, коли по начальству, так хорошо.

— Да хорошо ли, отец мой?

— Хорошо... хорошо...— говорил Годнев, идя далее.

Сказать правду, Петр Михайлыч даже и не знал, в чем были дела у соседки, и действительно ли хорошо, что они по начальству пошли, а говорил это только так, для утешения ее.

У каменного купеческого дома стоял кучер в накинутом на плечи полушубке, и его Петр Михайлыч считал за нужное обласкать.

— Что, брат, объездил ли лошадку-то? — спрашивал он.

— Нештò-с... выламывается поманеньку,— отвечал тот.

— Видел я... видел... Ты молодец... ловкий ездок!

Кучер самодовольно улыбался.

Мясную лавку, куда шел Годнев, купец только еще отпирал.

— Эге, Силиверст Петрович, поздненько нынче выплыл,— говорил Годнев.

— Что делать, Петр Михайлыч! Позамешкался грешным делом,— отвечал купец.— Что парнишко-то мой: как там у вас? — прибавлял он, уходя за прилавок.

— Что парнишко? Ничего, хорошо: способности есть; резов только; вчера опять два стекла в классе вышиб,— отвечал Петр Михайлыч.

— Фу ты, господи, твоя воля! — восклицал купец, пожимая плечами.— Что только мне с этим парнем делать — ума не приложу; спуску, кажись, не даю ему ни в чем, а хошь ты брось!

— Ну, зачем же? Чересчур не надобно: хуже заколотишь.

— Заколотишь его, пострела, как бы не так! — возражал купец и потом прибавлял: — Говядинки, что ли, прикажете отвесить?

— Да, сударь, хоть говядинки; смотри, только помягче.

— Неужели жесткой! Худой вам не отпустим... худое мы про генеральш здешних бережем.

— Ну, вот уж и про генеральш! Экой вы, торговый народ, зубоскалы!

— Право, так. Не знаем только, куда эта барыня с почтмейстером деньги берегут.

Петр Михайлыч только усмехался и качал головой.

Из мясной лавки он проходил во внутренность гостиного двора, где торговки торговали калачами, горшками, зеленью, нитками и разного рода другими припасами.

— Ты, луковница, опять с своим товаром выехала! — говорил Петр Михайлыч бабе, около которой стояла большая корзина с луком.

Он терпеть не мог луку.

— Полно-ка, полно, старый барин хороший, на почине оговаривать, возьми-ка лучше прядку да и разговаривай.

— Дура, я не ем луку.

— То-то вы, баря: «луку не ем», все бы вам сахару.

— Ну, уж не сердчай, давай прядочку,— говорил Годнев и покупал лук, который тотчас же отдавал первому попавшемуся нищему, говоря: — На-ка лучку! Только без хлеба не ешь: горько будет... Поди ко мне на двор: там тебе хлеба дадут, поди!

Навстречу ему шел священник. Петр Михайлыч еще издали ему кланялся.

— Здравствуйте,— говорил он, снимая картуз и подходя к благословению.

— Здравствуйте,— отвечал тот густым басом.

— Что, отче, прочли мою книжку али еще нет?

— Прочел и намеревался сего же дня возвратить ее с моею благодарностью. Приятное сочинение.

— Да, да, поучительная книга... Занесите как-нибудь,

— Непременно,— отвечал священник и истово раскланивался.

Возвратившись домой, Петр Михайлыч проходил прямо на кухню, где стряпуха, под личным надзором Палагеи Евграфовны, затапливала уж печь.

— Вот тебе, командирша, снеди и блага земные! — говорил он, подавая экономке кулек, который та, приняв, начинала вынимать из него запас, качая головой и издавая восклицания вроде: «Э... э... э... хе, хе, хе...»

— Ну, заворчала! Эх ты, ворчунья, сударыня... Дурно, что ли, купил?

— Хорошо,— отвечала на это Палагея Евграфовна насмешливым тоном.

Она никогда не оставалась покупками Петра Михайлыча довольною и была в этом совершенно права: приятели купцы то обвешивали его, то продавали ему гнилое за свежее, тогда как в самой Палагее Евграфовне расчетливое хозяйство и чистоплотность были какими-то ненасытными страстями. Будучи родом из каких-то немок, она, впрочем, ни на каком языке, кроме русского, пикнуть не умела. Приехав неизвестно как и зачем в уездный городишко, сначала чуть было не умерла с голоду, потом попала в больницу, куда придя Петр Михайлыч и увидев больную незнакомую даму, по обыкновению разговорился с ней; и так как в этот год овдовел, то взял ее к себе ходить за маленькой Настенькой. Но Палагея Евграфовна, вступив нянькой, прибрала мало-помалу к своим рукам и все домоправление. С самого раннего утра до поздней ночи она мелькала то тут, то там по разным хозяйственным заведениям: лезла зачем-то на сеновал, бегала в погреб, рылась в саду; везде, где только можно было, обтирала, подметала и, наконец, с восьми часов утра, засучив рукава и надев передник, принималась стряпать — и надобно отдать ей честь: готовить многие кушанья была она великая мастерица. Особенно хороши выходили у ней все соленые и маринованные приготовления; коренная рыба, например, заготовляемая ею в великий пост, была такова, что Петр Михайлыч всякий раз, когда ел ее в летние жары с ботвиньей, говорил:

— Этакой, господа, рыбы и ботвиньи сам Лукулл не едал!

Манишки и шейные платки для Петра Михайлыча, воротнички, нарукавнички и модести для Настеньки Палагея Евграфовна чистила всегда сама и сама бы, кажется, если б только сил ее доставало, мыла и все прочее, потому что, по собственному ее выражению, у нее кровью сердце обливалось, глядя на вымытое прачкою белье.

Когда спала и чем была сыта Палагея Евграфовна — определить было довольно трудно, и она даже не любила,

если ей напоминали об этом. Чай пила как-то урывками, за стол (хоть и накрывался для нее всегда прибор) садилась на минуточку; только что подавалось горячее, она вдруг вскакивала и уходила за чем-то в кухню, и потом, когда снова появлялась и когда Петр Михайлыч ей говорил: «Что же ты сама, командирша, никогда ничего не кушаешь?», Палагея Евграфовна только усмехалась и, ответив: «Кабы не ела, так и жива бы не была», снова отправлялась на кухню.

Жалованье (сто двадцать рублей ассигнациями в год) Палагея Евграфовна всегда принимала с некоторым принуждением. В конце каждого месяца Петр Михайлыч приносил ей обыкновенно десять рублей.

— Это что еще? — говорила экономка.

— Деньги ваши. Деньги — вещь хорошая. Не угодно ли получить и расписаться? — отвечал тот.

— Э... перестаньте с вашими глупостями! — говорила, отворачиваясь, экономка и начинала смотреть в окно.

— Порядок, мать-командирша, не глупость. Изволь взять! — говорил Годнев настоятельнее.

— Точно я у вас не сыта, не одета,— говорила Палагея Евграфовна и продолжала смотреть в окно.

— Изволь, изволь брать; знаешь, не люблю! — говорил Годнев еще настоятельнее.

Палагея Евграфовна сердито брала деньги и с пренебрежением кидала их в рабочий ящик.

Всякий раз при этой сцене, несмотря на недовольное выражение лица, у ней навертывались на глазах слезы.

— Взял нищую с дороги, не дал с голоду умереть да еще жалованье положил, бесстыдник этакой! У самого дочка есть: лучше бы дочке что-нибудь скопил! — ворчала она себе под нос.

— А ты мне этого, командирша, не смей и говорить,— слышишь ли? Тебе меня не учить! — прикрикивал на нее Петр Михайлыч, и Палагея Евграфовна больше не говорила, но все-таки продолжала принимать жалованье с неудовольствием.

Передав запас экономке, Петр Михайлыч отправлялся в гостиную и садился пить чай с Настенькой. Разговор у отца с дочерью почти каждое утро шел такого рода:

— Вы, Настасья Петровна, опять до утра засиделись... Нехорошо, моя милушка, право, нехорошо... надо давать время занятиям, время отдыху и время сну.

— Я зачиталась, папенька. Вчерашнюю повесть я уж кончила.

— И то дурно: что ж мы будем сегодня читать? Вот вечером и нечего читать.

— Нет, я вам ее дочитаю, я с удовольствием прочту ее еще раз; и вообразите себе, Валентин этот вышел ужасно какой дурной человек.

— Ну, ну, не рассказывай! Изволь-ка мне лучше прочесть: мне приятнее от автора узнать, как и что было,— перебивал Петр Михайлыч, и Настенька не рассказывала.

После этого они обыкновенно расходились. Настенька садилась или читать, или переписывать что-нибудь, или уходила в сад гулять. Ни хозяйством, ни рукодельем она не занималась. Петр Михайлыч, в свою очередь, надевал форменный вицмундир и шел в училище. В прихожей обыкновенно встречал его сторож, отставной солдат Гаврилыч, прозванный школьниками за необыкновенно рябое лицо «Теркой». Надобно было иметь истинно христианское терпение Петра Михайлыча, чтобы держать Гаврилыча в продолжение десяти лет сторожем при училище, потому что инвалид, по старости лет, был и глуп, и ленив, и груб; никогда почти ничего не прибирал, не чистил, так что Петр Михайлыч принужден был, по крайней мере раз в месяц, нанимать на свой счет поломоек для приведения здания училища в надлежащий порядок. Кроме того, у сторожа была любимая привычка позавтракать рано поутру разогретыми щами, которые он обыкновенно и становил с вечера в смотрительской комнате в печку на целую ночь. Петр Михайлыч, почти каждый раз, приходя поутру, говорил:

— Ты, гренадер, опять щи парил. Экую душину напустил! Смотри-ка: не дохнешь!

— Ну да, парил, у тебя все парил! — возражал Гаврилыч.

— Да как же не парил! Еще запираешься, лжешь на старости лет, греховодник!

— Погляди сам в печку, так, може, и увидишь, что тамотка ничего нет.

— Знаю, что в печке ничего нет: съел! И сало-то еще с рыла не вытер, дурак!.. Огрызается туда же! Прогоню, так и знаешь... шляйся по миру!

— Гони! Словно миром не живут, — отвечал Терка и уходил.

— Дурак! — повторял ему вслед Петр Михайлыч.

Впрочем, тем все и кончалось.

Занявшись в смотрительской составлением отчетов и рапортов, во время перемены классов Петр Михайлыч обходил училище и начинал, как водится, с первого класса, в котором, тоже, как водится, была пыль столбом.

— Ах вы, эфиопы! Татарская орда! А?.. Тише!.. Молчать!.. Чтобы муха пролетала, слышно у меня было! — говорил старик, принимая строгий вид.

В классе несколько утихало.

— Зашумите вы у меня еще раз! Всех переберу — из девяти возьму десятого на выдержку! — заключал он торжественно и уходил.

В коридоре прямо летел на него сорванец и чуть не сшибал его с ног.

— Что ты? Что ты, братец? — говорил, разводя руками, Петр Михайлыч.— Этакая лошадь степная! Вот я на тебя недоуздок надену, погоди ты у меня!

— Петр Михайлыч, меня Модест Васильич без обеда оставил; я не виноват-с! — говорил третьего класса ученик Калашников, парень лет восьмнадцати, дюжий на взгляд, нечесаный, неумытый и в чуйке.

— Когда оставил, стало, ты это заслужил,— возражал ему Петр Михайлыч.

— Я, ей-богу, ничего не делал; спросите всех. Они на меня, известно, нападают. Мне сегодня нельзя: день базарный; у тятеньки в лавке некому сидеть.

— И лучше, что нельзя, лучше раскаешься и поймешь, что дурить и грубить не следует,— говорил Петр Михайлыч и поскорее уходил.

Калашников его передразнивал, так что старик все слышал:

— Грубить и дурить не следует,— ту, ту, ту, тетерев! Я и без шапки убегу; много с меня возьмешь! — говорил он и с досады отламывал закраину у карты.

Вообще строгость и крутые меры были совершенно не в характере Петра Михайлыча. Со школьниками он еще кое-как справлялся и, в крайней необходимости, даже посекал их, возлагая это, без личного присутствия, на Гаврилыча и давая ему каждый раз приказание наказывать не столько для боли, сколько для стыда; однако Гаврилыч, питавший к школьникам какую-то глубокую ненависть,

если наказуемый был только ему по силе, распоряжался так, что тот, выскочив из смотрительской, часа два отхлипывался. Но в совершенное затруднение становился старик, когда ему нужно было делать замечание или выговоры учителям. Этому, впрочем, подпадал один только преподаватель истории Экзархатов, который был человек очень неглупый, из университета. В продолжение всего месяца он был очень тих, задумчив, старателен, очень молчалив и предмет свой знал прекрасно; но только что получал жалованье, на другой же день являлся в класс развеселый; с учениками шутит, пойдет потом гулять по улице — шляпа набоку, в зубах сигара, попевает, насвистывает, пожалуй, где случай выпадет, готов и драку сочинить; к женскому полу получает сильное стремление и для этого придет к реке, станет на берегу около плотов, на которых прачки моют белье, и любуется... Посуда, окна, домашние не попадайся: исколотит. А проспится, опять тише его нет. Еще в Москве он женился на какой-то вдове, бог знает из какого звания, с пятерыми детьми,— женщине глупой, вздорной, по милости которой он, говорят, и пить начал. Во все время, покуда кутит муж, Экзархатова убегала к соседям; но когда он приходил в себя, принималась его, как ржа железо, есть, и достаточно было ему сказать одно слово — она пустит в него чем ни попало, растреплет на себе волосы, платье и побежит к Петру Михайлычу жаловаться, прямо ворвется в смотрительскую и кричит:

— Батюшка, Петр Михайлыч, сделайте божескую милость! Что это такое?.. Батюшка!..

— Что такое случилось? Что вам угодно от меня? — спрашивает Годнев, хотя очень хорошо знал, что такое случилось.

— Известно что: двои сутки пил! Что хошь, то и делайте. Нет моей силушки: ни ложки, ни плошки в доме не стало: все перебил; сама еле жива ушла; третью ночь с детками в бане ночую.

— Боже мой! Боже мой! — говорил Петр Михайлыч, пожимая плечами.— Вы, сударыня, успокойтесь; я ему поговорю и надеюсь, что это будет в последний раз.

— Батюшка, да ты хорошенько с него спроси; нельзя ли как-нибудь... хошь бы ты посек его.

— Как это можно, сударыня! Вам и говорить этого не следует,— возражал Петр Михайлыч.

— Гаврилыч! — кричал он.— Подите и попросите ко мне господина Экзархатова.

И Экзархатов являлся, немного сутуловатый, в потертом вицмундире, с лицом истощенным, с синяком на левом глазу... вообще фигура очень печальная.

— Вы, Николай Иваныч, опять вашей несчастной страсти начинаете предаваться! Сами, я думаю, знаете греческую фразу: «Пьянство есть небольшое бешенство!» И что за желание быть в полусумасшедшем состоянии! С вашим умом, с вашим образованием... нехорошо, право, нехорошо!

— Виноват, Петр Михайлыч, сам очень хорошо чувствую,— отвечал Экзархатов и еще ниже потуплял голову.

— Ты, рожа этакая безобразная! — вмешивалась Экзархатова, не стесняясь присутствием смотрителя.—Только на словах винишься, а на сердце ничего не чувствуешь. Пятеро у тебя ребят, какой ты поилец и кормилец! Не воровать мне, не по миру идти из-за тебя!

— Так, так,— говорил Годнев, качая головой.

— Виноват, Петр Михайлыч,— повторял Экзархатов.

— Верю, верю вашему раскаянию и надеюсь, что вы навсегда исправитесь. Прошу вас идти к вашим занятиям,— говорил Петр Михайлыч.— Ну вот, сударыня,— присовокупил он, когда Экзархатов уходил, — видите, не помиловал; приличное наставление сделал: теперь вам нечего больше огорчаться.

Но Экзархатова не оставалась этим довольна.

— А что мне не огорчаться-то? Что вы ему сделали?.. По головке еще погладили пса этакова? — говорила она.

— Ай, ай, ай! Как это стыдно даме такие слова говорить! — возражал Петр Михайлыч.— Супруги должны недостатки друг у друга исправлять любовью и кротостью, а не бранью.

— Тьфу мне на его любовь — вот он, криворожий, чего стóит! — возражала Экзархатова.— Кабы знала, так бы не ходила, потатчики этакие!—присовокупляла она, уходя.

Петр Михайлыч усмехался и говорил сам с собой:

— Характерная женщина! Ах, какая характерная! Сгубила совсем человека; а какой малый-то бесподобный! Что ты будешь делать?

Проходя из училища домой, Петр Михайлыч всегда был очень рад, когда встречал кого-нибудь из знакомых помещиков, приехавших на время в город.

— Остановитесь на минуточку! —кричал он.

Помещик останавливался.

— Надолго ли? — спрашивал Петр Михайлыч.

— До завтра.

— А сегодня никуда не званы обедать?

— Нет, ни у кого еще не был.

— Так что же, приезжайте щей откушать; а если нет, так рассержусь, право рассержусь. С год уж мы не видались.

— Благодарю вас. Буду, если позволите. Сейчас только в суд заеду.

— До́бре, до́бре, вот это по-нашему, по-приятельски. До свиданья,— говорил Петр Михайлыч.

Против этой его привычки приглашать к себе обедать постоянно восставала Палагея Евграфовна.

— А что, мать-командирша, что мы будем сегодня обедать? — спрашивал он, приходя домой.

— Будете сыты, не беспокойтесь.

— То-то; я пригласил одного человека...

— Что это, Петр Михайлыч, никогда заблаговременно не скажете, и что у вас всё гости да гости! Не напасешься ничего, да и только.

— Ну, ну, полно, командирша, ворчать! Кто не любит разделить своей трапезы с приятелем, тот человек жадный.

Впрочем, и Палагее Евграфовне было не жаль: она не любила только, когда ее заставали, как она выражалась, *неприпасенную*. Кроме случайных посетителей, у Петра Михайлыча был один каждодневный — родной его брат, отставной капитан Флегонт Михайлыч Годнев. Капитан был холостяк, получал сто рублей серебром пенсиона и жил на квартире, через дом от Петра Михайлыча, в двух небольших комнатках. В противоположность разговорчивости и обходительности Петра Михайлыча, капитан был очень молчалив, отвечал только на вопросы и то весьма односложно. Он очень любил птиц, которых держал различных пород до сотни; кроме того, он был охотник ходить с ружьем за дичью и удить рыбу; но самым нежнейшим предметом его привязанности была легавая собака Дианка. Он с ней спал, мыл ее, никогда с ней не разлучался и по целым часам глядел на нее, когда она лежала под столом развалившись, а потом усмехался.

— Чему это, капитан, вы смеетесь? — спрашивал его Петр Михайлыч. Он всегда называл брата «капитаном».

— Да вон-с, Дианка спит,— отвечал тот.

Постоянный костюм капитана был форменный военный вицмундир. Курил он, и курил очень много, крепкий турецкий табак, который вместе с пенковой коротенькой трубочкой носил всегда с собой в бисерном кисете. Кисет этот вышила ему Настенька и, по желанию его, изобразила на одной стороне казака, убивающего турка, а на другой — крепость Варну. Каждодневно, за полчаса до прихода Петра Михайлыча, капитан являлся, раскланивался с Настенькой, целовал у ней ручку и спрашивал о ее здоровье, а потом садился и молчал.

— Что ж вы не курите? — говорила Настенька, чтоб занять его чем-нибудь.

— А вот-с покурю,— отвечал капитан и набивал свою коротенькую трубочку, высекал огонь к труту собственного изделия из толстой сахарной бумаги и начинал курить.

— Здравствуйте, капитан! — говорил приходя Петр Михайлыч.

Капитан вставал и почтительно ему кланялся. Из одного этого поклона можно было заключить, какое глубокое уважение питал капитан к брату. За столом, если никого не было постороннего, говорил один только Петр Михайлыч; Настенька больше молчала и очень мало кушала; капитан совершенно молчал и очень много ел; Палагея Евграфовна беспрестанно вскакивала. После обеда между братьями всегда почти происходил следующий разговор:

— Куда это путь изволите направлять: верно, на птиц своих посмотреть? — говорил Петр Михайлыч, когда капитан, выкурив трубку, брался за фуражку.

— Да-с, нужно побывать,— отвечал тот.

— С богом! Вечером будете?

— Буду-с,— отвечал капитан и уходил, а вечером действительно являлся к самому чаю с своими обычными атрибутами: кисетом, трубкой и Дианкой.

После чаю обыкновенно начиналось чтение. Капитан по преимуществу любил книги исторического и военного содержания; впрочем, он и все прочее слушал довольно внимательно, и, когда Дианка проскулит что-нибудь во сне, или сильно начнет чесать лапой ухо, или заколотит хвостом от удовольствия, он всегда погрозит ей пальцем и проговорит тихим голосом: «куш!»

В праздничные дни жизнь Годневых принимала несколько другой характер. Петр Михайлыч, в своей вседнев-

ной, старой бекеше и в старой фуражке, отправлялся обыкновенно к заутрени в свой приход, куда также являлся и Флегонт Михайлыч. После службы братья расходились по домам. К обедне Петр Михайлыч шел уже с Настенькой и был одет в новую шинель и шляпу и средний вицмундир; капитан являлся тоже в среднем вицмундире. Отслушав литургию, братья подходили к кресту, потом целовались и поздравляли друг друга с праздником. Капитан, кроме того, подходил к Настеньке, справлялся, по обыкновению, о ее здоровье и поздравлял ее с праздником. Из церкви вся семья отправлялась домой, где для них Палагея Евграфовна приготовляла кофе. По праздникам Петр Михайлыч был еще спокойнее, еще веселее.

— Не угодно ли вам, возлюбленный наш брат, одолжить нам вашей трубочки и табачку? — говорил он, принимаясь за кофе, который пил один раз в неделю и всегда при этом выкуривал одну трубку табаку.

Эта просьба брата всегда доставляла капитану большое наслаждение. Он старательно выдувал свою трубочку, аккуратно набивал табак и, положив зажженного труту, подносил Петру Михайлычу, который за это целовал его.

Известие об отставке Годнева удивило весь город.

— Вы, Петр Михайлыч, в отставку вышли? — говорили ему.

— Да, сударь,— отвечал он.

— Что же вам вздумалось?

— А что же? Будет с меня, послужил!

— Да ведь вы бы двойной оклад получали?

— Зачем мне двойной оклад? У меня, слава богу, кусок хлеба есть: проживу как-нибудь.

## II

Из предыдущей главы читатель имел полное право заключить, что в описанной мною семье царствовала тишь, да гладь, да божья благодать, и все были по возможности счастливы. Так оно казалось и так бы на самом деле существовало, если б не было замешано тут молоденького существа, моей будущей героини, Настеньки. Та же исправница, которая так невыгодно толковала отношения Петра Михайлыча к Палагее Евграфовне, говорила про нее.

— Господи, боже мой! Может же быть на свете такая дурнушка, как эта несчастная Настенька Годнева!

— Что же за особенная дурнушка? Напротив, очень милая девушка,— осмеливался слегка возразить ей муж.

— Очень милая,— возражала в свою очередь исправница с ударением и вся вспыхнув, как будто нанесено ей было глубокое оскорбление.

— Что ж такое? — говорил больше про себя муж.

— Очень милая,— повторяла исправница (в голосе ее слышалось шипенье), — в танцах мешается, а по-французски произносит: же-не-ве́-па, же-не-пе́-па!

— Люди небогатые: не на что было гувернанток нанимать! — еще раз рискует заметить муж.

Исправница несколько минут смотрит ему в лицо, как бы измеряя его и обдумывая, что бы такое с ним сделать, а потом, видимо, сдерживая свой гнев, говорит:

— Зачем вы ходите сюда в гостиную? Подите вы вон, сидите вы целый день в вашем кабинете и не смейте показывать вашего скверного носа.

Исправник пожимает только плечами и уходит.

— Какой мудрец-философ выискался, дурак набитый! Смеет еще рассуждать,— говорит исправница.— Мужи́чкам тоже не на что нанимать гувернанок, а все-таки они мужи́чки.

Нужно ли говорить, что невыгодные отзывы исправницы были совершенно несправедливы. Настенька, напротив, была очень недурна собой: небольшого роста, худенькая, совершенная брюнетка, она имела густые черные волосы, большие, черные, как две спелые вишни, глаза, полуприподнятые вверх, что придавало лицу ее несколько сентиментальное выражение; словом, головка у ней была прехорошенькая.

Что ж касается образования, то я должен здесь сделать маленькое отступление. Настенька была в полном смысле то, что называется *уездная барышня*... Но бога ради, не подумай, читатель, чтоб она была уездная барышня настоящего времени. Тут есть громадное различие. Я, например, очень еще не старый человек и только еще вступаю в солидный, околосорокалетний возраст мужчины; но — увы! — при всех моих тщетных поисках, более уже пятнадцати лет перестал встречать милых уездных барышень, которым некогда посвятил первую любовь мою, с которыми, читая «Амалат-Бека», обливался горькими сле-

зами, с которыми перекидывался фразами из «Евгения Онегина», которым писал в альбом:

Я не скажу, я не признаюсь,
В чем тайна вечная моя.

В то мое время почти в каждом городке, в каждом околотке рассказывались маленькие истории вроде того, что какая-нибудь Анночка Савинова влюбилась без ума — о ужас! — в Ананьина, женатого человека, так что мать принуждена была возить ее в Москву, на воды, чтоб вылечить от этой безрассудной страсти; а Катенька Макарова так неравнодушна к карабинерному поручику, что даже на бале не в состоянии была этого скрыть и целый вечер не спускала с него глаз. У каждой почти барышни тогда — я в том уверен — хранилось в заветном ящике комода несколько тетрадей стихов, переписанных с грамматическими, конечно, ошибками, но старательно и все собственной рукой. В бесконечных мазурках барышни обыкновенно говорили с кавалерами о чувствах и до того увлекались, что даже не замечали, как мазурка кончалась и что все давно уж сидели за ужином. Ничего этого нет в нынешних уездных барышнях. Боже мой, как они нынче благоразумны и осторожны, какую имеют, сравнительно с прежними барышнями, большую привычку к корсету! Как бойко, хоть не совсем с толком, играют на фортепьяно! Как правильно говорят по-французски! Как грациозны в танцах! Но зато, не беспокойтесь, они не затанцуются до увлечения. Если вы с ними заговорите о чувствах (автор с умыслом это сделал), они, поверьте, не поддержат разговора или потому, что просто не поймут, или найдут это неприличным. Если вы нынешнюю уездную барышню спросите, любит ли она музыку, она скажет: «да» и сыграет вам две — три польки; другая, пожалуй, пропоет из «Нормы», но если вы попросите спеть и сыграть какую-нибудь русскую песню или романс, не совсем новый, но который вам нравился бы по своей задушевности, на это вам сделают гримасу и встанут из-за рояля. Автор однажды высказал в обществе молодых деревенских девиц, что, по его мнению, если девушка мечтает при луне, так это прекрасно рекомендует ее сердце,— все рассмеялись и сказали в один голос: «Какие глупости мечтать!» Наш великий Пушкин, призванный, кажется, быть вечным любимцем женщин, Пушкин, которого барышни моего времени знали всего почти наизусть, которого Татьяна была для них идеалом,— нынешние барыш-

ни почти не читали этого Пушкина, но зато поглотили целые сотни томов Дюма и Поля Феваля, и знаете ли почему? — потому что там описывается двор, великолепные гостиные героинь и торжественные поезды. Если автору случалось в нынешних барышнях замечать что-то вроде любви, то тут же открывалось, что чувство это было направлено именно на человека, с которым могла составиться приличная партия; и чем эта партия была приличнее, то есть выгоднее, тем более страсть увеличивалась. Почти положительно можно сказать, что прежние барышни страдали от любви; нынешние — оттого, что у папеньки денег мало. Прежде молодая девушка готова была бежать с бедным, но благородным Вольдемаром; нынче побегов нет уж больше, но зато автор с растерзанным сердцем видел десятки примеров, как семнадцатилетняя девушка употребляла все кокетство, чтоб поймать богатого старика. Прежде *заветный он* казался полубогом, а нынче *заветный он* — будущий генерал или владелец пятисот душ. Мечтательности, чувствительности, которую некогда так хлопотал распространить добродушный Карамзин, — ничего этого и в помине нет: тщеславие и тщеславие, наружный блеск и внутренняя пустота заразили юные сердца. Для кареты на лежачих рессорах, для бархатной мантильи, обшитой лебяжьим пухом, для брильянтового склаважа готовы нынешние барышни на всевозможную супружескую муку.

Героиня моя была не такова: очень умненькая, добрая, отчасти сентиментальная и чувствительная, она в то же время сидела сгорбившись, не умела танцевать вальс в два темпа, не играла совершенно на фортепьяно и по-французски произносила — же-не-ве́-па, же-не-пе́-па. Что делать? У нее не было ни гувернантки-француженки, способной передать ей тайну хорошего произношения; ее не выпрямляли и не учили приседать в пансионе; при ней даже не было никакой практической тетушки или сестрицы, которая хлопотала бы о ее наружности и набила бы ее, как говорит Гоголь, всяким бабьем.

Лишившись жены, Петр Михайлыч не в состоянии был расстаться с Настенькой и вырастил ее дома. Ребенком она была страшная шалунья: целые дни бегала в саду, рылась в песке, загорала, как только может загореть брюнеточка, прикармливала с реки гусей и бегала даже с мещанскими мальчиками в лошадки. Ходившая каждый

день на двор к Петру Михайлычу нищая, встречая ее, всегда говорила:

— Экая барышня шалунья! Постой-ка, я ее возьму в мешок да унесу.

Настенька краснела, но не теряла присутствия духа и смело глядела в лицо старухе. Палагеи Евграфовны она, конечно, нисколько не слушалась и не боялась.

Экономка приходила в ужас, глядя на ее перепачканные платьица и изорванные башмачки.

— Вот тебе и петербургская холстиночка; ходите теперь, в чем хотите... Нет уж, Настасья Петровна, нет, нажалуюсь на вас папеньке...— говорила она.

— Папаша ничего не скажет,— отвечала Настенька и сама бежала к отцу.

— Папаша, посмотри, какая я замарашка,— говорила она.

— Славно, славно, дикарочка моя! — отвечал тот (за резвость и за смуглый цвет лица Петр Михайлыч прозвал дочку дикарочкой).

Настенька прыгала к нему на колени, целовала его, потом ложилась около него на диван и засыпала. Старик по целым часам сидел не шевелясь, чтоб не разбудить ее, по целым часам глядел на нее, не спуская глаз, сам бережно потом брал ее на руки и переносил в кроватку.

«Сколько бы у нас общей радости было, кабы покойница была жива»,— говорил он сам с собою и с навернувшимися слезами на глазах уходил в кабинет и долго уж оттуда не возвращался...

Когда Палагея Евграфовна замечала Петру Михайлычу: «Баловник уж вы, баловник, нечего таиться»,— он обыкновенно возражал: «Воспрещать ребенку резвиться — значит отравлять самые лучшие минуты жизни и омрачать самую чистую, светлую радость».

Учить Настеньку чистописанию, закону божию, 1-й и 2-й части арифметики и грамматике Петр Михайлыч начал сам. Девочка была очень понятлива. С каким восторгом он показывал своим знакомым написанную ее маленькими ручонками, но огромными буквами известную пропись: «Америка очень богата серебром!»

— Каллиграф у меня, господа, дочка будет, право, каллиграф! — говорил он. Очень также любил проэкзаменовать ее при посторонних из таблицы и, стараясь как бы сбивать, задавал таким образом:

— А сколько, например, скажите вы мне, Настасья Петровна, девятью два?

— Восьмнадцать,— отвечала Настенька и никогда не ошибалась.

Старик был в восторге.

Когда Настеньке минуло четырнадцать лет, она перестала бегать в саду, перестала даже играть в куклы, стыдилась поцеловать приехавшего в отставку дядю-капитана, и когда, по приказанию отца, поцеловала, то покраснела; тот, в свою очередь, тоже вспыхнул. Чем и как было Петру Михайлычу занять в его однообразной жизни свою дикарочку? Не замечая сам того, он приучил ее к своему любимому занятию. Все, я думаю, помнят, в каком огромном количестве в тридцатых годах выходили романы переводные и русские, романы всевозможных содержаний: исторические, нравоописательные, разбойничьи; сборники, альманахи и, наконец, журналы. Из всего этого каждый вечер что-нибудь прочитывалось. Настенька сначала слушала с бессознательным любопытством ребенка, а потом сама стала читать отцу вслух и, наконец, пристрастилась к чтению.

Появление ее в маленьком уездном свете было не совсем удачно: ей минуло восьмнадцать лет, когда в город приехала на житье генеральша Шевалова, дама премодная и прегордая. Прежде она жила по летам в своей усадьбе, а по зимам в столицах и теперь переехала в уездный городок, чтоб иметь личное влияние на производящийся там значительный процесс по ее имению. У ней была всего одна дочь, мамзель Полина, девушка, говорят, очень умная и образованная, но, к несчастью, с каким-то болезненным цветом лица и, как ходили слухи, без двух ребер в одном боку — недостаток, который, впрочем, по наружности почти невозможно было заметить. Генеральша была очень богата и неимоверно скупа: выжимая из имения, насколько можно было из него выжать, она в домашнем хозяйстве заправляла всем сама и дрожала над каждой копейкой. Скупость ее, говорят, простиралась до того, что не только дворовой прислуге, но даже самой себе с дочерью она отказывала в пище, и к столу у них, когда никого не было, готовилось в такой пропорции, чтоб только заморить голод; но зато для внешнего блеска генеральша ничего не жалела. Переехав в город, она наняла лучшую квартиру, мебель была привезена обитая бархатом, три-

пом; во всех комнатах развешены были картины в золотых рамах и расставлено пропасть бронзовых вещей. По городу она всегда ездила в карете с форейтором, хотя и на сильно сморенной четверне. У нее был метрдотель, и все лакеи были постоянно одеты в ливреи. В заключение всего, она объявила, что в продолжение всей зимы у ней будут по четвергам танцевальные вечера.

В маленьком городишке все пало ниц перед ее величием, тем более что генеральша оказалась в обращении очень горда, и хотя познакомилась со всеми городскими чиновниками, но ни с кем почти не сошлась и открыто говорила, что она только и отдыхает душой, когда видится с князем Иваном и его милым семейством (князь Иван был подгородный богатый помещик и дальний ее родственник).

С Петром Михайлычем генеральша познакомилась более случайно. Она отнеслась к нему с просьбою снабжать ее книгами из библиотеки уездного училища, и когда он изъявил согласие, она, как бы в возмездие, пригласила его приехать в первый же четверг и непременно с дочерью. Настеньке сделалось немножко страшно, когда Петр Михайлыч объявил ей, что они поедут к генеральше на бал; впрочем, ей хотелось. Годнев, при всей своей неопытности к бальной жизни, понимал, что в первый раз в свете надобно показать дочь как можно наряднее одетою и советовался по этому случаю с Палагеей Евграфовной. На совещании их положено было купить Настеньке самого лучшего газу на платье и лучшего атласу на чехол. Экономка принялась хлопотать до невероятности и купленную материю меняла раз семь: то заметит на газе дырочку более обыкновенной, то маленькое пятнышко на атласе. Шить сама платье не взялась, а отыскала у казначейши крепостную портниху, уговорила ее работать у них на дому, посадила в свою комнату и следила за каждым ее стежком. На шею Настеньке она предназначила надеть покойной жены Петра Михайлыча жемчуг с брильянтовым фермуаром, который перенизывала, чистила, мыла и вообще приводила в порядок целые полдня. Палагея Евграфовна, как истая немка, бывши мастерицей стряпать, не умела одевать. Выбранный ею газ хотя и отличался добротою, но был уж очень грубого розового цвета. Крепостная портниха тоже перемодничала в покрое платья и чрезвычайно низко пустила мыс у лифа. Приведенный в порядок жемчуг, конеч-

но, был довольно ценный, но имел какой-то аляповатый купеческий характер. Всех этих недостатков не замечали ни Настенька, которая все еще была под влиянием неопределенного страха, ни сама Палагея Евграфовна, одевавшая свою воспитанницу, насколько доставало у нее пониманья и уменья, ни Петр Михайлыч, конечно, который в тонкостях женского туалета ровно ничего не смыслил. Сам он оделся в новый свой вицмундир, в белый с светлыми форменными пуговицами жилет и белый галстук — костюм, который он обыкновенно надевал, причащаясь и к обедне светлого христова воскресенья. Когда Настенька вышла совсем одетая, он воскликнул:

— Фу ты, какая королева! bene!.. optime!..[1] Ну-ка, поверни головку... хорошо... право, хорошо... Мать-командирша, ведь Настенька у нас прехорошенькая!

— Э, перестаньте, не мешайте, посторонитесь; только застите; ничего не видно,— отвечала отрывисто экономка, заботливо поправляя и отряхивая платье Настеньки.

В освещенную залу генеральши, где уж было несколько человек гостей, Петр Михайлыч вошел, ведя дочь под руку. Грустно, отрадно и отчасти смешно было видеть его в эти минуты: он шел гордо, с явным сознанием, что его Настенька будет лучше всех. По самодовольному и спокойному выражению лица его можно было судить, как далек он был от мысли, что с первого же шагу маленькая, худощавая Настенька была совершенно уничтожена представительною наружностью старшей дочери князя Ивана, девушки лет восьмнадцати и обаятельной красоты, и что, наконец, тут же сидевшая в зале ядовитая исправница сказала своему смиренному супругу, грустно помещавшемуся около нее:

— Поздравляю, нынче уж тараканы в клюковном морсу стали появляться на модных вечерах.

В гостиной Петр Михайлыч подошел к хозяйке, которая сидела в полулежачем положении на угловом диване.

— Позвольте, ваше превосходительство, представить вам дочь мою,— сказал он, расшаркиваясь.

— Charmée [2], — сказала генеральша, закатывая глаза и слегка кивнув головой.

Настенька села на довольно отдаленное кресло. Генеральша лениво повернула к ней голову и несколько минут

[1] хорошо!.. прекрасно!.. *(лат.)*
[2] Очень рада, *(франц.)*

смотрела на нее своими мутными серыми глазами. Настенька думала, что она хочет что-нибудь ее спросить, но генеральша ни слова не сказала и, поворотив голову в другую сторону, где навытяжке сидела залитая в брильянтах откупщица, проговорила:

— Как мне ваш браслет нравится! Combien l'avez vous payé? [1]

— Не знаю, ваше превосходительство; это подарок мужа,— отвечала та, покраснев от удовольствия, что обратили на нее внимание.

Вошла m-lle Полина, только что еще кончившая свой туалет; она прямо подошла к матери, взяла у ней руку и поцеловала.

— Qiu est cette jeune personne? [2] — спросила она, взглянув, прищурившись, на Настеньку.

Мать ничего не отвечала, а только закрыла глаза и улыбнулась.

Настенька была умна и самолюбива; она все это заметила, все очень хорошо поняла — и вспыхнула. Начались танцы. Танцующих мужчин было немного, и все они танцевали то с хозяйской дочерью, то с другими знакомыми девицами. Настеньку никто не ангажировал; и это еще ничего — ей угрожала бо́льшая неприятность: в числе гостей был некто столоначальник Медиокритский, пользовавшийся особенным расположением исправницы, которая отрекомендовала его генеральше писать бумаги и хлопотать по ее процессу, и потому хозяйка скрепив сердце пускала его на свои вечера, и он обыкновенно занимался только тем, что натягивал замшевые перчатки и обдергивал жилет. Но в этот вечер Медиокритский, видя, что Годнева все сидит и ни с кем не танцует, вообразил, что это именно ему приличная дама, и, вознамерившись с нею протанцевать, подошел к Настеньке, расшаркался и пригласил ее на кадриль. Она, конечно, поняла, что одно уж приглашение подобного кавалера было новым для нее унижением, но не подала вида и пошла. С первого же шагу оказалось, что Медиокритский и не думал никого приглашать быть своим визави; это, впрочем, сейчас заметила и поправила m-lle Полина: она сейчас же перешла и стала этим визави с своим кавалером, отпускным гусаром, сказав ему

---

[1] Сколько вы за него заплатили? *(франц.)*
[2] Кто эта молодая особа? *(франц.)*

что-то вполголоса. Тот пожал только плечами и проговорил: «O mon Dieu, mon Dieu!»[1] Далее потом молодой столоначальник, изучивший французскую кадриль самоучкой и более наглядкой, не совсем твердо знал ее и беспрестанно мешался, а в пятой фигуре, как более трудной, совершенно спутался. С дамой своей он не говорил ни слова и только по временам ласково и с улыбкою на нее взглядывал. Когда же кончилась кадриль, он вдруг сказал: *на следующую*. У Настеньки потемнело в глазах; она готова была расплакаться, но переломила себя и дала слово. Когда они опять стали, по многим лицам пробежала насмешливая улыбка. Медиокритский держал себя по-прежнему: в продолжение всей кадрили он молчал, а при окончании проговорил снова: *на следующую*. По незнанию бальных обычаев, ему и в голову не приходило, что танцевать с одной дамой целый вечер не принято в обществе.

Настенька не могла более владеть собой: ссылаясь на головную боль, она быстро отошла от навязчивого кавалера, подошла к отцу, который с довольным и простодушным видом сидел около карточного стола; но, взглянув на нее, он даже испугался — так она была бледна.

— Что такое с тобой, душа моя? — спросил он с беспокойством.

— Поедемте домой: мне дурно,— отвечала Настенька.

— Поедем, поедем. Ах, какая ты слабая!—говорил старик, вставая.— Извините, ваше превосходительство,— проговорил он, проходя гостиную,— захворала вон у меня.

Приехав домой, Настенька свой бальный наряд не сняла, а сбросила и кинулась на постель. На другой день проснулась она с распухшими от слез глазами и дала себе слово не ездить больше никуда. Чтение сделалось единственным ее развлечением. Она читала все, что только ей попадалось под руку. Русских книг стало, наконец, недоставать. Настенька объявила отцу, что хочет учиться французскому языку. Старик, хорошо знавший этот язык, но дурно произносивший, взялся учить ее. Настенька занималась день и ночь, и в полгода почти свободно читала. Все это, конечно, очень образовало и развило ее в умственном отношении, но вместе с тем сильно раздражило ее воображение. Она начала жить в каком-то особенном ми-

---

[1] Боже мой, боже мой! *(франц.)*

рочке, наполненном Гомерами, Орасами, Онегиными, героями французской революции. Любовь женщины она представляла себе не иначе, как чувством, в основании которого должно было лежать самоотвержение, жизнь в обществе — мучением, общественный суд — вздором, на который не стоит обращать внимания. Окружавшая ее среда сделалась для нее невыносимою. Добродушный и всегда довольный Петр Михайлыч стал ее возмущать, особенно когда кого-нибудь хвалил из городских или рассказывал какие-нибудь происшествия, случавшиеся в городе, и даже когда он с удовольствием обедал — словом, она начала делаться для себя, для отца и для прочих домашних какой-то маленькой тиранкой и с каждым днем более и более обнаруживать странностей. Вдруг, например, захотела ездить верхом, непременно заставила купить себе седло и, несмотря на то, что лошадь была не приезжена и сама она никогда не ездила, поехала, или, лучше сказать, поскакала в галоп, так что Петр Михайлыч чуть не умер от страха. Однако она возвратилась благополучно, хотя была бледна и вся дрожала. В другой раз вздумала идти за тридцать верст на богомолье пешком. Сходила и две недели после того была больна.

Все эти капризы и странности Петр Михайлыч, все еще видевший в дочери полуребенка, объяснял расстройством нервов и твердо был уверен, что на следующее же лето все пройдет от купанья, а вместе с тем неимоверно восхищался, замечая, что Настенька с каждым днем обогащается сведениями, или, как он выражался, расширяет свой умственный кругозор.

— Экая ты у меня светлая головка! Если б ты была мальчик, из тебя бы вышел поэт, непременно поэт,— говорил старик.

Дочь слушала и краснела, потому что она была уже поэт и почти каждый день потихоньку от всех писала стихи.

Так время шло. Настеньке было уж за двадцать; женихов у ней не было, кроме одного, впрочем, случая. Отвратительный Медиокритский, после бала у генеральши, вдруг начал каждое воскресенье являться по вечерам с гитарой к Петру Михайлычу и, посидев немного, всякий раз просил позволения что-нибудь спеть и сыграть. Старик по своей снисходительности принимал его и слушал. Медиокритский всегда почти начинал, устремив на Настеньку нежный взор:

**Я плыву и наплыву**
**Через мглу — на скалу**
**И сложу мою главу**
**Неоплаканную.**

Все это разрешилось тем, что в одно утро приехала совершенно неожиданно к Петру Михайлычу исправница и прямо сделала от своего любимца предложение Настеньке. Петр Михайлыч усмехнулся.

— Благодарим вас покорно, Марья Ивановна, за ваше беспокойство, а Медиокритского за честь,—сказал он,— только дочь моя еще молода.

У исправницы начало подергивать губу; она вообще очень не любила противоречия, а в этом случае даже и не ожидала.

— Это, Петр Михайлыч, обыкновенно говорят как один пустой предлог! — возразила она.— Я не знаю, а по-моему, этот молодой человек — очень хороший жених для Настасьи Петровны. Если он беден, так бедность не порок.

Петру Михайлычу стало уж немного досадно.

— Бедность точно не порок,— возразил он, в свою очередь,— и мы не можем принять предложения господина Медиокритского не потому, что он беден, а потому, что он человек совершенно необразованный и, как я слышал, с довольно дурными нравственными наклонностями.

— Здесь, кажется, у всех одно образование, что у женихов, что у невест! — проговорила исправница с насмешкою.

Настенька, бывшая свидетельницей этой сцены, не вытерпела.

— У вас, Марья Ивановна, у самих дочь невеста,— сказала она,— если вам так нравится Медиокритский, так вам лучше выдать за него вашу дочь.

— Нет-с, он не может быть женихом моей дочери,— произнесла с ударением исправница.

— Почему же вы думаете, что он может быть моим женихом? — спросила гордо и вся вспыхнув Настенька.

— Ах, боже мой! — воскликнула исправница. — Я ничего не думала, а исполнила только безотступную просьбу молодого человека. Стало быть, он имел какое-нибудь право, и ему была подана какая-нибудь надежда — я этого не знаю!

Настенька вышла из себя; на глазах ее навернулись слезы.

— Подавали ему надежду, вероятно, вы, а не я, и я вас прошу не беспокоиться о моей судьбе и избавить меня от ваших сватаний за кого бы то ни было,— проговорила она взволнованным голосом и проворно ушла.

Исправница насмешливо посмотрела ей вслед.

— И ваш ответ, Петр Михайлыч, будет тот же? — спросила она.

— Совершенно тот же, Марья Ивановна,— отвечал Петр Михайлыч,— и мне только очень жаль, что вы изволили принять на себя это обидное для нас поручение.

— А я, конечно, еще более сожалею об этом, потому что точно надобно быть очень осторожной в этих случаях и хорошо знать, с какими людьми будешь иметь дело,—проговорила исправница, порывисто завязывая ленты своей шляпы и надевая подкрашенное боа, и тотчас же уехала.

Петр Михайлыч проводил ее до лакейской и возвратился к дочери, которая сидела и плакала.

— Это что, Настенька, плакать изволишь?.. Что это?.. Как тебе не стыдно! Что за малодушие!

— Это, папенька, ужасно! Она скоро приедет лакея своего сватать за меня. Ее бы выгнать надобно!

— Ну, ну, перестань! Какая вспыльчивая! Всяким вздором огорчаешься. Давай-ка лучше читать! — говорил старик.

Но Настенька и читать не могла.

Случай этот окончательно разъединил ее с маленьким уездным мирком; никуда не выезжая и встречаясь только с знакомыми в церкви или на городском валу, где гуляла иногда в летние вечера с отцом, или, наконец, у себя в доме, она никогда не позволяла себе поклониться первой и даже на вопросы, которые ей делали, отмалчивалась или отвечала односложно и как-то неприязненно.

## III

Недели через три после состояния приказа, вечером, Петр Михайлыч, к большому удовольствию капитана, читал историю двенадцатого года Данилевского, а Настенька сидела у окна и задумчиво глядела на поляну, облитую бледным лунным светом. В прихожую пришел Гаврилыч и начал что-то бунчать с сидевшей тут горничной.

— Что ты, гренадер, зачем пришел? — крикнул Петр Михайлыч.

— К вама-тка,— отвечал Терка, выставив свою рябую рожу в полурастворенную дверь.— Сматритель новый приехал, ачителей завтра к себе в сбор на фатеру требует в девятом часу, чтоб биспременно в мундерах были.

— Эге, вот как! Малый, должно быть, распорядительный! Это уж, капитан, хоть бы по-вашему, по-военному; так ли, а? — произнес Петр Михайлыч, обращаясь к брату.

— Да-с, точно,— отвечал тот глубокомысленно.

— Где же господин новый смотритель остановился?— продолжал Петр Михайлыч.

— На постоялом, у Афоньки Беспалого,— отвечал с какой-то досадой Терка.

— Да ты сам у него был?

— Нету, не был; мне пошто! Хозяйка Афоньки, слышь, прибегала, чтоб завтра в девятом часу в мундерах биспременно — вот что!

— Так поди обвести!

— Сегодня нету, не пойду: не достучишься... поздно; завтра обвещу.

— И то пожалуй; только, смотри, пораньше; и скажи господам учителям, чтоб оделись почище в мундиры и ко мне зашли бы: вместе пойдем. Да уж и сам побрейся, сапоги валяные тоже сними, а главное — щи твои,— смотри ты у меня!

— Ну-ко, заладил, щи да щи! Только и речей у тебя!— проговорил инвалид и, хлопнув сердито дверью, ушел. Петр Михайлыч усмехнулся ему вслед.

Впрочем, Гаврилыч на этот раз исполнил возложенное на него поручение с не совсем свойственною ему расторопностью и еще до света обошел учителей, которые, в свою очередь, собрались к Петру Михайлычу часу в седьмом. Все они были более или менее под влиянием некоторого чувства страха и беспокойства. Комплект их был, однако, неполный: знакомый нам учитель истории, Экзархатов; учитель математики, Лебедев, мужчина вершков одиннадцати ростом, всегда почти нечесаный, редко бритый и говоривший всегда сильно густым басом. Дикообразной его наружности как нельзя больше в нем соответствовала непреоборимая страсть к звероловству. Он был, конечно, в целой губернии первый стрелок и замечательнейший охотник на медведей, которых собственными руками на своем веку уложил более тридцати штук. С капитаном Лебедев находился, по случаю охоты, в теснейшей дружбе.

Третий учитель был преподаватель словесности Румянцев. В противоположность Лебедеву, это был маленький, худенький молодой человек, весьма робкого и, вследствие этого, склонного поподличать характера, вместе с тем большой говорун и с сильной замашкой пофрантить: вечно с завитым à-ла-коком и висками. Он было и в настоящем случае прилетел в своем, по его мнению, очень модном пальто и в цветном шарфе, завязанном огромным бантом, но, по совету Петра Михайлыча, тотчас же проворно сбегал домой и переоделся в мундир.

Петр Михайлыч тоже оделся в полную форму.

— Ну, вот мы и в параде. Что ж? Народ хоть куда! — говорил он, осматривая себя и других.— Напрасно только вы, Владимир Антипыч, не постриглись: больно у вас волосы торчат! — отнесся он к учителю математики.

— Черт их знает, проклятые, неимоверно шибко растут; понять не могу, что за причина такая. Сегодня ночь, признаться, в шалаше, за тетеревами просидел, постричься-то уж и не успел,— отвечал Лебедев, приглаживая голову..

— Да, да, вот так, хорошо,— ободрял его Петр Михайлыч и обратился к Румянцеву: — Ну, а ты, голубчик, Иван Петрович, что?

— Ничего-с! Маменька только наказывала: «Ты, говорит, Ванюшка, не разговаривай много с новым начальником: как еще это, не знав тебя, ему понравится; неравно слово выпадет, после и не воротишь его»,— простодушно объяснил преподаватель словесности.

— Конечно, конечно, — подтвердил Петр Михайлыч и потом, пропев полушутливым тоном: «Ударил час и нам расстаться...»,—продолжал несколько растроганным голосом: — Всем вам, господа, душевно желаю, чтоб начальник вас полюбил; а я, с своей стороны, был очень вами доволен и отрекомендую вас всех с отличной стороны.

— Мы бы век, Петр Михайлыч, желали служить с вами,— проговорил Лебедев.

— Именно век. Я вот и по недавнему моему служению, а всем говорю, что, приехав сюда, не имел ни с извозчиком чем разделаться, ни платья на себе приличного, и все вашими благодеяниями сделалось...— отрапортовал Румянцев, подняв глаза кверху.

Экзархатов ничего не проговорил, а только тяжело вздохнул.

Все эти отзывы учителей, видимо, были очень приятны старику.

— Благодарю вас, если вы так меня понимаете,— возразил он.— Впрочем, и я тоже иногда шумел и распекал; может быть, кого-нибудь и без вины обидел: не помяните лихом!

— Кроме добра, нам вас нечем поминать,— сказал Лебедев.

— От вас это были только родительские наставления,— подхватил Румянцев.

Петр Михайлыч совсем расчувствовался.

— Очень, очень вам благодарен, друзья мои, и поверьте, что теперь выразить не могу, а вполне все чувствую. Дай бог, чтоб и при новом начальнике вашем все шло складно да ладно.

Говоря это, он старался смигнуть навернувшиеся на глазах слезы.

Экзархатов, все ниже и ниже потуплявший голову, вдруг зарыдал на весь дом и убежал в угол.

— Полноте, полноте! Что это? Не стыдно ли вам? Добро мне, старому человеку, простительно... Перестаньте, — сказал Петр Михайлыч, едва удерживаясь от рыданий.— Грядем лучше с миром! — заключил он торжественно и пошел впереди своих подчиненных.

На дворе у Афоньки Беспалого наши ученые мужи встретили саму хозяйку, здоровеннейшую бабу в ситцевом сарафане. Она тащила, ухватив за ушки, огромную лоханку с помоями, которую, однако, тотчас же оставила и поклонилась, проговоря:

— Здравствуйте, сударики, здравствуйте.

— Нельзя ли, моя милая, доложить господину Калиновичу, что господа учителя пришли представиться,— сказал ей Петр Михайлыч.

— Сейчас, сударики, сейчас пошлю паренька моего к нему, а вы подьте пока в горенку, обождите: он говорил, чтоб в горенке обождать.

Петр Михайлыч и учителя вошли в горенку, в которой нашли дверь в соседнюю комнату очень плотно притворенною. Ожидали они около четверти часа; наконец, дверь отворилась, Калинович показался. Это был высокий молодой человек, очень худощавый, с лицом умным, изжелта-бледным. Он был тоже в новом, с иголочки, хоть и не из весьма тонкого сукна мундире, в пикѐ без-

укоризненной белизны жилете, при шпаге и с маленькой треугольной шляпой в руках.

Петр Михайлыч начал:

— Рекомендую себя: предместник ваш, коллежский асессор Годнев.

Калинович подал ему конец руки.

— Позвольте мне представить господ учителей,— добавил старик.

Калинович слегка нагнул голову.

— Господин Экзархатов, преподаватель истории,— продолжал Петр Михайлыч.

— Из какого заведения? — спросил Калинович.

— С словесного факультета Московского университета,— отвечал своим печальным голосом Экзархатов.

— Кончили курс?

— Со второго курса.

— Превосходно знают свой предмет; профессорской кафедры по своим познаниям достойны,— вмешался Годнев.— Может быть, даже вы знакомы по университету? Судя по летам, должно быть одного времени.

— Нас там много! — возразил Калинович.

Экзархатов поднял на него немного глаза и снова потупился. Он очень хорошо знал Калиновича по университету, потому что они были одного курса и два года сидели на одной лавке; но тот, видно, нашел более удобным отказаться от знакомства с старым товарищем.

— Господин Лебедев, учитель математики,— продолжал Годнев.

— Из какого заведения? — повторил опять Калинович.

— Из вольнопрактикующих землемеров, — отвечал лаконически Лебедев.

Калинович обратил глаза на Румянцева, который, не дождавшись вопроса и приложив руки по швам, проговорил без остановки:

— Воспитанник Московского воспитательного дома, выпущен первоначально в качестве домашнего учителя музыки; но, так как имею семейство, пожелал поступить в коронную службу.

— Все здешние господа учителя отличаются познаниями, добронравственностью и усердием...— вмешался Петр Михайлыч.

Калинович слегка улыбнулся; у старика не свернулось это с глазу.

— Я говорю таким манером,— продолжал он,— не относя к себе ничего; моя песня пропета: я не искатель фортуны; и говорю собственно для них, чтоб вы их снискали вашим покровительством. Вы теперь человек новый: ваша рекомендация перед начальством будет для них очень важна.

— Я почту для себя приятным долгом...— проговорил Калинович и потом прибавил, обращаясь к Петру Михайлычу:— Не угодно ли садиться? — а учителям поклонился тем поклоном, которым обыкновенно начальники дают знать подчиненным: «можете убираться»; но те сначала не поняли и не трогались с места.

— Я вас, господа, не задерживаю,— проговорил Калинович.

Экзархатов первый пошел, а за ним и прочие, Румянцев, впрочем, приостановился в дверях и отдал самый низкий поклон. Петр Михайлыч нахмурился: ему было очень неприятно, что его преемник не только не обласкал, но даже не посадил учителей. Он и сам было хотел уйти, но Калинович повторил свою просьбу садиться и сам даже пододвинул ему стул.

— Очень, очень все это хорошие люди,— начал опять, усевшись, старик.

Калинович как будто не слышал этого и, помолчав немного, спросил:

— А что, здесь хорошее общество?

— Хорошее-с... Здесь чиновники отличные, живут между собою согласно; у нас ни ссор, ни дрязг нет; здешний город исстари славится дружелюбием.

— И весело живут?

— Как же-с! Съезжаются иногда друг к другу, веселятся.

— Не можете ли вы мне назвать некоторых лиц?

— Отчего ж не могу? Только кого именно вам угодно?

— Городничий есть?

— Есть: Фесфилакт Семеныч Кучеров, ветеран двенадцатого года, старик препочтенный.

— Семейный?

— Даже очень большое имеет семейство.

— Потом?

— Потом-с, пожалуй, исправник с супругой; стряпчий, молодой человек, холостой еще, но скоро женится на этой, вот, городнической дочери.

— А почтмейстер?

— Как же-с, и почтмейстер есть, но только наш брат, старик уж, домосед большой.

— Это все чиновники; а помещики? — спросил Калинович.

— Помещиков здесь постоянно живущих всего только одна генеральша Шевалова.

— Богатая?

— С состоянием; по слухам, миллионерка и, надобно сказать, настоящая генеральша: ее здесь так губернаторшей и зовут.

— Молодая еще женщина?

— Нет, старушка-с, имеет дочь на возрасте — девицу.

— А скажите, пожалуйста,— сказал Калинович после минутного молчания,— здесь есть извозчики?

— Вы, вероятно, говорите про городских извозчиков, так этаких совершенно нет,— отвечал Петр Михайлыч,— не для кого, — а потому, в силу правила политической экономии, которое и вы, вероятно, знаете: нет потребителей, нет и производителей.

Калинович призадумался.

— Это немного досадно: я думал сегодня сделать несколько визитов,— проговорил он.

— А если думали, так о чем же вам и беспокоиться?— возразил Петр Михайлыч.— Позвольте мне, для первого знакомства, предложить мою колесницу. Лошадь у меня прекрасная, дрожки тоже, хоть и не модного фасона, но хорошие. У меня здесь многие помещики, приезжая в город, берут.

— Вы меня много обяжете; но мне совестно...

— Что тут за совесть? Чем богаты, тем и рады.

— Благодарю вас.

— А я вас благодарю; только тут, милостивый государь, у меня есть одно маленькое условие: кто моего коня берет, тот должен у меня хлеба-соли откушать, обедать: это плата за провоз.

— Самая приятная плата,— отвечал с улыбкою Калинович,— только я боюсь, чтоб мне не задержать вас.

— Располагайте вашим временем, как вам угодно,— отвечал Петр Михайлыч, вставая.— До приятного свиданья,— прибавил он, расшаркиваясь.

Калинович подал ему всю руку и вежливо проводил до самых дверей.

Всю дорогу старик шел задумчивее обыкновенного и по временам восклицал:

— Эх-ма, молодежь, молодежь! Ума у вас, может быть, и больше против нас, стариков, да сердца мало! — прибавил он, всходя на крыльцо, и тотчас, по обыкновению, предуведомил о госте к обеду Палагею Евграфовну.

— Знаю уж,— проговорила она и побежала на погреб.

Переодевшись и распорядившись, чтоб ехала к Калиновичу лошадь, Петр Михайлыч пошел в гостиную к дочери, поцеловал ее, сел и опять задумался.

— Что, папенька, видели нового смотрителя? — спросила Настенька.

— Видел, милушка, имел счастье познакомиться,— отвечал Петр Михайлыч с полуулыбкой.

— Молодой?

— Молодой!.. Франт!.. И человек, видно, умный!.. Только, кажется, горденек немного. Наших молодцов точно губернатор принял: свысока... Нехорошо... на первый раз ему не делает это чести.

— Что ж такое, если это в нем сознание собственного достоинства? Учителя ваши точно добрые люди — но и только! — возразила Настенька.

— Какие бы они ни были люди,— возразил, в свою очередь, Петр Михайлыч,— а все-таки ему не следовало поднимать носа. Гордость есть двух родов: одна благородная — это желание быть лучшим, желание совершенствоваться; такая гордость — принадлежность великих людей: она подкрепляет их в трудах, дает им силу побороть препятствия и достигать своей цели. А эта гордость — поважничать перед маленьким человеком — тьфу! Плевать я на нее хочу; зачем она? Это гордость глупая, смешная.

— Зачем же вы звали его обедать, если он гордец? — спросила Настенька.

— А затем, что хочу с ним об учителях поговорить. Надобно ему внушить, чтоб он понимал их настоящим манером,— отвечал Петр Михайлыч, желая несколько замаскировать в себе простое чувство гостеприимства, вследствие которого он всех и каждого готов был к себе позвать обедать, бог знает зачем и для чего.

— По крайней мере я бы лошадь не послала: пускай бы пришел пешком,— заметила Настенька.

— Перестань пустяки говорить! — перебил уж с досадою Петр Михайлыч.— Что лошади сделается! Не убудет ее. Он хочет визиты делать: не пешком же ему по городу бегать.

— Визиты делать! Вчера приехал, а сегодня хочет визиты делать! — воскликнула с насмешкой Настенька.

— Что же тут удивительного? Это хорошо.

— Перед учителями важничает, а перед другими, не успел приехать, бежит кланяться; он просто глуп после этого!

— Вот тебе и раз! Экая ты, Настенька, смелая на приговоры! Я не вижу тут ничего глупого. Он будет жить в городе и хочет познакомиться со всеми.

— Стоит, если только он умный человек!

— Отчего ж не стоит? Здесь люди все почтенные... Вот это в тебе, душенька, очень нехорошо, и мне весьма не нравится,— говорил Петр Михайлыч, колотя пальцем по столу.— Что это за нелюбовь такая к людям! За что? Что они тебе сделали?

— В моей любви, я думаю, никто не нуждается.

— В любви нуждается бог и собственное сердце человека. Без любви к себе подобным жить на свете тяжело и грешно! — произнес внушительно старик.

Настенька отвечала ему полупрезрительной улыбкой.

На эту тему Петр Михайлыч часто и горячо спорил с дочерью.

## IV

В двенадцать часов Калинович, переодевшись из мундира в черный фрак, в черный атласный шарф и черный бархатный жилет и надев сверх всего новое пальто, вышел, чтоб отправиться делать визиты, но, увидев присланный ему экипаж, попятился назад: лошадь, о которой Петр Михайлыч так лестно отзывался, конечно, была, благодаря неусыпному вниманию Палагеи Евграфовны, очень раскормленная; но огромная, жирная голова, отвислые уши, толстые, мохнатые ноги ясно свидетельствовали о ее солидном возрасте, сырой комплекции и кротком нраве. Сбруя, купленная тоже собственными руками экономки, отличалась более прочностью, чем изяществом. Дрожки на огромных колесах, высочайших рессорах и с

неуклюжими козлами принадлежали к разряду тех экипажей, которые называются адамовскими. И, в заключение всего, кучером сидел уродливый Гаврилыч, закутанный в серый решменский, с огромного мужика армяк, в нахлобученной серой поярковой круглой шляпе, из-под которой торчала только небольшая часть его морды и щетинистые усы. При появлении Калиновича Терка снял шляпу и поклонился.

— Ты, верно, лакей? — спросил Калинович.

— Салдат, ваше благородие, отставной салдат,— отвечал Терка и опять поклонился.

— Зачем же ты стриженый, когда в кучера нанимаешься?

— Нет, ваше благородие, я не в кучерах: я ачилище стерегу. Палагея Евграфовна меня послала — парень ихний хворает. «Поди, говорит, Гаврилыч, съезди». Вот что, ваше благородие,— отрапортовал инвалид и в третий раз поклонился. Он, видимо, подличал перед новым начальником.

Молодой смотритель находился некоторое время в раздумье: ехать ли ему в таком экипаже, или нет? Но делать нечего,— другого взять было негде. Он сделал насмешливую гримасу и сел, велев себя везти к городничему, который жил в присутственных местах.

Войдя в первую комнату, Калинович увидел чрез растворенную дверь даму с распущенными волосами, в одной кофте и юбке; при его появлении дама воскликнула:

— Что это, батюшки, что это все шляются!..— И, как пава, поплыла в дальние комнаты.

Калинович остался один; он начал слегка стучать ногами. Явилась толстая горничная девка в домотканом платье и босиком.

— Пошто вы? — спросила она.

— Принимают? — сказал Калинович.

Девка выпучила на него глаза.

— Ольгунька!.. Пострел!.. С кем ты тут болтаешь? — послышался голос городничего.

Девка ушла к барину.

— Пришел какой-то, не знаю,— отвечала она.

— Да кто такой?

— Не видывала, барин, не знаю.

— Поди скажи, коли что нужно, в полицию бы пришел; а теперь некогда,— решил городничий.

— Подьте, теперь некогда, ужо в полицию велел прийти,— повторила девка, возвратившись.

Калинович усмехнулся.

— Потрудись отдать карточку,— сказал он, подавая два билетика с загнутыми углами.

— Барину, что ли? — спросила девка.

— Барину,— отвечал Калинович и ушел.

«Это звери, а не люди!» — проговорил он, садясь на дрожки, и решился было не знакомиться ни с кем более из чиновников; но, рассудив, что для парадного визита к генеральше было еще довольно рано, и увидев на ближайшем доме почтовую вывеску, велел подвезти себя к выходившему на улицу крылечку. Почтмейстер, видно, жил крепко: дверь у него одного в целом городе была заперта и приделан был к ней колокольчик. Калинович по крайней мере раз пять позвонил, наконец на лестнице послышались медленные шаги, задвижка щелкнула, и в дверях показался высокий, худой старик, с испитым лицом, в белом вязаном колпаке, в круглых очках и в длинном, сильно поношенном сером сюртуке.

— У себя господин почтмейстер? — спросил Калинович.

— Я самый, сударь, почтмейстер. Чем могу служить? — отвечал старик протяжным, ровным и сиповатым голосом.

Калинович объяснил, что приехал с визитом.

— А!.. Очень вам, сударь, благодарен. Милости прошу,— сказал почтмейстер и повел своего гостя через длинную и холодную залу, на стенах которой висели огромные масляной работы картины, до того тусклые и мрачные, что на первый взгляд невозможно было определить их содержание. На всех почти окнах стоял густо разросшийся герань, от которого распространялся сильный, удушливый запах. В следующей комнате, куда привел хозяин гостя своего, тоже висело несколько картин такого же колорита; во весь почти передний угол стояла кивота с образами; на дубовом некрашеном столе лежала раскрытая и повернутая корешком вверх книга, в пергаментном переплете; перед столом у стены висело очень хорошей работы костяное распятие; стулья были некрашеные, дубовые, высокие, с жесткими кожаными подушками. Посадив Калиновича, почтмейстер уставил на него сквозь очки глаза и молчал. Калинович тоже не заговаривал.

— Вы изволили, стало быть, поступить на место господина Годнева? — спросил, наконец, хозяин.

— Да-с,— отвечал Калинович.

— Так, сударь, так; место ваше хорошее: предместник ваш вел жизнь роскошную и состоянье еще приобрел... Хорошее место!..— заключил он протяжно.

Калинович сделал гримасу.

— А напредь сего какую службу имели? — спросил, помолчав, хозяин.

— Я всего два года вышел из Московского университета и не служил еще.

— Из Московского университета изволили выйти? Знаю, сударь, знаю: заведение ученое; там многие ученые мужи получили свое воспитание. О господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй! — проговорил почтмейстер, подняв глаза кверху.

Некоторое время опять продолжалось молчание.

— А из Москвы давно ли изволили отбыть? — снова заговорил он.

— Я прямо оттуда приехал.

— Так, сударь, так; это выходит очень недавнее время. Желательно бы мне знать, какие идут там суждения, так как пишут, что на горизонте нашем будет проходить комета.

— Что ж? Это очень обыкновенное явление; путь ее исчислен заранее.

— Знаю, сударь, знаю; великие наши астрономы ясно читают звездную книгу и аки бы пророчествуют. О господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй! — сказал опять старик, приподняв глаза кверху, и продолжал как бы сам с собою. — Знамения небесные всегда предшествуют великим событиям; только сколь ни быстр разум человека, но не может проникнуть этой тайны, хотя уже и многие другие мы имеем указания.

— Какие же указания и на что именно? — спросил Калинович, которого хозяин начал интересовать.

— Многие имеем указания,— повторил тот, уклоняясь от прямого ответа,— откапываются поглощенные землей города, аки бы свидетели тленности земной. Читал я, сударь, в нынешнем году, в «Московских ведомостях», что английские миссионеры проникли уж в эфиопские степи...

— Может быть,— сказал Калинович.

— Да, сударь, проникли,— повторил почтмейстер.—

Сказывал мне один достойный вероятия человек, что в Америке родился уродливый ребенок. О господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй! Многое, сударь, нам свидетельствует, очень многое, а паче всего уменьшение любви! — продолжал он.

Калинович стал смотреть на старика еще с большим любопытством.

— Вы много читаете? — спросил он.

— Нет, сударь, немного; мало нынче книг хороших попадается, да и здоровьем очень слаб: седьмой год страдаю водяною в груди. Горе меня, сударь, убило: родной сын подал на меня прошение, аки бы я утаил и похитил состояние его матери. О господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй! — заключил почтмейстер и глубоко задумался.

Калинович встал и начал раскланиваться.

— Прощайте, сударь, — проговорил хозяин, тоже вставая.— Очень вам благодарен. Предместник ваш снабжал меня книжками серьезного содержания: не оставьте и вы,— продолжал он, кланяясь.— Там заведено платить по десяти рублей в год: состояние я на это не имею, а уж если будет благосклонность ваша обязать меня, убогогс человека, безвозмездно...

Калинович изъявил полную готовность и пошел.

— Прощайте, сударь, прощайте; очень вам благодарен,— говорил старик, провожая его и захлопывая дверь, которую тотчас же и запер задвижкой.

Квартира генеральши, как я уже заметил, была первая в городе. Кругом всего дома был сделан из дикого камня тротуар, который в продолжение всей зимы расчищался от снега и засыпался песком в тех видах, что за неимением в городе приличного места для зимних прогулок генеральша с дочерью гуляла на нем между двумя и четырьмя часами. На окнах висели огромные полосатые маркизы. Внутреннее убранство соответствовало наружному. Из больших сеней шла широкая, выкрашенная под дуб лестница, устланная ковром и уставленная по бокам цветами. При входе Калиновича лакей, глуповатый из лица, но в ливрее с галунами, вытянулся в дежурную позу и на вопрос: «Принимают?»—бойко отрезал: «Пожалуйте-с», — и побежал вверх с докладом. Калинович между тем приостановился перед зеркалом, поправил волосы, воротнички, застегнул на лишнюю пуговицу фрак и пошел.

Генеральша сидела, по обыкновению, на наугольном диване, в полулежачем положении.

Мамзель Полина сидела невдалеке и рисовала карандашом детскую головку. Калинович представился на французском языке. Генеральша довольно пристально осмотрела его своими мутными глазами и, по-видимому, осталась довольна его наружностью, потому что с любезною улыбкою спросила:

— Вы помещик здешний?

— Нет-с,— отвечал Калинович, взглянув вскользь на Полину, которая поразила его своим болезненным лицом и странностью своей фигуры.

— Верно, по каким-нибудь делам сюда приехали? — продолжала генеральша. Она сочла Калиновича за приехавшего из Петербурга чиновника, которого ждали в то время в город.

— Нет, я здесь буду служить,— отвечал тот.

— Служить? — сказала генеральша тоном удивления.—Какую же вы здесь службу имеете?—прибавила она.

— Я определен смотрителем уездного училища.

Мать и дочь переглянулись.

— Что ж это за служба? — сказала первая.

— Это, верно, на место этого старичка...— заметила Полина.

— Да-с,— отвечал Калинович.

Мать и дочь опять переглянулись. Генеральша потупилась.

Полина совсем почти прищурила глаза и начала рисовать. Калинович догадался, что объявлением своей службы он уронил себя в мнении своих новых знакомых, и, поняв, с кем имеет дело, решился поправить это.

— Мне еще в первый раз приходится жить в уездном городе, и я совсем не знаю провинциальной жизни,— сказал он.

— Скучно здесь,— проговорила генеральша как бы нехотя.

— Общество здесь, кажется, немногочисленно?

— Кажется.

— Оно состоит только из одних чиновников?

— Право, не знаю.

— Но ваше превосходительство изволите постоянно жить здесь? — заметил Калинович.

— Я живу здесь по моим делам и по моей болезни, чтоб иметь доктора под руками. Здесь, в уезде, мое имение, много родных, хороших знакомых, с которыми я и видаюсь,— проговорила генеральша и вдруг остановилась, как бы в испуге, что не много ли лишних слов произнесла и не утратила ли тем своего достоинства.

— Я с большим сожалением оставил Москву,— заговорил опять Калинович.— Нынешний год, как нарочно, в ней было так много хорошего. Не говоря уже о живых картинах, которые прекрасно выполняются, было много замечательных концертов, был, наконец, Рубини.

— Он там очень недолго был, два или три концерта дал,— заметила Полина.

— И какие же эти концерты? Обрывки какие-нибудь!.. Москву всегда потчуют остаточками... Мы его слышали в Петербурге в полной опере,— сказала генеральша.

— Он пел лучшие свои арии, и Москва была в восторге,— возразил Калинович.

— Что ж Москва? Москва всегда и всем готова восхищаться.

— Точно так же, как и Петербург. Москва еще, мне кажется, разумнее в этом случае.

— Как можно сравнить: Петербург и Москва!.. Петербург — чудо как хорош, а Москвы... я решительно не люблю; мы там жили несколько зим и ужасно скучали.

— Это личное мнение вашего превосходительства, против которого я не смею и спорить,— сказал Калинович.

— Нет, это не мое личное мнение,— возразила спокойным голосом генеральша,— покойный муж мой был в столицах всей Европы и всегда говорил,— ты, я думаю, Полина, помнишь,— что лучше Петербурга он не видал.

— А вы сами жили в Петербурге? — отнеслась Полина к Калиновичу.

— Я даже не бывал там,— отвечал тот.

Мать и дочь усмехнулись.

— Как же вы его знаете, когда не бывали? Я этого не понимаю,— заметила Полина.

— И я тоже,— подтвердила мать.

Калинович ничего на это не возражал.

Генеральша и дочь постоянно высказывали большую симпатию к Петербургу и нелюбовь к Москве. Все тут дело заключалось в том, что им действительно ужасно нравились в Петербурге модные магазины, торцовая мо-

стовая, прекрасные тротуары и газовое освещение, чего, как известно, нет в Москве; но, кроме того, живя в ней две зимы, генеральша с известною целью давала несколько балов, ездила почти каждый раз с дочерью в Собрание, причем рядила ее до невозможности; но ни туалет, ни таланты мамзель Полины не произвели ожидаемого впечатления: к ней даже никто не присватался.

В остальную часть визита мать и дочь заговорили между собой о какой-то кузине, от которой следовало получить письмо, но письма не было. Калинович никаким образом не мог пристать к этому семейному разговору и уехал.

— Кто это такой? — сказала генеральша.

— Смотритель, мамаша! — отвечала Полина.

— Какая дерзость: вдруг является, знакомится... Очень мне нужно!

— Он недурно произносит по-французски,— заметила дочь.

— Кто ж нынче не говорит по-французски? По этому нельзя судить, кто он и что он за человек. Он бы должен был попросить кого-нибудь представить себя; по крайней мере я знала бы, кто его рекомендует. А все наши люди!.. Когда я их приучу к порядку! — проговорила генеральша и дернула за сонетку.

Вошел худощавый дворецкий.

— Кто сегодня дежурный? — спросила госпожа.

— Семен, ваше превосходительство,— отвечал тот.

— Позови ко мне Семена.

Семен явился.

— Ты, Семенушка, всегда в своем дежурстве наделаешь глупостей. Если ты так несообразителен, то старайся больше думать. Принимаешь всех, кто только явится. Сегодня пустил бог знает какого-то господина, совершенно незнакомого.

— Вашему превосходительству...— заговорил было лакей.

— Пожалуйста, не оправдывайся. У меня очень много твоих вин записано, и ты принудишь меня принять против тебя решительные меры. Ступай и будь умней!

При словах «решительные меры» лакей весь вспыхнул.

Генеральша при всех своих личных объяснениях с людьми говорила всегда тихо и ласково; но когда произносила фразу: *решительные меры*, то редко не приводила их в исполнение.

## V

Палагея Евграфовна что-то более обыкновенного хлопотала для приема нового гостя и, кажется, была намерена показать свое хозяйство во всем его блеске. Она вынула лучшее столовое белье, вымытое, конечно, белее снега и выкатанное так, хоть сейчас вези на выставку; вынула, наконец, граненый хрусталь, принесенный еще в приданое покойною женою Петра Михайлыча, но хрусталь еще очень хороший, который употребляется только раза два в год: в именины Петра Михайлыча и Настенькины, который во все остальное время экономка хранила в своей собственной комнате, в особом шкапу, и пальцем никому не позволила до него дотронуться. Обед тоже, по-видимому, приготовлялся не совсем заурядный. Приготовленные большая вилка и лопаточка из кленового дерева заставляли сильно подозревать, что вряд ли не готовилась разварная стерлядь. Настеньке Палагея Евграфовна страшно надоела, приступая к ней целое утро, чтоб она надела вместо своего вседневного холстинкового платья черное шелковое; и как та ни сердилась, экономка поставила на своем. Во всем этом старая девица имела довольно отдаленную цель: Петр Михайлыч, когда вышло его увольнение, проговорил с ней: «Вот на мое место определен молодой смотритель; бог даст, приедет да на Настеньке и женится».

— Ох, как бы это хорошо! Как бы это было хорошо! — отвечала экономка.

Она питала сильное желание выдать Настеньку поскорей замуж, и тем более за смотрителя, потому что, судя по Петру Михайлычу, она твердо была убеждена, что если уж смотритель, так непременно должен быть хороший человек.

В два часа капитан состоял налицо и сидел, как водится, молча в гостиной; Настенька перелистывала «Отечественные записки»; Петр Михайлыч ходил взад и вперед по зале, посматривая с удовольствием на парадно убранный стол и взглядывая по временам в окно.

— Что ж, папенька, ваш смотритель не едет? Скучно его ждать! — сказала Настенька.

— Погоди, душенька подъедет! Засиделся, верно, где-нибудь,— отвечал Петр Михайлыч.— Едет! — проговорил он, наконец.

Настенька, по невольному любопытству, взглянула в окно; капитан тоже привстал и посмотрел. Терка, желая на остатках потешить своего начальника, нахлестал лошадь, которая, не привыкнув бегать рысью, заскакала уродливым галопом; дрожки забренчали, засвистели, и все это так расходилось, что возница едва справил и попал в ворота. Калинович, все еще под влиянием неприятного впечатления, которое вынес из дома генеральши, принявшей его, как видели, свысока, вошел нахмуренный.

— Милости просим, милости просим, Яков Васильич,— говорил Петр Михайлыч, встречая гостя и вводя его в гостиную.

— Это вот-с мой родной брат, капитан армии в отставке, а это дочь моя Анастасия,— прибавил он.

Капитан расшаркался... Настенька слегка привстала; Калинович отдал им вежливый, но холодный поклон.

— Не угодно ли вам водочки выпить? — продолжал Петр Михайлыч, указывая на закуску.— Это вот запеканка, это домашний настой; а тут вот грибки да рыжички; а это вот архангельские селедки, небольшие, но, рекомендую, превкусные.

— Позвольте мне лучше покурить,—проговорил Калинович.

— Сделайте милость! Господин капитан, ваша очередь угощать. Сам я мало курю; а вот у меня великий любитель и мастер по табачной части господин капитан!

Капитан начал было выдувать свою коротенькую трубку.

— Благодарю вас: у меня есть с собой,—возразил Калинович, вынимая папироску из портсигара.

Капитан отложил трубку, но присек огня к труту собственного производства и, подав его на кремне гостю, начал с большим вниманием осматривать портсигар.

— Хорошая вещь; вероятно, кожаная,— проговорил он.

— Нет, papier mâchá,— отвечал Калинович.

Капитан совершенно не понял этого слова, однако не показал того.

— А! Вероятно, английского изобретения! — произнес он глубокомысленно.

— Не знаю, право.

— Английская,— решил капитан.

До всех табачных принадлежностей он был большой охотник и считал себя в этом отношении большим знатоком.

— Где же вы изволили побывать?.. Кого видели? С кем познакомились? — начал Петр Михайлыч.

— Я был не у многих, но... и о том сожалею! — отвечал Калинович.

— Это как? — спросил Петр Михайлыч с удивлением.

Настенька посмотрела на молодого человека довольно пристально; капитан тоже взглянул на него.

— Во-первых, городничий ваш,— продолжал Калинович,— меня совсем не пустил к себе и велел ужо вечером прийти в полицию.

— Ха, ха, ха! — засмеялся Петр Михайлыч добродушнейшим смехом.— Этакой смешной ветеран! Он что-нибудь не понял. Что делать?.. Сам-то вот занят больше службой; да и бедность к тому: в нашем городке, не как в других местах, городничий не зажиреет: почти сидит на одном жалованье, да откупщик разве поможет какой-нибудь сотней — другой.

При этих словах на лице Калиновича выразилась презрительная улыбка.

— А семейство тоже большое,— продолжал Петр Михайлыч, ничего этого не заметивший. — Вон двое мальчишек ко мне в училище бегают, так и смотреть жалко: ощипано, оборвано, и на дворянских-то детей не похожи. Супруга, по несчастию, родивши последнего ребенка, не побереглась, видно, и там молоко, что ли, в голову кинулось — теперь не в полном рассудке: говорят, не умывается, не чешется и только, как привидение, ходит по дому и на всех ворчит... ужасно жалкое положение! — заключил Петр Михайлыч печальным голосом.

Но молодой смотритель выслушал все это совершенно равнодушно.

— У этого городничего очень хорошенькая дочка, слывет здесь красавицей,— полунасмешливо заметила ему Настенька.

Калинович опять ничего не отвечал и только взглянул на нее.

— Что ж?.. Действительно хорошенькая! — подхватил Петр Михайлыч.— У кого же еще изволили быть? — прибавил он, обращаясь к Калиновичу.

— Еще я был у почтмейстера,— это чудак какой-то!

— Именно чудак,— подтвердил Петр Михайлыч,— не глупый бы старик, богомольный, а все преставления света боится... Я часто с ним прежде споривал: грех, говорю,

искушать судьбы божии, надобно жить честно и праведно, а тут буди его святая воля...

— Он ужасный скупец,— заметила Настенька.

— Почем ты, душа моя, знаешь? — возразил Петр Михайлыч.— А если и действительно скупец, так, по-моему, делает больше всех зла себе, живя в постоянных лишениях.

— Да как же, папенька, только себе делает зло, когда деньги в рост отдает? Ростовщик! А история его с сыном? — перебила Настенька.

— Что ж история его с сыном?.. Кто может отца с детьми судить? Никто, кроме бога! — произнес Петр Михайлыч, и лицо его приняло несколько строгое и недовольное выражение.

Настенька переменила разговор.

— У генеральши вы были? — отнеслась она к Калиновичу.

— Был-с,— отвечал он.

— Это здешний большой свет!

— Кажется.

— А дочь ее видели?

— Не знаю, видел какую-то девицу или даму кривобокую или кривошейку — не разберешь.

— Совершенно без боку — ужасно! — подтвердила Настенька,— и вообразите, у них бывают балы, на которых и я имела счастье быть один раз; и она с этакой наружностью и в бальном платье — невозможно видеть равнодушно.

— Господа! Молодые люди!—воскликнул Петр Михайлыч.— Не смейтесь над телесными недостатками; это все равно, что смеяться над больными — грех!

— Мы и не смеемся,— возразил с усмешкою Калинович,— а напротив, она произвела на меня такое тяжелое и грустное впечатление, от которого я до сих пор не могу освободиться.

— Кушать готово! — перебил Петр Михайлыч, увидев, что на стол уже поставлена миска.— А вы и перед обедом водочки не выпьете? — отнесся он к Калиновичу.

— Нет, благодарю,— отвечал тот.

— Как угодно-с! А мы с капитаном выпьем. Ваше высокоблагородие, адмиральский час давно пробил — не прикажете ли?.. Примите! — говорил старик, наливая свою серебряную рюмку и подавая ее капитану; но только что

тот хотел взять, он не дал ему и сам выпил. Капитан улыбнулся... Петр Михайлыч каждодневно делал с ним эту штуку.

— Ну, а уж теперь не обману,— продолжал он, наливая другую рюмку.

— Знаю-с,— отвечал капитан и залпом выпил свою порцию.

Все вышли в залу, где Петр Михайлыч отрекомендовал новому знакомому Палагею Евграфовну. Калинович слегка поклонился ей; экономка сделала ему жеманный книксен.

— Нас, кажется, сегодня хотят угостить потрохами,— говорил Петр Михайлыч, садясь за стол и втягивая в себя запах горячего.— Любите ли вы потроха? — отнесся он к Калиновичу.

— Да, ем,— отвечал тот с несколько насмешливой улыбкой, но, попробовав, начал есть с большим аппетитом.— Это очень хорошо,— проговорил он,— прекрасно приготовлено!

— Художественно-с! — подхватил Петр Михайлыч.— Палагея Евграфовна, честь эта принадлежит вам; кланяемся и благодарим от всей честной компании!

Экономка тупилась, модничала и, по-видимому, отложила свое обыкновение вставать из-за стола. За горячим действительно следовала стерлядь, которой Калинович оказал достодолжное внимание. Соус из рябчиков с приготовленною к нему подливкою он тоже похвалил; но более всего ему понравилась наливка, которой, выпив две рюмки, попросил еще третью, говоря, что это гораздо лучше всяких ликеров.

У Палагеи Евграфовны от удовольствия обе щеки горели ярким румянцем.

После обеда все снова возвратились в гостиную.

— Скажите-ка мне, Яков Васильич,— начал Петр Михайлыч,— что-нибудь о Московском университете. Там, я слышал, нынче прекрасные профессора. Вы какого изволили быть факультета?

— Юрист.

— Прекрасный факультет-с!.. Я сам воспитывался в Московском университете, по словесному факультету, и в мое время весьма справедливо и достойно славился Мерзляков. Человек был с светлой головой. Бывало, начнет разбирать Державина построчно, каждое слово. «Вот такой-

то, говорит, стих хорош, а такой-то посредственный; вот бы, говорит, как следовало сказать», да и начнет импровизировать стихами. Мы только слушаем, и если б тогда записывать его импровизации, прелестные бы вышли стихотворения,— говорил Петр Михайлыч.— Любопытно мне знать,— продолжал он, подумав,— вспоминают ли еще теперь господа студенты Мерзлякова, уважают ли его, как следует.

— Очень,— отвечал Калинович,—особенно как профессора.

— Это делает честь молодому поколению: таких людей забывать не следует! — заключил старик и вздохнул. Несколько рюмок наливки, выпитых за столом, сделали его еще разговорчивее и настроили в какое-то приятно-грустное расположение духа.— Вот мне теперь, на старости лет,— снова начал он как бы сам с собою,— очень бы хотелось побывать в Москве; деньгами только никак не могу сбиться, а посмотрел бы на белокаменную, в университет бы сходил... Пустят, я думаю, старого студента хоть на стены посмотреть. Многие товарищи мои теперь известные литераторы, ученые; в студентах я с ними дружен бывал, оспаривал иногда; ну, а теперь, конечно, они далеко ушли, а я все еще пока отставной штатный смотритель; но, так полагаю, что если б я пришел к ним, они бы не пренебрегли мною.

Калинович слушал Петра Михайлыча полувнимательно, но зато очень пристально взглядывал на Настеньку, которая сидела с выражением скуки и досады в лице. Петр Михайлыч по крайней мере в миллионный раз рассказывал при ней о Мерзлякове и о своем желании побывать в Москве. Стараясь, впрочем, скрыть это, она то начинала смотреть в окно, то опускала черные глаза на развернутые перед ней «Отечественные записки» и, надобно сказать, в эти минуты была прехорошенькая.

— Вы что-то такое читаете? — отнесся к ней Калинович.

— Нет, так, покуда перелистываю,— отвечала она.

— А вы любите читать?

— Очень; это единственное для меня развлечение. Нынче я еще меньше читаю, а прежде решительно до обморока зачитывалась.

— Что ж вы находите читать? Это довольно трудно при нашей литературе.

— Больше журналы...— отвечала Настенька.

— Последние годы,— вмешался Петр Михайлыч,— только журналы и читаем... Разнообразно они стали нынче издаваться... хорошо; все тут есть: и для приятного чтения, и полезные сведения, история политическая и натуральная, критика... хорошо-с.

Калинович слегка улыбнулся.

— Вы несколько пристрастны к нашим журналам,— сказал он,— они и сами, я думаю, не предполагают в себе тех достоинств, которые вы в них открыли.

— Не знаю-с,— отвечал Петр Михайлыч,— я говорю, как понимаю. Вот как перебранка мне их не нравится, так не нравится! Помилуйте, что это такое? Вместо того чтоб рассуждать о каком-нибудь вопросе, они ставят друг другу шпильки и стараются, как борцы какие-нибудь, подшибить друг друга под ногу.

— В дельном и честном журнале, если б только он существовал,— начал Калинович,— непременно должно существовать сильное и энергическое противодействие прочим нашим журналам, которые или не имеют никакого направления, или имеют, но фальшивое.

— Так, так! — подтверждал Петр Михайлыч, видимо, не понявший, что именно говорил Калинович.— И вообще,— продолжал он с глубокомысленным выражением в лице,— не знаю, как вы, Яков Васильич, понимаете, а я сужу так, что нынче вообще упадает литература.

Калинович ничего не отвечал, а только вопросительно посмотрел на старика.

— Прежде,— продолжал Петр Михайлыч,— для поэзии брали предметы как-то возвышеннее: Державин, например, писал оду «Бог», воспевал императрицу, героев, их подвиги, а нынче дались эти женские глазки да ножки... Помилуйте, что это такое?

Легкий оттенок насмешки пробежал по лицу Калиновича.

— За нынешней литературой останется большая заслуга: прежде риторически лгали, а нынче без риторики начинают понемногу говорить правду,— проговорил он и мельком взглянул на Настеньку, которая ответила ему одобрительной улыбкой.

— Я этих од решительно читать не могу,— начала она.— Или вот папенька восхищается этим Озеровым. Вообразите себе: Ксения, русская княжна, которых держали

взаперти, едет в лагерь к Донскому — как это правдоподобно!

Калинович только усмехнулся. Петр Михайлыч начал колебаться.

— Я моего мнения за авторитет и не выдаю, — начал он, — и даже очень хорошо понимаю, что нынче пишут к чувствам, к жизни нашей ближе, поучают больше в форме сатирической повести — это в своем роде хорошо.

— Даже, полагаю, очень хорошо: гораздо честнее отстаивать слабых, чем хвалить сильных,— сказал Калинович.

— Именно так! — подтвердила Настенька с сияющим в глазах удовольствием.

— Да коли с этой целью, так конечно: кто с этим будет спорить? — согласился и Петр Михайлыч, окончательно разбитый со всех сторон.

— Нынче есть великие писатели,— начала Настенька,— эти трое: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, о которых Белинский так много теперь пишет в «Отечественных записках».

— А вы и критику читаете? — спросил ее Калинович.

— Да,— отвечала она с некоторою гордостью.

— Горячая и умная голова этот господин критик Белинский! — заметил Петр Михайлыч.

— Вы согласны с его взглядом? — спросила Настенька.

— Почти,— отвечал Калинович,— но дело в том, что Пушкина нет уж в живых,— продолжал он с расстановкой,— хотя, судя по силе его таланта и по тому направлению, которое принял он в последних своих произведениях, он бы должен был сделать многое.

— Многое бы, сударь, он сделал! Вдохновенный был поэт!.. Сам Державин наименовал его своим преемником!— подхватил Петр Михайлыч каким-то торжественным тоном.

— Вот как Гоголь...— стал было он продолжать, но вдруг и приостановился.

— Что ж Гоголь?..— возразила ему дочь.

— Гоголя, по-моему, чересчур уж захвалили,— отвечал старик решительно.— Конечно, кто у него может это отнять: превеселый писатель! Все это у него выходит живо, точно видишь перед собой, все это от души смешно и в то же время правдоподобно; но...

Калинович слегка усмехнулся этому простодушному определению Гоголя.

— Гоголь громадный талант,— начал он,— но покуда с приличною ему силою является только как сатирик, а потому раскрывает одну сторону русской жизни, и раскроет ли ее вполне, как обещает в «Мертвых душах», и проведет ли славянскую деву и доблестного мужа — это еще сомнительно.

— Неужели вам Лермонтов не нравится? — спросила Настенька.

— Лермонтов тоже умер,— отвечал Калинович,— но если б был и жив, я не знаю, что бы было. В том, что он написал, видно только, что он, безусловно, подражал Пушкину, проводил байронизм несколько на военный лад и, наконец, целиком заимствовал у Шиллера в одухотворениях стихий.

— Нет, неправда; Лермонтов для меня чудо как хорош! — сказала Настенька.

— Да,— продолжал Калинович, подумав,— он был очень умный человек и с неподдельно страстной натурой, но только в известной колее. В том, что он писал, он был очень силен, зато уж дальше этого ничего не видел.

Настенька отрицательно покачала головой; она была с этим решительно не согласна.

— Кроме этих трех писателей, мне и другие очень нравятся,— проговорила она после минутного молчания.

— Кто же именно? — спросил Калинович.

— Например, Загоскин, Лажечников, которого «Ледяной дом» я раз пять прочитала, граф Соллогуб: его «Аптекарша» и «Большой свет» мне ужасно нравятся; теперь Кукольник, Вельтман, Даль, Основьяненко.

При этом перечне лицо Петра Михайлыча сияло удовольствием, оттого что дочь обнаруживала такое знакомство с литературой; но Калинович слушал ее с таким выражением, по которому нетрудно было догадаться, что называемые ею авторы не пользовались его большим уважением.

— Много: всех не перечтешь! — произнес он.

— О, да какой вы, должно быть, строгий и тонкий судья! — воскликнул Петр Михайлыч.

Калинович ничего не отвечал и только потупил глаза в землю.

— А сами вы не пишете ничего? — спросила его вдруг Настенька.

— Почему же вы думаете, что я пишу? — спросил он, в свою очередь, как бы несколько сконфуженный этим вопросом.

— Так мне кажется, что вы непременно сами пишете.

— Может быть,— отвечал Калинович.

Петр Михайлыч захлопал в ладоши.

— Ага! Ай да Настенька! Молодец у меня: сейчас попала в цель! — говорил он.— Ну что ж! Дай бог! Дай бог! Человек вы умный, молодой, образованный... отчего вам не быть писателем?

— Что же вы пишете? — спросила опять Настенька.

Но Калинович не отвечал.

— Это, сударыня, авторская тайна,— заметил Петр Михайлыч,— которую мы не смеем вскрывать, покуда не захочет того сам сочинитель; а бог даст, может быть, настанет и та пора, когда Яков Васильич придет и сам прочтет нам: тогда мы узнаем, потолкуем и посудим... Однако,— продолжал он, позевнув и обращаясь к брату,— как вы, капитан, думаете: отправиться на свои зимние квартиры или нет?

— Нет, я посижу-с,— отвечал тот.

В продолжение года капитан не уходил после обеда домой в свое пернатое царство не более четырех или пяти раз, но и то по каким-нибудь весьма экстренным случаям. Видимо, что новый гость значительно его заинтересовал. Это, впрочем, заметно даже было из того, что ко всем словам Калиновича он чрезвычайно внимательно прислушивался.

— Ну, и до́бре; а я так прошу у нашего почтенного гостя позволение отдохнуть: привычка,— говорил Петр Михайлыч, вставая.

— Сделайте одолжение,— отвечал Калинович.

— Вас, впрочем, я не пущу домой, что вам сидеть одному в нумере? Вот вам два собеседника: старый капитан и молодая девица, толкуйте с ней! Она у меня большая охотница говорить о литературе,— заключил старик и, шаркнув правой ногой, присел, сделал ручкой и ушел. Чрез несколько минут в гостиной очень чувствительно послышалось его храпенье. Настеньку это сконфузило.

— Не хотите ли в сад погулять? — сказала она, вос-

пользовавшись тем, что Калинович часто брался за голову.

— Очень бы желал освежиться,— отвечал тот,— ваши наливки бесподобны, но уж очень скоро ведут к цели.

Все вышли.

Сад Годневых, купленный вместе с домом у бывшего когда-то предводителем богатого холостяка и большого садовода, отличался некогда большими запотроями. Палагея Евграфовна постоянно обнаруживала сильное поползновение разбить в нем всюду огородные плантации. «Вон лес-то растет, а моркови негде сеять»,— брюзжала она, хотя очень хорошо знала, что морковь было бы где сеять, если б она не пустила две лишние гряды под капусту; но Петр Михайлыч, отчасти по собственному желанию, отчасти по настоянию Настеньки, оставался тверд и оставлял большую часть сада в том виде, в каком он был, возражая экономке:

— Не все, мать, хлопотать о полезном; позаботимся и о приятном. В жизни надо мешать utile cum dulce [1].

Выход в сад был прямо из гостиной с небольшого балкончика, от которого прямо начиналась густо разросшаяся липовая аллея, расходившаяся в широкую площадку, где посредине стояла полуразвалившаяся китайская беседка. От этой беседки, в различных расстояниях, возвышались деревянные статуи олимпийских богов, какие, может быть, читателям случалось видать в некогда существовавшем саду Осташевского, который служил прототипом для многих помещичьих садов. Из числа этих олимпийских богов осталась Минерва без правой руки, Венера с отколотою половиной головы и ноги какого-то бога, а от прочих уцелели одни только пьедесталы. Все эти остатки богов и богинь были выкрашены яркими красками. Место это Петр Михайлыч называл разрушенным Олимпом.

— Надобно бы мне мой Олимп реставрировать; мастеров только здесь не найдешь! — часто говорил он, ходя около статуй.

За газоном следовал довольно крутой скат к реке, с заметными следами двух или трех фонтанов и с сбегающими в разных направлениях дорожками. Кроме того, по всему этому склону росли в наклоненном положении огромные кедры, в тени которых стояла не то часовня, не

---

[1] полезное с приятным (*лат.*).

то хижина, где, по словам старожилов, спасался будто бы некогда какой-то старец, но другие объясняли проще, говоря, что прежний владелец — большой между прочим шутник и забавник — нарочно старался придать этой хижине дикий вид и посадил деревянную куклу, изображающую пустынножителя, которая, когда кто входил в хижину, имела свойство вставать и кланяться, чем пугала некоторых дам до обморока, доставляя тем хозяину неимоверное удовольствие. Противоположный, низовый берег реки возвышался отлогою покатостью и сплошь был покрыт как бы подстриженным мелким ельником. С горизонтом сливался он в полукруглой раме, над которой не возвышалось ни деревца, ни облака, и только посредине прорезывалась высокая дальнего села колокольня. День был, как это часто бывает в начале сентября, ясный, теплый; с реки, гладкой, как стекло, начинал подыматься легкий туман. Все это, освещенное довольно уж низко спустившимся солнцем, которое то прорезывалось местами в аллее и обозначалось светлыми на дороге пятнами, то придавало всему какой-то фантастический вид, освещая с одной стороны безглавую Венеру и бездланную Минерву,—все это, говорю я, вместе с миниатюрной Настенькой, в ее черном платье, с ее разбившимися волосами, вместе с усевшимся на ступеньки беседки капитаном с коротенькой трубкой в руках, у которого на вычищенных пуговицах вицмундира тоже играло солнце,— все это, кажется, понравилось Калиновичу, и он проговорил:

— Как здесь хорошо! Какое прекрасное местоположение!

— Для приезжающих! — подхватила Настенька.— Впрочем, это единственное место, где мне легче живется, — прибавила она и попросила у Калиновича папироску, которую и закурила в трубке у дяди.

Капитан покачал ей головой и проговорил:

— Смотрите, папаша увидит.

Настенька очень любила курить, но делала это потихоньку от отца: Петр Михайлыч, балуя и не отказывая дочери ни в чем, выходил всегда из себя, когда видел ее с папироской.

— Гусар, сударь, Настасья Петровна, гусар! После этого дамам остается только водку пить,— говорил он.

Но капитан покровительствовал в этом случае племяннице и, с большим секретом от Петра Михайлыча, делал

иногда для нее из слабого турецкого табаку папиросы, в производстве которых желая усовершенствоваться, с большим вниманием рассматривал у всех гостей папиросы, наблюдая, из какой они были сделаны бумаги и какого сорта вставлен был картон в них.

— Вы видели портрет Жорж Занд? — спросила Настенька, ходя по аллее с Калиновичем.

— Видел,— отвечал тот.

— Хороша она собой? Молода?

— Нет, не очень молода, но хороша еще.

— А правда ли, что она ходит в мужском платье?

— Не думаю, на портрете она в амазонке.

— Как бы я желала иметь ее портрет! Я ужасно люблю ее романы.

— А который вы из них предпочитаете?

— Все чудо как хороши! «Индиану» я и не знаю сколько раз прочитала.

— И, конечно, плакали над ее участью,— сказал Калинович. В голосе его слышалась скрытая насмешка.

— Что ж плакать над участью Индианы? — возразила Настенька.— Она, по-моему, вовсе не жалка, как другим, может быть, кажется; она по крайней мере жила и любила.

Калинович слегка улыбнулся и молчал.

— Неужели же,— продолжала Настенька,— она была бы счастливее, если б свое сердце, свою нежность, свои горячие чувства, свои, наконец, мечты, все бы задушила в себе и всю бы жизнь свою принесла в жертву мужу, человеку, который никогда ее не любил, никогда не хотел и не мог ее понять? Будь она пошлая, обыкновенная женщина, ей бы еще была возможность ужиться в ее положении: здесь есть дамы, которые говорят открыто, что они терпеть не могут своих мужей и живут с ними потому, что у них нет состояния.

— Причина довольно уважительная! — заметил Калинович.

— Только не для Индианы. По ее натуре она должна была или умереть, или сделать выход. Она ошиблась в своей любви — что ж из этого? Для нее все-таки существовали минуты, когда она была любима, верила и была счастлива.

— Ей бы следовало полюбить Ральфа,— возразил Калинович,— весь роман написан на ту тему, что женщи-

ны часто любят недостойных, а людям достойным узнают цену довольно поздно. В последних сценах Ральф является настоящим героем.

— Ральф герой? Никогда! — воскликнула Настенька.— Я не верю его любви; он, как англичанин, чудак, занимался Индианой от нечего делать, чтоб разогнать, может быть, свой сплин. Адвокат гораздо больше его герой: тот живой человек; он влюбляется, страдает... Индиана должна была полюбить его, потому что он лучше Ральфа.

— Чем же он лучше? Он эгоист.

— Нет, он мужчина, а мужчины все честолюбивы; но Ральф — фи! — это тряпка! Индиана не могла быть с ним счастлива: она попала из огня в воду.

Все это Настенька говорила с большим одушевлением; глаза у ней разгорелись, щеки зарумянились, так что Калинович, взглянув на нее, невольно подумал сам с собой: «Бесенок какой!» В конце этого разговора к ним подошел капитан и начал ходить вместе с ними.

— Вон дяденьке так очень нравится Ральф,— продолжала Настенька, указывая на дядю, и потом отнеслась к нему:

— Дяденька, вам нравится Ральф — помните, этот англичанин... третьего дня читали?

— Нравится.

— Чем же?

— Человек солидный-с,— отвечал капитан.

Слушая «Индиану», капитан действительно очень заинтересовался молчаливым англичанином, и в последней сцене, когда Ральф начал высказывать свои чувства к Индиане, он вдруг, как бы невольно, проговорил: «а... а!»

— Что, капитан, не ожидали вы этого? — спросил Петр Михайлыч.

— Да-с, не предполагал,— отвечал капитан.

Таким образом молодые люди гуляли в саду до поздних сумерек. Разговор между ними не умолкал. Калинович, впрочем, больше спрашивал и держал себя в положении наблюдателя; зато Настенька разговорилась неимоверно. Она откровенно высказала, как удивилась, услышав, что Калинович поехал делать визиты, и потом описала в карикатуре всю уездную аристократию. Очень мило и в самом смешном виде рассказала она, не щадя самое себя, единственный свой выезд на бал, как она была там хуже всех, как заинтересовался ею самый ничтожный человек, столо-

начальник Медиокритский; наконец, представила, как генеральша сидит, как повертывает с медленною важностью головою и как трудно, сминая язык, говорит.

Капитан, слушая ее, только покачивал головой.

«Бесенок!» — опять подумал про себя Калинович.

Между тем Петр Михайлыч проснулся, умылся, прифрантился и сидел уж в гостиной, попивая клюквенный морс, который Палагея Евграфовна для него приготовляла и подавала всегда собственноручно. В настоящую минуту он говорил с нею вполголоса насчет молодого смотрителя.

— Ах, боже мой, боже мой! Лучше бы этого человека желать не надобно для Настеньки,— говорила Палагея Евграфовна.

Калинович очень понравился ей опрятностью в одежде, деликатностью своей, а более всего тем, что оказал должное внимание приготовленным ею кушаньям.

— Все в руце божией! — замечал Петр Михайлыч.

Когда молодые люди вернулись, экономка сейчас же скрылась, а Настенька, по обыкновению, села разливать чай.

— Чем же мы вечер займемся? — начал Петр Михайлыч.— Не любите ли вы, Яков Васильич, в карточки поиграть? Не тряхнуть ли нам в преферанс?

Это предложение почему-то сконфузило Калиновича.

— Если вам угодно... впрочем, я по большой не играю,— ответил он.

— У нас огромная игра: по копейке.

— Извольте.

— Господин капитан,— обратился Петр Михайлыч к брату,— распорядитесь о столе!

Капитан с заметным удовольствием исполнил эту просьбу: он своими руками раскрыл стол, вычистил его, отыскал и положил на приличных местах игранные карты, мелки и даже поставил стулья. Он очень любил сыграть пульку и две в карты.

Настенька, никогда прежде не игравшая, сказала, что и она будет играть. Таким образом, уселись все четверо. Хотя игра эта была почти шалостью, но и в ней некоторым образом высказались характеры участвующих. Капитан играл внимательно и в высшей степени осторожно, с большим вниманием обдумывая каждый ход; Петр Михайлыч, напротив, горячился, объявлял рискованные иг-

ры, сердился, бранил Настеньку за ошибки, делая сам их беспрестанно, и грозил капитану пальцем, укоряя его: «Не чисто, ваше благородие... подсиживаете!» Настенька, по-видимому, была занята совсем другим: она то пропускала игры, то объявляла ни с чем и всякий раз, когда Калинович сдавал и не играл, обращалась к нему с просьбой поучить ее. Что касается последнего, то он играл довольно внимательно и рассчитывал, кажется, чтоб не проиграть,— и не проиграл. Выиграл один только капитан у брата и племянницы. Затем последовал ужин, и при прощанье Настенька спросила Калиновича, любит ли он читать вслух.

— Да, читаю,— отвечал он.

— Когда будете опять у нас, мы попросим вас прочесть что-нибудь.

— Если вам угодно,— проговорил Калинович и начал откланиваться.

— Непременно, мы вас будем ждать,— повторила Настенька еще раз, когда Калинович был уже в передней.

— Славный малый, славный! — сказал Петр Михайлыч по уходе его.

— Он очень умный человек, — присовокупила Настенька.

— Да, голова здоровая,— продолжал старик.— Хорошо нынче учат в университетах: год от году лучше.

— Вы завтра, папенька, позовете его к нам обедать?— спросила Настенька.

— Позову; где ему теперь покуда приютиться,— отвечал Петр Михайлыч и потом, подумав, прибавил: — Меня теперь заботит: у кого ему квартирку приискать.

— Против нас квартира отдается, — заметила Настенька.

Петр Михайлыч подмигнул брату.

— Ого!—воскликнул он.—Какова у нас Настасья Петровна, капитан — а?.. Молодого смотрителя хочет против своего окошечка поместить...

— Да-с,— отвечал капитан.

Настенька слегка покраснела.

— Надо спросить у приказничихи: у ней постояльцы съехали,—решила Палагея Евграфовна, прибиравшая карты, мелки и уставлявшая на свои места карточный стол и стулья.

— Дело, дело! Квартира хорошая! — подхватил Петр Михайлыч. — Сходи-ка завтра к ней, командирша, да поторгуйся хорошенько.

— Сбегаю,— отвечала экономка.

— Только вот что,—продолжал Петр Михайлыч,—если он тут наймет, так ему мебели надобно дать, а то здесь вдруг не найдет.

— Наберем... дадим...— отозвалась уж с некоторою досадою Палагея Евграфовна и ушла.

Петр Михайлыч говорил о том, что она давно и гораздо лучше его обдумала.

После этого разговора начали все расходиться по своим местам.

Настенька первая встала и, сказав, что очень устала, подошла к отцу, который, по обыкновению, перекрестил ее, поцеловал и отпустил почивать с богом; но она не почивала: в комнате ее еще долго светился огонек. Она писала новое стихотворение, которое начиналось таким образом:

Кто б ни был ты, о гордый человек!..

## VI

Как Палагея Евграфовна предположила, так и сделалось: Калинович нанял квартиру у приказничихи. Избранная таким образом хозяйка ему была маленькая, толстая женщина, страшная охотница до пирогов, кофе, чаю, а, пожалуй, небольшим делом, и до водочки. Вдовствуя неизвестное число лет после своего мужа — приказного, она пропитывала себя отдачею своего небольшого домишка внаем и с Палагеей Евграфовной находилась в теснейшей дружбе, то есть прибегала к ней раза три в неделю попить и поесть, отплачивая ей за то принесением всевозможных городских новостей; а если таковых не случалось, так и от себя выдумывала. Дальновидная экономка рассчитала поставить к ней Калиновича, во-первых, затем, чтоб у приятельницы квартира не стояла пустая, во-вторых, она знала, что та разузнает и донесет ей о молодом человеке все, до малейших подробностей. И действительно, приказничиха начала, как зайца, выслеживать постояльца своего и на первое время была в совершенном от него восторге.

— Матери мои! — говорила она, растопыривая обе ру-

ки.— Что это за человек! Умница, скромница... прелесть, прелесть мужчина!

А потом, когда Калинович принял предложенную Петром Михайлычем мебель и расставил ее у себя, она пришла в какое-то почти исступление: прибежала к Палагее Евграфовне, лицо ее пылало, глаза горели.

— Мать ты моя, Палагея Евграфовна! — начала она рапортовать.— Не узнаю я моей квартиры, не мой дом, не мои комнаты, хоть вон выходи. Что-что у меня до этого дворянин-помещик стоял — насорил, начернил во всех углах; а у этого, у моего красавчика, красота, чистота... прелесть, прелесть мужчина!

Все эти рассказы еще более возвышали в глазах Палагеи Евграфовны нового смотрителя, который, в свою очередь, после его не совсем удачных визитов по чиновникам, решился, кажется, лучше присмотреться к самому городу и познакомиться с его окрестностями. Он ходил для этой цели по улицам, рассматривал в соборе церковные древности, выходил иногда в соседние поля и луга, глядел по нескольку часов на реку и, бродивши в базарный день по рынку, нарочно толкался между бабами и мужиками, чтоб прислушаться к их наречью и всмотреться в их перемешанные типы лиц. Но все это — увы! — очень скоро изучилось и пригляделось. День на день стал походить, как ворона на ворону. Часов в шесть, например, летнего утра солнце поднялось уже довольно высоко. В маленьких мещанских домишках начинали просыпаться. Стал показываться из труб дым, и по улицам распространился чувствительный запах рыбы и лука — признак, что хозяйки начали стряпать. Из слободы сошли к берегу два запоздалых рыбака и, помолившись на собор, спустили лодки. Из ворот по временам выходят с коромыслами на плечах и, переваливаясь с ноги на ногу, проворно идут за водой краснощекие и совсем уже без талии, но с толстыми задами мещанские девки, между тем как матери их тонкими, звонкими голосами перебраниваются с такими же звонкоголосыми соседками. На каждом почти дворе клокчут без умолку проголодавшиеся куры. Заблаговестили к ранней. Около собора появилась неописуемая, вроде крытых дрожек, колесница, запряженная в одну лошадь. В ней прибыла, еще до прихода отца-протопопа, старая девица-помещица, которая, чтоб быть ближе к храму божию, переселилась из своей усадьбы в город с двумя тол-

сторожими девками, очень скоро составившими предмет соблазна для молодых и холостых приказных. По деревянному провалившемуся во многих местах тротуару идет молодой человек из дворян, недоросль Кадников, недавно записавшийся, для составления себе карьеры, в канцелярию предводителя. Он был в перчатках, но без галстука и без фуражки, которую держал в руках. Голова у него была мокрая. Он сейчас только выкупался и был страстный охотник до этого удовольствия. Несмотря на седьмой час утра, он успел уже в третий раз покупаться... Обедня отошла. Купцы в лавках принялись пить чай с калачами. В открытых окнах присутственных мест стали видны широкие, немного опухлые лица столоначальников и ненадолго высовываться завитые и напомаженные головы писцов. У подъезда начали останавливаться сначала дрожки казначея, потом исправника, судьи и так далее. Проехал лекарь по визитам. Этот час вряд ли не самый одушевленный; но потом, часу во втором, около присутственных мест не видно уже ни одной лошади. Окна все спущены; приказчики в лавках от нечего делать подманивают гуляющих на площади голубей известным звуком: «гуля, гуля». Те сглупа подходят, думая сначала, что им корму дадут, а вместо того там ладят кого-нибудь из них за хвост поймать; но они вспархивают и улетают, и вслед за ними ударяется бежать бог знает откуда появившийся щенок, доставляя тем бесконечное удовольствие всем, кто только видит эту сцену. В домах купчихи и мещанки, которые побогаче, выпив по порядочному стаканчику домашней настойки и весьма плотно пообедав, спят за ситцевыми занавесками на своих высочайших приданых перинах. Мужья их, когда не в отлучке, делают то же и спят или в холодниках, или в сарае. Чиновники обедают и тоже прибираются спать, если только, тотчас же после обеда, не разбранятся с женами. После этого на улице почти не бывает видно живого существа; разве пройдет молодой Кадников покупаться... В четыре часа с половиной ударят к вечерне. Все начинает мало-помалу оживать. Выспавшиеся мещанки с измятыми лицами идут к колодцу умываться. Из уездного и духовного училища высыпают школьники и, если встретятся, так и подерутся. Лакеи генеральши, отправив парадный на серебре стол, но в сущности состоящий из жареной печенки, пескарей и кофейной яичницы, лакеи эти, заморив собственный свой го-

лод пустыми щами, усаживаются в своих ливрейных фраках на скамеечке у ворот и начинают травить пуделем всех пробегающих мимо собак, а пожалуй, и коров, когда тех гонят с поля. На валу появляются гуляющие группы, причем молодые дамы и девицы блестят на солнце своими яркоцветными платьями и своими тоже яркими шляпками. Глядя на эти группы, невольно подумаешь, отчего бы им не сойтись в этой деревянной на валу беседке и не затеять тут же танцев,— кстати же через город проезжает жид с цимбалами,— и этого, я уверен, очень хочется сыну судьи, семиклассному гимназисту, и пятнадцатилетней дочери непременного члена, которые две недели без памяти влюблены друг в друга и не имеют возможности сказать двух слов между собою. Но нет и нет этого! Группы, встречаясь, кланяются, меняются несколькими фразами и расходятся. Между тем по улице, обратив на себя всеобщее внимание, проносится в беговых дрожках, на вороном рысаке, молодой сын головы, страстный охотник до лошадей и, как говорится, батькины слезы, потому что сильно любит кутнуть, и все с дворянами. Солнце садится. Воздух свежеет; гуляющие расходятся по домам; в окнах замелькали огоньки. Вон, с одной свечкой, босоногая Ольгунька накрывает у городничего стол, и он садится с своей многолюдной семьей ужинать. Вон исправница ходит по залу с молодым офицером и заметно с ним любезничает. Вон в маленьком домике честолюбивый писец магистрата, из студентов семинарии, чтоб угодить назавтра секретарю, отхватывает вечером седьмой лист четким почерком, как будто даже не чувствует усталости, но, приостановясь на минутку, вытянет разом стоящую около него трубку с нежинскими корешками, плюнет потом на пальцы, помотает рукой, чтоб разбить приливщую кровь, и опять начинает строчить. Вон в доме первогильдейного купца, в наугольной комнате, примащивается старуха-мать поправить лампаду, горящую перед богатой божницей, сердито посматривая на лежанку, где заснула молодая ее невестка, только что привезенная из Москвы. На постоялом дворе, с жирным шиворотком и в красной ситцевой рубашке, сидит хозяин за столом и рассчитывает извозчика, медленно побрасывая толстыми, опухлыми пальцами косточки на счетах. Извозчик стоит перед ним в изорванном полушубке и как бы говорит своей печальной физиономией: «Эка, паря, как обдирает».

Такова была почти вся с улицы видимая жизнь маленького городка, куда попал герой мой; но что касается простосердечия, добродушия и дружелюбия, о которых объяснял Петр Михайлыч, то все это, может быть, когда-нибудь бывало в старину, а нынче всем и каждому, я думаю, было известно, что окружный начальник каждогодно делает на исправника донос на стеснительные наезды того на казенные имения. Стряпчий, молодой еще мальчик, придирается и ставит крючки уездному суду на каждом протоколе, хоть сколько-нибудь выгодном для интереса. Даже старичишка городничий, при всей своей доброте, был с лекарем на ножах, по случаю общих распоряжений больничными суммами. Два брата Масляниковы, довольно богатые купцы, не дальше как на днях, деливши отцовское наследство, на площади, при всем народе, дрались и таскали друг друга за волосы из-за вытертой батькиной енотовой шубы. Где ж тут дружелюбие? Скорее ненависть, злоба и зависть здесь царствовали, и только, сверх того, над всем этим царила какая-то мертвенность и скука, так что даже отерпевшиеся старожилы-чиновники и те скучали. Срывки нынче по службе тоже пошли выпадать все маленькие, ничтожные, а потому карточная игра посерьезнее совершенно прекратилась: только и осталось одно развлечение, что придет иногда заседатель уездного суда к непременному члену, большому своему приятелю, поздоровается с ним... и оба зевнут.

— Что, Семен Григорьич, нет ли чего новенького? — спросит один.

— Нет, не слыхал, — ответит другой, и опять оба зевнут.

— А что,— спросит первый,— вы пешком или на лошади?

— А что же? — спросит в свою очередь второй.

— Да так; не хотите ли к Семенову зайти? Мне винца столового надо посмотреть.

— Хорошо; зайдемте.

Зайдут к Семенову, а тут кстати раскупорят, да и разопьют бутылочки две мадеры и домой уж возвратятся гораздо повеселее, тщательно скрывая от жен, где были и что делали; но те всегда догадываются по глазам и делают по этому случаю строгие выговоры, сопровождаемые иногда слезами. Чтоб осушить эти слезы, мужья дают обещание не заходить никогда к Семенову; но им весьма

основательно не верят, потому что обещания эти нарушаются много-много через неделю.

Герой мой был слишком еще молод и слишком благовоспитан, чтобы сразу втянуться в подобного рода развлечение; да, кажется, и по характеру своему был совершенно не склонен к тому. Соскучившись развлекаться изучением города, он почти каждый день обедал у Годневых и оставался обыкновенно там до поздней ночи, как в единственном уголку, где радушно его приняли и где все-таки он видел человечески развитых людей; а может быть, к тому стала привлекать его и другая, более существенная причина; но во всяком случае, проводя таким образом вечера, молодой человек отдал приличное внимание и службе; каждое утро он проводил в училище, где, как выражался математик Лебедев, успел уж показать *когти*: первым его распоряжением было — уволить Терку, и на место его был нанят молодцеватый вахмистр. В четверг, который был торговым днем в неделе, многие из учеников, мещанских детей, не приходили в класс и присутствовали на базаре: кто торговал в лавке за батьку, а кто и так зевал. Калинович, узнав об этом, призвал отцов и объявил, что если они станут удерживать по торговым дням детей, то он выключит их. Те думали, что новый смотритель подарочка хочет, сложились и общими силами купили две головки сахару и фунтика два чаю и принесли все это ему на поклон, но были, конечно, выгнаны позорным образом, и потом, когда в следующий четверг снова некоторые мальчики не явились, Калинович на другой же день всех их выключил — и ни просьбы, ни поклоны отцов не заставили его изменить своего решения. В продолжение классов он сидел то у того, то у другого из учителей, с явной целью следить за способами их преподавания. Лебедев, толкуя таблицу извлечения корней, не то чтоб спутался, а позамялся немного и тотчас же после класса позван был в смотрительскую, где ему с холодною вежливостью замечено, что учитель с преподаваемою им наукою должен быть совершенно знаком и что при недостатке сведений лучше избрать какую-нибудь другого рода службу. Зверолов целый месяц не ходил за охотой и все повторял.

— Вот,—говорил он, потрясая своей могучей, совершенно нечесанной головой, — долби зады! Как бы взять тебя, молокососа, да из хорошей винтовки шаркнуть пулей, так забыл бы важничать!

Румянцев до невероятности подделывался к новому начальнику. Он бегал каждое воскресенье поздравлять его с праздником, кланялся ему всегда в пояс, когда тот приходил в класс, и, наконец, будто бы даже, как заметили некоторые школьники, проходил мимо смотрительской квартиры без шапки. Но все эти искания не достигали желаемой цели: Калинович оставался с ним сух и неприветлив.

Впрочем, больше всех гроза разразилась над Экзархатовым, который крепился было месяца четыре, но, получив январское жалованье, не вытерпел и выпил; домой пришел, однако, тихий и спокойный; но жена, по обыкновению, все-таки начала его бранить и стращать, что пойдет к новому смотрителю жаловаться.

— А! Яшка Калинович,— воскликнул он, сжимая кулак и потрясая им, как трагический актер,— боюсь я какого-нибудь Яшки Калиновича! Врет он! Он не узнал меня: ему стыдно было поклониться Экзархатову,— так знай же, что я презираю его еще больше — подлец! Я в ноги поклонюсь Петру Михайлычу, а перед ним на полвершка не согну головы!.. Он отрекся от старого товарища — подлец! Ступай к нему, змея подколодная, иди под крыло и покровительство тебе подобного Калиновича! — продолжал он, приближаясь к жене; но та стала уж в оборонительное положение и, вооружившись кочергою, кричала, в свою очередь:

— Только тронь! Только тронь! Так вот крюком оба глаза и выворочу!

Две младшие девчонки, испугавшись за мать, начали реветь. На крик этот пришел домовый хозяин, мещанин, и стал было унимать Экзархатова; но тот, приняв грозный вид, закричал на него:

— Плебей, иди вон!

Но плебей не шел. Экзархатов схватил его за шиворот и приподнял на воздух; но в это время ему самому жена вцепилась в галстук; девчонки еще громче заревели... словом, произошла довольно неприятная домашняя сцена, вследствие которой Экзархатова, подхватив с собой домохозяина, отправилась с жалобой к смотрителю, все-про-все рассказала ему о своем озорнике, и чтоб доказать, сколько он человек буйный, не скрыла и того, какие он про него, своего начальника, говорил поносные слова. Это же самое подтвердил и хозяин дома. Калинович выслушал их очень внимательно и спокойно.

— Очень хорошо, распоряжусь,— сказал он и велел им идти домой, а сам тотчас же написал городничему отношение о производстве следствий о буйных и неприличных поступках учителя Экзархатова и, кроме того, донес с первою же почтою об этом директору. Когда это узналось и когда глупой Экзархатовой растолковали, какой ответственности подвергается ее муж, она опять побежала к смотрителю, просила, кланялась ему в ноги.

— Батюшка,— молила она,— не пусти по миру! Мало ли что у мужа с женой бывает — не все в согласии живут. У нас с ним эти побоища нередко бывали — все сходило... Помилуй, отец мой!

Пришел и хозяин дома с этой же просьбой.

— Я, сударь, говорит, не ищу; вот те царица небесная, не ищу; тем, что он человек добрый и дал только тебе за извет, а ничего не ищу.

На все эти просьбы Калинович отвечал:

— Я ничего теперь больше не могу сделать с своей стороны,— и не стал больше слушать.

Экзархатова бросилась после этого к Петру Михайлычу и рассказала ему все, как было.

— Дура вы, сударыня, хоть и дама! Кутить да мутить только умеете! — отвечал он ей.

— Батюшка, Петр Михайлыч, если бы я это знала! Принимаючи от нас просьбу, хоть бы вспыхнул: тихо да ласково выслушал, а сам кровь хочет пить — аспид этакой!

— То-то и есть, а меня так потатчиком называли,— проговорил Петр Михайлыч и пошел к Калиновичу.

— Яков Васильич, отец и командир! — говорил он, входя.— Что это вы затеяли с Экзархатовым? Плюньте, бросьте! Он уж, ручаюсь вам, больше никогда не будет... С ним это, может быть, через десять лет случается...— солгал старик в заключение.

— Я ничего не могу теперь сделать,— отвечал Калинович и объяснил, что он донес уже директору.

— Ах, боже мой! Боже мой! — говорил Петр Михайлыч.— Какой вы молодой народ вспыльчивый! Не разобрав дела, бабы слушать — нехорошо... нехорошо...— повторил он с досадою и ушел домой, где целый вечер сочинял к директору письмо, в котором, как прежний начальник, испрашивал милосердия Экзархатову и клялся,

что тот уж никогда не сделает в другой раз подобного проступка.

Ходатайство его было по возможности успешно: Экзархатову сделали строгий выговор и перевели в другой город. Когда тот пришел прощаться, старик, кажется, приготовлялся было сделать ему строгое внушение, но, увидев печальную фигуру своего любимца, вместо всякого наставления спросил, есть ли у него деньги на дорогу. Экзархатов покраснел и ничего не отвечал. Петр Михайлыч потихоньку и очень проворно сунул ему в руку десять рублей серебром. Экзархатов вместо ответа хотел было поймать у него руку и поцеловать, но Годнев остерегся. Из первого же города бедняк прислал письмо, которое все было испещрено пятнами от слез. Читая его, Петр Михайлыч расчувствовался и сам прослезился. Когда Настенька спросила его, что такое с ним, он отвечал:

— В гроб с собой возьму это письмо! Царь небесный простит мне за него хоть один из моих грехов.

Вскоре пришел Калинович и, заметив, что Петр Михайлыч в волнении, тоже спросил, что такое случилось. Настенька рассказала.

— В гроб, сударь, возьму с собой это письмо! — повторил и ему Петр Михайлыч.

Калинович в ответ на это только переглянулся с Настенькой, и оба слегка улыбнулись.

Вообще между стариком и молодыми людьми стали постоянно возникать споры по поводу всевозможных житейских случаев: исключали ли из службы какого-нибудь маленького чиновника, Петр Михайлыч обыкновенно говорил: «Жаль, право, жаль!», а Калиновичу, напротив, доставляло это даже какое-то удовольствие.

— С ним не то бы еще надобно было сделать,— замечал он.

— Эх, Яков Васильич! — возражал Петр Михайлыч.— Семьянин, сударь! Чем теперь станет питаться с семьей?

— Он делал зло тысячам, так им одним с его семьей можно пожертвовать для общей пользы,— отвечал Калинович.

— Знаю-с,— восклицал Петр Михайлыч,— да постращать бы сначала, так, может быть, и исправился бы!

Затевалась ли в городе свадьба, или кто весело справлял именины, Петр Михайлыч всегда с удовольствием

рассказывал об этом. «Люблю, как люди женятся и веселятся»,— заключал он; а Калинович с Настенькой начнут обыкновенно пересмеивать и доказывать, что все это очень пошло и глупо, так что старик выходил, наконец, из себя и даже прикрикивал, особенно на дочь, которая, в свою очередь, не скрываясь и довольно дерзко противоречила всем его мягким и жизненным убеждениям, но зато Калиновича слушала, как оракула, и соглашалась с ним безусловно во всем.

Когда Петр Михайлыч начал в своей семье осуждать резкие распоряжения молодого смотрителя по училищу, она горячо заступалась и говорила:

— Не может же благородно мыслящий человек терпеть это спокойно!

Фразу эту она буквально заимствовала у Калиновича.

— Зло есть во всех,— возражал ей запальчиво Петр Михайлыч,— только мы у других видим сучок в глазу, а у себя бревна не замечаем.

— Что ж, папенька, неужели же Калинович хуже всех этих господ? — спрашивала Настенька с насмешкой.

— Я не говорю этого,— отвечал уклончиво старик,— человек он умный, образованный, с поведением... Я его очень люблю; но сужу так, что молод еще, заносчив.

Несмотря на споры, Петр Михайлыч действительно полюбил Калиновича, звал его каждый день обедать, и когда тот не приходил, он или посылал к нему, или сам отправлялся наведаться, не прихворнул ли юноша.

Насчет дальнейших видов Палагеи Евграфовны старик был тоже не прочь и, замечая, что Калинович нравится Настеньке, любил по этому случаю потрунить.

— Кого ты ждешь, по ком тоскуешь? — говорил он ей комическим голосом, когда она сидела у окна и прилежно смотрела в ту сторону, откуда должен был прийти молодой смотритель.

Настеньке было это досадно. Провожая однажды вместе с капитаном Калиновича, она долго еще с ним гуляла, и когда воротились домой, Петр Михайлыч запел ей навстречу:

Как вчера своего милого
Провожала далеко!

Настенька вспыхнула.

— Что это, папенька, за шутки? Это обидно! — проговорила она и ушла в свою комнату.

Чрез полчаса к ней явился было капитан.

— Братец очень огорчен, что вы сердитесь на них. Подите помиритесь и попросите у них прощения,— проговорил он.

Но Настенька не пошла и самому капитану сказала, чтоб он оставил ее в покое. Тот посмотрел на нее с грустною улыбкою и ушел.

Вообще Флегонт Михайлыч в последнее время начал держать себя как-то странно. Он ни на шаг обыкновенно не оставлял племянницы, когда у них бывал Калинович: если Настенька сидела с тем в гостиной — и он был тут же; переходили молодые люди в залу — и он, ни слова не говоря, а только покуривая свою трубку, следовал за ними; но более того ничего не выражал и не высказывал.

Частые посещения молодого смотрителя к Годневым, конечно, были замечены в городе и, как водится, перетолкованы. Первая об этом пустила ноту приказничиха, которая совершенно переменила мнение о своем постояльце — и произошло это вследствие того, что она принялась было делать к нему каждодневные набеги, с целью получить приличное угощение; но, к удивлению ее, Калинович не только не угощал ее, но даже не сажал и очень холодно спрашивал: «Что вам угодно?»

— Подлинно, матери мои, человека не узнаешь, пока пуд соли не съешь,— говорила она,— то ли уж мне на первых порах не нравился мой постоялец, а вышел прескупой-скупой мужчина. Кусочка, матери мои, не уволит дома съесть, белого хлебца к чайку не купит. Все пустым брандыхлыстом брюхо наливает, а коли дома теперь сидит — как собака голодный, так без ужина и ляжет. Только и кормится, что у Годневых; ну а те, тоже знаем, из чего прикармливают. Девка-то, говорят, на стену лезет — так ей за этого жениха желается, и дай бог ей, конечно: кто того из женщин не желает?

Все эти слухи глубоко поразили сердце все еще влюбленного Медиокритского. Ровно трои сутки молодой столоначальник пил с горя в трактире с приятелем своим, писцом казначейства Звездкиным, который был при нем чем-то вроде наперсника: поверенный во всех его сердечных тайнах, он обыкновенно курил на его счет табак и жуировал в трактирах, когда у Медиокритского случались деньги. Разговор между приятелями был, как видно, на этот раз задушевный. Медиокритский держал в руках гитару.

Потрынькивая на ней в раздумье, он час от часу становился мрачней и начинал уж, как говорится, «погасать».

— Саша!.. Друг!.. Сыграй что-нибудь, отведи мою душу! — начал Звездкин, тоже сильно выпивший.

Медиокритский вместо ответа взял в прищипку на гитаре аккорд и запел песню собственного сочинения:

Знаешь девушку иль нет,
Черноглазу, черноброву?
Ах, где, где, где?
Во Дворянской слободе.

Как та девушка живет,
С кем любовь свою ведет?
Ах, где, где, где?
Во Дворянской слободе.

Ходит к ней, знать, молодец,
Не боярин, не купец.
Ах, где, где, где?
Во Дворянской слободе.

— А прочее сами понимайте и на ус мотайте! — заключил он и, взъерошив себе еще больше волосы, спросил две пары пива.

— Слушай, Саша! Я тебя люблю и все знаю и понимаю,— продолжал Звездкин.

— Погоди, постой!— начал Медиокритский, ударив себя в грудь.— Когда так, правду говорить, она и со мной амурничала.

— Знаю,— подтвердил Звездкин.

— Постой! — перебил Медиокритский, подняв руку кверху.— Голова моя отчаянная, в переделках я бывал!.. Погоди! Я ее оконфужу!.. Перед публикой оконфужу! — И затем что-то шепнул приятелю на ухо.

— Важно, Саша! Слушай! Ты меня тоже знаешь, валяй, брат!.. Коли я тебе это говорю, ну, и баста! — подтвердил Звездкин.

— И баста! — подтвердил Медиокритский совершенно уж потухающим голосом.

## VII

Невдолге после описанных мною сцен Калиновичу принесли с почты объявление о страховом письме и о посылке на его имя. Всегда спокойный и ровный во всех своих поступках, он пришел на этот раз в сильное волнение: тотчас же пошел скорыми шагами на почту и начал что

есть силы звонить в колокольчик. Почтмейстер отворил, по обыкновению, двери сам; но, увидев молодого смотрителя, очень сухо спросил своим мрачным голосом:

— Что вам угодно?

Калинович стал просить выдать ему письмо.

— Нет, сударь, не могу: сегодня день почтовый,— возразил спокойно почтмейстер, идя в залу, куда за ним следовал, почти насильно врываясь, Калинович.

— Не могу, сударь, не могу! — повторял почтмейстер.— Вы вот сами отказали мне в книжках, аки бы не приняли еще библиотеки, и я не могу: закон не обязывает меня производить сегодня выдачу.

Калинович извинялся и уверял, что он сейчас же пойдет в училище и пришлет каких только угодно ему книг.

— Дорога, сударь, милостыня в минуту скудости,— возражал почтмейстер,— вы меня, больного человека, в минуту душевной и телесной скорби не утешили единственным моим развлечением.

Калинович продолжал извиняться и просить с совершенно несвойственным ему тоном унижения, так что старик уставил на него пристальный взгляд и несколько минут как бы пытал его глазами.

— Что же вас так интересует это письмо? — заговорил он.— Завтра вы будете иметь его в руках ваших. К чему такое домогательство?

— Это письмо,— отвечал Калинович,— от матери моей; она больна и извещает, может быть, о своих последних минутах... Вы сами отец и сами можете судить, как тяжело умирать, когда единственный сын не хочет закрыть глаз. Я, вероятно, сейчас же должен буду ехать.

Последние слова смягчили почтмейстера.

— Если так, то, конечно... в наше время, когда восстает сын на отца, брат на брата, дщери на матерей, проявление в вас сыновней преданности можно назвать искрой небесной!.. О господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй! Не смею, сударь, отказывать вам. Пожалуйте!— проговорил он и повел Калиновича в контору.

— Какой ваша матушка имеет прекрасный почерк! — сказал он, осматривая внимательно конверт и посылку.

— Это один родственник надписывал,— отвечал Калинович, торопливо беря то и другое и раскланиваясь.

— Книжечками не забудьте меня за мою послугу! — говорил ему вслед почтмейстер.

Калинович что-то пробормотал ему в ответ и, сойдя проворно с лестницы, начал читать письмо на ходу, но, не кончив еще первой страницы, судорожно его смял и положил в карман.

Возвратившись домой, он прямо прошел в свой кабинет и сел в каком-то изнеможении. Жалко было видеть его в эти минуты: обычно спокойное и несколько холодное лицо его исказилось выражением полного отчаяния, пульсовые жилы на висках напряглись — точно вся кровь прилила к голове. Видимо, что это был для моего героя один из тех жизненных щелчков, которые сразу рушат и ломают у молодости дорогие надежды, отнимают силу воли, силу к деятельности, веру в самого себя и делают потом человека *тряпкою, дрянью,* который видит впереди только необходимость жить, а зачем и для чего, сам того не знает. В продолжение всего этого дня Калинович не пошел к Годневым, хотя и приходил было оттуда кучер звать его пить чай. Весь вечер и большую часть дня он ходил взад и вперед по комнате и пил беспрестанно воду, а поутру, придя в училище, так посмотрел на стоявшего в прихожей сторожа, что у того колени задрожали и руки вытянулись по швам.

У Румянцева, как нарочно, произошел в этот день большой беспорядок в классе. Известный уже нам Калашников, сидевший в третьем классе третий год, вдруг изобрел прозвать преподавателя словесности *красноглазым зайцем* и предложил классу потравить его: «А коли кто, говорит, не хочет, так сказывайся, я тому сейчас ребра переломаю», и все, конечно, согласились. Румянцев пришел, по обыкновению, напомаженный, причесанный и, жеманясь, сел за свой столик, как вдруг Калашников, наклонив голову под парту, прокричал басом:

— Ату его!

Румянцев взглянул в его сторону.

— Ату его! Ату его! — послышались дисканты на другом конце.

Словесник вскочил:

— Господа! Что это значит? — проговорил он.

— Ату его! Ату его! — отвечала ему вся первая скамейка, и, наконец, все.

— Ату его! Ату его!

Румянцев выбежал и бросился с жалобой к смотрителю. Калинович пришел: пересек весь класс, причем Ка-

лашникову дано было таких двести розог, что тот, несмотря на крепкое телосложение, несколько раз просил во время операции холодной воды, а потом, прямо из училища, не заходя домой, убежал куда-то совсем из города. Наставник тоже не спасся. Калинович позвал его в смотрительскую и целый час пудрил ему голову, очень основательно доказывая, что, если ученики общей массой дурят, стало быть, учитель и глуп и бесхарактерен. Робкий словесник, возвратясь домой, проплакал вместе с матерью целую ночь, не зная, что потом будет с его бедной головой.

Между тем у Годневых ожидали Калиновича с нетерпением и некоторым беспокойством. В урочный час уж капитан явился и, по обыкновению, поздоровавшись с братом, уселся на всегдашнее свое место и закурил трубку.

— Настя, а Настя! — крикнул Петр Михайлыч.

— Что, папаша? — отозвалась та.

— Поди сюда, друг мой.

Настенька вышла в новом платье и в завитых локонах. С некоторого времени она стала очень заниматься своим туалетом.

— Да что Калинович, придет к нам сегодня или нет? Здоров ли он? Не послать ли к нему? — сказал Петр Михайлыч.

— Я посылала к нему, папаша; придет, я думаю,— отвечала Настенька и села у окна, из которого видно было здание училища.

С некоторого времени всякий раз, когда Петр Михайлыч сбирался послать к Калиновичу, оказывалось, что Настенька уж посылала.

Часа в два молодой смотритель явился, наконец, мрачный. Он небрежно кивнул головой капитану, поклонился Петру Михайлычу и дружески пожал руку Настеньке.

— Что вы такие сегодня? — сказала она, когда Калинович сел около нее и задумался.

— Мальчишки, верно, рассердили! — подхватил Петр Михайлыч.— Они меня часто выводили из терпения: расстроят, бывало, хуже больших. Выпейте-ка водочки, Яков Васильич: это успокоит вас. Эй, Палагея Евграфовна, пожалуйте нам хмельного!

Водка была подана, но Калинович отказался.

— Отчего вы не хотите сказать, что такое с вами? Это странно с вашей стороны,— сказала ему Настенька.

— Что ж вам так любопытно? Очень обыкновенный случай: новая неудача! — проговорил он как бы нехотя.

— Что такое? — спросила Настенька с беспокойством, но Калинович вздохнул и опять на некоторое время замолчал.

— Хоть бы один раз во всю жизнь судьба потешила! — начал он.— Даже из детства, о котором, я думаю, у всех остаются приятные и светлые воспоминания, я вынес только самые грустные, самые тяжелые впечатления.

Калинович прежде никогда ничего не говорил о себе, кроме того, что он отца и матери лишился еще в детстве.

— Сколько я себя ни помню,— продолжал он, обращаясь больше к Настеньке,— я живу на чужих хлебах, *у благодетеля* (на последнем слове Калинович сделал ударение), *у благодетеля,* — повторил он с гримасою, — который разорил моего отца, и когда тот умер с горя, так он, по великодушию своему, призрел меня, сироту, а в сущности, приставил пестуном к своим двум сыновьям, болванам, каких когда-либо свет создавал.

— А! Скажите, пожалуйста! — произнес Петр Михайлыч.

— И между тем,— продолжал Калинович, опять обращаясь более к Настеньке,— я жил посреди роскоши, в товариществе с этими глупыми мальчишками, которых окружала любовь, для удовольствия которых изобретали всевозможные средства... которым на сто рублей в один раз покупали игрушек, и я обязан был смотреть, как они играют этими игрушками, не смея дотронуться ни до одной из них. Мной они обыкновенно располагали, как вещью: они закладывали меня в тележку, которую я должен был возить, и когда у меня не хватало силы, они меня щелкали; и если я не вытерпливал и осмеливался заплакать, меня же сажали в темную комнату, чтоб отучить от капризов. Лакеи, и те находили какое-то особенное удовольствие обносить меня за столом кушаньями и не чистить мне ни сапогов, ни платья.

— Это ужасно! — проговорила Настенька.

— Господи помилуй! — воскликнул Петр Михайлыч.

— Интереснее всего было,—продолжал Калинович, помолчав,— когда мы начали подрастать и нас стали учить: дурни эти мальчишки ничего не делали, ничего не понимали. Я за них переводил, решал арифметические задачи,

и в то время, когда гости и родители восхищались их успехами, обо мне обыкновенно рассказывалось, что я учусь тоже недурно, но больше беру прилежанием... Словом, постоянное нравственное унижение!

Петр Михайлыч только разводил руками. Настенька задумалась. Капитан не так мрачно смотрел на Калиновича. Вообще он возбудил своим рассказом к себе живое участие.

— Я по крайней мере, Яков Васильич, радуюсь,— заговорил Петр Михайлыч,— что бог привел вас кончить курс в университете.

Калинович горько улыбнулся.

— Курс кончить! — произнес он.— Надобно спросить, чего это мне стоило. Как нарочно все случилось: этот благодетель мой, здоровый как бык, вдруг ни с того ни с сего помирает, и пока еще он был жив, хоть скудно, но все-таки совесть заставляла его оплачивать мой стол и квартиру, а тут и того не стало: за какой-нибудь полтинник должен был я бегать на уроки с одного конца Москвы на другой, и то слава богу, когда еще было под руками; но проходили месяцы, когда сидел я без обеда, в холодной комнате, брался переписывать по гривеннику с листа, чтоб иметь возможность купить две — три булки в день.

— Ужасно! — повторила Настенька.

— Именно ужасно! — подхватил Петр Михайлыч.

Калинович вздохнул и продолжал:

— Отстрадал, наконец, четыре года. Вот, думаю, теперь вышел кандидатом, дорога всюду открыта... Но... чтоб успевать в жизни, видно, надобно не кандидатство, а искательство и подличанье, на которое, к несчастью, я не способен. Моих же товарищей, идиотов почти, послали и за границу и понаделили бог знает чем, потому что они забегали к профессорам с заднего крыльца и целовали ручки у их супруг, немецких кухарок; а мне выпало на долю это смотрительство, в котором я окончательно должен погрязнуть и задохнуться.

— Да, да, какое уж это для вас место! — подтвердил Петр Михайлыч.— Сколько я сужу, оно вам не по характеру, да и мало по вашим способностям.

— Грустно и тошно становится!—почти воскликнул Калинович, ударив себя в грудь.— Наконец, злоба берет, когда оглянешься на свое прошедшее; хоть бы одна осуществившаяся надежда! Неблагодарные труды и вечные ли-

шения — вот все, что дала мне жизнь!.. Как хотите, с каким бы человек ни был рожден овечьим характером, невольно начнет ожесточаться!.. И вы, Петр Михайлыч, еще часто меня укоряете за бессердечие! Но боже мой! Как же я стану питать к людям сожаление, когда большая часть из них страдает или потому, что безнравственны, или потому, что делали глупости, наконец, ленивы, небрежны к себе. Я ни в чем этом не виноват и все-таки страдаю... Я хочу и буду вымещать на порочных людях то, что сам несу безвинно.

При последних словах лицо молодого человека приняло какое-то ожесточенное выражение.

— Вы совершенно правы в ваших чувствах,— сказала Настенька.

— Я, сударь, не осуждаю вас, я желаю только, чтоб господь бог умирил ваше сердце,— только! — проговорил Петр Михайлыч.

Калинович встал и начал ходить по комнате, ни слова не говоря. Хозяева тоже молчали, как бы боясь прервать его размышления.

— Что ж вас так сегодня именно встревожило? — проговорила Настенька голосом, полным участия.

— То, что я не говорил вам, но, думая хоть каким-нибудь путем выбиться,— написал повесть и послал ее в Петербург, в одну редакцию, где она провалялась около года, и теперь получил назад при этом письме. Не хотите ли полюбопытствовать и прочесть? — проговорил Калинович и бросил из кармана на стол письмо, которое Петр Михайлыч взял и стал было читать про себя.

— Читайте, папенька, вслух! — проговорила с досадою Настенька.

Петр Михайлыч начал:

«Любезный друг.

Ты, я думаю, проклинаешь меня за мое молчание, хоть я и не виноват: повесть твою я сейчас же снес по назначению, но ответ получил только на днях. Мне возвратили ее с таким приговором, что редакция запасена материалом уж на целый год. Не огорчайся этой неудачей: роман твой, по-моему, очень хорош, но вся штука в том, что редакции у нас вроде каких-то святилищ, в которые доступ простым смертным невозможен, или, проще сказать, у редактора есть свой кружок приятелей, с которыми он имеет свои, ко-

нечно, очень выгодные для него денежные счеты. Они наполняют у него все рубрики журнала, производя каждого из среды себя, посредством взаимного курения, в гении; из этого ты можешь понять, что пускать им новых людей не для чего; кто бы ни был, посылая свою статью, смело может быть уверен, что ее не прочтут, и она проваляется с старым хламом, как случилось и с твоим романом».

Старик не в состоянии был читать далее и бросил письмо.

— Как же редактор может не прочесть? — воскликнул он с запальчивостью.— В этом его прямое назначение и обязанность.

— Его назначение и обязанность набивать свой карман,— сказал Калинович.

— Именно!—подтвердил Петр Михайлыч.—После этого они не проводники образования, а алтынники; после этого им бы в лавке сидеть, а не словесностью заниматься! Возбранять ход новым дарованиям — тьфу!

Калинович продолжал ходить взад и вперед.

— Послушайте, вы прочтете нам ваш роман? — сказала Настенька.

— Пожалуй, как-нибудь выберем время,— отвечал Калинович.

— Чего тут выбирать!.. Откладывать нечего: извольте сегодня же нам прочесть. Я вот немного сосну, а вы между тем достаньте вашу тетрадку,— подхватил Петр Михайлыч.

— Я за тетрадью, папенька, пошлю Катю,— сказала Настенька,— а сами вы не должны ходить, без вас найдут,— прибавила она Калиновичу.

— Хорошо,— отвечал тот.

После обеда Петр Михайлыч тотчас отправился в свой кабинет, а Настенька села рядом и довольно близко около Калиновича.

— Вы давно написали ваш роман? — сказала она.

— Года полтора,— отвечал тот.

— А нынче вы пишете что-нибудь?

— Пишу и нынче, — отвечал Калинович с расстановкой.

— Что ж вы нынче пишете?

— Знакомое вам.

— Знакомое мне? — повторила Настенька, потупившись.— Вы и это должны нам прочесть: это для меня еще интереснее,— прибавила она

— Оно еще не кончено.

— Отчего?

— Оттого, что не от меня зависит: я не знаю, чем еще кончится.

— А я думаю, что вы должны знать.

— Нет, не знаю...— отвечал Калинович.

Такими намеками молодые люди говорили вследствие присутствия капитана, который и не думал идти к своим птицам, а преспокойно уселся тут же, в гостиной, развернул книгу и будто бы читал, закуривая по крайней мере шестую трубку. Настенька начала с досадою отмахивать от себя дым.

— Ваш страж не оставляет вас,— сказал Калинович по-французски.

— Несносный! — отвечала она тихо и с маленькой гримасой, а потом, обратившись к дяде, сказала:

— Что вы, дяденька, за охотой не ходите! Мне очень хочется дичи... Хоть бы сходили и убили что-нибудь.

— Ружье в починку отдал... попортилось...— отвечал капитан.

— Возьмите у Лебедева.

— Их дома, кажется, нет-с. Они верст за тридцать на облаву пошли.

— Нет, он дома: сегодня был в училище, — возразил Калинович.

Капитан покраснел.

— К ихним ружьям я не привык-с, мне из них ничего не убить-с,— отвечал он, заикаясь.

Понятно, что капитан безбожно лгал. Настенька сделала нетерпеливое движение, и когда подошла к ней Дианка и, положив в изъявление своей ласки на колени ей морду, занесла было туда же и лапу, она вдруг, чего прежде никогда не бывало, ударила ее довольно сильно по голове, проговоря:

— Ваша собака, дяденька, вечно измарает мне платье.

— Венез-иси! — сказал капитан.

Дианка посмотрела с удивлением на Настеньку, как бы не понимая, за что ее треснули, и подошла к своему патрону.

— Иси, куш! — повторил строго капитан, и Дианка смиренно улеглась у его ног.

Напрасно в продолжение получаса молодые люди молчали, напрасно заговаривали о предметах, совершенно чуждых для капитана: он не трогался с места и продолжал смотреть в книгу.

— Есть с вами папиросы? — сказала, наконец, Настенька Калиновичу.

— Есть,— отвечал он.

— Дайте мне.

Калинович подал.

— А сами хотите курить?

— Недурно.

— Пойдемте, я вам достану огня в моей комнате,— сказала она и пошла. Калинович последовал за ней.

Войдя в свою комнату, Настенька как бы случайно притворила дверь.

Капитан, оставшись один, сидел некоторое время на прежнем месте, потом вдруг встал и на цыпочках, точно подкрадываясь к чуткой дичи, подошел к дверям племянницыной комнаты и приложил глаз к замочной скважине. Он увидел, что Калинович сидел около маленького столика, потупя голову, и курил; Настенька помещалась напротив него и пристально смотрела ему в лицо.

— Вы не можете говорить, что у вас нет ничего в жизни! — говорила она вполголоса.

— Что ж у меня есть? — спросил Калинович.

— А любовь,— отвечала Настенька,— которая, вы сами говорите, дороже для вас всего на свете. Неужели она не может вас сделать счастливым без всего... одна... сама собою?

— По моему характеру и по моим обстоятельствам надобно, чтоб меня любили слишком много и даже слишком безрассудно! — отвечал Калинович и вздохнул.

Настенька покачала головой.

— Так неужели еще мало вас любят? Не грех ли вам, Калинович, это говорить, когда нет минуты, чтоб не думали о вас; когда все радости, все счастье в том, чтоб видеть вас, когда хотели бы быть первой красавицей в мире, чтоб нравиться вам,— а все еще вас мало любят! Неблагодарный вы человек после этого!

Капитан покраснел, как вареный рак, и стал еще внимательнее слушать.

— Любовь доказывается жертвами,— сказал Калинович, не переменяя своего задумчивого положения.

— А разве вам не готовы принести жертву, какую вы только потребуете? Если б для вашего счастья нужна была жизнь, я сейчас отдала бы ее с радостью и благословила бы судьбу свою...— возразила Настенька.

Калинович улыбнулся.

— Это говорят все женщины, покуда дело не дойдет до первой жертвы,— проговорил он.

— Зачем же говорить, когда не чувствуешь? С какою целью? — спросила Настенька.

— Из кокетства.

— Нет, Калинович, не говорите тут о кокетстве! Вы вспомните, как вас полюбили? В первый же день, как вас увидели; а через неделю вы уж знали об этом... Это скорей сумасшествие, но никак не кокетство.

Проговоря это, Настенька отвернулась; на глазах ее показались слезы.

— Помиримтесь! — сказал Калинович, беря и целуя ее руки.— Я знаю, что я, может быть, неправ, неблагодарен,— продолжал он, не выпуская ее руки,— но не обвиняйте меня много: одна любовь не может наполнить сердце мужчины, а тем более моего сердца, потому что я честолюбив, страшно честолюбив, и знаю, что честолюбие не безрассудное во мне чувство. У меня есть ум, есть знание, есть, наконец, сила воли, какая немногим дается, и если бы хоть раз шагнуть удачно вперед, я ушел бы далеко.

— Вы должны быть литератором и будете им! — проговорила Настенька.

— Не знаю... вряд ли! Между людьми есть счастливцы и несчастливцы. Посмотрите вы в жизни: один и глуп, и бездарен, и ленив, а между тем ему плывет счастье в руки, тогда как другой каждый ничтожный шаг к успеху, каждый кусок хлеба должен завоевывать самым усиленным трудом: и я, кажется, принадлежу к последним.— Сказав это, Калинович взял себя за голову, облокотился на стол и снова задумался.

— Послушайте, Калинович, что ж вы так хандрите? Это мне грустно!— проговорила Настенька, вставая.—Не извольте хмуриться — слышите? Я вам приказываю! — продолжала она, подходя к нему и кладя обе руки на его

плечи.— Извольте на меня смотреть весело. Глядите же на меня: я хочу видеть ваше лицо.

Калинович взглянул на нее, взял тихонько ее за талию, привлек к себе и поцеловал в голову.

С лица капитана капал крупными каплями пот; руки делали какие-то судорожные движения и, наконец, голова затекла, так что он принужден был приподняться на несколько минут, и когда потом взглянул в скважину, Калинович, обняв Настеньку, целовал ей лицо и шею...

— Анастаси...— говорил он страстным шепотом, и дальше — увы! — тщетно капитан старался прислушиваться: Калинович заговорил по-французски.

— Зачем?..— отвечала Настенька, скрывая на груди его свое пылавшее лицо.

— Но, друг мой...— продолжал Калинович и опять заговорил по-французски.

— Нет, это невозможно! — отвечала Настенька, выпрямившись.

— Отчего же?

— Так...— отвечала Настенька, снова обнимая Калиновича и снова прижимаясь к его груди.— Я тебя боюсь,— шептала она,— ты меня погубишь.

— Ангел мой! Сокровище мое! — говорил Калинович, целуя ее, и продолжал по-французски...

Настенька слушала его внимательно.

— Нет,— сказала она и вдруг отошла и села на прежнее свое место.

Лицо Калиновича в минуту изменилось и приняло строгое выражение. Он начал опять говорить по-французски и говорил долго.

— Нет! — повторила Настенька и пошла к дверям, так что капитан едва успел отскочить от них и уйти в гостиную, где уже сидел Петр Михайлыч. Настенька вошла вслед за ним: лицо ее горело, глаза блистали.

— Где же наш литератор? — спросил Петр Михайлыч.

— Он, я думаю, сейчас придет,— отвечала Настенька, села к окну и отворила его.

— Полно, душа моя! Что это ты делаешь? Холодно,— заметил ей Петр Михайлыч.

— Нет, папаша, ничего, позвольте... мне душно...— отвечала Настенька.

Вошел Калинович.

— Милости просим! Портфель ваша здесь, принесена.

Извольте садиться и читать, а мы будем слушать,— сказал Петр Михайлыч.

— Нет, Петр Михайлыч, извините меня: я сегодня не могу читать,— отвечал Калинович.

— Это что такое? Отчего не можете? — спросил с удивлением Петр Михайлыч.

— Что-то нездоровится; в другое время как-нибудь.

— Полноте, что за вздор! Неужели вас эти редакторы так опечалили? Врут они: мы заставим их напечатать! — говорил старик. — Настенька! — обратился он к дочери.— Уговори хоть ты как-нибудь Якова Васильича; что это такое?

Настенька ничего не сказала и только посмотрела на Калиновича.

— Решительно сегодня не могу читать,— отвечал тот и, взяв портфель, шляпу и поклонившись всем общим поклоном, ушел.

— Вот тебе и раз! — проговорил Петр Михайлыч. Что с ним сделалось! Настенька, не знаешь ли ты, отчего он не хотел читать?

— Он на меня, папенька, рассердился: я сказала ему, что он не может быть литератором,— отвечала Настенька.

При этом ответе ее капитан как-то странно откашлянулся.

— Экая ты, душа моя! Зачем это? Он и так расстроен, а ты его больше сердишь!

— Очень нужно! Пускай сердится! Я сама на него сердита,— сказала Настенька и, напоив всех торопливо чаем, сейчас же ушла к себе в комнату.

Два брата, оставшись вдвоем, долго сидели молча. Петр Михайлыч, от скуки, читал в старых газетах известия о приехавших и уехавших из столицы.

— Где Настенька? — спросил он наконец.

Капитан молча встал, вышел и тотчас же возвратился.

— У себя в спальне,— проговорил он.

— Что ж она там делает? — спросил Петр Михайлыч.

— Лежат вниз лицом в постельке,— отвечал капитан.

Петр Михайлыч покачал головой.

— Рассорились, видно. Эх, молодость, молодость! — проговорил он.

Капитан в продолжение всего вечера переминал язык, как бы намереваясь что-то такое сказать, и ничего, однако, не сказал.

## VIII

Прошло два дня. Калиновпч не являлся к Годневым. Настенька все сидела в своей комнате и плакала. Палагея Евграфовна обратила, наконец, на это внимание.

— Что это барышня-то у нас все плачет? — сказала она Петру Михайлычу.

— Поссорились с молодцом-то, так и горюют оба: тот ходит мимо, как темная ночь, а эта плачет.

Палагея Евграфовна на это отвечала глубоким вздохом и своей обыкновенной поговоркой: «э-э-э, хе-хе-хе», что всегда означало с ее стороны некоторое неудовольствие.

На третий день Петру Михайлычу стало жаль Настеньки.

— А что, душа моя,— сказал он,— я схожу к Калиновичу. Что это за глупости он делает: дуется!

— Нет, папаша, я лучше ему напишу; я сейчас напишу и пошлю,— сказала Настенька. Она заметно обрадовалась намерению отца.

— Напиши. Кто вас разберет? У вас свои дела...— сказал старик с улыбкою.

Настенька ушла.

Капитан, бывший свидетелем этой сцены и все что-то хмурившийся, вдруг проговорил:

— Я полагаю, братец, девице неприлично переписываться с молодым мужчиной.

— Да, пожалуй, по-нашему с тобой, Флегонт Михайлыч, и так бы; да нынче, сударь, другие уж времена, другие нравы.

— Вы бы могли, кажется, остановить в этом Настасью Петровну: она, вероятно бы, вас послушалась.

— Что ж останавливать? Запрещать станешь, так потихоньку будет писать — еще хуже. Пускай переписываются; я в Настеньке уверен: в ней никогда никаких дурных наклонностей не замечал; а что полюбила молодца не из золотца, так не велика еще беда: так и быть должно.

— Огласка может быть, пустых слов по сторонам будут много говорить! — заметил капитан.

— А пусть себе говорят! Пустые речи пустяками и кончатся.

Настенька возвратилась.

— Флегонт Михайлыч, Настенька, находит неприличным, что ты переписываешься с Калиновичем; да и я, пожалуй, того же мнения...— сказал ей Петр Михайлыч.

— Что ж тут такого неприличного? Я пишу к нему не бог знает что такое, а звала только, чтоб пришел к нам. Дяденька во всем хочет видеть неприличие!

— Он видит это потому, что любит тебя и желает, чтоб все твои поступки были поступками благовоспитанной девицы,— возразил Петр Михайлыч.

— Странная любовь: видеть во всяких пустяках дурное!

— Это вот, милушка, по-вашему, по-нынешнему, пустяки; а в старину у наших предков девицы даже с открытым лицом не показывались мужчинам.

— Что ж из этого следует? — спросила Настенька.

— А то, что это выражало,— продолжал Петр Михайлыч внушительным тоном,— застенчивость, стыдливость — качества, которые украшают женщину гораздо больше, чем самые блестящие дарования.

Настенька хотела было что-то возразить отцу, но в это время пришел Калинович.

— А, Яков Васильич! — воскликнул Петр Михайлыч.— Наконец-то мы вас видим! А все эта шпилька, Настасья Петровна... Не верьте, сударь ей, не слушайте: вы можете и должны быть литератором.

Калинович, кажется, совершенно не понял слов Петра Михайлыча, но не показал виду. Настеньке он протянул по обыкновению руку; она подала ему свою как бы нехотя и потупилась.

— Принесли ли вы ваше сочинение? — спросил Петр Михайлыч.

— Со мной,— отвечал Калинович и вынул из портфеля знакомую уж нам тетрадь.

Петр Михайлыч, непременно требуя, чтоб все сели чинно у стола, заставил подвинуться капитана и усадил даже Палагею Евграфовну.

В продолжении чтения он очень часто восклицал:

— Хорошо, хорошо! Язык обработан; интерес растет...— и потом, когда Калинович приостановился, проговорил: — Погодите, Яков Васильич; я вот очень верю простому чувству капитана. Скажите нам, Флегонт Михайлыч, как вы находите: хорошо или нет?

— Я не могу судить-с! — отвечал тот.

— Пустое, сударь, уполномочиваем вас от лица автора сказать ваше мнение.

Капитан решительно отказывался.

— Заартачился! — произнес Петр Михайлыч и отнесся к дочери: — Ну, а ты как находишь?

— Хорошо, кажется...— отвечала та довольно сухо.

Она была очень грустна. Петр Михайлыч погрозил ей пальцем.

Калинович снова приступил к чтению, и когда кончил, старик сделал ему ручкой и повторил несколько раз:

— Bene, optime, optime! [1]

— Неужели же эти господа редакторы находят недостойною напечатать вашу повесть? — сказала с усмешкою Настенька.

— Не знаю,— отвечал Калинович.

Между тем лицо Петра Михайлыча начинало принимать более и более серьезное выражение.

— Погодите, постойте! — начал он глубокомысленным тоном.— Не позволите ли вы мне, Яков Васильич, послать ваше сочинение к одному человеку в Петербург, теперь уж лицу важному, а прежде моему хорошему товарищу?

— Вряд ли будет успех! — возразил Калинович.

— Будет-с! — произнес решительно Петр Михайлыч.— Человек этот благорасположен ко мне и пользуется между литераторами большим авторитетом. Я говорю о Федоре Федорыче,— прибавил он, обращаясь к дочери.

— Он напечатает,— подтвердила Настенька.

— Еще бы! Он заставит напечатать: у него все эти господа редакторы и издатели по струнке ходят. Итак, согласны вы или нет?

— Извольте,— отвечал Калинович.

Петр Михайлыч остался очень этим доволен.

— Значит, идет! — проговорил он и тотчас же, достав пачку почтовой бумаги, выбрал из нее самый чистый, лучший лист и принялся, надев очки, писать на нем своим старинным, круглым и очень красивым почерком, по временам останавливаясь, потирая лоб и постоянно потея. Изготовленное им письмо было такого содержания:

*«Ваше превосходительство,*
*милостивый государь,*
*Федор Федорович!*

Хотя поток времени унес далеко счастливые дни моей юности, когда имел я счастие быть вашим однокашником, и фортуна поставила вас, достойно возвыся, на слишком

[1] Хорошо, прекрасно, прекрасно! (*лат.*)

высокую, сравнительно со мной, ступень мирских почестей, но, питая полную уверенность в неизменность вашу во всех благородных чувствованиях и зная вашу полезную, доказанную многими опытами любовь к успехам русской литературы, беру на себя смелость представить на ваш образованный суд сочинение в повествовательном роде одного молодого человека, воспитанника Московского университета и моего преемника по службе, который желал бы поместить свой труд в одном из петербургских периодических изданий. Хотя еще бессмертный Карамзин наш сказал, что Парнас — гора высокая и дорога к ней негладкая; но зачем же совершенно возбранять на него путь молодым людям? Слышал я, что редакторы журналов неохотно печатают произведения начинающих писателей; но милостивое участие и ручательство вашего превосходительства в достоинстве представляемого вашему покровительству произведения может уничтожить эту преграду. Будучи знаком с автором, смею уверить, что он исполнен образованного ума и благородных чувствований.

Прошу принять уверение в совершенном моем почтении и преданности, с коими имею честь пребыть

Вашего превосходительства
покорнейшим слугою
*Петр Годнев».*

Прочитав все это вслух, Петр Михайлыч спросил Калиновича, доволен ли он содержанием и изложением.

— Очень,— отвечал тот.

Старик самодовольно улыбнулся и послал Настеньку принести ему из кабинета сургуч и печать. Та пошла.

— Что ж им беспокоиться? Позвольте мне сходить, — проговорил Калинович и, войдя вслед за Настенькой в кабинет, хотел было взять ее за руку, но она отдернула.

— Палачи жертв своих не ласкают! — проговорила она и возвратилась к отцу.

Взяв рукопись, Петр Михайлыч первоначально перекрестился и, проговорив: «С богом, любезная, иди к невским берегам»,— начал запаковывать ее с таким старанием, как бы отправлял какое-нибудь собственное сочинение, за которое ему предстояло получить по крайней мере миллион или бессмертие. В то время, как он занят был этим делом, капитан заметил, что Калинович наклонился к Настеньке и сказал ей что-то на ухо.

— Да,— отвечала она.

Во весь остальной вечер молодой смотритель был необыкновенно весел: видимо, стараясь развеселить Настеньку, он беспрестанно заговаривал с ней и, наконец, за ужином вздумал было в тоне Петра Михайлыча подтрунить над капитаном.

— Мне сегодня, капитан, один человек сказывал, что вы на охоте убиваете дичь больше серебряной пулей, чем свинцовой: прикупаете иногда? — сказал он ему.

Капитан, сверх ожидания, вдруг побледнел, губы у него задрожали.

— Я человек бедный: мне не на что покупать,— сказал он удушливым голосом.

Калинович сконфузился.

— Что ж бедный! Честь охотника для человека дороже всего,— возразил он, усиливаясь продолжать шутку,— и я хотел только вас спросить, правда это или нет?

— Прошу вас оставить меня!.. Братец Петр Михайлыч могут, а вы еще молоды шутить надо мной,— отрезал капитан.

— Вы, дяденька, не понимаете, видно, что с вами шутят,— вмешалась Настенька.

— Нет-с, я все понимаю...— отвечал капитан.

— Воин! — произнес торжественным тоном Петр Михайлыч.— Успокой свой благородный рыцарский дух и изволь кушать!

— Я ем, братец. Извините меня, я им только хотел заметить...

— Нет, вы не только заметили,— возразил Калинович, взглянув на капитана исподлобья,— а вы на мою легкую шутку отвечали дерзостью. Постараюсь не ставить себя в другой раз в такое неприятное положение.

— Я вас сам об этом же прошу,— отвечал капитан и, уткнув глаза в тарелку, начал есть.

— Ну, будет, господа! Что это у вас за пикировка, терпеть этого не могу! — заключил Петр Михайлыч, и разговор тем кончился.

Калинович ушел домой первый. Капитан отправился за ним вскоре. При прощанье он еще раз извинился перед Петром Михайлычем.

— Извините, братец; я не мог этого снести.

— Ничего, ничего; помиритесь только. В чем вам ссориться? Он человек хороший, а вы бесподобный!

Опять у капитана, кажется, вертелось что-то на языке, но и опять он ничего не сказал.

Вышед на улицу, Флегонт Михайлыч приостановился, подумал немного и потом не пошел по обыкновению домой, а поворотил в совершенно другую сторону. Ночь была осенняя, темная, хоть глаз, как говорится, выколи; порывистый ветер опахивал холодными волнами и воймя завывал где-то в соседней трубе. В целом городе хотя бы в одном доме промелькнул огонек: все уже мирно спали, и только в гостином дворе протявкивали изредка собаки.

Дошед до квартиры Калиновича, капитан остановился, посмотрел несколько времени на окно и пошел назад. Возвратившись к дому брата, он сел на ближайший тротуарный столбик, присек огня и закурил трубку. В это же самое время с заднего двора квартиры молодого смотрителя промелькнула чья-то тень, спустилась к реке и начала пробираться, прячась за установленные по всему берегу березовые поленницы. Против сада Годневых тень эта пропала. Между тем на соборной колокольне сторож, в доказательство того, что не спит, пробил два часа. Испуганная этими звуками целая стая ворон слетела с церковной кровли и понеслась, каркая, в воздухе... Наконец внимание капитана обратили на себя две тени, из которых одна поворотила в переулок, а другая подошла к воротам Петра Михайлыча и начала что-то тут делать. В несколько прыжков очутился он у ворот и схватил тень за шиворот.

— Кто вы такие? Что вы здесь делаете? — спросил он.

Тень вместо ответа старалась вырваться, но тщетно. Она как будто бы попала в железные клещи: после мясника мещанина Ивана Павлова, носившего мучные кули в пятнадцать пудов, потом Лебедева, поднимавшего десять пудов, капитан был первый по силе в городе и разгибал подкову, как мягкий крендель.

— Кто вы такие? — повторил он.

Тень замахнулась было на него палкой, но Флегонт Михайлыч вырвал ее очень легко. Оказалось, что это была малярная кисть, перемаранная в дегте. Капитан понял, в чем дело.

— А! Так вы этим занимаетесь! — проговорил он и в минуту швырнул тень на землю, наступил ей коленом на грудь и начал мазать по лицу кистью.

— Караул! — прокричала тень.

— Молчать! — сказал капитан, подавив слегка ногою и продолжая свое занятие.

— Караул! Караул! — отозвалась другая тень из переулка, не подбегая, впрочем, на помощь.

В улице переполошились.

— Батько, встань! Караул на улице кричат! — будила мещанка спавшего мертвым сном мужа.

Тот открыл на минуту глаза.

— Убирайся! — сказал он и, выругавшись, повернулся к стене.

— Пес этакой! Караул кричат. Под окном найдут мертвое тело, тебя же в суд потянут! — продолжала баба, толкая мужа в бок, но, получив в ответ одно только сердитое мычанье, проговорила:

— Ох, господи! Страсти какие! Наше место свято! — а потом зевнула, перекрестилась и сама захрапела.

— Девка, девка! Марфушка, Катюшка! — кричала, приподнимаясь с своей постели, худая, как мертвец, с всклокоченною седою головою, старая барышня-девица, переехавшая в город, чтоб ближе быть к церкви.— Подите, посмотрите, разбойницы, что за шум на улице?

Но ей никто не откликнулся.

— Ах, боже мой! Боже мой! Что это за сони: ничего не слышат! — бормотала старуха, слезая с постели, и, надев валенки, засветила у лампады свечку и отправилась в соседнюю комнату, где спали ее две прислужницы; но — увы! — постели их были пусты, и где они были — неизвестно, вероятно, в таком месте, где госпожа им строго запрещала бывать.

— Царица небесная! Владычица моя! На тебя только моя надежда, всеми оставлена: и родными и прислугою... Что это? Помилуйте, до чего безнравственность доходит: по ночам бегают... трубку курят... этта одна пьяная пришла... Содом и Гоморр! Содом и Гоморр!

Покуда старуха так говорила, одна из девок, вся запыхавшаяся, раскрасневшаяся, прибежала.

— Душегубка! Где была и пропадала — сказывай! — говорила госпожа, растопыривая пред ней руки.

— На улицу, барышня, бегала, на улице шумят.

— Врешь; где другая злодейка?

— Ту, матушка-барыня, ухватило, так на печке лежит, виновата...

— Врешь, врешь!.. Завтра же обеим косу обстригу и в деревню отправлю. Нет моих сил, нет моей возможности справляться с вами!

— Вся ваша воля, сударыня; мы никогда вам ни в чем не противны. Полноте-ка, извольте лучше лечь в постельку, я вам ножки поглажу,— сказала изворотливая горничная и, уложив старуху, до тех пор гладила ноги, что та заснула, а она опять куда-то отправилась.

У Годневых тоже услыхали. Первая выскочила на улицу, с фонарем в руках, неусыпная Палагея Евграфовна и осветила капитана с его противником, которым оказался Медиокритский. Узнав его, капитан еще больше озлился.

— А! Так это вы красите дегтем! — проговорил он и, что есть силы, начал молодого столоначальника тыкать кистью в нос и в губы.

Гнев и ожесточение Флегонта Михайлыча были совершенно законны: по уездным нравам, вымарать дегтем ворота в доме, где живет молодая женщина или молодая девушка, значит публично ее опозорить, и к этому средству обыкновенно прибегают между мещанами, а пожалуй, и купечеством оставленные любовники.

Капитан, вероятно, нескоро бы еще расстался с своей жертвой; но в эту минуту точно из-под земли вырос Калинович. Появление его, в свою очередь, удивило Флегонта Михайлыча, так что он выпустил из рук кисть и Медиокритского, который, воспользовавшись этим, вырвался и пустился бежать. Калинович тоже был встревожен. Палагея Евграфовна, сама не зная для чего, стала раскрывать ставни.

— Что такое случилось? Я еще не успел заснуть, вдруг слышу шум, оделся во что попало и побежал,— обратился к ней Калинович.

Она только развела руками.

— Ничего,— говорит,— не знаю.

— Что такое у вас с ним, Флегонт Михайлыч, вышло?— отнесся к капитану.

— Я братцу доложу-с,— отвечал тот и пошел в дом.

— Позвольте и мне,— говорил Калинович, следуя за ним.

Петра Михайлыча они застали тоже в большом испуге. Он стоял, расставивши руки, перед Настенькой, которая в том самом платье, в котором была вечером, лежала с закрытыми глазами на диване.

— Господа, подите сюда, бога ради, посмотрите, что у нас наделалось: Настя без чувств! — говорил он растерявшимся голосом.

Палагея Евграфовна бросилась распускать Настеньке платье, а Калинович схватил со стола графин с водой и начал ей примачивать голову. Петр Михайлыч дрожал и беспрестанно спрашивал:

— Что? Лучше ли? Лучше ли?

Настенька, наконец, открыла глаза, но, увидев около себя Калиновича, быстро отодвинулась и сначала захохотала, а потом зарыдала. Петр Михайлыч упал в кресло и схватил себя за голову.

— Помешалась! — проговорил он.

Но с Настенькой была только сильная истерика. Калинович стоял бледный и ничего не говорил. Капитан смотрел на все исподлобья. Одна Палагея Евграфовна не потеряла присутствия духа; она перевела Настеньку в спальню, уложила ее в постель, дала ей гофманских капель и пошла успокоить Петра Михайлыча.

— Ну, а вы-то что? Точно маленький! — говорила она.

Старик действительно был точно маленький.

— Только что я вздремнул,— говорил он,— вдруг слышу: «Караул, караул, режут!..» Мне показалось, что это было в саду, засветил свечку и пошел сюда; гляжу: Настенька идет с балкона... я ее окрикнул... она вдруг хлоп на диван.

Капитан в отрывистых фразах рассказал брату, как у него будто бы болела голова, как он хотел прогуляться и все прочее.

Петр Михайлыч опять вышел из себя.

— Ах он, мерзавец! Негодяй! Дочь мою осмелился позорить! Я сейчас пойду к городничему... к губернатору сейчас поеду... Я здесь честней всех... К городничему! — говорил старик и, как его ни отговаривали, начал торопливо одеваться.

— Я знаю, чьи это штуки: это все мерзавка исправница... это она его научила... Я завтра весь дом ее замажу дегтем: он любовник ее!.. Она безнравственная женщина и смеет опорочивать честную девушку! За это вступится бог!..— заключил он и, порывисто распахнув двери, ушел.

— Ну вот, пошел тоже! Дела не наделает, а только се-

бя еще больше встревожит. Ходи после за ним, за больным! — брюзжала Палагея Евграфовна.

Калинович вызвался проводить Петра Михайлыча и едва успел его догнать у присутственных мест.

Придя в полицию, они сейчас же послали за городничим, и старый служака незамедля явился в мундире и при шпаге. По требованию дворянства, он всегда являлся в полной форме.

Петр Михайлыч от усталости и волнения не в состоянии был говорить, но за него очень подробно и последовательно рассказал Калинович. Старикашка городничий тоже вышел из себя, застучал своей клюкой и закричал:

— Го, го, го! Какие они штуки стали отпускать! В казамат его, стрикулиста! — Потом свистнул и вскрикнул еще громче: — Борзой!.. Сюда!

При этом возгласе в арестантской кубарем слетел с полатей дежурный десятский, бездомный и бессемейный мещанинишка, служивший по найму при полиции и продававшийся несколько раз в солдаты, но не попавший единственно по недостатку всех зубов в верхней челюсти, которые вышиб, свалившись еще в детстве с крыши. Представ пред начальником, Борзой вытянулся.

— Поди сейчас, отыщи мне рыжего Медиокритского в огне... в воде... в земле... где хочешь, и представь его, каналью, сюда живого или мертвого! Или знаешь вот эту клюку! — проговорил городничий и грозно поднял жезл свой.

— Слушаю, ваше благородие!—отвечал Борзой, повернулся и чрез минуту летел вприскачку по улице с быстротой истинно гончей собаки.

— В казамат его, каналью, засажу! — говорил градоначальник, расхаживая с своей клюкой по присутственной камере.

— В казамат! — подтвердил Петр Михайлыч.

— Если б не я, сударь,— продолжал городничий,— эти мещанишки и приказные разбойничали бы по ночам.

— Именно, именно,— подтверждал Петр Михайлыч.— Я человек не злой, несчастья никому не желаю, а этаких людей жалеть нечего.

— Не жалею я их, сударь,— отвечал городничий, делая строгую мину,—не люблю я с ними шутки шутить. Сам губернатор старика хромого городничего знает.

— Так и надо, так и надо! Я и сам, когда был смотри-

телем, это у меня кто порезвится, пошалит — ничего; а буяну и грубияну не спускал,— прихвастнул Петр Михайлыч.

Калинович только улыбался, слушая, как петушились два старика, из которых про Петра Михайлыча мы знаем, какого он был строгого характера; что же касается городничего, то все его полицейские меры ограничивались криком и клюкой, которою зато он действовал отлично, так что этой клюки боялись вряд ли не больше, чем его самого, как будто бы вся сила была в ней.

Медиокритского привели. На лице его, как он, видно, ни умывался, все еще оставались ясные следы дегтя. Старик городничий сел в грозную позу против зерцала.

— Где вы были сегодняшнюю ночь? — спросил он.

— Дома-с. Где ж мне быть больше? — отвечал довольно дерзко Медиокритский.

— Как? Вы были дома? Врете! Зачем же вы были в Дворянской улице, у ворот господина Годнева?

— Я там не был.

— Как не был? Еще запирается, стрикулист! Говорить у меня правду, лжи не люблю — знаешь! — воскликнул городничий, стукнув клюкой.

— Вы не извольте клюкой вашей стучать и кричать на меня: я чиновник,— проговорил Медиокритский.

Петр Михайлыч только пожал плечами, городничий откинулся на задок кресел.

— Ась? Как вы посудите нашу полицейскую службу? Что б я с ним по-нашему, по-военному, должен был сделать? — проговорил он и присовокупил более спокойным и официальным тоном: — Отвечайте на мой вопрос!

— Нет-с, я не буду вам отвечать,— возразил Медиокритский,— потому что я не знаю, за что именно взят: меня схватили, как вора какого-нибудь или разбойника; и так как я состою по ведомству земского суда, так желаю иметь депутата, а вам я отвечать не стану. Не угодно ли вам послать за моим начальником господином исправником.

— Что ж вы меня подозреваете, что ли? Душой, что ли, покривлю?.. В казамат тебя, стрикулиста! — воскликнул опять вышедший из себя городничий.

— Я ничего не знаю, а требую только законного, и вы на меня не извольте кричать! — повторил с прежней дерзостью Медиокритский.

Старик встал и начал ходить по комнате, и если б, ка-

жется, он был вдвоем с своим подсудимым, так тому бы не уйти от его клюки.

— Я полагаю, что за господином исправником можно послать, если этого желает господин Медиокритский,— вмешался Калинович.

— Извольте,— отвечал городничий и тотчас свистнул.

Предстал опять Борзой.

— Поди сейчас к господину исправнику, скажи, чтоб его разбудили, и попроси сюда по очень важному делу.

Тот отправился.

— Господину Медиокритскому, я думаю, можно выйти? — присовокупил Калинович.

— Может-с! — отвечал городничий.— Извольте идти в эту комнату,— прибавил он строго Медиокритскому, который с насмешливой улыбкой вышел.

Калинович после того отвел обоих стариков к окну и весьма основательно объяснил, что следствием вряд ли они докажут что-нибудь, а между тем Петру Михайлычу, конечно, будет неприятно, что имя его самого и, наконец, дочери будет замешано в следственном деле.

— Правда, правда...— подтвердил городничий.

— Господи боже мой! Во всю жизнь не имел никаких дел, и до чего я дожил! — воскликнул Петр Михайлыч.

— И потому, я полагаю, так как теперь придет господин исправник,— продолжал Калинович,—то господину городничему вместе с ним донести начальнику губернии с подробностью о поступке господина Медиокритского, а тот без всякого следствия распорядится гораздо лучше.

— Пожалуй, что так; а я его все-таки в казамате выдержу,— сказал городничий.

— Хорошо,— подтвердил Петр Михайлыч,— суди меня бог; а я ему не прощу; сам буду писать к губернатору; он поймет чувства отца. Обидь, оскорби он меня, я бы только посмеялся: но он тронул честь моей дочери — никогда я ему этого не прощу! — прибавил старик, ударив себя в грудь.

Исправник пришел с испуганным лицом. Мы отчасти его уж знаем, и я только прибавлю, что это был смирнейший человек в мире, страшный трус по службе и еще больше того боявшийся своей жены. Ему рассказали, в чем дело.

— Скажите, пожалуйста! — проговорил он, еще более испугавшись.

— Мы сейчас с вами рапорт напишем на него губернатору,— сказал городничий.

— Напишем-с,— отвечал исправник,— как бы только и нам чего не было!

Калинович объяснил, что им никаким образом ничего не может быть, а что, напротив, если они скроют, в таком случае будут отвечать.

— Конечно, будем,— согласился и с этим исправник.

— Непременно,— подтвердил Калинович и тотчас написал своей рукой, прямо набело, рапорт губернатору в возможно резких выражениях, к которому городничий и исправник подписались.

Медиокритский чрез дощаную перегородку подслушал весь разговор и, видя, что дело его принимает очень дурной оборот, бросился к исправнику, когда тот выходил.

— Николай Егорыч, что ж вы меня выдали? Я служил, служил вам... Если уж я так должен терпеть, так я лучше готов прощения у них просить.

Исправник воротился. Медиокритский вошел за ним.

— Прощения хочет просить,— проговорил исправник.

— Ваше высокоблагородие...— отнесся Медиокритский сначала к городничему и стал просить о помиловании.

— Нет, нет-с! — отвечал тот.

— Петр Михайлыч! — обратился он с той же просьбой к Годневу.— Не погубите навеки молодого человека. Царь небесный заплатит вам за вашу доброту.

Проговоря эти слова, Медиокритский стал пред Петром Михайлычем на колени. Старик отвернулся.

— Ваше высокородие, окажите милосердие,— молил он, переползая на коленях к городничему.

Тот начал щипать усы.

— Простите его, господа! — сказал исправник, и, вероятно, старики сдались бы, но вмешался Калинович.

— Великодушие, Петр Михайлыч, тут, кажется, неуместно,— сказал он,— а вам тем более, как начальнику города, нельзя скрывать такие поступки,— прибавил он городничему.

— Вы хотели, сударь, оскорбить дочь мою — не прощу я вам этого! — произнес Петр Михайлыч и пошел.

— И я тоже не прощу!.. От казамата освобождаю, а этого не прощу,— присовокупил градоначальник и заковылял вслед за Петром Михайлычем.

Нужно ли говорить, какая туча сплетен разразилась

после того над головой моей бедной Настеньки! Уездные барыни, из которых некоторые весьма секретно и благоразумно вели куры с своими лакеями, а другие с дьячками и семинаристами,— барыни эти, будто бы нравственно оскорбленные, защекотали как сороки, и между всеми ними, конечно, выдавалась исправница, которая с каким-то остервенением начала ездить по всему городу и рассказывать, что Медиокритский имел право это сделать, потому что пользовался большим вниманием этой госпожи Годневой, и что потом она сама своими глазами видела, как эта безнравственная девчонка сидела, обнявшись с молодым смотрителем, у окна. Приказничиха, с своей стороны, тоже кое-что порассказала. Она очень многим по секрету сообщила, что Настенька приходила к Калиновичу одна-одинехонька, сидела у него на кровати, и чем они там занимались — почти сомнения никакого нет.

— Как это нынешние девушки нисколько себя не берегут, отцы мои родные! Если уж не бога, так мирского бы стыда побоялись! — восклицала она, пожимая плечами.

Ко всем этим слухам Медиокритский вдруг, по распоряжению губернатора, был исключен из службы. Все чиновничье общество еще более заступилось за него, инстинктивно понимая, что он им родной, плоть от плоти ихней, а Годневы и Калинович далеко от них ушли.

## IX

Между тем наступил уже великий пост, в продолжение которого многое изменилось в образе жизни у Годневых: еще в так называемое *прощальное воскресенье,* на масленице, все у них в доме ходили и прощались друг перед другом. В чистый понедельник Петр Михайлыч, сходив очень рано в баню, надевал обыкновенно самое старое свое платье, бриться начал гораздо реже и переставал читать романы и журналы, а занимался более чтением ученых сочинений и проповедей. На первой неделе у них, по заведенному порядку, начали говеть: ходили, разумеется, за каждую службу, ели постное, и то больше сухоедением. Петр Михайлыч даже чай пил не с сахаром, а с медом, и в четверг перед последним ефимоном, чопорно одетый в серый демикотоновый сюртук и старомодную с брыжами манишку, он сидел в своем кабинете и ожидал бла-

говеста. Палагея Евграфовна умывалась и причесывалась, чтоб идти в церковь. Настенька помещалась с Калиновичем в гостиной и раскладывала гранпасьянс. Она в этот год отказалась от говенья. На двор прошел почтальон. Петр Михайлыч увидел его первый.

— Это откуда ко мне послание? — проговорил он.

Ему подали толстый пакет и посылку. Штемпель был петербургский. Старик испугался.

— Не опять ли вспять возвращают? — проговорил он и, надев торопливо очки, начал читать письмо. Лицо его просветлело с первых же строк. Дочитав, он перекрестился и закричал:

— Яков Васильич, Настенька! Подите сюда скорее — ура!

— Нет, папенька, мы здесь заняты,— отозвалась Настенька.

— Ура! Идите сюда ко мне скорей, бестолковые! — продолжал кричать Петр Михайлыч.

Настенька и Калинович вошли.

— Что вы кричите, папенька? — спросила Настенька.

— А вот что кричу: видите вот это письмо, эту книжку и вот эту газету? За все это Яков Васильич должен мне шампанского купить — и знать больше ничего не хочу.

— От кого же это письмо? — проговорила Настенька и хотела было взять со стола пакет, но Петр Михайлыч не дал.

— Та, та, та! Очень любопытна! Много будешь знать, скоро состареешься,— сказал он и, положив письмо, книгу и газету в боковой карман, плотно застегнул сюртук.

— Это, верно, из Петербурга что-нибудь,— сказал Калинович нетвердым голосом.

— Ничего покуда не знаю-с. Выставляйте наперед шампанское, а там увидим, что будет,— отвечал старик комическим тоном.

— Ну, что, папаша? Да скажите поскорее, это скучно,— сказала Настенька.

— Я, пожалуй, готов хоть дюжину купить, только, ради бога, не пытайте нашего терпения,— сказал начинавший уже бледнеть Калинович.

Петр Михайлыч рассмеялся.

— И стоит, сударь! — проговорил он, а потом, вынув на щегольской, гладкой и лощеной бумаге письмецо, начал его читать с расстановкой:

«Любезный Петр Михайлыч!

Спешу отвечать на ваше послание и радуюсь, что мог исполнить просимую вами небольшую послугу от меня. Прилагаю книжку журнала, в которой напечатана повесть вашего протеже, а равно и газетный листок, случайно попавшийся мне в английском клубе, с лестным отзывом о сочинении его. А затем, поручая, да хранит вас милость божия, пребываю с душевным моим расположением» — такой-то.

Эти короткие и, видимо, небрежно и свысока написанные строки показались Годневым бог знает какого благодушия исполненной вестью.

— Каково письмецо-с и каков этот человек, мой почтенный Федор Федорыч? — воскликнул Петр Михайлыч, кончив чтение.

— Чудный, должно быть, он человек! — подхватила Настенька.

— Чудеснейший,— повторил Петр Михайлыч,— сердца благородного, ума возвышенного — чудеснейший!

— Что там в газете пишут? — сказал Калинович, берясь за голову, как бы не слыхавший ничего, что вокруг него говорилось.

— А вот сейчас,— отвечал Петр Михайлыч и, развернув газету, начал читать: — «Фельетон; литературные новости». Ну, что такое литературные новости? Посмотрим,— проговорил он, продолжая:

— «Давно мы не приступали к нашему фельетону с таким удовольствием, как делаем это в настоящем случае, и удовольствие это, признаемся, в нас возбуждено не переводными стихотворениями с венгерского, в которых, между прочим, попадаются рифмы вроде «фимиам с вам»; не повестью госпожи Д..., которая хотя и принадлежит легкому дамскому перу, но отличается такою тяжеловесностью, что мы еще не встречали ни одного человека, у которого достало бы силы дочитать ее до конца; наконец, не учеными изысканиями г. Сладкопевцова «О римских когортах», от которых чувствовать удовольствие и оценить их по достоинству предоставляем специалистам; нас же, напротив, неприятно поразили в них опечатки, попадающиеся на каждой странице и дающие нам право обвинить автора за небрежность в издании своих сочинений (в не-

знании грамматики мы не смеем его подозревать, хотя имеем на то некоторое право)...»

— Что же это такое? — сказал Петр Михайлыч, останавливаясь читать.— Тут покуда одна перебранка... Экой народ эти господа фельетонисты!

— Продолжайте, папаша; верно дальше есть что-нибудь,— перебила с нетерпением Настенька.

Петр Михайлыч продолжал:

— «Но чем же возбуждено наше удовольствие? — спросит, наконец, читатель. Отвечаем: удовольствие это доставило нам чтение повести г. Калиновича, имя которого, сколько помнится, в первый раз еще встречаем мы в печати; тем приятнее для нас признать в нем умного, образованного и талантливого беллетриста. От души желаем не ошибиться в наших ожиданиях, возлагаемых на г. Калиновича, а ему писать больше, и полнее развивать те благородные мысли, которых, помимо полного драматизма сюжета, так много разбросано в его первом, но уже замечательном произведении».

При чтении последних строк Калинович беспрестанно менялся в лице: видно было, что похвалы эти ему были очень приятны, хоть он и старался это скрыть.

— Ах, как я рада! — сказала Настенька и закрыла глаза руками.

— Славно, славно! — говорил Петр Михайлыч.— И вы, Яков Васильич, еще жаловались на вашу судьбу! Вот как она вас потешила и сразу поставила в ряду лучших наших литераторов.

— Кто ж этого мог ожидать? — отвечал Калинович.

— И я не думала,— сказала Настенька.

— А я так думал и ожидал,— подхватил Петр Михайлыч.— Стало быть, у меня, у старого словесника, есть тоже кой-какое пониманье. Я как прослушал, так и вижу, что хорошо!

— И я, папаша, видела, что хорошо! — возразила Настенька.— Но чтоб так, вдруг, всем понравилось... Я думаю, ни один литератор не начинал с таким успехом.

— Немногие,— отозвался Калинович, продолжая ходить взад и вперед по комнате и стараясь смигнуть навернувшиеся на глазах слезы.

Петр Михайлыч заметил это и, показывая на него глазами, шепнул Настеньке:

— За душу, за сердце, значит, тронуло!

— Однако позвольте взглянуть, как там напечатано,— сказал Калинович и, взяв книжку журнала, хотел было читать, но остановился...— Нет, не могу,— проговорил он, опять берясь за голову,— какое сильное, однако, чувство, видеть свое произведение в печати... читать даже не могу!

— Ничего, сударь, ничего; и не стыдитесь этого: это слезы приятные; а я вот что теперь думаю: заплатят они вам или для первого раза и так сойдет?

— Конечно, заплатят,— отвечал Калинович,— по пятидесяти рублей серебром они обыкновенно платят за лист: это я наверное знаю.

— По пятидесяти,— повторил Петр Михайлыч и, сосчитав число листов, обратился к дочери: — Ну-ка, Настенька, девять с половиной на пятьдесят — сколько будет?

— Четыреста семьдесят пять,— отвечала та.

— Недурно! Есть на что выпить,— подхватил Петр Михайлыч.

— А я и забыл выпить,— сказал Калинович,— кого бы послать за шампанским?

— Нет, погодите,— перебил Петр Михайлыч,— давеча я пошутил. Прежде отправимтесь-ка за ефимоны в монастырь, да отслужите вы, Яков Васильич, благодарственный молебен здешнему угоднику.

— Ах, да, сделайте это, Яков Васильич! — подхватила Настенька.— Я большую веру имею к здешнему угоднику.

— Я очень рад,— отвечал Калинович.

— Непременно, непременно! — подтвердил Петр Михайлыч.— Здесь ни один купец не уедет и не приедет с ярмарки без того, чтоб не поклониться мощам. Я, признаться, как еще отправлял ваше сочинение, так сделал мысленно это обещание.

В это время вошла Палагея Евграфовна совсем одетая в свой шелковый, опушенный котиком капор, драдедамовый салоп и очень чем-то недовольная.

— Что это, Петр Михайлыч, приказали идти вместе, а тут сами сидите? Давным-давно благовестят,— сказала она.

— Знаю, сударыня, знаю,— ничего: мы идем все в монастырь; ступай и ты с нами. А ты, Настенька, пойди одевайся,— говорил старик, проворно надевая бекеш и вооружаясь тростью.

— Ну, вот, в монастырь выдумали: еще дальше!.. Не

все равно молиться?.. Придем к кресту!..— бормотала экономка и пошла.

— Идем, идем,— говорил Петр Михайлыч, идя вслед за ней и в то же время восклицая: — Скорей, Настасья Петровна! Скорей! Вечно вас дожидайся!

Настенька, наконец, вышла и вместе с Калиновичем нагнала отца и экономку на половине пути.

Монастырь, куда они шли, был старинный и небогатый. Со всех сторон его окружала высокая, толстая каменная стена, с следами бойниц и с четырьмя башнями по углам. Огромные железные ворота, с изображением из жести двух архангелов, были почти всегда заперты и входили в небольшую калиточку. Два храма, один с колокольней, а другой только церковь, стоявшие посредине монастырской площадки, были тоже старинной архитектуры. К стене примыкали небольшие и довольно ветхие кельи для братии и другие прислуги.

Когда Петр Михайлыч с своей семьей подошел к монастырю, там еще продолжался унылый и медленный великопостный звон в небольшой и несколько дребезжащий колокол. Служили в теплой церкви, о чем можно было догадаться по сидевшему около ее входа слепому старику-монаху, в круглой скуфейке и худеньком черном нанковом подряснике, подпоясанном ремнем. Старик этот, слепой от рождения, несколько уже лет служил чем-то вроде монастырского привратника. В тридцать градусов мороза и в июльские жары он всегда в одном и том же, ничем не подбитом нанковом подряснике и в худых, на босу ногу, сапогах, сидел около столика, на котором стояла небольшая икона угодника и покрытое с крестом пеленою блюдо для сбора подаяния в монастырь. Когда подошли наши богомольцы, слепой тотчас же услышал и встал.

— Святому угоднику и чудотворцу,— проговорил он, кланяясь в пояс.

Все помолились. Петр Михайлыч положил на блюдо гривенник. Калинович сделал то же. Церковную паперть, куда они вошли, составлял огромный коридор, по которому шаги их отдались в высоких сводах чутким эхом. Коридор этот, как и во многих старинных церквах, был почти темный, но с живописью на стенах из ветхого завета. Петр Михайлыч долго осиливал всплошь железную церковную дверь, которая, наконец, скрипя, тяжело рас-

пахнулась. Церковь была довольно большая; но величина ее казалась решительно громадною от слабого освещения: горели только лампадки да тонкие восковые свечи перед местными иконами, которые, вследствие этого, как бы выступали из иконостаса, и тем поразительнее было впечатление, что они ничего не говорили об искусстве, а напоминали мощи.

Молящихся было немного: две-три старухи-мещанки, из которых две лежали вниз лицом; мужичок в сером кафтане, который стоял на коленях перед иконой и, устремив на нее глаза, бормотал какую-то молитву, покачивая по временам своей белокурой всклоченной головой. Несколько стариков-монахов помещалось на обычных своих местах у задней стены под хорами. Служил сам настоятель, седой, как лунь, и по крайней мере лет восьмидесяти, но еще сильный, проворный и с блестящими, проницательными глазами. По всему околотку он был известен как религиозный сподвижник, несколько суровый в обращении и строгий к братии; по всем городским церквам служба обыкновенно уж кончалась, а у него только была еще в половине. Ефимоны у него продолжались часа четыре. Проворно выходил он из алтаря, очень долго молился перед царскими вратами и потом уже начинал произносить крестопоклонные изречения: *«Господи владыко живота моего!»* Положив три поклона, он еще долее молился и вслед за тем, как бы в духовном восторге, громко воскликнув: *«Господи владыко живота моего!»*, клал четвертый земной поклон и, порывисто кланяясь молящимся, уходил в алтарь. Стоявший посредине церкви молодой послушник истово и внятно начинал читать каноны. В углублении правого клироса стояло человек пять певчих монахов. В своих черных клобуках и широких рясах, освещенные сумеречным дневным светом, падавшим на них из узкого, затемненного железною решеткою окна, они были в каком-то полумраке и пели складными, тихими басами, как бы напоминая собой первобытных христиан, таинственно совершавших свое молебствие в мрачных пещерах. Все это неяркое, но полное таинственного смысла благолепие храма охватило моих богомольцев: Петр Михайлыч стал впереди всех, и в лице его отразилось какое-то тихое спокойствие. Палагея Евграфовна ушла в угол за левый клирос: она не любила молиться на людских глазах. Настенька поместилась рядом с ней и, став на колени, нача-

ла горячо молиться, взглядывая по временам на задумчиво стоявшего у правого клироса Калиновича.

По окончании ефимонов Петр Михайлыч подошел к настоятелю.

— Молебен, отец игумен, желаем отслужить угоднику,— сказал он.

— Хорошо,—отвечал лаконически настоятель. Впрочем, ответ этот был еще довольно благосклонен: другим он только кивал головой; Петра Михайлыча он любил и бывал даже иногда в гостях у него.

— Молебен!—сказал он стоявшим на клиросе монахам, и все пошли в небольшой церковный придел, где покоились мощи угодника. Началась служба. В то время как монахи, после довольно тихого пения, запели вдруг громко: «Тебе, бога, хвалим; тебе, господи, исповедуем!» — Настенька поклонилась в землю и вдруг разрыдалась почти до истерики, так что Палагея Евграфовна принуждена была подойти и поднять ее. После молебна начали подходить к кресту и благословению настоятеля. Петр Михайлыч подошел первый.

— Здоровы ли вы?—спросил отрывисто, но благосклонно настоятель.

— Живу, святой отец,— отвечал Петр Михайлыч,— а вы вот благословите этого молодого человека; это наш новый русский литератор,— присовокупил он, указывая на Калиновича.

Настоятель благословил того и потом, посмотрев на него своими проницательными глазами, вдруг спросил:

— Который вам год?

— Двадцать восьмой,—отвечал, несколько удивленный этим вопросом, Калинович.

— Как вы старообразны,—проговорил настоятель и обратился к Настеньке, посмотрел на нее тоже довольно пристально и спросил:

— Вы о чем расплакались?

— От полноты чувств, отец игумен, — отвечала Настенька.

— На молитве плакать не о чем, кроме разве оплакивать свои грехи и проступки вольные и невольные,— проговорил настоятель, благословляя Палагею Евграфовну и снимая облачение.

Настенька покраснела.

— Однако прощайте; ступайте домой; нам пора за-

пираться,— заключил он и проворно ушел, последуемый монахами.

Когда богомольцы наши вышли из монастыря, был уже час девятый. Калинович, пользуясь тем, что скользко и темно было идти, подал Настеньке руку, и они тотчас же стали отставать от Петра Михайлыча, который таким образом ушел с Палагеею Евграфовной вперед.

— Ты, мать-командирша, ничего не знаешь, а у нас сегодня радость,— заговорил он.

— Какая радость? — спросила экономка.

— А такая, что Яков Васильич наш напечатал свое сочинение, за которое заплатят ему пятьсот рублей серебром.

На пятьсот рублей серебром Петр Михайлыч нарочно сделал особенное ударение, чтоб поразить Палагею Евграфовну; но она только вздохнула и проговорила вполголоса:

— Свои-то дела он, знаемо, что делает, наши-то только оставляет.

Петр Михайлыч призадумался немного.

— Был у нас с ним, сударыня, об этом разговор,— начал он,— хоть не прямой, а косвенный; я, признаться, нарочно его и завел... брат меня все смущает... Там у них это неудовольствие с Калиновичем вышло, ну да и шуры-муры ихние замечает, так беспокоится...

— Какой же разговор у вас был? — спросила Палагея Евграфовна.

— А разговор наш был...— отвечал Петр Михайлыч,— рассуждали мы, что лучше молодым людям: жениться или не жениться? Он и говорит: «Жениться на расчете подло, а жениться бедняку на бедной девушке — глупо!»

— Гм! — произнесла Палагея Евграфовна.

— Как же, говорю, в этом случае поступать? — продолжал старик, разводя руками.— «Богатый, говорит, может поступать, как хочет, а бедный должен себя прежде обеспечить, чтоб, женившись, было чем жить...» И понимай, значит, как знаешь: клади в мешок, дома разберешь!

— Что тут понимать? Понимать-то тут нечего! — возразила с досадою Палагея Евграфовна.

— А понимать,— возразил, в свою очередь, Петр Михайлыч,— можно так, что он не приступал ни к чему решительному, потому что у Настеньки мало, а у него и

меньше того: ну а теперь, слава богу, кроме платы за сочинения, литераторам и места дают не по-нашему: может быть, этим смотрителем поддержат года два, да вдруг и хватят в директоры: значит, и будет чем семью кормить.

— Чтой-то кормить! — сказала Палагея Евграфовна с насмешкою.— Хоть бы и без этого, прокормиться было бы чем... Не бесприданницу какую-нибудь взял бы... Много ли, мало ли, а все больше его. Зарылся уж очень... прокормиться?.. Экому лбу хлеба не добыть!

— Оттого, что лоб-то у него хорош, он и хочет сделать осмотрительно, и я это в нем уважаю,— проговорил Петр Михайлыч.— А что насчет опасений брата Флегонта,— продолжал он в раздумье и как бы утешая сам себя,— чтоб после худого чего не вышло — это вздор! Калинович человек честный и в Настеньку влюблен.

— Влюблен-то влюблен, — подтвердила Палагея Евграфовна.

Нечто вроде этого, кажется, подумал и въезжавший в это время с кляузного следствия в город толстый становой пристав, старый холостяк и давно известный своей заклятой ненавистью к женскому полу, доходившею до того, что он бранью встречал и бранью провожал даже молодых солдаток, приходивших в стан являть свои паспорты. Поравнявшись с молодыми людьми, он несколько времени смотрел на них и, как бы умилившись своим суровым сердцем, усмехнулся, потер себе нос и вообще придал своему лицу плутоватое выражение, которым как бы говорил: «Езжали-ста и мы на этом коне».

— Ты счастлив сегодня? — проговорила Настенька, когда они уже стали подходить к дому.

— Да,—отвечал Калинович,—и этим счастием я исключительно обязан вашему семейству.

— Отчего же нам? Я думаю, своему таланту,— заметила Настенька.

— Что талант?.. В вашей семье,— продолжал Калинович,— я нашел и родственный прием, и любовь, и, наконец, покровительство в самом важном для меня предприятии. Мне долго не расплатиться с вами!

— Люби меня — вот твоя плата.

— Разлюбить тебя я не могу и *не должен,*— сказал Калинович, сделав ударение на последнем слове.

— *Не должен!* — повторила Настенька и задумалась.— Но если это когда-нибудь случится, я этого не пе-

ренесу, умру...— прибавила она, и слезы в три ручья потекли по ее щекам.

— О чем же ты плачешь? Этого никогда не может случиться, или...

— Что или?..

— Или я должен переродиться нравственно,— отвечал Калинович.

— Я верю тебе! — проговорила Настенька, крепко сжимая ему руку.

На некоторое время они замолчали.

— Дело в том,— начал Калинович, нахмурив брови,— мне кажется, что твои родные как будто начинают меня не любить и смотреть на меня какими-то подозрительными глазами.

— Да кто же родные? Капитан? — спросила Настенька.

— Я уж не говорю о капитане. Он ненавидит меня давно, и за что — не знаю; но даже отец твой... он скрывает, но я постоянно замечаю в лице его неудовольствие, особенно когда я остаюсь с тобой вдвоем, и, наконец, эта Палагея Евграфовна — и та на меня хмурится.

Настенька вздохнула.

— Они догадываются о наших отношениях,— проговорила она.

— Из чего ж они могут догадываться? Я в отношении тебя, по наружности, только вежлив — и больше ничего.

— Как из чего? Из всего: ты еще как-то осторожнее, но я ужасно как тоскую, когда тебя нет.

— Зачем же ты это делаешь?

— Ах, какой ты странный! Зачем? Что ж мне делать, если я не могу скрыть? Да и что скрывать? Все уж знают. Дядя на днях говорил отцу, чтоб не принимать тебя.

Калинович еще более нахмурился.

— Капитан этот такая дрянь, что ужас! — проговорил он.

— Нет, он очень добрый: он не все еще говорит, что знает, — возразила Настенька и вздохнула. — Но что досаднее мне всего,— продолжала она,— это его предубеждение против тебя: он как будто бы уверен, что ты меня обманешь.

— Как он хорошо меня знает! — проговорил Калинович с усмешкою.

— Он решительно тебя не понимает; да как же можно от него этого и требовать? — отвечала Настенька.

В такого рода разговорах все возвратились домой. Капитан уж их дожидался.

— Вы, я слышал, братец, в монастыре изволили молиться? — спросил он Петра Михайлыча.

— Да, сударь капитан, в монастыре были,— отвечал тот.— Яков Васильич благодарственный молебен ходил служить угоднику. Его сочинение напечатано с большим успехом, и мы сегодня как бы вроде того: победу торжествуем! Как бы этак по-вашему, по-военному, крепость взяли: у вас слава — и у нас слава!

— Да-с... конечно...— подтвердил капитан.

— Однако, Петр Михайлыч, я непременно желаю выпить шампанского,— сказал Калинович.

— Шампанского-то?..— проговорил старик.— Грех бы, сударь, разве для вашей радости и говенье нарушить?

— Я думаю, об этом всего лучше обратиться к вам, почтеннейшая Палагея Евграфовна,—отнесся Калинович к экономке, приготовлявшей на столе чайный прибор.

— К ней, к ней! — подтвердил Петр Михайлыч.— Добудь нам, командирша, бутылочку шампанского.

Калинович подал Палагее Евграфовне деньги и при этом случае пожал ей с улыбкою руку. Он никогда еще не был столько любезен с старою девицею, так что она даже покраснела.

— Да уж и об ужине кстати похлопочи, знаешь, этак кое-чего копчененького,— присовокупил Петр Михайлыч.

— Найдем что-нибудь,— отвечала Палагея Евграфовна и пошла хлопотать.

Сначала она нацарапала на лоскутке бумажки страшными каракульками: «путыку шимпанзскова», а потом принялась будить спавшего на полатях Терку, которого Петр Михайлыч, по выключке его из службы, взял к себе почти Христа ради, потому что инвалид ничего не делал, лежал упорно или на печи, или на полатях и воды даже не хотел подсобить принести кухарке, как та ни бранила его. В этот раз Палагее Евграфовне тоже немалого стоило труда растолкать Терку, а потом втолковать ему, в чем дело.

— Да ведь заперто,— отозвался инвалид.

— Руки-то есть, старый хрен: стукнись. Пошел, по-

шел скорей! Выспишься еще; ночь-то длинна,— говорила Палагея Евграфовна.

— Ну да, выспишься,—пробормотал Терка и долго еще обувался и напяливал свой вицмундиришко.

— Пес этакой! Пойдешь ты али нет? — воскликнула, наконец, Палагея Евграфовна.

— Ну! — отвечал на это Терка и, захватив крепко в руку записочку, поплелся, а Палагея Евграфовна велела кухарке разложить таган и сама принялась стряпать.

Терка чрез полчаса возвратился с одной только запиской в руках.

— Нет, не достучишься! — сказал он и преспокойно разделся и влез на полати.

Палагея Евграфовна только плюнула.

— Вот старого дармоеда держат ведь тоже! — проговорила она и, делать нечего, накинувшись своим старым салопом, побежала сама и достучалась. Часам к одиннадцати был готов ужин. Вместо кое-чего оказалось к нему приготовленными: маринованная щука, свежепросольная белужина под белым соусом, сушеный лещ, поджаренные копченые селедки, и все это было расставлено в чрезвычайном порядке на большом круглом столе.

— Палагея Евграфовна приготовила нам решительно римский ужин,— сказал Калинович, желая еще раз сказать любезность экономке; и когда стали садиться за стол, непременно потребовал, чтоб она тоже села и не вскакивала. Вообще он был в очень хорошем расположении духа.

Перед лещом Петр Михайлыч, налив всем бокалы и произнеся торжественным тоном: «За здоровье нашего молодого, даровитого автора!» — выпил залпом. Настенька, сидевшая рядом с Калиновичем, взяла его руку, пожала и выпила тоже целый бокал. Капитан отпил половину, Палагея Евграфовна только прихлебнула. Петр Михайлыч заметил это и заставил их докончить. Капитан дохлебнул молча и разом; Палагея Евграфовна с расстановкой, говоря: «Ой будет, голова заболит», но допила.

— Позвольте и мне предложить мой тост,— сказал Калинович, вставая и наливая снова всем шампанского.— Здоровье одного из лучших знатоков русской литературы и первого моего литературного покровителя,— продолжал он, протягивая бокал к Петру Михайлычу, и они чокнулись.— Здоровье моего маленького друга! — обратился Калинович к Настеньке и поцеловал у ней руку.

Он в шутку часто при всех называл Настеньку своим *маленьким другом.*

— Здоровье храброго капитана,— присовокупил он, кланяясь Флегонту Михайлычу,— и ваше! — отнесся он к Палагее Евграфовне.

— Ура! — заключил Петр Михайлыч.

Все выпили.

— Капитан! — обратился Петр Михайлыч к брату.— Протяните вашу воинственную руку нашему литератору: Аполлон и Марс должны жить в дружелюбии. Яков Васильич, чокнитесь с ним.

— Очень рад,— отвечал Калинович и, проворно налив себе и капитану шампанского, чокнулся с ним и потом, взяв его за руку, крепко сжал ее. Капитан, впрочем, не ответил ему тем же.

— Да прекратятся между вами все недоразумения, да будет между вами на будущее время мир и согласие! — произнес Петр Михайлыч.

— Надеюсь, что со временем, когда Флегонт Михайлыч узнает меня лучше, переменит свое мнение обо мне,— сказал Калинович.

— Я сам тоже надеюсь: вы человек образованный...— проговорил капитан, взглянув вскользь на Настеньку.

Калинович вместо ответа еще раз сжал руку капитану.

Таким образом кончился этот маленький банкет, на котором так много и так искренно сочувствовали и радовались успеху Калиновича.

«Родятся же на свете такие добрые и хорошие люди!» — думал он, возвращаясь в раздумье на свою квартиру.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### I

Покуда происходили такого рода знаменательные происшествия в моем маленьком мирку, в доме генеральши следовали одна за другой неприятности. Первоначально с ней сделался, бог уж знает отчего, удар, который хотя и миновался без особенно важных последствий, но имел некоторое влияние на ее умственные способности. Исправница, успевшая окончательно втереться к ним в дом, рассказывала, что m-lle Полина была в совершенном отчаянии. Любя мать, она в душе страдала больше, нежели сама больная, тем более, что, как она ни уговаривала, как ни умоляла ее ехать в Москву или хотя бы в губернский город пользоваться — та и слышать не хотела. «После болезни скупость ее,— прибавляла исправница по секрету,— еще больше увеличилась». А между тем на второй неделе поста старушку постигла еще новая неприятность. Медиокритский, остававшийся ее поверенным, потеряв место, недели две безвыходно пил в известном трактире. Генеральша, не зная этого, доверила ему, как и прежде часто случалось, получить с почты тысячу рублей серебром. Тот получил — и с тех пор более не являлся, скрылся даже из города неизвестно куда. Можете судить, какое впечатление произвела эта дерзость и потеря такой значительной суммы на больную! С ней опять сделалось что-то вроде паралитичного припадка, так что никаких сил более недоставало у m-lle Полины. Она написала коротенькую, но раздушенную записочку к князю Ивану и отправила потихоньку с нарочным. Тот на другой же день приехал.

Генеральша, никак не ожидавшая князя, очень ему обрадовалась. В какие-нибудь четверть часа он так ее разговорил, успокоил, что она захотела перебраться из спальни в гостиную, а князь между тем отправился повидаться кой с кем из своих знакомых.

В дальнейшем ходе романа лицо это примет довольно серьезное участие, а потому я считаю необходимым сообщить о нем несколько подробностей. Некогда адъютант гвардейского генерала, щеголявшего своими адъютантами, а теперь прекрасно живущий помещик, он считался одним из первых тузов. Несмотря на свои пятьдесят лет, князь мог еще быть назван, по всей справедливости, мужчиною замечательной красоты: благообразный с лица и несколько уж плешивый, что, впрочем, к нему очень шло, среднего роста, умеренно полный, с маленькими, красивыми руками, одетый всегда молодо, щеголевато и со вкусом, он имел те приятные манеры, которые напоминали несколько манеры ветреных, но милых маркизов. К этой наружности князь присоединял самое обаятельное, самое светское обращение: знакомый почти со всей губернией, он обыкновенно с помещиками богатыми и чиновниками значительными был до утонченности вежлив и даже несколько почтителен; к дворянам же небогатым и чиновникам неважным относился необыкновенно ласково и обязательно и вообще, кажется, во всю свою жизнь, кроме приятного и лестного, никому ничего не говорил. Никогда никто не слыхал, чтоб он о ком-нибудь отозвался в резких выражениях, дурно или насмешливо, хоть в то же время любил и умел, особенно на французском языке, сказать остроту, но только ни к кому не относящуюся. Кто бы к нему ни обращался с какой просьбой: просила ли, обливаясь горькими слезами, вдова помещица похлопотать, когда он ехал в Петербург, о помещении детей в какое-нибудь заведение, прибегал ли к покровительству его попавшийся во взятках полупьяный чиновник — отказа никому и никогда не было; имели ли окончательный успех или нет эти просьбы — то другое дело. Большей частью они, по стечению обстоятельств, не исполнялись. Кроме того, знакомясь с новым лицом, князь имел удивительную способность с первого же раза угадывать конек каждого и направлял обыкновенно разговор на самые интересные для того предметы. Вследствие этого все новые знакомые, особенно лица, почему-либо нужные князю, всегда приходили в восторг от знакомства с

ним. Семь губернаторов, сменявшиеся в последнее время один после другого, считали его самым благородным и преданным себе человеком и искали только случая сделать ему что-нибудь приятное. Прочие власти тоже, начиная с председателей палат до последнего писца в ратуше, готовы были служить для него по службе всем, что только от них зависело. В деревне своей князь жил в полном смысле барином, имел четырех детей, из которых два сына служили в кавалергардах, а у старшей дочери, с самой ее колыбели, были и немки, и француженки, и англичанки, стоившие, вероятно, тысяч. Сам он почти каждый год два — три месяца жил в Петербурге, а года два назад ездил даже, по случаю болезни жены, со всем семейством за границу, на воды и провел там все лето. При таких широких размахах жизни князь, казалось, давно бы должен был промотаться в пух, тем более, что после отца, известного мота, он получил, как все очень хорошо знали, каких-нибудь триста душ, да и те в залоге. Женат был на даме очень милой, образованной, некогда красавице и певице, но за которой тоже ничего не взял. Несмотря, однако, на все это, он не только не проматывался, но еще приобретал, и вместо трехсот душ у него уже была с лишком тысяча. К объяснению всего этого ходило, конечно, по губернии несколько темных и неопределенных слухов, вроде того, например, как чересчур уж хозяйственные в свою пользу распоряжения по одному огромному имению, находившемуся у князя под опекой; участие в постройке дома на дворянские суммы, который потом развалился; участие будто бы в Петербурге в одной торговой компании, в которой князь был распорядителем и в которой потом все участники потеряли безвозвратно свои капиталы; отношения князя к одному очень важному и значительному лицу, его прежнему благодетелю, который любил его, как родного сына, а потом вдруг удалил от себя и даже запретил называть при себе его имя, и, наконец, очень тесная дружба с домом генеральши, и ту как-то различно понимали: кто обращал особенное внимание на то, что для самой старухи каждое слово князя было законом, и что она, дрожавшая над каждой копейкой, ничего для него не жалела и, как известно по маклерским книгам, лет пять назад дала ему под вексель двадцать тысяч серебром, а другие говорили, что m-lle Полина дружнее с князем, чем мать, и что, когда он приезжал, они, отправив старуху спать, по нескольку

часов сидят вдвоем, затворившись в кабинете — и так далее... Всему этому, конечно, большая часть знакомых князя не верила; а если кто отчасти и верил или даже сам доподлинно знал, так не считал себя вправе разглашать, потому что каждый почти был если не обязан, то по крайней мере обласкан им.

В настоящий свой проезд князь, посидев со старухой, отправился, как это всякий раз почти делал, посетить койкого из своих городских знакомых и сначала завернул в присутственные места, где в уездном суде, не застав членов, сказал небольшую любезность секретарю, ласково поклонился попавшемуся у дверей земского суда рассыльному, а встретив на улице исправника, выразил самую неподдельную, самую искреннюю радость и по крайней мере около пяти минут держал его за обе руки, сжимая их с чувством. Проезжая потом по главной улице, князь встретил Петра Михайлыча, и тому еще издали снял шляпу, кланялся и улыбался. Петр Михайлыч, с своей стороны, подошел к нему, расшаркался и отдал почтительный поклон. Он уважал князя и выражался о нем таким образом: «Талейран, сударь, нашего времени, Талейран».

— Здоровы ли вы? — сказал князь, дружески сжимая руку Петра Михайлыча.

— Благодарю вас покорно, слава богу, живу еще,— отвечал тот.

— Очень, очень рад вас видеть,— продолжал князь.

Петр Михайлыч поклонился.

— Давно не изволили жаловать к нам в город, ваше сиятельство, — сказал он.

— Что делать! Что делать! — отвечал князь.— Но полагаю, что здесь идет все по-старому, значит, хорошо и благополучно,— прибавил он.

— Конечно-с, — подтвердил Петр Михайлыч, — какие здесь могут быть перемены. Впрочем,— продолжал он, устремляя на князя пристальный взгляд,— есть одна и довольно важная новость. Здешнего нового господина смотрителя училищного изволите знать?

— Да, как же, как же, знаю, видал его: очень, кажется, порядочный молодой человек.

— Очень хороший-с,— подтвердил Петр Михайлыч,— и теперь написал роман, которым прославился на всю Россию,— прибавил он несколько уже нетвердым голосом.

— Скажите, пожалуйста! — воскликнул князь.— Роман написал.

— Вы, может быть, даже читали его: «Странные отношения» называется? — проговорил Петр Михайлыч с почтением.

— Да, читал, читал и по крайней мере с полчаса ломал голову: вижу фамилия знакомая, а вспомнить не могу. Очень, очень мило написано!

Говоря это, князь от первого до последнего слова лгал, потому что он не только романа Калиновича, но никакой, я думаю, книги, кроме газет, лет двадцать уж не читывал.

— Теперь критики только и дело, что расхваливают его нарасхват,— продолжал между тем Годнев гораздо уже более ободренным тоном.— И мне тем приятнее,— прибавил он, склоняя по обыкновению голову набок,— что вы, человек образованный и знакомый со многими иностранными литературами, так отзываетесь, а здешние некоторые господа не хотят и внимания обратить на это сочинение и еще смеются!

Князь покачал головою.

— Как это можно! — проговорил он.

— Что делать. Не славен пророк в отечестве своем! — отвечал со вздохом Петр Михайлыч.

— Отчего же?.. Нет! По крайней мере я сейчас же заверну к господину Калиновичу поблагодарить его за доставленное мне наслаждение. До свидания.

Проговоря это, князь, с прежним радушием пожав руку старику, поехал.

Надобно сказать, что Петр Михайлыч со времени получения из Петербурга радостного известия о напечатании повести Калиновича постоянно занимался распространением славы своего молодого друга, и в этом случае чувства его были до того преисполнены, что он в первое же воскресенье завел на эту тему речь со стариком купцом, церковным старостой, выходя с ним после заутрени из церкви.

— Вот вы, некоторые из купечества, избегаете образовывать детей ваших. Это очень нехорошо!—начал было он.

Староста, старик, старинный, закоренелый, скупой, но умный и прехитрый, полагая, что не на его ли счет будет что-нибудь говориться, повернул голову несколько набок и стал прислушиваться единственно слышавшим правым ухом, на которое, впрочем, смотря по обстоятельствам, притворялся тоже иногда глухим.

— Теперь вот мой преемник, смотритель,— продолжал Петр Михайлыч, — сирота круглый, бедняк, а по образованию своему делается сочинителем: стало быть, человеком знатным и богатым.

Купец только пожал плечами.

— Всякому, сударь, доложить вам, человеку свое счастье!—сказал он, вздохнув, и потом, приподняв фуражку и проговоря: — Прощенья просим, ваше высокоблагородие! — поворотил в свой переулок и скрылся за тяжеловесную дубовую калитку, которую, кроме защелки, запер еще припором и спустил с цепи собаку.

Отнеся такое невнимание не более как к невежеству русского купечества, Петр Михайлыч в тот же день, придя на почту отправить письмо, не преминул заговорить о любимом своем предмете с почтмейстером, которого он считал, по образованию, первым после себя человеком.

— Вы знаете моего преемника? — спросил он.

— Был, сударь, у меня,— отвечал тот и почему-то вздохнул.

— Сочинение теперь написал, которым прославился на всю Россию.

— Какое-с это? О господи помилуй!—проговорил почтмейстер, кидая по обыкновению короткий взгляд на образа.

— Романическое!

Почтмейстер поглядел несколько времени через очки на Петра Михайлыча как бы с видом некоторого сожаления.

— Нам с вами, в наши лета, пора бы и другие книжки уж почитывать,— проговорил он.

— Что ж, я почитываю и те и другие,— отвечал Петр Михайлыч, заметно сконфуженный этим замечанием, и потом, посеменив еще несколько времени ногами, раскланялся.

— Умный бы старик, но очень уж односторонен,— говорил он, идя домой, и все еще, видно, мало наученный этими опытами, на той же неделе придя в казначейство получать пенсию, не утерпел и заговорил с казначеем о Калиновиче.

— Сам ходит новый смотритель к вам в кладовую ставить шкатулку-то? — спросил он его так, будто к слову.

— Сам,— отвечал казначей и икнул.

— Роман он сочинил, и за какие-нибудь сто печатных страничек ему шестьсот рублей серебром отсыплют.

Петр Михайлыч желал поразить казначея, как и Палагею Евграфовну, деньгами; но тот и на это ничего не сказал, а только опять икнул. Годнев, наконец, понял, что этот разговор нисколько не интересовал казнохранителя, а потому поднялся.

— До свиданья,— сказал он.

— До свиданья,— проговорил казначей и еще раз икнул.

«Эк его!» — подумал про себя Петр Михайлыч и заметил вслух:

— Верно, желудок испортили: все икаете?

— Нет, так, поминает кто-нибудь, — отвечал казначей.

Выйдя на крыльцо, Петр Михайлыч некоторое время стоял в раздумье.— Ну, попробую еще,— проговорил он и взобрался в земский суд, где застал довольно большую компанию: исправника, непременного члена и, кроме того, судью и заседателя: они пришли из своего суда посидеть в земский. Секретарь, молодой еще человек, только что начинавший свою уездную карьеру, ласкал всех добрым взглядом. Два рыжие писца, родные братья Медиокритского, тоже молодые люди, владевшие замечательно красивым почерком, стояли у стеклянных дверей присутствия и обнаруживали большое внимание к тому, что там происходило.

Всех занимал некто, приехавший в город, помещик Прохоров, мужчина лет шестидесяти и громаднейшего роста. По случаю спора о военной службе он делал теперь кочергой, как бы ружьем, разные артикулы и маршировал. Судья ему командовал: «Раз, два! Раз, два!» — говорил он, колотя себя по ляжке. Прохоров, с крупными каплями поту на лице, маршировал самым добросовестным образом. «Стой!» — скомандовал судья. Прохоров остановился. «Дирекция налево!» — крикнул судья. Прохоров повернул несколько налево свои бычачьи глаза. «Заряжение на двенадцать темпов!» — скомандовал судья. Прохоров сначала представил, что как будто бы он вынул патрон, потом скусил его, опустил в дуло, прибил шомполом, наконец, взвел курок, прицелился. «Пли!» — крикнул судья. Прохоров выпалил ртом. «Чисто делает»,— заметил непременный член заседателю.— «Еще бы!» — подтвердил тот.

В подобном обществе странно бы, казалось, и совершенно бесполезно начинать разговор о литературе, но Петр Михайлыч не утерпел и, прежде еще высмотрев на

окне именно тот нумер газеты, в котором был расхвален Калинович, взял его, проговоря скороговоркой:

— Про здешнего одного господина тут пишут,— и прочел весь отзыв вслух.

При этой выходке его все потупились и молчали, как будто старик сказал какую-нибудь глупость или сделал неприличный поступок.

— Что уж, господа, ученое звание, про вас и говорить! Вам и книги в руки, — сказал Прохоров, делая кочергой на караул.

Петру Михайлычу это показалось обидно.

— Что ж, книги в руки? В книгах, сударь, ничего нет худого; тут не над чем, кажется, смеяться,— заметил он.

— Что ж, плакать, что ли, нам над вашими книгами,— сострил Прохоров.

Все засмеялись.

Петр Михайлыч промолчал и поспешил уйти.

С месяц потом он ни с кем не заговаривал о Калиновиче и даже в сцене с князем, как мы видели, приступил к этому довольно осторожно. Но любезность того сразу, так сказать, искупила для старика все его неудачи по этому предмету и умилила его до глубины души. Услышав звон к поздней обедне, он пошел в собор поблагодарить бога, что уж и в провинции начинает распространяться образование, особенно в дворянском быту, где прежде были только кутилы, собачники, картежники, никогда не читавшие никаких книг. Князь между тем заехал к Калиновичу на минуту и, выехав от него, завернул к старой барышне-помещице, у которой, по ее просьбе и к успокоению ее, сделал строгое внушение двум ее краснощеким горничным, чтоб они служили госпоже хорошо и не делали, что прежде делали.

В доме генеральши между тем, по случаю приезда гостя, происходила суетня: ключница отвешивала сахар, лакеи заливали в лампы масло и приготовляли стеариновые свечи; худощавый метрдотель успел уже сбегать в ряды и захватить всю крупную рыбу, купил самого высшего сорта говядины и взял в погребке очень дорогого рейнвейна. Князь был большой гастроном и пил за столом только один рейнвейн высокой цены. Часу в первом генеральша перешла из спальни в гостиную и, обложившись подушками, села на свой любимый угловой диван. На подзеркальном столике лежала кипа книг и огромный тюрик

с конфетами; первые князь привез из своей библиотеки для m-lle Полины, а конфеты предназначил для генеральши. Она была вообще до сладкого большая охотница, и, так как у князя был превосходный кондитер, так он очень часто присылал и привозил старухе фунта по четыре, по пяти самых отборных печений, доставляя ей тем большое удовольствие. M-lle Полина, решительно ожившая и вздохнувшая свободно от приезда князя, разливала кофе из серебряного кофейника в дорогие фарфоровые чашки, расставленные тоже на серебряном подносе. Князь очень удобно поместился на мягком кресле. Генеральша лениво, но ласково смотрела на него и потом начала взглядывать на разлитый по чашкам кофе.

— Полина, как хочешь, дай мне кофею,— проговорила она.

У старухи после болезни сделался ужасный аппетит.

— Мамаша...— произнесла Полина полуукоризненным, полуумоляющим голосом.

Генеральша, пожав плечами, отвернулась от дочери. M-lle Полина покачала головой и вздохнула.

— Небольшую чашечку кофею ничего, право, ничего,— решил князь.

— И я тоже утверждаю; но что же мне делать, если все мне нельзя и все вредно, по мнению Полины,— произнесла старуха оскорбленным тоном. M-lle Полина грустно улыбнулась и налила чашку.

— Извольте, maman [1], кушайте; я для вас же...— проговорила она, подавая матери чашку.

Генеральша медленно, но с большим удовольствием начала глотать кофе и при этом съела два куска белого хлеба.

— Кофе хорош,— заключила она.

— Стакан воды, ma tante [2], стакан воды непременно извольте выкушать! Этим правилом никогда не манкируйте,— сказал князь, погрозя пальцем.

— Я согласна,—отвечала генеральша таким тоном, как будто делала в этом случае весьма большое одолжение. M-lle Полина позвонила; вошел лакей.

— Холодной? — спросила она, обращаясь к князю.

— Самой холодной,— отвечал тот.

— Воды холодной маменьке,— сказала она человеку.

---

[1] мамаша, (*франц.*)

[2] тетушка, (*франц.*)

Тот ушел и возвратился с водой. M-lle Полина наперед сама ее попробовала, приложив руку к стакану.

— Кажется, холодна? — обратилась она к князю.

Тот тоже приложил руку к стакану.

— Хороша,— сказал он и подал стакан генеральше. Та медленно отпила половину.

— Будет,— проговорила она.

— Нет, ma tante, как угодно, весь, непременно весь,— возразил князь.

— Допейте, maman; иначе кофе вам повредит! — подтвердила Полина.

Генеральша нехотя допила.

— Ох, вы меня совсем залечите! — сказала она и в то же время медленно обратила глаза к лежавшим на столе конфетам.

— За то, что я тебя, дружок, послушалась, дай мне одну конфету из твоего подарка,— произнесла она кротко.

— Можно ли до обеда, maman,— заметила Полина.

— Ничего, ничего, это самые невинные,— разрешил князь и поднес генеральше вместо одной три конфеты.

Та начала их с большим удовольствием зубрить, а потом постепенно склонила голову и задремала.

— Ребенок, совершенный ребенок! — произнес князь шепотом.

M-lle Полина вздохнула.

— Совершенный ребенок!— повторил он и, пересев на довольно отдаленный стул, закурил сигару.

Полина села около него. Князь некоторое время смотрел на нее с заметным участием.

— Однако как вы, кузина, похудели! Боже мой, боже мой! — начал он тихо.

Полина грустно улыбнулась.

— Ты спроси, князь,— отвечала она полушепотом,— как я еще жива. Столько перенести, столько страдать, сколько я страдала это время,— я и не знаю!.. Пять лет прожить в этом городишке, где я человеческого лица не вижу; и теперь еще эта болезнь... ни дня, ни ночи нет покоя... вечные капризы... вечные жалобы... и, наконец, эта отвратительная скупость — ей-богу, невыносимо, так что приходят иногда такие минуты, что я готова бог знает на что решиться.

Князь пожал плечами.

— Терпение и терпение. Всякое зло должно же когда-

нибудь кончиться, а этому, кажется, недалек конец,— сказал он, указывая глазами на генеральшу.

— Терпение! Тебе хорошо говорить! Конечно, когда ты приезжаешь, я счастлива, но даже и наши отношения, как ты хочешь, они ужасны. Мне решительно надобно выйти замуж.

— А что же Москва? — спросил князь.

— Ничего. Я знала, что все пустяками кончится. Ей просто жаль мне приданого. Сначала на первое письмо она отвечала ему очень хорошо, а потом, когда тот намекнул насчет состояния,— боже мой! — вышла из себя, меня разбранила и написала ему какой только можешь ты себе вообразить дерзкий ответ.

— O! mon Dieu, mon Dieu,— проговорил князь, поднимая кверху глаза.

— У меня теперь гривенника на булавки нет,— продолжала Полина.— Что ж это такое? Пятьсот душ покойного отца — мои по закону. Я хотела с тобой, кузен, давно об этом посоветоваться: нельзя ли хоть по закону получить мне это состояние себе; оно мое?

В продолжение этого монолога князь нахмурился.

— Оно ваше, и по закону вы сейчас же могли бы его получить,— произнес он с ударением,— но вы вспомните, кузина, что выйдет страшная вражда, будет огласка — вы девушка, и явно идете против матери!

— Но если я выйду замуж, это будет очень натурально. Должна же я буду чем-нибудь жить с мужем?

Князь в знак согласия кивнул головой.

— Тогда, конечно, будет совсем другое дело,— начал он,— тогда у вас будет своя семья, отдельное существование; тогда хочешь или нет, а отдать должна; но, chèr cousine [1],—продолжал он, пожав плечами,— надобно наперед выйти замуж, хоть бы даже убежать для этого пришлось: а за кого?.. Что прикажете в здешнем медвежьем закоулке делать? Я часто перебираю в голове здешних женихов,— нет и нет! Кто посолидней и получше, не хотят жениться, а остальная молодежь такая, что не только выйти замуж за кого-нибудь из них, и в дом принять неловко.

В ответ на это Полина вздохнула.

— Я предчувствую,— начала она,— что мне здесь придется задохнуться... Что́, что я богата, дочь генерала, что у меня одних брильянтов на сто тысяч,— что из всего это-

[1] дорогая кузина, (*франц.*)

го? Я несчастнее каждой дочери приказного здешнего; для тех хоть какие-нибудь удовольствия существуют...

При последних словах у Полины показались на глазах слезы.

— Господи, боже мой! — продолжала она.— Я не ищу в будущем муже моем ни богатства, ни знатности, ни чинов: был бы человек приличный и полюбил бы меня, чтоб я хоть сколько-нибудь нравилась ему...

В это время генеральша зевнула и полуоткрыла глаза.

— Полина, ты здесь? — сказала она.

— Здесь, maman,— отвечала Полина и, тотчас же встав, отошла от князя к столику, на котором лежали книги.

— Что ты делаешь? — спросила генеральша.

— Книги смотрю.

— Какие книги?

— Которые князь привез,— отвечала с досадою Полина.

— Какие книги он привез? — спросила старуха.

— Журналы, ma tante, журналы,— подхватил князь и потом, взявшись за лоб и как бы вспомнив что-то, обратился к Полине.— Кстати, тут вы найдете повесть или роман одного здешнего господина, смотрителя уездного училища. Я не читал сам, но по газетам видел — хвалят.

M-lle Полина начинала припоминать.

— Смотритель...— сказала она, прищуривая глаза,— он был, кажется, у нас?

— Был? — спросил князь.

— Да, был; но maman сухо его приняла, и он с тех пор не бывал.

— О чем вы говорите? — спросила опять старуха.

— О сочинениях, ma tante, о сочинениях,— отвечал князь и, опять взявшись за лоб, проговорил тихо и с улыбкой Полине: — Voilà notre homme! [1]. Займитесь, развлекитесь; молодой человек très comme il faut! [2].

Полина тоже усмехнулась.

— Именно готова,— отвечала она,— впрочем, он и тогда мне понравился: очень милый.

— Очень милый! — подтвердил князь.

— Обедать готово? — вмешалась старуха.

M-lle Полина пожала плечами.

---

[1] вот кто нам нужен! *(франц.)*

[2] Вполне приличный! *(франц.)*

— Мы недавно, maman, кофе пили.

— Рано, ma tante, очень рано; всего еще первый час,— подхватил князь, смотря на часы.

Старуха сделала недовольную мину и снова начала как бы дремать.

— Я сейчас заезжал к нему, и завтра, вероятно, он будет у меня,— произнес князь, обращаясь к Полине.

Та опять грустно, но улыбнулась.

## II

Возвратившись домой из училища, Калинович сейчас заметил билет князя, который приняла у него приказничиха и заткнула его, как, видала она, это делается у богатых господ, за зеркало, а сама и говорить ничего не хотела постояльцу, потому что более полугода не кланялась даже с ним и не отказывала ему от квартиры только для Палагеи Евграфовны, не желая сделать ей неприятность. На оборотной стороне билетика рукою князя было написано: «Заезжал поблагодарить автора за доставленное мне удовольствие!» Прочитав фамилию и надпись, Калинович улыбнулся, и потом, подумав немного, сбросив с себя свой поношенный вицмундир, тщательно выбрился, напомадился, причесался и, надев черную фрачную пару, отправился сначала к Годневым. Настенька по обыкновению ждала его в зале у окна и по обыкновению очень ему обрадовалась, взяла его за руку и посадила около себя.

— Откуда ты сегодня такой нарядный? — сказала она.

— Ниоткуда,— отвечал Калинович и потом, помолчав, прибавил:— У меня сейчас нечаянный гость был.

— Кто такой? — спросила Настенька.

Вместо ответа Калинович подал ей билет князя. Настенька, прочитав фамилию и приписку, улыбнулась.

— Какая любезность! Только жалко, что не вовремя,— проговорила она.

— Почему же не вовремя? — спросил Калинович.

— Конечно, не вовремя! Когда напечатался твой роман, ты ни умнее стал, ни лучше: отчего же он прежде не делал тебе визитов и знать тебя не хотел?

— Напротив, он был всегда очень любезен со мной, и я всегда желал с ним сблизиться. Человек он очень умный...

Настенька сомнительно покачала головой.

— Не знаю,— прибавила она,— я видела его раза два;

лицо совершенно как у иезуита. Не нравится он мне; должно быть, очень хитрый.

Калинович ничего не возражал и придал лицу своему такое выражение, которым как бы говорил: «Всякий может думать по-своему».

Между тем Петр Михайлыч тоже возвратился домой и переодевался в своем кабинете. Услышав голос Калиновича, он закричал:

— Калинович, вы здесь?

— Здесь,— отвечал тот.

— У вас гость был, князь заезжал к вам.

— Знаю,— отвечал Калинович.

— Что ж вы думаете сделать? — продолжал старик, входя.— Э! Да вот вы кстати и приоделись... Съездите к нему, сударь, сейчас же съездите! Подите-ка, как он вас до небес превозносит.

— Зачем же сейчас? — вмешалась Настенька.— Не успел он завернуть, как и бежать к нему на поклон. Какое благодеяние оказал... это смешно!

— Ужасно смешно! Много ты понимаешь! — перебил Петр Михайлыч.— Зачем ехать? — продолжал он.— А затем, что требует этого вежливость, да, кроме того, князь— человек случайный и может быть полезен Якову Васильичу.

— Чем же он может быть полезен Якову Васильичу? Вот это интересно; этого я точно не понимаю.

Петр Михайлыч рассердился.

— Нет, ты понимаешь, только в тебе это твоя гордость говорит! — вскрикнул он, стукнув по столу.— По-твоему, от всех людей надобно отворачиваться, кто нас приветствует; только вот мы хороши! Не слушайте ее, Яков Васильич!.. Пустая девчонка!..— обратился он к Калиновичу.

— Я думаю съездить,— проговорил тот.

Настенька взглянула на него.

— Поезжайте,— подхватил старик,— только пешком грязно; сейчас велю я вам лошадь заложить, сейчас,— прибавил он и проворно ушел.

— Ты поедешь? — спросила Настенька.

— Конечно, поеду,— отвечал Калинович.

— А если я не хочу, чтоб ты ездил?

— Странное желание! — проговорил Калинович.

— Ну, положим, что странное, но если я этого хочу; неужели ты не пожертвуешь для меня этими пустяками?

— Я не понимаю, в чем тут жертвовать. Мне надобно заплатить визит, я и плачу,— что ж тут такого?

— Тут ничего, может быть, нет, но я не хочу. Князь останавливается у генеральши, а я этот дом ненавижу. Ты сам рассказывал, как тебя там сухо приняли. Что ж тебе за удовольствие, с твоим самолюбием, чтоб тебя встретили опять с гримасою?

— Я еду не к генеральше, которую и знать не хочу, а к князю, и не первый, а плачу ему визит.

— Не езди, душечка, ангел мой, не езди! Я решительно от тебя этого требую. Пробудь у нас целый день. Я тебя не отпущу. Я хочу глядеть на тебя. Смотри, какой ты сегодня хорошенький!

Говоря это, Настенька взяла Калиновича за руку.

— Я опять сюда вернусь через какие-нибудь четверть часа,— отвечал он.

— Не хочу я, говорят тебе! — возразила Настенька.

— Каприз — и больше ничего, и каприз глупый! — проговорил Калинович, нахмурившись.

— Нет, Жак, это не каприз, а просто предчувствие,— начала она.— Как ты сказал, что был у тебя князь, у меня так сердце замерло, так замерло, как будто все несчастья угрожают тебе и мне от этого знакомства. Я тебя еще раз прошу, не езди к генеральше, не плати визита князю: эти люди обоих нас погубят.

— До предчувствий дело дошло! Предчувствие теперь виновато! —проговорил Калинович.—Но так как я в предчувствие решительно не верю, то и поеду,— прибавил он с насмешкою.

— Я очень хорошо наперед знала,— возразила Настенька,— что тебе самое ничтожное твое желание дороже бог знает каких моих страданий.

— Если вы это знали, так к чему ж весь этот разговор? — сказал Калинович.

Настенька вся вспыхнула.

— Послушайте, Калинович! — начала она.— Если вы со мной станете так говорить... (голос ее дрожал, на глазах навернулись слезы). Вы не смеете со мной так говорить,— продолжала она,— я вам пожертвовала всем... не шутите моей любовью, Калинович! Если вы со мной будете этакие штучки делать, я не перенесу этого,— говорю вам, я умру, злой человек!

— Настенька! Полноте! Что это вы! — проговорил Ка-

линович и хотел было взять ее за руку, но она отдернула руку.

— Подите прочь, не надобно мне ваших ласк! — сказала она, встала и пошла, но в дверях остановилась.

— Если вы поедете к князю, то не приезжайте ни сегодня, ни завтра... не ходите совершенно к нам: я видеть вас не хочу... эгоист!

Калинович сделал гримасу. Настенька повернулась и ушла.

В эту минуту вернулся Петр Михайлыч и еще в дверях кричал:

— Лошадь готова-с; поезжайте с богом!

— Очень вам благодарен,— отвечал Калинович и, надев пальто, вышел на крыльцо.

Его ожидали точно те же дрожки, на которых он год назад делал визиты и с которых, к вящему их безобразию, еще зимой какие-то воришки срезали и украли кожу. Лошадь была тоже прежняя и еще больше потолстела. На козлах сидел тот же инвалид Терка: расчетливая Палагея Евграфовна окончательно посвятила его в кучера, чтоб даром хлеб не ел. Словом, разница была только в том, что Терка в этот раз не подличал Калиновичу, которого он, за выключку из сторожей, глубоко ненавидел, и если когда его посылали за чем-нибудь для молодого смотрителя, то он ходил вдвое долее обыкновенного, тогда как и обыкновенно ходил к соседке калачнице за кренделями по два часа. В настоящем случае он повез Калиновича убийственным шагом, как бы следуя за погребальной церемонией. Тому сделалось это скучно.

— Пошел скорее! Что ты как с маслом едешь! — сказал он.

— Лошадь не бежит,— отвечал лаконически Терка.

— Ты хлестни ее!

— Нету-тка, боюсь, она не любит, коли ее хлещут — улягнет! — возразил инвалид, тряхнув слегка вожжами, и продолжал ехать шагом.

Калинович подождал еще несколько времени; наконец, терпение его лопнуло.

— Хлестни лошадь, говорят тебе,— повторил он еще раз.

Терка молчал.

— Говорят тебе, хлестни! — вскрикнул Калинович.

— Да плети ж нету! — вскричал в свою очередь инвалид.

Калинович, видя, что Гаврилыча не переупрямишь, встал с дрожек.

— Пошел домой, я не хочу с тобой, скотом, ехать! — сказал он и пошел пешком. Терка пробормотал себе что-то под нос и, как ни в чем не бывало, поворотил лошадь и поехал назад рысью.

В сенях генеральши Калинович опять был встречен ливрейным лакеем.

— У себя его сиятельство? — спросил он.

— Сейчас-с,— отвечал тот и пошел наверх.

Князь и Полина сидели на прежних местах в гостиной. Генеральша для возбуждения вкуса жевала корицу. Лакей доложил.

— Легок на помине,— проговорил князь, вставая.

— Примите его сюда,— сказала стремительно Полина.

— Да,— отвечал тот и обратился к старухе: — Калинович ко мне, ma tante, приехал, один автор: можно ли его сюда принять?

— Какой автор? — спросила та, мигая глазами.

— Он был у нас, maman, с год назад,— отвечала Полина.

— Где был? — спросила старуха.

— Здесь был, у вас был,— подхватил князь.

— Не знаю, когда был... не помню,— говорила больная.

— Ну, да, вы не помните, вы забыли. Можно ли его сюда принять? Он очень умный и милый молодой человек,— толковал ей князь.

— Отчего ж нельзя? Когда ты мне его рекомендуешь, я очень рада,— отвечала она.

— Проси! — приказал князь лакею и сам вышел несколько в залу, а Полина встала и начала торопливо поправлять перед зеркалом волосы.

Калинович показался.

— Очень, очень вам благодарен, что доставили удовольствие видеть вас! — начал князь, идя ему навстречу и беря его за обе руки, которые крепко сжал.

— Вы знакомы с здешними хозяевами? — прибавил он.

Калинович отвечал, что он имел честь быть у них один раз.

— В таком случае, позвольте возобновить ваше знакомство,— заключил князь и ввел его в гостиную.

— Monsieur Калинович,— отнесся он к генеральше, но та только хлопнула глазами.

M-lle Полина, напротив, поклонилась очень любезно.

— Je vous prie, monsieur, prenez place [1],— сказал князь, подвигая Калиновичу стул и сам садясь невдалеке от него.

— Monsieur Калинович был так недобр, что посетил нас всего только один раз,— сказала Полина по-французски.

Калинович отвечал тоже по-французски, что он слышал о болезни генеральши и потому не смел беспокоить. Князь и Полина переглянулись: им обоим понравилась ловко составленная молодым смотрителем французская фраза. Старуха продолжала хлопать глазами, переводя их без всякого выражения с дочери на князя, с князя на Калиновича.

— Maman действительно весь этот год чувствовала себя нехорошо и почти никого не принимала,— заговорила Полина.

— В руке слабость и одеревенелость в пальцах чувствую,— обратилась к Калиновичу старуха, показывая ему свою обрюзглую, дрожавшую руку и сжимая пальцы.

— С течением времени чувствительность восстановится, ваше превосходительство; это пройдет,— отвечал тот.

— Пройдет, решительно пройдет,— подхватил князь.— Бог даст, летом в деревне ванны похолоднее — и посмотрите, каким вы молодцом будете, ma tante!

— Вкусу нет... во рту неприятно... кушанья, которые любила прежде, не нравятся...— продолжала старуха, не обращая внимания на слова князя и опять относясь к Калиновичу.

Тот выразил в лице своем глубокое сожаление. Легкий оттенок улыбки промелькнул на губах князя.

— Что ж, maman, у вас есть аппетит: вам кушать хочется, а много кушать вам вредно,— проговорила Полина.

Но старуха не обратила внимания и на слова дочери. Очень довольная, что встретила нового человека, с кото-

---

[1] Садитесь, пожалуйста, *(франц.)*.

рым могла поговорить о болезни, она опять обратилась к Калиновичу:

— Нога слабеет... ходить не могу... подвертывается...

— Пройдет и это, ваше превосходительство,— повторил тот.

— Совершенно ли пройдет? — спросила больная.

— Я думаю, совершенно,— отвечал Калинович.— Отец мой поражен был точно такою же болезнью и потом пятнадцать лет жил и был совершенно здоров.

— Только пятнадцать лет и жил, а тут и умер! — сказала старуха в раздумье.

Калинович молчал.

Опять незаметная улыбка промелькнула на губах князя, и он взглянул на Полину.

— Не скучаете ли вы вашей провинциальной жизнию, которой вы так боялись? — отнеслась та к Калиновичу с намерением, кажется, перебить разговор матери о болезни.

— Monsieur Калинович, вероятно, не имел времени скучать этот год, потому что занят был сочинением своего прекрасного романа,— подхватил князь.

— Этот роман написан года два назад,— сказал Калинович.

— А вы давно уж занимаетесь литературой? — спросила Полина.

— Да,— отвечал Калинович.

— Стало быть, вы только не торопитесь печатать,— подхватил князь,— и это прекрасно: чем строже к самому себе, тем лучше. В литературе, как и в жизни, нужно помнить одно правило, что человек будет тысячу раз раскаиваться в том, что говорил много, но никогда, что мало. Прекрасно, прекрасно! — повторял он и потом, помолчав, продолжал: — Но уж теперь, когда вы выступили так блистательно на это поприще, у вас, вероятно, много и написано и предположено.

— Предположений много, но пока ничего нет еще конченного в такой мере, чтоб я решился печатать,— отвечал Калинович.

— Прекрасно, прекрасно! — опять подхватил князь.— И как ни велико наше нетерпение прочесть что-нибудь новое из ваших трудов, однако не меньше того желаем, чтоб вы, сделав такой успешный шаг, успевали еще больше, и потому не смеем торопить: обдумывайте, обсуживайте...

По первому вашему опыту мы ждем от вас вполне зрелого и капитального...

Калинович поклонился.

— Ей-богу, так,— продолжал князь,—я говорю вам не льстя, а как истинный почитатель всякого таланта.

— Как, я думаю, трудно сочинять — я часто об этом думаю,— сказала Полина.— Когда, судя по себе, письма иногда не в состоянии написать, а тут надобно сочинить целый роман! В это время, я полагаю, ни о чем другом не надобно думать, а то сейчас потеряешь нить мыслей и рассеешься.

— Особенную способность, ma cousine, я полагаю, надо иметь,— возразил князь,— живую фантазию, сильное воображение. И я вот, по моей кочующей жизни в России и за границей, много был знаком с разного рода писателями и художниками, начиная с какого-нибудь провинциального актера до Гёте, которому имел честь представляться в качестве русского путешественника, и, признаюсь, в каждом из них замечал что-то особенное, не похожее на нас, грешных, ну, и, кроме того, не говоря об уме (дурака писателя и артиста я не могу даже себе представить), но, кроме ума, у большей части из них прекрасное и благородное сердце.

— А сами, князь, вы никогда не занимались литературой, не писали? — спросил скромно Калинович.

— О боже мой, нет! — воскликнул князь.— Какой я писатель! Я занят другим, да и писать не умею.

— Последнему, кажется, нельзя поверить,— заметил в том же тоне Калинович.

— Действительно не умею,— отвечал князь,— хоть и жил почти весь век свой между литераторами и, надобно сказать, имел много дорогих и милых для меня знакомств между этими людьми,— прибавил он, вздохнув.

Разговор на некоторое время прервался.

— С Пушкиным, ваше сиятельство, вероятно, изволили быть знакомы? — начал Калинович.

— Даже очень. Мы почти вместе росли, вместе стали выезжать молодыми людьми в свет: я — гвардейским прапорщиком, а он, кажется, служил тогда в иностранной коллегии... C'ètait un homme de genie...[1] в полном смысле этих слов. Он, Баратынский, Дельвиг, Павел Нащокин — а

---

[1] Это был гений... *(франц.)*

этот даже служил со мной в одном полку,— все это были молодые люди одного кружка.

— Я не помню, где-то читала,— вмешалась Полина, прищуривая глаза,— что Пушкин любил, чтоб в обществе в нем видели больше светского человека, а не писателя и поэта.

— Как вам, кузина, сказать,— возразил князь,— пожалуй, что да, а пожалуй, и нет; вначале, в молодости, может быть, это и было. Я его встречал, кроме Петербурга, в Молдавии и в Одессе, наконец, знал эту даму, в которую он был влюблен,— и это была прелестнейшая женщина, каких когда-либо создавал божий мир; ну, тогда, может быть, он желал казаться повесой, как было это тогда в моде между всеми нами, молодежью... ну, а потом, когда пошла эта всеобщая слава, наконец, внимание государя императора, звание камер-юнкера—все это заставило его высоко ценить свое дарование.

— У Пушкина, я думаю, была и другая мерка своему таланту,— заметил Калинович.

— Без сомнения,— подхватил князь,— но, что дороже всего было в нем,— продолжал он, ударив себя по коленке,— так это его любовь к России: он, кажется, старался изучить всякую в ней мелочь: и когда я вот бывал в последние годы его жизни в Петербурге, заезжал к нему, он почти каждый раз говорил мне: «Помилуй, князь, ты столько лет живешь и таскаешься по провинциям: расскажи что-нибудь, как у вас, и что там делается». Только раз, как нарочно перед самым моим отъездом в Петербург, случилось у нас в губернии ужасное происшествие: появился некто Сольфини — итальянец ли, грек ли, жид ли, не разберешь, но только живописец. Я тогда жил зиму в городе и, так как вообще люблю искусства, приласкал его. Оказалось, что портреты снимает удивительно: рисунок правильный, освещение эффектное, характерные черты лица схвачены с неподражаемой меткостью, но ни конца, ни отделки, особенно в аксессуарах, никакой; и это бы еще ничего, но хуже всего, что, рисуя с вас портрет, он делался каким-то тираном вашим: сеансы продолжал часов по семи, и — горе вам, если вы вздумаете встать и выйти: бросит кисть, убежит и ни за какие деньги не станет продолжать работы. Точно то же сделал он и с губернаторшей. Я ему замечаю, что подобная нетерпеливость, особенно в отношении такой дамы, неуместна, а он мне на это очень на-

ивно отвечает обыкновенной своей поговоркой: «Я, съешь меня собака, художник, а не маляр; она дура: я не могу с нее рисовать...» Как хотите, так и судите.

Полина засмеялась. Калинович тоже улыбнулся.

— Как, однако, князь, ты хорошо представляешь этого Сольфини; я как будто вижу его перед собою,— сказала Полина.

— Да, я недурно копирую,— отвечал он и снова обратился к Калиновичу:—В заключение всего-с: этот господин влюбляется в очень миленькую даму, жену весьма почтенного человека, которая была, пожалуй, несколько кокетка, может быть, несколько и завлекала его, даже не мудрено, что он ей и нравился, потому что действительно был чрезвычайно красивый мужчина — высокий, статный, с этими густыми черными волосами, с орлиным, римским носом; на щеках, как два розовых листа, врезан румянец; но все-таки между ним и какой-нибудь госпожою в ранге действительной статской советницы оставался salto mortale...[1]. Ничего этого, конечно, Сольфини как свободный гражданин и знать не хотел...

— Воображаю его в этом состоянии! — перебила с улыбкою Полина.

— Ужасен! — продолжал князь.— Он начинает эту бедную женщину всюду преследовать, так что муж не велел, наконец, пускать его к себе в дом; он затевает еще больший скандал: вызывает его на дуэль; тот, разумеется, отказывается; он ходит по городу с кинжалом и хочет его убить, так что муж этот принужден был жаловаться губернатору — и нашего несчастного любовника, без копейки денег, в одном пальто, в тридцать градусов мороза, высылают с жандармом из города...

— Бедный! — подхватила Полина.

— Нет, вы погодите, чем еще кончилось! — перебил князь.— Начинается с того, что Сольфини бежит с первой станции. Проходит несколько времени — о нем ни слуху ни духу. Муж этой госпожи уезжает в деревню; она остается одна... и тут различно рассказывают: одни — что будто бы Сольфини как из-под земли вырос и явился в городе, подкупил людей и пробрался к ним в дом; а другие говорят, что он писал к ней несколько писем, просил у ней свидания и будто бы она согласилась.

[1] Букв. смертельный прыжок (*итал.*). Здесь — непроходимое расстояние.

— Очень может быть, что и согласилась: из одного чувства сострадания можно решиться на это,— отнеслась Полина к Калиновичу.

— Очень может быть,— подтвердил тот.

— Конечно,— подхватил князь и продолжал,— но, как бы то ни было, он входит к ней в спальню, запирает двери... и какого рода происходила между ними сцена — неизвестно; только вдруг раздается сначала крик, потом выстрелы. Люди прибегают, выламывают двери и находят два обнявшиеся трупа. У Сольфини в руках по пистолету: один направлен в грудь этой госпожи, а другой он вставил себе в рот и пробил насквозь череп.

— Ну, что это, князь? Как это ужасно и жалко!..— проговорила Полина, зажимая глаза.

Князь отвечал ей только пожатием плеч.

— Но при всех этих сумасбродствах,— снова продолжал он,— наконец, при этом страшном характере, способном совершить преступление, Сольфини был добрейший и благороднейший человек. Например, одна его черта: он очень любил ходить в наш собор на архиерейскую службу, которая напоминала ему Рим и папу. Там обыкновенно на паперти встречала его толпа нищих. «А, вы, бедные,— говорил он,— вам нечего кушать!»— и все, сколько с ним ни было денег, все раздавал.

— Артист! — сказала Полина и вздохнула.

— Артист в полном смысле этого слова,— повторил князь и призадумался, как бы сбираясь с мыслями.— Все это,— начал он после нескольких минут размышления,— я рассказал Пушкину; он выслушал, и чрез несколько дней мы опять с ним встречаемся. «Знаешь ли, говорит, князь, я твоего итальянца описываю? Заезжай завтра ко мне, я тебе прочту». Я еду... Начинает он мне читать своего известного импровизатора. «Ну, что? Как тебе нравится?» — спрашивает. «Превосходно, говорю: но что же тут общего с моим пустым рассказом?» — «Очень много, отвечает: он подал мне мысль вывести природного художника, импровизатора, посреди нашего холодного, эгоистического общества» — и таким образом мой Сольфини обессмертился.

Весь этот длинный рассказ князя Полина выслушала с большим интересом, Калинович тоже с полным вниманием, и одна только генеральша думала о другом: голос ее старческого желудка был для нее могущественнее всего.

— Скоро ли мы будем обедать? — спросила она у дочери.

— Скоро, maman,— отвечала та.

Калинович понял, что время уехать, и встал.

— Au revoir, au revoir...[1]— начал было князь.

— Monsieur Калинович, может быть, будет так добр, что отобедает у нас? — произнесла вдруг Полина.

По лицу князя пробежала опять мгновенная и едва заметная улыбка.

— Прекрасно, прекрасно! Это продолжит еще несколько часов нашу приятную беседу,— подхватил он.

Калинович поклонился.

— Прекрасно, прекрасно,— повторил князь,— кладите вашу шляпу и присядьте.

Калинович сел, и опять началась довольно одушевленная беседа, в которой, разумеется, больше всех говорил князь, и все больше о литературе. Он хвалил направление нынешних писателей, направление умное, практическое, в котором, благодаря бога, не стало капли приторной чувствительности двадцатых годов; радовался вечному истреблению од, ходульных драм, которые своей высокопарной ложью в каждом здравомыслящем человеке могли только развивать желчь; радовался, наконец, совершенному изгнанию стихов *к ней, к луне, к звездам;* похвалил внешнюю блестящую сторону французской литературы и отозвался с уважением об английской — словом, явился в полном смысле литературным дилетантом и, как можно подозревать, весь рассказ о Сольфини изобрел, желая тем показать молодому литератору свою симпатию к художникам и любовь к искусствам, а вместе с тем намекнуть и на свое знакомство с Пушкиным, великим поэтом и человеком хорошего круга,— Пушкиным, которому, как известно, в дружбу напрашивались после его смерти не только люди совершенно ему незнакомые, но даже печатные враги его, в силу той невинной слабости, что всякому маленькому смертному приятно стать поближе к великому человеку и хоть одним лучом его славы осветить себя. Все это Калинович, при его уме и проницательности, казалось бы, должен был сейчас же увидеть и понять, но он ничего подобного даже не заметил. Что делать! Князь очень уж ловко подошел с заднего крыльца к его собственному сердцу и

[1] До свиданья, до свиданья... *(франц.)*

очень тонко польстил ему самому; а курение нашему *я*, даже самое грубое, имеет, как хотите, одуряющее свойство. Очень много на свете людей, сердце которых нельзя тронуть ни мольбами, ни слезами, ни вопиющей правдой, но польсти им — и они смягчатся до нежности, до службы; а герой мой, должно сказать, по преимуществу принадлежал к этому разряду.

В четыре часа с половиной Полина, князь и Калинович сели за стол. Генеральша кушала у себя в спальне. Прислуживала целая стая ливрейных гайдуков. Кушанье подавалось в серебряной миске и на серебряных блюдах. Обед был на славу, какой только можно приготовить в уездном городе. У генеральши остался еще после покойного ее мужа, бывшего лет одиннадцать кавалерийским полковым командиром, щегольской повар, который — увы! — после смерти покойного барина изнывал в бездействии, практикуя себя в создании картофельного супа и жареной печенки, и деятельность его вызывалась тогда только, когда приезжал князь; ему выдавалась провизия, какую он хотел и сколько хотел, и старик умел себя показать!.. После всякого почти обеда князь, встречая его, не упускал случая обласкать.

— Чудо, прелесть! — говорил он, целуя кончики пальцев.— Вы, Григорий Васильич, решительно талант.

Григорий Васильев при этом мрачно на него взглядывал.

— Не у чего мне, ваше сиятельство, таланту быть, в кухарки нынче поступил, только и умею овсяную кашицу варить,— отвечал он, и князь при этом обыкновенно отвертывался, не желая слышать от старика еще более, может быть, резкого отзыва о господах.

После обеда перешли в щегольски убранный кабинет, пить кофе и курить. M-lle Полине давно уж хотелось иметь уютную комнату с камином, бархатной драпировкой и с китайскими безделушками; но сколько она ни ласкалась к матери, сколько ни просила ее об этом, старуха, израсходовавшись на отделку квартиры, и слышать не хотела. Полина, как при всех трудных случаях жизни, сказала об этом князю.

— О, это мы устроим! — возразил он и тем же вечером завел разговор о кабинете.

— Нет, князь, нет и нет: это лишнее,— отвечала старуха.

— Какое же лишнее, ma tante? Кузине приютиться негде.

— Нет, лишнее! — повторила старуха решительно.

— В таком случае я отделываю этот кабинет для кузины на свой счет,— сказал князь.

— Я знаю, что ты готов бросать деньги, где только можно,— проговорила генеральша и улыбнулась.

Она, впрочем, думала, что князь только шутит, но вышло напротив: в две недели кабинетик был готов. Полине было ужасно совестно. Старуха тоже недоумевала.

— Что, князь, неужели ты нам даришь это? — спросила она.

— Дарю, ma tante, дарю, но только не вам, а кузине, мы вас даже туда пускать не будем,— отвечал тот.

— Ах, какой ты безрассудный! — говорила генеральша, качая головой, но с заметным удовольствием (она любила подарки во всевозможных формах).

— Merci, cousin! [1]— сказала Полина и с глубоким чувством протянула князю руку, которую тот пожал с значительным выражением в лице.

Когда все расселись по мягким низеньким креслам, князь опять навел разговор на литературу, в котором, между прочим, высказал свое удивление, что, бывая в последние годы в Петербурге, он никого не встречал из нынешних лучших литераторов в порядочном обществе; где они живут? С кем знакомы? — бог знает, тогда как это сближение писателей с большим светом, по его мнению, было бы необходимо.

— Вы, господа литераторы,— продолжал он, прямо обращаясь к Калиновичу,— живя в хорошем обществе, встретите характеры и сюжеты интересные и знакомые для образованного мира, а общество, наоборот, начнет любить, *свое, русское, родное.*

Калинович на это возразил, что попасть в большой свет довольно трудно.

— Напротив,—возразил в свою очередь князь,—надобно только поискать. Конечно, на первых порах самолюбие ваше будет несколько неприятно щекотаться, но потом вас узнают, привыкнут, полюбят... Мало ли мы видим,— продолжал он,— что в самых верхних слоях общества живут люди ничем не значительные, бог знает, какого сосло-

---

[1] Спасибо, кузен! *(франц.)*

вия и даже звания, а русский литератор, поверьте, всегда там займет приличное ему место. Но эти ваши, господа, закоулочные знакомства, это вечное пребывание в своих кружках, как хотите, невольно кладет неприятный оттенок на самые сочинения. Пословица справедлива: «Скажи мне, с кем ты знаком, а я скажу, кто ты».

Калинович, по-видимому, соглашался с князем и только в одиннадцатом часу стал раскланиваться.

— Надеюсь, что вы будете нас посещать иногда,— сказала ему Полина.

Калинович отвечал, что он сочтет это за самое приятное для себя удовольствие.

— Я с своей стороны,— подхватил князь,— имею на этот счет некоторое предположение. Послезавтра *мои* приедут, и тогда мы составим маленький литературный вечер и будем просить господина Калиновича прочесть свой роман.

— Ах, это было бы очень, очень приятно! — сказала Полина.— Я не смела беспокоить, но чрезвычайно желала бы слышать чтение самого автора; это удовольствие так немногим достается...

Калинович отвечал, что ему стоит приказать, и он всегда готов, а затем окончательно раскланялся.

— Ну, как вы нашли сего молодого человека? — сказал по уходе его князь.

— Он очень мил,— отвечала Полина.

— Уж и мил? — спросил князь.

— Да, мил,— повторила Полина, посмотрев на него значительно.

— О женщины! Женщины! — воскликнул князь.

— Перестаньте это говорить! Вы должны меня хорошо знать,— сказала Полина, слегка заслоняя ему рот, причем он поцеловал у ней руку, и оба пошли к генеральше.

Калинович между тем возвращался домой под влиянием довольно новых ощущений. Более всего произвел на него впечатление комфорт, который он видел всюду в доме генеральши, и — боже мой! — как далеко все это превосходило бедную обстановку в житье-бытье Годневых, посреди которой он прожил больше года, не видя ничего лучшего! Надобно сказать, что комфорт в уме моего героя всегда имел огромное значение. И для кого же, впрочем, из солидных, благоразумных молодых людей нашего времени не имеет он этого значения? Автор дошел до твердого

убеждения, что для нас, детей нынешнего века, слава... любовь... мировые идеи... бессмертие — ничто пред комфортом. Все это в душах наших случайное: один только он стоит впереди нашего пути с своей неизмеримо притягательной силой. К нему-то мы направляем все наши усилия. Он один наш идол, и в жертву ему приносится все дорогое, хотя бы для этого пришлось оторвать самую близкую часть нашего сердца, разорвать главную его артерию и кровью изойти, но только близенько, на подножии нашего золотого тельца! Для комфорта проводится трудовая, до чахотки, жизнь!.. Для комфорта десятки лет изгибаются, кланяются, кривят совестью!.. Для комфорта кидают семейство, родину, едут кругом света, тонут, умирают с голода в степях!.. Для комфорта чистым и нечистым путем ищут наследства; для комфорта берут взятки и совершают, наконец, преступления!..

## III

На другой день Петр Михайлыч ожидал Калиновича с большим нетерпением, но тот не торопился и пришел уж вечером.

— Ну что, сударь? — воскликнул старик.— Как и где вы провели вчерашний день? Были ли у его сиятельства? О чем с ним побеседовали?

— Что ж особенного? Был и беседовал,— отвечал Калинович коротко, но, заметив, что Настенька, почти не ответившая на его поклон, сидит надувшись, стал, в досаду ей, хвалить князя и заключил тем, что он очень рад знакомству с ним, потому что это решительно отрадный человек в провинции.

— Так, так, палата ума и образованности! — подтверждал Петр Михайлыч.

Настенька только слушала их.

— Вам, видно, было очень весело у ваших новых знакомых; вы обедали там и оставались потом целый день! — сказала она.

Обо всем этом ей сообщил капитан, следивший, видно, за каждым шагом молодого смотрителя.

— Да, я там обедал,— отвечал Калинович совершенно спокойным и равнодушным тоном.

— А я и не знал! — воскликнул Петр Михайлыч.— Ка-

ков же обед был? — скажите вы нам... Я думаю, генеральский: у них, говорят, все больше на серебре подается.

— Обед был очень хорош,— отвечал Калинович.

— Воображаю!—произнесла презрительным тоном Настенька.

Слова Калиновича выводили ее окончательно из терпения. «Как этот гордый и великий человек (в последнем она тоже не сомневалась), этот гордый человек так мелочен, что в восторге от приглашения какого-нибудь глупого, напыщенного генеральского дома?» — думала она и дала себе слово показывать ему невниманье и презренье, что, может быть, и исполнила бы, если б Калинович показал хотя маленькое раскаяние и сознание своей вины; но он, напротив, сам еще больше надулся и в продолжение целого дня не отнесся к Настеньке ни словом, ни взглядом, понятным для нее, и принял тот холодно-вежливый тон, которого она больше всего боялась и не любила в нем. При подобной борьбе, конечно, всегда уступит тот, кто добрее и больше любит. Вечером, после ужина, Настенька не в состоянии была долее себя выдерживать и сказала Калиновичу:

— Вы же виноваты и вы же на меня сердитесь!

— На капризных я сам капризен,— отвечал он и ушел домой.

Настенька, оставшись одна, залилась горькими слезами: «Господи, что это за человек!» — воскликнула она. Это было выше сил ее и понимания.

В день, назначенный Калиновичу для чтения, княгиня с княжной приехали в город к обеду. Полина им ужасно обрадовалась, а князь не замедлил сообщить, что для них приготовлен маленькой сюрприз и что вечером будет читать один очень умный и образованный молодой человек свой роман.

— Надеюсь, вы будете внимательны,— заключил он с улыбкою, понятною, надо полагать, для жены и дочери.

— Ах, конечно, это очень приятно! — сказала кротко и тихим голосом княгиня, до сих пор еще красавица, хотя и страдала около пяти лет расстройством нерв, так что малейший стук возбуждал у ней головные боли, и поэтому князь оберегал ее от всякого шума с неусыпным вниманием. Княжна ангельски улыбнулась отцу. Надобно сказать, что при всей деликатности, доходившей до того, что из всей семьи никто никогда не видал князя в халате, он

умел в то же время поставить себя в такое положение, что каждое его слово, каждый взгляд был законом.

Объявить генеральше о литературном вечере было несколько труднее. По крайней мере с полчаса князь толковал ей. Старуха, наконец, уразумела, хотя не совсем ясно, и проговорила свою обычную фразу:

— Я очень рада, князь, и, пожалуйста, будь хозяином у меня... Ты знаешь, как я тебя люблю.

Князь поцеловал у ней за это руку. Она взглянула на тюрик с конфектами: он ей подал весь и ушел. В уме его родилось новое предположение. Слышав, по городской молве, об отношениях Калиновича к Настеньке, он хотел взглянуть собственными глазами и убедиться, в какой мере это было справедливо. Присмотревшись в последний визит к Калиновичу, он верил и не верил этому слуху. Все это князь в тонких намеках объяснил Полине и прибавил, что очень было бы недурно пригласить Годневых на вечер.

Полина поняла его очень хорошо и тотчас же написала к Петру Михайлычу записку, в которой очень любезно приглашала его с его милой дочерью посетить их вечером, поясняя, что их общий знакомый, m-r Калинович, обещался у них читать свой прекрасный роман, и потому они, вероятно, не откажутся разделить с ними удовольствие слышать его чтение.

«Maman тоже поручила мне просить вас об этом, и нам очень грустно, что вы так давно нас совсем забыли»,— прибавила она, по совету князя, в постскриптум. Получив такое деликатное письмо, Петр Михайлыч удивился и, главное, обрадовался за Калиновича. «О-о, как наш Яков Васильич пошел в гору!» — подумал он и, боясь только одного, что Настенька не поедет к генеральше, робко вошел в гостиную и не совсем твердым голосом объявил дочери о приглашении. Настенька в первые минуты вспыхнула.

«А, Калинович! Так-то вы поступаете!.. Прекрасно!.. Вас приглашают читать, а вы ни полслова!..» — подумала она.

— Что ж, мы поедем или нет? — спросил Петр Михайлыч, глядя с нетерпением ей в глаза.

— Вы — как хотите, а я не поеду,— отвечала Настенька.

— Полно, душа моя...— начал было старик, но у Настеньки вдруг переменилось выражение лица. Она подумала:

«Нас приглашают на этот вечер — зачем? Вероятно, он сам этого требовал и только не хотел нам сказать. О душка мой, Калинович!..» — заключила она мысленно.

— Нет, папаша, я пошутила, я поеду: мне самой хочется быть на этом вечере,— сказала она вслух.

Старик поцеловал ее в голову.

— Вот тебе за это! — проговорил он и потом, не зная от удовольствия, что бы такое еще сделать, прибавил, потирая руки и каким-то ребячески добродушным голосом:

— А что, не послать ли за Калиновичем? Вместе бы все и отправились.

— Пошлите; только, пожалуйста, не от меня,— отвечала Настенька.

Ей все еще хотелось хоть немного выдержать свой характер. Посланный Терка возвратился и донес, что Калиновича дома нет.

— Где ж это он? — спросил Петр Михайлыч.

— Да я ж почем знаю? — отвечал сердито инвалид и пошел было на печь; но Петр Михайлыч, так как уж было часов шесть, воротил его и, отдав строжайшее приказание закладывать сейчас же лошадь, хотел было тут же к слову побранить старого грубияна за непослушание Калиновичу, о котором тот рассказал; но Терка и слушать не хотел: хлопнул, по обыкновению, дверьми и ушел.

— Этакое допотопное животное! — проговорил Петр Михайлыч и принялся бриться. Настенька тоже занялась своим туалетом. Никогда еще в жизнь свою не старалась она одеться так к лицу, как в этот раз. Все маленькие уловки были употреблены на это: черное шелковое платье украсилось бантиками из пунцовых лент; хорошенькая головка была убрана спереди буклями, и надеты были очень миленькие коралловые сережки; словом, она хотела в этом гордом и напыщенном доме генеральши явиться достойною любви Калиновича, о которой там, вероятно, уже знали. Петр Михайлыч между тем совсем оделся и начинал выходить из терпенья.

— Опоздаем мы, непременно опоздаем и сделаем против хозяев невежливость по милости этой Настасьи Петровны и хрыча-инвалида! — говорил он и потом покорнейше просил пришедшего капитана поторопить каналью Терку. Тот, конечно, сейчас же исполнил желание брата и пошел в сарай. Гаврилыч действительно копался, так что капитан, чтоб пособить ему, сам натягивал супонь и завазжи-

вал вожжи. Часам к восьми, наконец, все уладилось. Отец и дочь поехали; но оказалось что сидеть вдвоем на знакомых нам дрожках было очень уж неудобно. Настеньке между Петром Михайлычем и неуклюжим Теркой оставалась только возможность завязнуть. На улице, как нарочно, была страшная грязь и сеял, как из решета, мелкий, но спорый дождь. Несмотря на это, Терка, сердитый оттого, что его тормошат целый день,— как ни кричал и ни бранился Петр Михайлыч,— уперся на своем и доставил их шагом. Сколько пострадал от всего этого туалет Настеньки — и говорить нечего: платье измялось, белая атласная шляпка намокла, букли распустились и падали некрасивыми прядями. Однако она решилась сохранить присутствие духа и быть как можно смелее.

Калиновича между тем не было еще у генеральши, но маленькое общество его слушателей собралось уже в назначенной для чтения гостиной; старуха была уложена на одном конце дивана, а на другом полулежала княгиня, чувствовавшая от дороги усталость. Князь курил в раздумье сигарку и что-то соображал. Полина, прищурившись, внимательно рассматривала узор из последнего журнала мод. Княжна, прислонившись к стенке кресла, сидела в чрезвычайно милой позе: склонив несколько набок свою прекрасную голову и с своей чудной улыбкой, она была поразительно хороша. Доложили о Годневых. Князь переглянулся с Полиной, и оба привстали, чтоб встретить гостей.

Петр Михайлыч с издавна заученною им церемониею расшаркался с князем: к генеральше и Полине подошел к ручке, а прочим дамам отдал, свесивши несколько наперед обе руки, почтительный поклон. Что касается Настеньки, то — боже мой! боже мой!.. Как я ни люблю мою героиню, сколько ни признаю в ней ума, прекрасного сердца, сколько ни признаю ее очень миленькой, но не могу скрыть: в эти минуты она была даже смешна! Желая не конфузиться и быть свободной в обращении, она с какой-то надменностью подала руку Полине, едва присела князю, генеральше кивнула головой, а на княгиню и княжну только бегло взглянула. Князь, все это заметивший, поспешил предложить ей кресло. Княжна, около которой уселся Петр Михайлыч, легонько отодвинулась от него: ее неприятно поразили грубые руки старика, в которых он держал свою старомодную, намоченную дождем шляпу.

Полина начала было занимать Настеньку, но та опять ей отвечала как-то свысока, хоть и с заметным усилием над собой.

— Нет еще нашего литератора,— заговорил князь, взглянув на Настеньку. Она, сама того не чувствуя, вспыхнула.

— А мы, признаться, ваше сиятельство,— отвечал Петр Михайлыч,— перед отъездом сюда посылали к господину Калиновичу, однако его дома нет, и мы полагали, что он уж здесь.

— Нет еще, нет; но он будет, непременно будет! — повторил князь несколько раз, уж прямо обратившись к Настеньке.

Она опять покраснела.

В половине десятого Калинович, наконец, явился. Наперед ожидая посланного от Годневых, он не велел только сказываться, но сам был целый день дома и, так сказать, предвкушал тонкое авторское наслаждение, которым предстояло в тот вечер усладиться его самолюбию. И, кроме того, дом генеральши, державший себя так высоко, низведен теперь его талантом до того, что там за счастие считают прослушать его творение. Наконец, он будет читать в присутствии княгини и княжны, о которых очень много слышал, как о чрезвычайно милых дамах и которых, может быть, заинтересует как автор и человек. Все эти мысли и ожидания повергли моего героя почти в лихорадочное состояние; но сколько ему ни хотелось отправиться как можно скорее к генеральше, хоть бы даже в начале седьмого, он подавил в себе это чувство и, неторопливо занявшись своим туалетом, вышел из квартиры в десятом часу, желая тем показать, что из вежливости готов доставить удовольствие обществу, но не торопится, потому что сам не находит в этом особенного для себя наслаждения — словом, желал поддержать тон. Лестницу и половину зала в доме генеральши Калинович прошел тем спокойным и развязным шагом, каким обыкновенно входят молодые люди в дома, где привыкли их считать полубожками; но, увидев в зеркале неуклюжую фигуру Петра Михайлыча и с распустившимися локонами Настеньку, попятился назад.

«Это как они сюда залезли?» — подумал он. Подозревая, что все это штуки Настеньки, дал себе слово расквитаться с ней за то после; но теперь, делать нечего, при-

нял сколько возможно спокойный вид и вошел в гостиную, где почтительно поклонился генеральше, Полине и князю, пожал с обязательной улыбкой руку у Настеньки, у которой при этом заметно задрожала головка, пожал, наконец, с такою же улыбкою давно уже простиравшуюся к нему руку Петра Михайлыча и, сделав полуоборот, опять сконфузился: его поразила своей наружностью княжна.

«Господи, как хороша!» — подумал он и по невольному чувству робости сел поодаль. Однако князь, чтоб не терять золотого времени, просил тотчас же начать чтение и посадил его случайно рядом с княжной. Калинович чувствовал прикосновение к своей ноге ее толстого шелкового платья; он видел небольшую часть ее грациозной ботинки и в то же время видел часть высунувшегося замшевого башмака Настеньки; наконец, он чувствовал ароматическое дыхание княжны, происходящее, впрочем, от дорогой помады и духов. Настенька между тем уставила на него нежный и страстный взор, который в минуту любви мог бы составить блаженство, но в настоящее время совсем уж был неприличен. Калинович едва в состоянии был владеть собой и сносить этот взгляд. Ему казалось, что князь все это замечает, что княгиня кротко смотрит на Настеньку из сожаления к ней, а княжна этому именно и улыбается ангельски. Такова была задняя, закулисная сторона чтения; по наружности оно прошло как следует: автор читал твердо, слушатели были прилично внимательны, за исключением одной генеральши, которая без всякой церемонии зевала и обводила всех глазами, как бы спрашивая, что это такое делается и скоро ли будет всему этому конец? Петр Михайлыч, конечно, более всех и всех искреннее обнаруживал удовольствие и несколько раз принимался даже потихоньку хлопать, причем князь всякий раз кивал ему в знак согласия головою, а у княжны делались ямки на щечках поглубже: ей был очень смешон Петр Михайлыч и своей наружностью и своим хлопаньем.

— Прекрасно, прекрасно!..— сказал князь, когда Калинович кончил.

— C'est joli, c'est joli! — подтвердила Полина.— N'est ce pas, princesse? [1] — отнеслась она к княгине.

— Oui [2],— отвечала та своим кротким и тихим голосом.

Но Настенька, моя бедная Настенька, точно задала

[1] Это красиво, это красиво! Не так ли, княгиня? *(франц.)*

[2] Да, *(франц.)*

себе задачу быть смешною в этот вечер. Она вдруг обратилась к князю и начала рассуждать с ним о повести Калиновича, ни дать ни взять, языком тогдашних критиков, упомянула об объективности, сказала что-то в пользу психологического анализа. Князь отвечал ей со всею вежливостью и вниманием, а Полина начала на нее смотреть с любопытством. У Калиновича между тем холодный пот выступил на лбу крупными каплями. Он готов был убить Настеньку в эти минуты, готов был убить и Петра Михайлыча, с величайшим наслаждением слушавшего вздор, который несла дочь. Князь, впрочем, скоро переменил разговор и заметил Полине, что ей, как хозяйке, следует отплатить любезному автору за его прекрасное чтение и сыграть что-нибудь на фортепьяно.

— Кузина большая музыкантша,— прибавил он, обращаясь к Калиновичу.

— Мне действительно будет это истинная плата, потому что я около полутора года не слыхал ни одного звука музыки,— подхватил тот, обрадованный этим оборотом.

— В таком случае, извольте!.. Только вы, пожалуйста, не воображайте меня, по словам князя, музыкантшей,— отвечала, вставая, Полина.— A chére Catherine[1] споет нам что-нибудь после? — прибавила она, обращаясь к княжне.

— Ну, это вряд ли! — возразил князь, взглянув бегло, но значительно на дочь.— Mademoiselle Catherine недели уже две не в голосе, а потому мы не советовали бы ей петь.

— Нет, я не буду петь,— произнесла, мило картавя, еще первые при Калиновиче слова княжна, тоже вставая и выпрямляя свой стройный стан.

«Что это за чудное создание!» — подумал он, глядя на нее, и все вышли в залу, за исключением генеральши и княгини. Полина села за рояль, а княжна стала у ней за стулом и, слегка облокотившись на спинку его, начала перевертывать ноты своею белой, античной формы ручкою. Полина играла довольно трудную арию и играла с толком и с чувством; но Калинович не слыхал и не видал ничего, кроме княжны. Созерцание его было, впрочем, неприятно прервано, когда он случайно взглянул на одно из окон, у которого увидел сидевшую Настеньку и смотревшую на него по-прежнему нежно и страстно. Когда глаза их встре-

[1] дорогая Екатерина (*франц.*).

тились, она приглашала его взором сесть около себя. Калинович в ответ на это так посмотрел на нее, что бедная девушка, наконец, поняла все, инстинктивное чувство сказало ей, что он ненавидит ее в эти минуты. Сердце у ней замерло: едва сообразила она, когда Полина кончила играть, подойти к отцу и сказать:

— Поедемте, папаша; пора!

Тот повиновался и стал расшаркиваться. Полина начала унимать их отужинать.

— Нет, мы не ужинаем,— отвечала Настенька и, не простившись с генеральшей, а на Калиновича даже не взглянув, пошла. Петр Михайлыч последовал за ней.

С отъездом Годневых у Калиновича как камень спал с души, и когда Полина с княжной, взявшись под руки, стали ходить по зале, он присоединился к ним. В это время, к неописанному ужасу обеих дам, вдруг пробежала по зале мышь, и с этого завязался разговор о привидениях, предчувствиях и ясновидящих. Калинович рассказал на эту тему несколько любопытных случаев и возбудил живое внимание в своих слушательницах. Не говоря уже о Полине, которая заметно каждое его слово обдумывала и взвешивала, но даже княжна, и та начала как-то менее гордо и более снисходительно улыбаться ему, а рассказом своим о видении шведского короля, приведенном как несомненный исторический факт, он так ее заинтересовал, что она пошла и сказала об этом матери. Княгиня тоже пожелала слышать этот анекдот, о котором, по словам ее, что-то такое смутно помнила. Калинович повторил рассказ еще подробнее и чрезвычайно впечатлительно, так что дамам сделалось не на шутку страшно.

— Это невероятно! — воскликнули они в один голос.

Вообще герой мой, державший себя, как мы видели, у Годневых более молчаливо и несколько строго, явился в этот вечер очень умным, любезным и в то же время милым молодым человеком, способным самым приятным образом занять общество.

При прощании князь, пожимая с большим чувством ему руку, повторил несколько раз:

— Очень, очень вам благодарны: вы нас так заняли, и mademoiselle Полина, вероятно, будет просить вас посещать их и не забывать.

— Ах, да, пожалуйста, monsieur Калинович! Вы так нас этим обяжете! — повторила почти умоляющим голосом Полина.

Калинович поклонился поклоном, изъявлявшим совершенную готовность исполнить всякое приказание, и ушел, вынеся на этот раз из дома генеральши еще более приятное впечатление: всю дорогу вместе с комфортом в его воображении рисовался прекрасный, благоухающий образ княжны. Ему даже очень понравилась княгиня с своим увядающим, но все еще милым лицом и какой-то изящной простотою во всех движениях. По приходе домой, однако, все эти мечтания его разлетелись в прах: он нашел письмо от Настеньки и, наперед предчувствуя упреки, торопливо и с досадой развернул его; по беспорядочности мыслей, по небрежности почерка и, наконец, по каплям слез, еще не засохшим и слившимся с чернилами, можно было судить, что чувствовала бедная девушка, писав эти строки.

«Сегодня я поняла вас, Калинович (писала она); вы обличили себя посреди этих людей. Они когда-то меня глубоко оскорбили, и я плакала; но эти слезы были только тенью того мученья, что чувствует теперь мое сердце. Мне легко было перенесть их презрение, потому что я сама их презирала; но вы, единственный человек, которого я люблю и любовью которого я гордилась,— вы стыдитесь моей любви. Так играть людьми нельзя, Калинович! Есть бог: он накажет вас за меня! Я пишу не затем, чтоб вымаливать вашу любовь: я горда и знаю, что вы сами так много страдали, что страдания других не возбудят в вас участия. Прощайте! Завтра я буду просить отца об одной милости — отпустить меня в монастырь, где сумею умереть для мира; а вам желаю счастия с вашими светскими друзьями. По милосердию своему, бог не отвергнет меня, грешницу, отвергнутую вами. В нем вся моя теперь надежда. Прощайте!»

— Пожалуй, эта сумасбродная девчонка наделает скандалу! — проговорил Калинович, бросая письмо, и на другой же день, часов в семь, не пив даже чаю, пошел к Годневым. Петр Михайлыч, по обыкновению, ушел на рынок; Настенька только еще встала и сидела в своей комнатке. Калинович, чего прежде никогда не бывало, прошел прямо к ней; и что они говорили между собою — неизвестно, но только Настенька вышла в гостиную разливать чай с довольно спокойным выражением в лице,

хоть и с заплаканными глазами. Калинович, серьезный и нахмуренный, сел на свое обычное место.

— Что ж делать, если мне так показалось! — начала она, видимо продолжая прежний разговор.

Калинович пожал плечами.

— Мне действительно было досадно,— отвечал он,— что вы приехали в этот дом, с которым у вас ничего нет общего ни по вашему воспитанию, ни по вашему тону; и, наконец, как вы не поняли, с какой целью вас пригласили, и что в этом случае вас третировали, как мою любовницу... Как же вы, девушка умная и самолюбивая, не оскорбились этим — странно!

— Что ж, если они и так меня поняли — я не совещусь этого! — сказала Настенька.

— Совесть и общественные приличия — две вещи разные,— возразил Калинович,— любовь — очень честная и благородная страсть; но если я всюду буду делать страстные глаза... как хотите, это смешно и гадко...

У Настеньки опять навернулись на глазах слезы.

— Неужели же я делала это нарочно, с умыслом? — спросила она.

— Не нарочно, а под влиянием этой несносной ревности, от которой мне спасенья нет.

— Ах, нет, Жак! Я не ревную тебя. Это не ревность, а любовь.

— Любовь!—воскликнул Калинович.— Любовь не дает же права вязать человека по рукам и по ногам. Я знакомлюсь с князем — вы мне делаете сцену; я имел несчастье, против вашего желания, отобедать у генеральши — новая история! Наконец, затевают литературный вечер — и вы, без всякого такта, едете туда и держите себя как только можно неприлично. Я, по своим целям, могу познакомиться с двадцатью подобными князьями и генеральшами, буду, наконец, волочиться за кривобокой Полиной и все-таки останусь для вас тем же, чем был. Вы очень хорошо должны понимать, что, по нашим отношениям, мы слишком крепко связаны. Я отвечаю за вас моею совестью и честью, не признать которых во мне вы по сю пору не имеете еще никакого права.

Эти последние слова совершенно успокоили Настеньку.

— Ну, прости меня; я виновата! — сказала она, беря Калиновича за руку.

— Я не обвиняю вас, а только прошу не становиться

мне беспрерывно поперек дороги. Мне и без того трудно пробираться хоть сколько-нибудь вперед.

— Я не буду больше,— отвечала Настенька и поцеловала у Калиновича руку.

Почти каждая размолвка между ними принимала такой оборот, что Настенька из обвиняющей делалась обвиняемой.

## IV

В течение месяца Калинович сделался почти домашним человеком у генеральши. Полина по крайней мере раза два — три в неделю находила какой-нибудь предлог позвать его или обедать, или на вечер — и он ходил. Настенька уже более не противодействовала и даже смеялась над ухаживаньем Полины.

— Mademoiselle Полина решительно в вас влюблена,— говорила она при отце и при дяде Калиновичу.

— Да, я сам это замечаю,— отвечал тот.

— Вдруг вы женитесь на ней,— продолжала с лукавою улыбкою Настенька.

— Что ж, это чудесно было бы! — подхватывал Калинович.— Впрочем, с одним только условием, чтоб она тотчас после венца отдала мне по духовной все имение, а сама бы умерла.

— И вам бы не жаль ее было? — замечала как бы укоризненным тоном Настенька.

— Напротив, я о ней жалел бы, только за себя бы радовался,— отвечал Калинович.

Иногда, расшутившись, он даже прибавлял:

— Отчего это Полина не вздумает подарить мне на память любви колечко, которое лежит у ней в шкапу в кабинете; солитер с крупную горошину; за него решительно можно помнить всю жизнь всякую женщину, хоть бы у ней не было даже ни одного ребра.

Петр Михайлыч по обыкновению качал головой; но более всех, кажется, разговор в этом тоне доставлял удовольствие капитану. Впрочем, Калинович, отзываясь таким образом о Полине у Годневых, был в то же время с нею чрезвычайно вежлив и внимателен, так что она почти могла подумать, что он интересуется ею. Всем этим, надобно сказать, герой мой маскировал глубоко затаенную и никем не подозреваемую мечту о прекрасной княжне, видеть которую пожирало его нестерпимое желание; он даже ре-

шался несколько раз, хоть и не получал на то приглашения, ехать к князю в деревню и, вероятно, исполнил бы это, но обстоятельства сами собой расположились совершенно в его пользу. Генеральша вдруг припомнила слова князя о лечении водою и, сообразив, что это будет очень дешево стоить, задумала переехать в свою усадьбу. Полине сначала очень этого не хотелось, но отговаривать и отсоветовать матери, она знала, было бы бесполезно. К счастью, в этот день приехал князь, и она с ужасом передала ему намерение старухи.

— Что ж, это еще лучше! — сказал тот.

— Как же лучше? Ты знаешь, что меня здесь удерживает,— возразила Полина.

— Да,— проговорил князь и, подумав, прибавил:— что ж... его можно пригласить в деревню: по крайней мере удалим его этим от влияния здешних господ.

— Нет, это невозможно; это, по ее скупости, покажется бог знает каким разорением! Она уж и теперь говорит, зачем он у нас так часто обедает.

— Да,— повторил князь и потом, опять подумав, прибавил:— ничего, сделаем...

Полина вопросительно на него взглянула.

В тот же вечер пришел Калинович. Князь с ним был очень ласков и, между прочим разговором, вдруг сказал:

— А что, Яков Васильич, теперь у вас время свободное, а лето жаркое, в городе душно, пыльно: не подарите ли вы нас этим месяцем и не погостите ли у меня в деревне? Нам доставили бы вы этим большое удовольствие, а себе, может быть, маленькое развлечение. У меня местоположение порядочное, есть тоже садишко, кое-какая речонка, а кстати вот mademoiselle Полина с своей мамашей будут жить по соседству от нас, в своем замке...

Калинович вспыхнул от удовольствия: жить целый месяц около княжны, видеть ее каждый день — это было выше всех его ожиданий.

— А вы тоже переезжаете в деревню? — едва нашелся он отнестись к Полине.

— Да, мы уезжаем отсюда,— отвечала та, покраснев в свою очередь.

Смущение Калиновича она перетолковала в свою пользу.

— Итак, Яков Васильич, значит, по рукам? — сказал князь.

— Я почту себе за большое удовольствие...— отвечал тот.

— Прекрасно, прекрасно! — повторил князь несколько раз.

Чувство ожидаемого счастья так овладело моим героем, что он не в состоянии был спокойно досидеть вечер у генеральши и раскланялся. Быстро шагая, пошел он по деревянному тротуару и принялся даже с несвойственною ему веселостью насвистывать какой-то марш, а потом с попавшимся навстречу Румянцовым раскланялся так радушно, что привел того в восторг и в недоумение. Прошел он прямо к Годневым, которых застал за ужином, и как ни старался принять спокойный и равнодушный вид, на лице его было написано удовольствие.

— Здравствуйте! — встретил его своим обычным восклицанием Петр Михайлыч.

— Здравствуйте и прощайте! — отвечал Калинович.

Настенька, капитан и Палагея Евграфовна, делавшая салат, взглянули на него.

— Это как прощайте? — спросил Петр Михайлыч.

— Сейчас получил приглашение и еду гостить к князю на всю вакацию,— отвечал Калинович, садясь около Настеньки.

— Как на всю вакацию, зачем же так надолго? — спросила та и слегка побледнела.

— Затем, что хочу хоть немного освежиться, тем больше, что надобно писать; а здесь я решительно не могу.

— Писать, я думаю, везде все равно,— заметила Настенька.

— Нет, не все равно: здесь, вы сами знаете, что я не могу писать,— возразил с ударением Калинович.

Тем на этот раз объяснение и кончилось.

Генеральша в одну неделю совсем перебралась в деревню, а дня через два были присланы князем лошади и за Калиновичем. В последний вечер перед его отъездом Настенька, оставшись с ним вдвоем, начала было плакать; Калинович вышел почти из себя.

— Что ж вы такое хотите от меня? Неужели, чтоб я целый век свой сидел, не шевелясь, около вашей, с позволения сказать, юбки? — проговорил он.

— Я не хочу и не требую этого; оставьте мне, по крайней мере, право плакать и грустить,— отвечала Настенька.

— Нет, вы не этого права желаете: вы оставляете за

собой странное право — отравлять малейшее мое развлечение,— возразил Калинович.

— Бог с тобой, что ты так меня понимаешь! — сказала Настенька и больше ничего уже не говорила: ей самой казалось, что она не должна была плакать. Калинович окончательно приучил ее считать тиранством с ее стороны малейшее несогласие с каким бы то ни было его желанием. Чтоб избежать неприятной сцены расставанья, при котором опять могли повториться слезы, он выехал на другой день с восходом солнца. Дорога сначала шла ровная, гладкая. Резво и весело бежала бойкая четверня, и легонький, щегольской фаэтон только слегка покачивался. Утренний воздух был сыроват и свеж. Солнце обливало розовым светом окрестность. В стороне, на поле, мужик орал, понукая свою толстоголовую лошаденку. На другой стороне дороги лениво тянулось стадо коров. В деревнюшке, на полуразвалившемся крылечке, стояла молоденькая хорошенькая бабенка и зевала. Чу! Блеют овцы. Наносится, вероятно из города, благовест к заутрени. Рябит и волнуется выколосившаяся рожь, и ярко зеленеет яровое. В небольшом перелеске, около дороги, сидит гриб, и на краю огнища краснеют две — три ягоды земляники. С крутой и каменистой горы кучер затормозил колеса, и коренные, сев в хомуты, осторожно спустили. Смиренно потом прошла вся четверня по фашинной плотине мельницы, слегка вздрагивая и прислушиваясь к бестолковому шуму колес и воды, а там начался и лес — все гуще и гуще, так что в некоторых местах едва проникал сквозь ветви дневной свет... Дорогу почти сплошь стали пересекать корни дерев, и на несколько сажен тянуться покрытые плесенью лужи. Но посреди этой глуши вдруг иногда запахнет отовсюду ландышем, зальется где-то очень близко соловей, чирикнут и перекликнутся уж бог знает какие птички, или шумно порхнет из-под куста тетерев... Все это Калинович наблюдал с любопытством и удовольствием, как обыкновенно наблюдают и восхищаются сельскою природою солидные городские молодые люди, и в то же время с каким-то замираньем в сердце воображал, что чрез несколько часов он увидит благоухающую княжну, и так как ничто столь не располагает человека к мечтательности, как езда, то в голове его начинали мало-помалу образовываться довольно смелые предположения: «Что если б княжна полюбила меня,— думал он,— и сделалась

бы женой моей... я стал бы владетелем и этого фаэтона, и этой четверки... богат... муж красавицы... известный литератор... А Настенька?..» — задавал он вдруг себе вопрос, и в воображении его невольно возникал печальный образ бедной девушки, так горячо его поцеловавшей и так крепко прильнувшей к его груди в последний вечер... Автор берет смелость заверить читателя, что в настоящую минуту в душе его героя жили две любви, чего, как известно, никаким образом не допускается в романах, но в жизни — боже мой! — встречается на каждом шагу. Настеньку Калинович полюбил и любил за любовь к себе, понимал и высоко ценил ее прекрасную натуру, наконец, привык к ней. Но чувство к княжне было скорей каким-то эстетическим чувством; это было благоговение к красоте, еще более питаемое тем, что с ней могла составиться очень приличная партия.

За лесом пошли дачи князя, и с первым шагом на них Калинович почувствовал, что он едет по владениям помещика нашего времени. Вместо узкой проселочной дороги начиналось шоссе. По сторонам был засеян то лен-ростун, то клевер. На озимых полосах лежали кучи гниющих щепок, а по лугам виднелись бугры вырытых пеньев и прорыты были с какими-то особенными целями канавы. Из-за рощи открывалось длинное строение с высокой трубой, из которой шел густой дым, заставивший подозревать присутствие паров. Обогнув сад, издали напоминающий своею правильностью ковер, и объехав на красном дворе круглый, огромный цветник, экипаж, наконец, остановился у подъезда. Молодой, хорошенький из себя лакей, в красивой жакетке и белом жилете, вероятно из цирюльников, выбежал навстречу и, ловко откинув фусак фаэтона, слегка поддержал Калиновича, когда тот соскакивал.

— Прямо к князю или в ваши комнаты пожалуете? — спросил он, вежливо склоняя голову.

— Да, я желал бы прежде переодеться,— отвечал Калинович, подумав.

— Пожалуйте! — подхватил лакей и распахнул двери в нижнюю половину. Калинович вошел. Это было целое отделение из нескольких комнат для приезжающих гостей-мужчин. Кругом шли турецкие диваны, обтянутые трипом; в углах стояли камины; на стенах, оклеенных под рытый бархат сбоями, висели в золотых рамах масляные и не совсем скромного содержания картины; пол был обтянут

толстым зеленым сукном. В эти-то с таким удобством убранные комнаты лакей принес маленький, засаленный чемоданчик Калиновича и, как нарочно, тут же отпер небольшой резного ореха шкапчик, в котором оказался фарфоровый умывальник и таковая же лохань. Никогда еще герою моему не казалась так невыносимо отвратительна его собственная бедность, как в эту минуту. Умывшись наскоро, он сказал человеку:

— Теперь ты, любезный, можешь идти: я обыкновенно сам одеваюсь.

Лакей поклонился и вышел. Калинович поспешил переодеться в свою единственную фрачную пару, а прочее платье свое бросил в чемодан, запер его и ключ положил себе в карман, из опасенья, чтоб княжеская прислуга не стала рассматривать и осмеивать его гардероба, в котором были и заштопанные голландские рубашки, и поношенные жилеты, и с расколотою деревянной ручкой бритвенная кисточка.

Вошел другой лакей, постарше и еще с более приличной физиономией, во фраке и белом жилете.

— Его сиятельство приказали спросить, где вы изволите чай кушать: сюда прикажете или вверх пожалуете? — проговорил он.

— Я пойду туда,— отвечал Калинович.

Лакей повел его в бельэтаж. Сначала они прошли огромную, под мрамор, залу, потом что-то вроде гостиной, с несколькими небольшими диванчиками, за которой следовала главная гостиная с тяжелою бархатною драпировкою, и, наконец уже, пройдя еще небольшую комнату, всю в зеркалах и установленную куколками, очутились в столовой с отворенным балконом на садовую террасу. Там Калинович увидел князя со всей семьей за круглым столом, на котором стоял серебряный самовар с чашками и, по английскому обыкновению, что-то вроде завтрака. Тут были и корзина с сухарями, и чухонское масло, и сыр, и бутерброды из телятины, дичи и ветчины, и даже теплое блюдо котлет. Князь, в сюртучке из тонкого серого сукна, в легоньком, слегка завязанном галстучке, при входе Калиновича встал.

— Сейчас только сам хотел идти к вам,— сказал он, подходя и обнимая его.

Княгиня, сидевшая в покойном кресле, послала гостю довольно ласковый поклон. Княжна в простом, но доро-

гом, должно быть, платьице и очень мило причесанная, тоже слегка кивнула ему головкой. Кроме хозяев, в столовой находились разливавшая чай белокурая дама в чопорном чепце и затянутая в корсет и какой-то господин, совершенный брюнет, с бородой, с усами и вообще с чрезвычайно выразительным лицом, в летнем, последней моды, пиджаке и с болтающимся стеклышком на шее. Около него сидел лет десяти хорошенький мальчик, очень похожий на княжну и на княгиню, стриженный, как мужичок, в скобку и в красной, с косым воротом, канаусовой рубашке. Господин с выразительным лицом намазывал масло на хлеб и с заметным увлечением толковал ему, как должно это делать. Из рекомендации князя Калинович узнал, что господин был m-r ле Гран, гувернер маленького князька, а дама — бывшая воспитательница княжны, мистрисс Нетльбет, оставшаяся жить у князя навсегда — кто понимал, по дружбе, а другие толковали, что князь взял небольшой ее капиталец себе за проценты и тем привязал ее к своему дому. Мистрисс Нетльбет предложила Калиновичу чаю.

— Не хотите ли вы съесть что-нибудь? Мы обедаем поздно,— сказал князь.

Калинович, никогда до двух часов ничего не евший, но не хотевший этого показать, стал выбирать глазами, что бы взять, и m-r ле Гран обязательно предложил ему котлет, отозвавшись о них, и особенно о шпинате, с большой похвалой.

После этого чайного завтрака все стали расходиться. М-r ле Гран ушел с своим воспитанником упражняться в гимнастике; княгиня велела перенести свое кресло на террасу, причем князь заметил ей, что не ветрено ли там, но княгиня сказала, что ничего — не ветрено. Нетльбет перешла тоже на террасу, молча села и, с строгим выражением в лице, принялась вышивать бродери. После того князь предложил Калиновичу, если он не устал, пройтись в поле. Тот изъявил, конечно, согласие.

— Папа, и я пойду с вами,— сказала, картавя, княжна.

У Калиновича сердце замерло от восторга.

— Allons![1] — сказал князь и, пока княжна пошла одеться, провел гостя в кабинет, который тоже оказался умно и богато убранным кабинетом; мягкая сафьянная мебель, огромный письменный стол — все это было туров-

---

[1] Пошли! (*франц.*)

ского происхождения. На стенах висели часы, барометры, термометры и фамильные портреты. В соседней комнате, как видно было чрез растворенную дверь, стоял посредине бильярд, а в углу токарный станок. Работая головой по нескольку часов в день, князь, по его словам, имел для себя правилом упражнять и тело.

«Хорошо жить на свете богатым!» — подумал про себя Калинович и вздохнул от глубины души.

Пришла княжна в соломенной пастушеской шляпке и в легком бурнусе.

— Allons! — повторил князь и, надев тоже серую полевую шляпу, повел сначала в сад. Проходя оранжереи и теплицы, княжна изъявила неподдельную радость, что самый маленький бутончик в розане распустился и что единственный на огромном дереве померанец толстеет и наливается. В поле князь начал было рассказывать Калиновичу свои хозяйственные предположения, но княжна указала на летевшую вдали птичку и спросила:

— Папа́, это какая птичка?

— Ворона, chère amie[1], ворона,— отвечал князь и, возвращаясь назад через усадьбу, услал дочь в комнаты, а Калиновича провел на конский двор и велел вывести заводского жеребца. Сердито и с пеной во рту выскочил серый, в яблоках, рысак, с повиснувшим на недоуздке конюхом, и, остановясь на середине площадки, выпрямил шею, начал поводить кругом умными черными глазами, потом опять понурил голову, фыркнул и принялся рыть копытом землю. Князь, ласково потрепав его по загривку, велел подать мерку, и оказалось, что жеребец был шести с половиною вершков.

Калинович искренно восхищался всем, что видел и слышал, и так как любовь освещает в наших глазах все иным светом, то вопрос о вороне по преимуществу казался ему чрезвычайно мил.

— Вы решительно устроили у себя земной раек,— сказал он князю.

— Да... Что нам, прозаистам, делать, как не заниматься материальными благами? — отвечал тот и, попросив гостя располагать своим временем без церемонии, извинился и ушел в кабинет позаняться кой-чем по хозяйству. Калинович прошел на террасу к дамам в надежде увидеть княжну, но застал там одну только княгиню, задумчиво

---

[1] милый друг, *(франц.)*

смотревшую на видневшиеся из-за сада горы. Как бы желая чем-нибудь занять молодого человека, она, после нескольких минут молчания, придумала, наконец, и спросила его, откуда он родом, и когда Калинович отвечал,— что из Симбирска, поинтересовалась узнать, далеко ли это. Он отвечал, что далеко, и княгиня, по-видимому, этим удовольствовалась и замолчала, продолжая, впрочем, смотреть на своего собеседника так грустно и печально, что ему, наконец, сделалось неловко.

«Что это она точно сожалеет и грустит обо мне?» — подумал он и тоже не находился с своей стороны, о чем начать бы разговор. Вскоре, однако, в соседних комнатах раздались радостные восклицания княжны, и на террасу вбежал маленький князек, припрыгивая на одной ноге, хлопая в ладони и крича: «Ма тантенька приехала, ма тантенька приехала!..»— и под именем «ма тантеньки» оказалась Полина, которая шла за ним в сопровождении князя, княжны и m-r ле Грана. Княгиня очень ей обрадовалась и тотчас же заметила, что она приехала в новой амазонке, очень искусно выложенной шнурочками.

— Как это мило, как это хорошо! — проговорила она, рассматривая наряд.

— C'est très joli, maman [1],— подхватила с чувством княжна.

— Ба! О, я, вандал, и не заметил! — воскликнул князь и, вынув лорнет, стал рассматривать Полину.

— Charmant, charmant[2] — говорил он.

М-r ле Гран сказал комплимент, уже прямо относившийся к Полине, вроде того, что она прелестна в этом наряде; та отвечала ему только легкой улыбкой и обратилась к Калиновичу:

— А вам, monsieur Калинович, верно, не нравится моя амазонка?

— Напротив, я только не говорю, а восхищаюсь молча,— отвечал он и многозначительно взглянул на княжну, которая в свою очередь тоже отвечала ему довольно продолжительным взглядом.

Полина приехала в амазонке, потому что после обеда предполагалось катание верхом, до которого княжна, m-r ле Гран и маленький князек были страшные охотники.

---

[1] Это очень красиво, мама, *(франц.)*

[2] Прелестно, прелестно! *(франц.)*

— А вы с нами поедете? — спросила Полина за обедом Калиновича.

— Я-с?..— начал было тот.

— Вы, верно, боитесь ездить верхом? — заметила вдруг княжна.

— Почему же вы думаете, что я боюсь? — возразил Калинович, несколько кольнутый этим вопросом.

— Вы статский: статские все боятся,— отвечала княжна.

— Нет, я не боюсь,— отвечал Калинович.

Кавалькада начала собираться тотчас после обеда. М-г ле Гран и князек, давно уже мучимые нетерпением, побежали взапуски в манеж, чтобы смотреть, как будут седлать лошадей. Княжна, тоже очень довольная, проворно переоделась в амазонку. Княгиня кротко просила ее бога ради ехать осторожнее и не скакать.

— И я вас, княжна, о том же прошу; иначе вы в последний раз катаетесь,— присовокупил князь.

— Ничего,— отвечала весело княжна.

— Нет, я ей не позволю,— сказала Полина.

— Пожалуйста! — проговорили князь и княгиня в один голос.

Когда лошадей подвели к крыльцу, князь вышел сам усаживать дам. Князек и m-r ле Гран были уже верхами: первый на вороном клепере, а ле Гран на самом бойком скакуне. Полина и княжна сели на красивых, но смирных лошадей. Калиновичу, по приказанию князя, тоже приведена была довольно старая лошадь. Но герой мой, объявивший княжне, что не боится, говорил неправду: он в жизнь свою не езжал верхом и в настоящую минуту, взглянув на лоснящуюся шерсть своего коня, на его скрученную мундштуком шею и заметив на удилах у него пену, обмер от страха. Желая, впрочем, скрыть это, он начал спокойно усаживаться.

— Monsieur Калинович, не с той стороны садитесь! — воскликнул ле Гран.

Князек захохотал.

— Все равно,— заметил князь.

— Все равно! — повторил сконфуженным голосом Калинович и затянул поводья. Лошадь начала пятиться назад. Он решительно не знал, что с ней делать.

— Не держите так крепко! — сказал ему князь, видя, что он трусит. Калинович ослабил поводья. Поехали.

Ле Гран начал то горячить свою лошадь, то сдерживать ее, доставляя тем большое удовольствие княжне и маленькому князьку, который в свою очередь дал шпоры своему клеперу и поскакал.

— Bien, bien![1] — кричал француз и понесся вслед за ним. Княжна тоже увлеклась их примером и понеслась. Калинович остался вдвоем с Полиной.

— Вас, я думаю, мало интересуют наши деревенские удовольствия,— начала та.

— Почему ж? — спросил Калинович, более занятый своей лошадью, в которой видел желание идти в галоп, и не подозревая, что сам был тому причиной, потому что, желая сидеть крепче, немилосердно давил ей бока ногами.

— Ваши мысли заняты вашими сочинениями,— отвечала Полина.

Калинович молчал.

— И какое это счастье,— продолжала она с чувством,— уметь писать, что чувствуешь и думаешь, и как бы я желала иметь этот дар, чтоб описать свою жизнь.

— Отчего ж вы не опишете,— проговорил, наконец, Калинович, все не могший совладать с своей лошадью.

— Сама я не могу писать,— отвечала Полина,— но, знаете, я всегда ужасно желала сблизиться с каким-нибудь поэтом, которому бы рассказала мое прошедшее, и он бы мне растолковал многое, чего я сама не понимаю, и написал бы обо мне...

Калинович вместо ответа взглянул вдаль.

— Княжна ускакала; вы не исполнили вашего обещания княгине,— заметил он.

— Ах, да; закричите ей, пожалуйста, чтоб она не скакала! — проговорила Полина.

— Княжна, князь просил вас не скакать! — крикнул Калинович по-французски. Княжна не слыхала; он крикнул еще; княжна остановилась и начала их поджидать. Гибкая, стройная и затянутая в синюю амазонку, с несколько нахлобученною шляпою и с разгоревшимся лицом, она была удивительно хороша, отразившись вместе с своей серой лошадкой на зеленом фоне перелеска, и герой мой забыл в эту минуту все на свете: и Полину, и Настеньку, и даже своего коня....

В остальную часть вечера не случилось ничего особенного, кроме того, что Полина, по просьбе князя, очень

---

[1] Хорошо, хорошо! *(франц.)*

много играла на фортепьяно, и Калинович должен был слушать ее, устремляя по временам взгляд на княжну, которая с своей стороны тоже несколько раз, хоть и бегло, но внимательно взглядывала на него.

## V

21 июля были именины князя. Чтоб понять все его уездное величие, надобно было именно в этот день быть у него. Еще с раннего утра засуетилось перед открытыми окнами кухни человек до пяти поваров и поваренков в белых колпаках и фартуках. Они рубили мясо, выбивая такт, сбивали что-то такое в кастрюлях, и посреди их расхаживал с важностью повар генеральши, которого князь всегда брал к себе на парадные обеды, не столько по необходимости, сколько для того, чтоб доставить ему удовольствие, и старик этим ужасно гордился. Часу в девятом князь, вдвоем с Калиновичем, поехал к приходу молиться.

На колокольне, завидев их экипаж, начали благовест. Священник и дьякон служили в самых лучших ризах, положенных еще покровом на покойную княгиню, мать князя. Дьячок и пономарь, с распущенными косами и в стихарях, составили нечто вроде хора с двумя отпускными семинаристами: философом-басом и грамматиком-дискантом. При окончании литургии имениннику вынесена была целая просфора, а Калиновичу половина.

— Откушать ко мне,— проговорил князь священнику и дьякону, подходя к кресту, на что тот и другой отвечали почтительными поклонами. Именины — был единственный день, в который он приглашал их к себе обедать.

Возвращаясь домой и проезжая по красному двору, князь указал Калиновичу на вновь выстроенные длинные столы и двое качелей, круговую и маховую.

— Это для народа; тут вы уже увидите довольно оживленную толпу,— заметил он.

— Вы и о народе не забываете! — проговорил Калинович тоном удивления и одобрения.

— Да, я люблю, по возможности, доставлять всем удовольствие,— отвечал князь.

В зале был уже один гость — вновь определенный становой пристав, молодой еще человек, но страшно рябой,

в вицмундире, застегнутом на все пуговицы, и с серебряною цепочкою, выпущенною из-за борта как бы вроде аксельбанта. При входе князя он вытянулся и проговорил официальным голосом:

— Честь имею представиться: пристав второго стана, Романус.

— Очень рад, очень рад познакомиться,— отвечал князь, пожимая ему руку.

— И вместе с тем позвольте поздравить вас со днем вашего тезоименитства,— продолжал пристав.

— Благодарю вас, благодарю,— отвечал князь, сжимая еще раз руку пристава.

— Прошу извинения,— продолжал становой,— по обязанностям моей службы, до сих пор еще не имел чести представиться вашему сиятельству.

— О, помилуйте! Я знаю, как трудна ваша служба,— подхватил князь.

— Служба наша, ваше сиятельство, была бы приятная, как бы мы сами, становые пристава, были не такие. Предместник мой, как, может быть, и вашему сиятельству известно, оставил мне не дела, а ворох сена.

— Знаю, знаю. Но вы, как я слышал, все это поправляете,— отвечал князь, хотя очень хорошо знал, что прежний становой пристав был человек действительно пьющий, но знающий и деятельный, а новый — дрянь и дурак; однако все-таки, по своей тактике, хотел на первый раз обласкать его, и тот, с своей стороны, очень довольный этим приветствием, заложил большой палец левой руки за последнюю застегнутую пуговицу фрака и, покачивая вправо и влево головою, начал расхаживать по зале.

Пришли священники и еще раз поздравили знаменитого именинника с тезоименитством, а семинарист-философ, выступив вперед, сказал приветственную речь, начав ее воззванием: «Достопочтенный болярин!..» Князь выслушал его очень серьезно и дал ему трехрублевую бумажку. Священнику, дьякону и становому приказано было подать чай, а прочий причет отправился во флигель, к управляющему, для принятия должного угощения.

Распорядясь таким образом, князь пригласил, наконец, Калиновича по-французски в столовую, где тоже произошла довольно умилительная сцена поздравления. Первый бросился к отцу на шею маленький князь, восклицая:

— Je vous félicite, papa [1].

Князь расцеловал его в губки, в щечки и в глаза.

— Je vous félicite, mon prince! — произнес, раскланиваясь, m-r ле Гран.

— Merci, mon cher, merci [2],— отвечал с чувством князь.

Княжна, в каком-то уж совершенно воздушном, с бесчисленным числом оборок, кисейном платье, с милым и веселым выражением в лице, подошла к отцу, поцеловала у него руку и подала ему ценную черепаховую сигарочницу, на одной стороне которой был сделан вышитый шелками по бумаге розан. Это она подарила свою работу, секретно сработанную и секретно обделанную в Москве.

— Charmant! Charmant! — воскликнул князь, рассматривая подарок.

Мистрисс Нетльбет в свою очередь тоже встала из-за самовара и, жеманно присев, проговорила поздравительное приветствие князю и представила ему в подарок что-то свернутое... кажется, связанные собственными ее руками шелковые карпетки.

— А! Да это славно быть именинником: все дарят. Я готов быть по несколько раз в год,— говорил князь, пожимая руку мистрисс Нетльбет.— Ну-с, а вы, ваше сиятельство,— продолжал он, подходя к княгине, беря ее за подбородок и продолжительно целуя,— вы чем меня подарите?

— А у меня ничего нет,— отвечала та с добродушной улыбкой.

— Вот женушки всегда таковы! Никогда ничем не подарят! — обратился князь к Калиновичу.

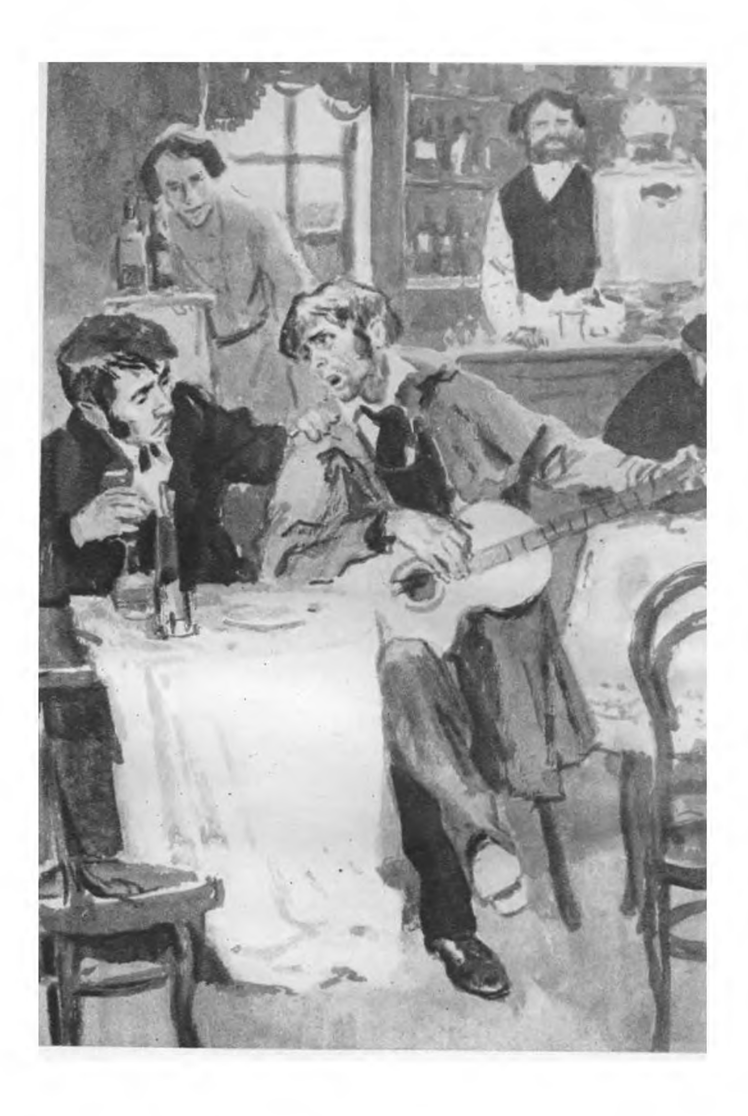
Княгиня добродушно улыбалась, Калинович тоже отвечал улыбкою.

В час дамы перешли в большую гостиную, и стали съезжаться гости. Князь всех встречал в зале. Первый приехал стряпчий с женою, хорошенькою дочерью городничего, которая была уже в счастливом положении, чего очень стыдилась, а муж, напротив, казалось, гордился этим. Судья привез в своем тарантасе инвалидного начальника и винного пристава. Первого князь встретил с некоторым уважением, имея в суде кой-какие делишки, а двум последним сказал по несколько обязательных любезностей, и когда гости введены были к хозяйке в гости-

[1] Поздравляю, папа. (*франц.*)

[2] Спасибо, дорогой, спасибо, (*франц.*)





ную, то судья остался заниматься с дамами, а инвалидный начальник и винный пристав возвратились в залу и присоединились к более приличному для них обществу священника и станового пристава. Приехал и почтмейстер, один. Его неотступно просил было взять с собою письмоводитель опеки, но он отказал. Князь встретил старика радушным восклицанием:

— Здравствуйте, почтеннейший старичок.

Почтмейстер проговорил своим ровным и печальным голосом поздравление и тут же попросил у князя позволение прогуляться в его Елисейских полях.

— Сделайте милость! — отвечал тот.

И почтмейстер, не представившись даже дамам, надел свою изношенную соломенную шляпу и ушел в сад, где, погруженный в какое-то глубокое размышление, начал гулять по самым темным аллеям.

Между тем приехал исправник с семейством. Вынув в лакейской из ушей морской канат и уложив его аккуратно в жилеточный карман, он смиренно входил за своей супругой и дочерью, молодой еще девушкой, только что выпущенной из учебного заведения, но чрезвычайно полной и с такой развитой грудью, что даже трудно вообразить, чтоб у девушки в семнадцать лет могла быть такая высокая грудь. Ее, разумеется, сейчас познакомили с княжной. Та посадила ее около себя и уставила на нее спокойный и холодный взгляд.

— Это кто такой? — проговорил князь, глядя, прищурившись, в окно.

На двор молодецки въезжали старые, разбитые пролетки на тройке кляч, на которых, впрочем, сбруя была вся в бляхах, а на кучере белел полинялый голубой кафтан и вытертый серебряный кушак. Это приехал тот самый молодой дворянин Кадников, охотник купаться, о котором я говорил в первой части. Его прислала на именины к князю мать, желавшая, чтоб он бывал в хороших обществах, и Кадников, завитой, в новой фрачной паре, был что-то очень уж развязен и с глазами, налившимися кровью. Расшаркавшись перед князем, он прямо подошел к княжне, стал около нее и начал обращаться к ней с вопросами.

— Как ваше здоровье?

— Хорошо,— отвечала та.

— Как изволите время проводить?

— Хорошо,— отвечала опять княжна и взглянула на Калиновича, который стоял у одного из окон и насмешливо смотрел на молодого человека.

— Как я давно не имел удовольствия вас видеть! — отнесся Кадников к дочери исправника.

Та отвечала на это каким-то звуком и сама вся покраснела. Поговорив с девицами, он обратился к самой княгине:

— Какой, ваше сиятельство, у вас хлеб отличный! Я, проезжая вашим полем, все любовался.

— Хорош?.. Я и не видала,— отвечала княгиня.

— Очень хорош!.. А у маменьки моей нынче так ни ярового, ни ржи не будет. Озимь тогда очень поздно сеяли, и то в грязь кидали; а овес... я уж и не знаю отчего: видно, семена были плохи. Так неприятно это в хозяйстве!

— Конечно,— подтвердила княгиня.

Князь, ходивший взад и вперед по гостиной, поспешил прекратить разговорчивость молодого человека и обратился довольно громко к судье:

— Что, Михайло Илларионыч, когда вы вашего губернатора ждете?

— Не знаем. Стращает давно, а нет еще... Что-то бог даст! Строгий, говорят, человек,— отвечал судья, гладя рукой шляпу.

— Нет, не строгий, а дельный человек,— возразил князь,— по благородству чувств своих — это рыцарь нашего времени,— продолжал он, садясь около судьи и ударяя его по коленке,— я его знаю с прапорщичьего чина; мы с ним вместе делали кампанию двадцать восьмого года, и только что не спали под одной шинелью. Я когда услышал, что его назначили сюда губернатором, так от души порадовался. Это приобретение для губернии.

Все это судья выслушал совершенно равнодушно, вероятно, потому, что князь говорил с такими похвалами почти обо всех губернаторах, пока их не сменяли.

— Вы еще не изволили видеться с его превосходительством? — спросил он.

— Нет еще; жду его приезда сюда, не завернет ли он ко мне в мое захолустье,— отвечал князь.

— Не оставьте уж доброе слово замолвить...— проговорил с улыбкою судья.

— О боже мой! — воскликнул князь.— Это будет моей первой обязанностью, особенно о вашем уездном

суде, который, без лести говоря, может назваться образцовым уездным судом.

Кадников, не могший пристать к этому солидному разговору, вдруг встал, пошел, затопал каблуками и обратился еще к Калиновичу с просьбой: нет ли у него папироски.

— Нет-с, да здесь и курить нельзя,— отвечал тот сухо.

— А, да, понимаю! — проговорил Кадников и отправился, наконец, в залу.

Там инвалидный начальник разговаривал с винным приставом и жаловался на одного из рыжих Медиокритских, который у него каждое утро стрелял в огороде воробьев.

Кадников пристал к этому разговору, начал оправдывать Медиокритского и, разгорячась, так кричал, что все было слышно в гостиной. Князь только морщился. Не оставалось никакого сомнения, что молодой человек, обыкновенно очень скромный и очень не глупый, был пьян. Что делать! Робея и конфузясь ехать к князю в такой богатый и модный дом, он для смелости хватил два стаканчика неподслащенной наливки, которая теперь и сказывала себя.

Собственно так называемая уездная аристократия стала съезжаться часу в четвертом. Началось с генеральши: ее внесли на креслах и поставили около хозяйки. За ней шла Полина в довольно простом летнем платье, но в брильянтах тысяч на двадцать серебром. Она сейчас же занялась с Калиновичем. Сверх ожидания, приехал потом предводитель. В сущности они с князем были страшные враги и старались вредить друг другу на каждом шагу, но по наружности казались даже друзьями. Едва только предводитель успел раскланяться с дамами, как князь увел его в кабинет, и они вступили в интимный, дружеский между собою разговор по случаю поданной губернатору жалобы от барышни-помещицы на двух ее бунтующих толсторожих горничных девок, которые куда-то убежали от нее на целую неделю.

После всех подъехал господин в щегольской коляске шестериком, господин необыкновенно тучный, белый, как папошник — с сонным выражением в лице и двойным, отвислым подбородком. Одет он был в совершенно летние брюки, в летний жилет, почти с расстегнутой батистовою рубашкою, но при всем том все еще сильно страдал от

жара. Тяжело дыша и лениво переступая, начал он взбираться на лестницу, и когда князю доложили о приезде его, тот опрометью бросился встречать.

Предводитель сделал насмешливую гримасу, но и сам пошел навстречу толстяку. Княгиня, видевшая в окно, кто приехал, тоже как будто бы обеспокоилась. Княжна уставила глаза на дверь. Из залы послышались восклицания: «Mais comment... Voilà c'est un...»[1]. Наконец, гость, в сопровождении князя и предводителя, ввалился в гостиную. Княгиня, сидя встречавшая всех дам, при его появлении привстала и протянула ему руку. Даже генеральша как бы вышла из раздумья и кивнула ему головой несколько раз.

— Bonjour, mesdames[2],— произнес шепелявя толстяк и, пожав руку княгини, довольно нецеремонно и тяжело опустился около нее на диван, так что стоявшие по бокам мраморные амурчики задрожали и закачались.

На прочих лиц, сидевших в гостиной, он не обратил никакого внимания и только, заметив княжну, мотнул ей головой и проговорил:

— Bonjour, mademoiselle.

— Bonjour,— отвечала она с приятной улыбкой.

Лицо это было некто Четвериков, холостяк, откупщик нескольких губерний, значительный участник по золотым приискам в Сибири. Все это, впрочем, он наследовал от отца и все это шло заведенным порядком, помимо его воли. Сам же он был только скуп, отчасти фат и все время проводил в том, что читал французские романы и газеты, непомерно ел и ездил беспрестанно из имения, соседнего с князем, в Сибирь, а из Сибири в Москву и Петербург. Когда его спрашивали, где он больше живет, он отвечал: «В экипаже».

Калиновичу он очень не понравился; и его чрезвычайно неприятно поразило исключительное уважение, с которым встретили хозяева Четверикова. Он высказал это Полине. Та улыбнулась и отвечала полушепотом:

— Да, на него здесь имеют виды. Это, может быть, жених для Catherine.

— Жених княжны! — невольно воскликнул Калинович.

— Да; что ж? Для нее очень приличная партия,— отвечала Полина с какой-то двусмысленной улыбкой.

---

[1] Как... Вот какой... *(франц.)*

[2] Здравствуйте, сударыни, *(франц.)*

Калинович нахмурился.

Шествие к столу произошло торжественно: кавалеры повели дам под руки. Нигде, может быть, с такою дипломатическою тонкостью и точностью не приклеивают гостям ярлычки, кто чего стоит, как бывает это на парадных деревенских обедах. В настоящем случае повторилось то же, и сразу почти определился общественный вес каждого. Впереди всех, например, пошла хозяйка с Четвериковым; за ними покатили генеральшу в креслах, и князь, делая вид, что как будто бы ведет ее под руку, пошел около нее. К княжне подлетел было Кадников, но предводитель слегка отклонил молодого человека локтем и занял его место. Калиновича сама пригласила Полина; судья повел исправницу; исправник — стряпчиху; стряпчий — дочь исправника. В зале находилось еще несколько человек гостей, которых князь не считал за нужное вводить в гостиную. Это были три чиновника из приказных и два бедные дворянина с загорелыми лицами и с женами в драдедамовых платках. Обед был французский, тонкий. Прошел он с полным благоприличием: сначала, как обыкновенно, говорили только в аристократическом конце стола, то есть: Четвериков, князь и отчасти предводитель, а к концу, когда выпито было уже по несколько рюмок вина, стали поговаривать и на остальной половине.

Кадников опять начал спорить с инвалидным начальником; становой стал шептаться с исправником, и, наконец, даже почтмейстер, упорно до того молчавший, прислушавшись к разговору Четверикова с князем о Сибири, вдруг обратился к сидевшему рядом с ним Калиновичу и проговорил:

— Один французский ученый сказал, что если б всю Европу переселить в Сибирь, то и тогда в ней много бы места осталось.

Калинович улыбнулся и не нашел с своей стороны ничего возможным возразить на это.

После стола князь пригласил всех на террасу, обращенную на двор. Вид с нее открывался на три стороны: группы баб и девок тянулись по полям к усадьбе, показываясь своими цветными головами из-за поднявшейся довольно уже высоко ржи, или двигались, до половины выставившись, по нескошенным лугам. Местами появлялись по две, по три сероватые и темноватые фигуры мужиков. Красный двор, впрочем, уж кишел народом: бабы

и девки, в ситцевых сарафанах, в шелковых, а другие в парчовых душегрейках, в ярких платках, с бисерными и стеклянными поднизями на лбах, ходили взводами.

Молодые ребята: форейтор предводительский и форейтор княжеский — качали на маховой качели, вровень с перекладом, двух приезжих горничных девушек, нарочно еще притряхивая доску, причем те всякий раз визжали. На круговой качели, которую вертел скотник, упираясь грудью в вал, качались две поповны и приказчица. Худощавый лакей генеральши стоял, прислонясь к стене, и с самым грустным выражением в лице глядел на толпу, между тем как молоденький предводительский лакей курил окурок сигары, отворачиваясь каждый раз выпущать дым в угол, из опасения, чтоб не заметили господа. Посреди этой толпы флегматически расхаживал, опустив голову и хвост, черный водолаз князя и пугал баб и девок.

— Ой, девоньки! Глянь-ко, собачища-то какая! — говорили они, прижимаясь друг к другу.

Князь, выйдя на террасу, поклонился всему народу и сказал что-то глазами княжне. Она скрылась и чрез несколько минут вышла на красный двор, ведя маленького брата за руку. За ней шли два лакея с огромными подносами, на которых лежала целая гора пряников и куски лент и позументов. Сильфидой показалась княжна Калиновичу, когда она стала мелькать в толпе и, раздавая бабам и девкам пряники и ленты, говорила:

— Вот вам, миленькие, возьмите.

Нельзя сказать, чтоб все это принималось с особенным удовольствием или с жадностью; девки, неторопливо беря, конфузились и краснели, а женщины смеялись. Некоторые даже говорили:

— Что это, матушка-барышня, беспокоите себя понапрасну? Не за этим, сударыня, ходим.

И только девчонка-сирота, в выбойчатом сарафане и босиком, торопливо схватила пряники и сейчас же их съела, а позументы стала рассматривать и ахать. Две старухи остановили княжну: одна из них, полуслепая, погладила ее по плечу и, проговоря: «Вся в баушиньку пошла!» — заплакала.

Другая непременно требовала, чтоб маленький князек взял от нее красненькое яичко. Тот не брал, но княжна разрешила ему и подала за это старухе несколько горстей пряников Та ухватила своей костлявою и загорелою рукою

кончики беленьких ее пальчиков и начала целовать. Сильно страдало при этом чувство брезгливости в княжне, но она перенесла.

— Багышенка, гдай мне генточку! — кричал дурак из Спиридонова, с скривленною набок головою и с вывернутою назад ступнею.

Княжна решительно уж не могла его видеть. Бросив ему целую связку лент, она проворно отошла от него.

— Генточки, генточки! — кричал дурак, хлопая в ладони и прыгая на одной ноге.

Стоявшие около него мальчишки с разинутыми ртами смотрели на ленты и позументы в его руках.

Раздав все подарки, княжна вбежала по лестнице на террасу, подошла к отцу и поцеловала его, вероятно, за то, что он дал ей случай сделать столько добра. Вслед за тем были выставлены на столы три ведра вина, несколько ушатов пива и принесено огромное количество пирогов. Подносить вино вышел камердинер князя, во фраке и белом жилете. Облокотившись одною рукою на стол, он обратился к ближайшей толпе:

— Эй, вы! Что ж стоите! Подходите!

Мужики переглядывались и не решались, кому начать.

— Что ж? Подходите! — повторил дворецкий.

Из толпы, наконец, вышел сухощавый, сгорбленный старик, в широком решменском кафтане, низко подпоясанный и с отвислой пазухой. Это был один из самых скупых и заправных мужиков князя, большой охотник выпить на чужой счет, а на свой — никогда. Порешив с водкой, он подошел к пиву, взял обеими руками налитую ендову, обдул пену и пил до тех пор, пока посинел, потом захватил середки две пирога и, молча, не поднимая головы, поклонился и ушел. Ободренные его примером, стали выходить и другие мужики. Из числа их обратил только на себя некоторое внимание священников работник — шершавый, плечистый малый, с совершенно плоским лицом, в поняве и лаптях, парень работящий, но не из умных, так что счету даже не знал. Как вышел он из толпы, так все и засмеялись; он тоже засмеялся и, выпив водки, поворотил было назад.

— А пива? — сказал ему дворецкий.

Парень воротился, выпил, не переводя дух, как небольшой стакан, целую ендову. В толпе опять засмеялись.

Он тоже засмеялся, махнул рукой и скрылся. После мужиков следовала очередь баб. Никто не выходил.

— Подходите! — повторял несколько раз дворецкий.

— Палагея, матка, подходи; что стоишь? — раздалось, наконец, в толпе.

— Ой, нет, матонька! Другой год уж не пью,— отвечала Палагея.

— Полно-ка, полно, не пью, скрытный человек! — проговорила густым басом высокая, с строгим выражением в лице, женщина и вышла первая. Выпив, она поклонилась дворецкому.

— Князю надобно кланяться,— заметил тот.

— Ну, батюшка, дуры ведь мы: не знаем. Извини нас на том,— отвечала баба и отошла.

Потом опять стали посылать Палагею. Она не шла.

— Да что нейдешь, модница?.. Чего не смеешь?.. О! Нате-ка вам ее!—сказала лет тридцати пяти, развеселая, должно быть, бабенка и выпихнула Палагею.

— Ой, согрешила! Что это за бабы баловницы! — проговорила Палагея; впрочем, подошла к столу и, отпив из поднесенного ей стакана половину, заморщилась и хотела возвратить его.

— Что ж, допивайте! — сказал ей дворецкий.

— Ой, сударь, не осилишь, пожалуй! — отвечала Палагея, однако осилила и сверх этого еще выпила огромный ковш пива.

За Палагеей вышла веселая бабенка. Она залпом хватила стакан водки и тут же подозрительно переглянулась с молодым княжеским поваренком.

К водке нашлась только еще одна охотница, полуслепая старушонка, гладившая княжну по плечу. Ее подвела другая человеколюбивая баба.

— Поднеси, батюшка, баушке-то: пьет еще старая,— сказала она дворецкому.

Тот подал. Старуха высосала водку с большим наслаждением, и, когда ей в дрожащую руку всунули середку пирога, она стала креститься и бормотать молитву.

После нее стали подходить только к пиву, которому зато и давали себя знать: иная баба была и росту не более двух аршин, а выпивала почти осьмушку ведра.

Забродивший слегка в головах хмель развернул чувство удовольствия. Толпа одушевилась: говор и песни послышались в разных местах. Составился хоровод, и в

средине его начала выхаживать, помахивая платочком и постукивая босовиками, веселая бабенка, а перед ней принялся откалывать вприсядку, как будто жалованье за то получал, княжеский поваренок.

Гораздо подалее, почти у самых сараев, собралось несколько мужиков и запели хором. Всех их покрыл запевало, который залился таким высоким и чистейшим подголоском, что даже сидевшие на террасе господа стали прислушиваться.

— C'est charmant,— проговорил князь, обращаясь к толстяку.

— Oui, — отвечал тот.

— Интересно знать, кто это такой? — сказал князь, вслушиваясь еще внимательнее.

— Это мой кучер, ваше сиятельство,— сказал, вскакивая, становой пристав.

— Прекрасно, прекрасно! — проговорил князь.

Становой самодовольно улыбнулся.

— Больше за голос и держу ваше сиятельство; немец по фамилии, а люблю русские песни,— проговорил он.

— Прекрасно, прекрасно! — повторил князь.— Только надобно бы его сюда поближе,— отнесся он к Четверикову.

— Oui! — отвечал тот.

— Сейчас, ваше сиятельство,— подхватил становой и убежал.

Через несколько минут он подвел запевалу к террасе. По желанию всех тот запел «Лучинушку». Вся задушевная тоска этой песни так и послышалась и почуялась в каждом переливе его голоса.

Княгиня, княжна и Полина уставили на певца свои лорнеты. M-r ле Гран вставил в глаз стеклышко: всем хотелось видеть, каков он собой. Оказалось, что это был белокурый парень с большими голубыми глазами, но и только.

— Какое прекрасное лицо! — отнеслась Полина к Калиновичу.

— Да,— едва нашелся тот отвечать

Его занимало в эти минуты совершенно другое: княжна стояла к нему боком, и он, желая испытать силу воли своей над ней, магнетизировал ее глазами, усиленно сосредоточиваясь на одном желании, чтоб она взглянула на него: и княжна, действительно, вдруг, как бы невольно,

повертывала головку и, приподняв опущенные ресницы, взглядывала в его сторону, потом слегка улыбалась и снова отворачивалась. Это повторялось несколько раз.

Когда певец кончил, княгиня первая захлопала ему потихоньку, а за ней и все прочие. Толстяк, сверх того, бросил ему десять рублей серебром, князь тоже десять, предводитель — три и так далее. Малый и не понимал, что это такое делается.

— Подбирай деньги-то! Что, дурак, смотришь? — шепнул ему стоявший около становой.

— Понравилось, видно, вам? — отнесся инвалидный начальник к почтмейстеру, который с глубоким вниманием и зажав глаза слушал певца.

— Пение душевное...— отвечал тот.

— То-то пение душевное; дали бы ему что-нибудь! — подхватил инвалидный начальник, подмигнув судье.

Почтмейстер вместо ответа поднял только через крышу глаза на небо и проговорил: «О господи помилуй, господи помилуй!»

Музыканты генеральши в это время подали в зале сигнал к танцам, и все общество возвратилось в комнаты. Князь, Четвериков и предводитель составили в гостиной довольно серьезную партию в преферанс, а судья, исправник и винный пристав в дешевенькую.

Калинович подошел было ангажировать княжну, но Кадников предупредил его.

— Я ангажирована, monsieur Калинович,— отвечала она каким-то печальным голосом.

Калинович изъявил поклоном сожаление и просил ее по крайней мере на вторую кадриль.

— Непременно... очень рада... а то мой кавалер такой ужасный! — отвечала княжна.

Калинович еще раз поклонился, отошел и пригласил Полину. Та пожала ему с чувством руку. Визави их был m-r ле Гран, который танцевал с хорошенькой стряпчихой. Несмотря на счастливое ее положение, она заинтересовала француза донельзя: он с самого утра за ней ухаживал и беспрестанно смешил ее, хоть та ни слова не говорила по-французски, а он очень плохо говорил по-русски, и как уж они понимали друг друга — неизвестно.

Инвалидный начальник, хотя уж имел усы и голову седые и лицо, сплошь покрытое морщинами, но, вероятно, потому, что был военный и носил еще поручичьи эполеты,

тоже изъявил желание танцевать. Он избрал себе дамою дочь исправника и стал визави с Кадниковым.

Чтоб кадриль была полнее и чтоб все гости были заняты, княгиня подозвала к себе стряпчего и потихоньку попросила его пригласить исправницу, которая в самом деле начала уж обижаться, что ею вообще мало занимаются. Против них поставлен был маленький князек с мистрисс Нетльбет, которая чопорно и с важностью начала выделывать chassé en avant и chassé en arrière [1].

За кадрилью следовал вальс. Калинович не утерпел и пригласил княжну: та пошла с удовольствием. Он почувствовал, наконец, на руке своей ее стан, чувствовал, как ее ручка крепко держалась за его руку; он видел почти перед глазами ее белую, как морская пена, грудь, впивал аромат волос ее и пришел в какое-то опьянение. Напрасно княжна после двух туров проговорила: «Будет», он понесся с ней и сделал еще тур, два, три. «Будет»,— сказала она более настоятельно. Калинович наконец опомнился и, опустив ее на стул, сел рядом. Княжна очень устала: глаза ее сделались томны, грудь высоко поднималась; ручкой своей она поправляла разбившиеся виски волос. Калинович пожирал ее глазами. Начавшаяся вскоре кадриль заставила их снова встать.

— Что вы теперь сочиняете? — заговорила княжна.

Вопрос этот сначала озадачил Калиновича; но, сообразив, он решился им воспользоваться.

— Я описываю,— начал он,— одно семейство... богатое, которое живет, положим, в Москве и в котором есть, между прочим, дочь — девушка умная и, как говорится, с душой, но светская.

Княжна слушала.

— Девушка эта,— продолжал Калинович,— имела несчастье внушить любовь человеку, вполне, как сама она понимала, достойному, но не стоявшему породой на одной с ней степени. Она знала, что эта страсть составляет для него всю жизнь, что он чахнет и что достаточно одной ничтожной ласки с ее стороны, чтобы этот человек ожил...

Внимание княжны возрастало.

— Она все это знала,— продолжал Калинович,— и у ней доставало духу — с своими светскими друзьями смеяться над подобной страстью.

---

[1] Фигуры танца (*франц.*).

— Над чем же тут смеяться? Стало быть, он не нравился ей? — возразила княжна.

Калинович пожал плечами.

— Даже и нравился,— отвечал он,— но это выходило из правил света. Выйти за какого-нибудь идиота-богача, *продать себя* — там не смешно и не безобразно в нравственном отношении, потому что *принято;* но человека без состояния светская девушка полюбить *не может.*

— Отчего ж не может? — перебила стремительно княжна.— Одна моя кузина, очень богатая девушка, вышла против воли матери за одного кавалергарда. У него ничего не было; только он был очень хорош собой и чудо как умен.

— За кавалергарда же,— повторил Калинович.

Он с умыслом говорил против светских девушек, чтоб заставить княжну сказать, что она не похожа на них, и, как показалось ему, она это самое и хотела сказать своими возражениями и замечаниями, тем более, что потом княжна задумалась на несколько минут и, как бы не вдруг решившись, проговорила полушепотом:

— Танцуйте, пожалуйста, со мной мазурку.

Калинович вспыхнул от удовольствия.

— Я только хотел вас просить об этом,— подхватил он.

— Пожалуйста,— повторила княжна.

В продолжение всего этого разговора с них не спускала глаз не танцевавшая и сидевшая невдалеке Полина. Еще на террасе она заметила взгляды Калиновича на княжну; но теперь, еще более убедившись в своем подозрении, перешла незаметно в гостиную, села около князя и, когда тот к ней обернулся, шепнула ему что-то на ухо.

— Pardon, на одну минуту,— проговорил князь, вставая, и тотчас же ушел с Полиной в задние комнаты. Назад он возвратился через залу. Калинович танцевал с княжной в шестой фигуре галоп и, кончив, отпустил ее довольно медленно, пожав ей слегка руку. Она взглянула на него и покраснела.

Все это вряд ли увернулось от глаз князя. Проходя будто случайно мимо дочери, он сказал ей что-то по-английски. Та вспыхнула и скрылась; князь тоже скрылся. Княжна, впрочем, скоро возвратилась и села около матери. Лицо ее горело.

Калинович, нехотя танцевавший все остальные кад-

рили и почти ни слова не говоривший с своими дамами, ожидал только мазурки, перед началом которой подошел к княжне, ходившей по зале под руку с Полиной.

— Вероятно, мы с вами будем начинать,— сказал он.

Княжна ничего ему не ответила и обратилась к Полине:

— Вы танцуете?

— Да, танцую,— отвечала та с усмешкой.

Княжна, как бы сконфуженная, пошла за Калиновичем и села на свое место. Напрасно он старался вызвать ее на разговор,— она или отмалчивалась, или отвечала *да* или *нет,* и очень была, по-видимому, рада, когда другие кавалеры приглашали ее участвовать в фигуре.

— Смысл повести моей повторяется в жизни на каждом, видно, шагу,— проговорил, наконец, Калинович, начинавший окончательно выходить из себя; но княжна как будто не слыхала его.

Между тем игроки вышли в залу. Князь начал осматривать танцующих в лорнет. Четвериков стоял рядом с ним.

Княжна почти каждый раз стала выбирать его, непременно заставляя танцевать. Четвериков выходил и, слегка подпрыгивая, делал с ней тур, а потом расшаркивался, и она приседала и благодарила его самой любезной улыбкой. Ревность, досада и злоба забушевали в душе Калиновича. Он решился по крайней мере наговорить дерзостей княжне, но ему и этого не удалось: при конце мазурки она только издали кивнула ему головой, взяла потом Полину под руку и ушла. Вскоре затем последовал ужин, и все почти гости остались ночевать.

В распределении постелей обнаружился со стороны хозяев тот же тонкий расчет. Четверикову и предводителю отведено было по особой комнате; каждому поставлены были фарфоровые умывальники, и на постелях положено голландское белье и новые матерчатые одеяла. В одной большой комнате предназначалось положить судью, исправника, почтмейстера и Калиновича. Здесь уж были одеяла, хоть и шелковые, но поношенные, и умывальники фаянсовые. Комната рядом была отведена для винного пристава, инвалидного начальника и молодого Кадникова. Тут уж не было даже отдельных кроватей, а просто постлано на диванах с довольно жесткими подушками и ситцевыми покрывалами.

Калинович, измученный и истерзанный ощущениями дня, сошел вниз первый, разделся и лег, с тем чтоб заснуть по крайней мере поскорей; но оказалось это невозможным: вслед за ним явился почтмейстер и начал укладываться. Сняв верхнее платье, он долго рылся на груди, откуда вынув финифтяный образок, повесил его на усмотренный вверху гвоздик и начал молиться, шевеля тихонько губами и восклицая по временам: «Господи помилуй, господи помилуй!». После молитвы старик принялся неторопливо стаскивать с себя фуфайки, которых оказалось несколько и которые он аккуратно складывал и клал на ближайший стул; потом принялся перевязывать фонтанели, с которыми возился около четверти часа, и, наконец, уже вытребовав себе вместо одеяла простыню, покрылся ею, как саваном, до самого подбородка, и, вытянувшись во весь свой длинный рост, закрыл глаза.

Калиновичу возвратилась было надежда заснуть, но снова вошли судья и исправник, которые, в свою очередь, переодевшись в шелковые, сшитые из старых, жениных платьев халаты и в спальные, зеленого сафьяна, сапоги, уселись на свою кровать и начали кашлять и кряхтеть. Вдобавок к ним пришел еще из своей комнаты инвалидный начальник, постившийся с утра и теперь куривший залпом четвертую трубку. Его сопровождал молодой Кадников, неотступно прося поручика дать ему хотя разик затянуться. Видимо, что всем им, стесненным целый день приличием и модным тоном, хотелось поболтать на свободе.

— Темненьки, однако, стали ночи-то! — проговорил судья, взглянув в окно.

— Да,— отозвался исправник,— ворам да мошенникам раздолье: воруй, а земская полиция отвечай за них.

— Какая вы земская полиция! Что уж тут говорить!— перебил его инвалидный поручик, мотнув головой.— Только званье на себе носите: полиция тоже!

— Что ж полиция? Такая же полиция, как и всякая,— проговорил кротко исправник.

— Нет, не такая, как всякая,— возразил поручик,— вот в Москве был обер-полицеймейстер Шульгин, вот тот был настоящий полицеймейстер: у того была полиция.

— Да, тот ловкий был,— заметил судья.

— Еще какой ловкий-то, братец ты мой! — подхватил

поручик.— И тут, сударь ты мой, московские мошенники надували! — прибавил он.

Судья только усмехнулся.

— Да!..— произнес он.

— Вот и ловкого надували! — заметил с некоторою ядовитостью исправник.

— Да ведь какую штуку-то, братец ты мой, подвели, штуку-то какую...— продолжал поручик,— на параде ли там, али при соборном служении, только глядь: у него у шубы рукав отрезан. Он ничего, стерпел это... Только одним утром, а может быть, и вечером, приезжает к его камердинеру квартальный. «Генерал, говорит, прислал сейчас найденный через полицию шубный рукав и приказал мне посмотреть, от той ли ихней самой шубы, али от другой...» Камердинер слышит приказание господское — ослушаться, значит, не смел: подал и преспокойным манером отправился стулья там, что ли, передвигать али тарелки перетирать; только глядь: ни квартального, ни шубы нет. «Ах, говорит, согрешил!», а Шульгин между тем приезжает. Он ему в ноги: «Батюшка, ваше превосходительство...» — «Ничего, говорит, братец: ты глуп, да и я не умней тебя. Я уж, говорит, и записку получил», и показывает. Пишут ему: «Благодарим покорно, ваше превосходительство, что вы к нашему рукаву вашу шубу приставили», и больше ничего.

Судья опять улыбнулся и покачал головой.

— Шельма народ! — произнес он.

— Шельма! — подтвердил самодовольно рассказчик.

Калинович между тем выходил из себя, проклиная эту отвратительную помещичью наклонность — рассказывать друг другу во всякий час дня и ночи пошлейшие анекдоты о каких-нибудь мошенниках; но терпению его угрожало еще продолжительное испытание: молодой Кадников тоже воспалился желанием рассказать кое-что.

— Вот тоже на Лукина раз мошенники напали...— начал было он.

— Лукин был силач,— перебил его инвалидный начальник, гораздо более любивший сам рассказывать, чем слушать.— Когда он был, сударь ты мой, на корабле своем в Англии,— начал он... Что делал Лукин на корабле в Англии — все слушатели очень хорошо знали, но поручик не стеснялся этим и продолжал: — Выискался там один господин, тоже силач, и делает такое объявле-

ние: «Сяду-де я, милостивые государи, на железное кресло и пускай, кто хочет, бьет меня по щеке. Если я упаду — сто рублей плачу, а нет, так мне вдвое того», и набрал он таким манером много денег. Только проходит раз мимо этого места Лукин, спрашивает: что это такое? Ему говорят: «Ах, мусье, тебя-то мне и надо!» Подходит сейчас к нему. «Держитесь, говорит, покрепче: я Лукин». Ну, тот слыхал уж тоже, однако честь свою не теряет. «Ничего-с, говорит: я сам тоже такой-то».— «Ладно»,— говорит Лукин, засучил, знаете, немного рукава, перекрестился по-нашему, по-христианскому, да как свистнет... Батюшки мои, и барин наш, и кресла, и подмостки — все к черту вверх тормашки полетело. Мало того, слышат, барин кричит благим матом. Что такое? Подходят: глядь — вся челюсть на сторону своротена. «Ничего»,— говорит Лукин, взял его, сердечного, опять за шиворот, трах его по другой стороне, сразу поправил. «Ну, говорит, денег твоих мне не надо, только помни меня».— «Буду, говорит, помнить, буду...»

— Это, значит, все-таки у Лукина сила в руках была,— подхватил Кадников. Не имея удачи рассказать что-нибудь о мошенниках или силачах, он решился по крайней мере похвастаться своей собственной силой и прибавил: — Я вот тоже стул за переднюю ножку поднимаю.

— Ну, да ведь это какой тоже стул? Вот этакий не поднимете,— возразил ему инвалидный начальник, указав глазами на довольно тяжелое кресло.

— Нет, подниму,— отвечал Кадников и, взяв кресло за ножку, напрягся, сколько силы достало, покраснел, как вареный рак, и приподнял, но не сдержал: кресло покачнулось так, что он едва остановил его, уперев в стену над самой почти головой Калиновича.

Тот вышел окончательно из терпенья.

— Что ж это такое, господа? Когда будет конец? — воскликнул он.

— А мы думали, что вы давно спите,— сказал инвалидный начальник.

— Разве есть возможность спать, когда тут рассказывают какой-то вздор о мошенниках и летают стулья над головой? — проговорил Калинович и повернулся к стене.

Строгий и насмешливый тон его нарушил одушевление беседы.

— В самом деле, господа, пора на покой,— сказал судья.

— Пора,— повторил исправник, и все разошлись.

Калинович вздохнул свободнее, но заснуть все-таки не мог. Все время лежавший с закрытыми глазами почтмейстер сначала принялся болезненно стонать, потом бредить, произнося: «Пришел... пришел... пришел!..» и, наконец, вдруг вскрикнув: «Пришел!» — проснулся, вероятно, и, проговоря: «О господи помилуй!», затих на время. Исправник и судья тоже стали похрапывать негромко, но зато постоянно и как бы соревнуя друг другу.

## VI

На другой день, как обыкновенно это бывает на церемонных деревенских праздниках, гостям сделалось неимоверно скучно и желалось только одного: как бы поскорее уехать. Хозяева в свою очередь тоже унимали больше из приличия. Таким образом, вся мелюзга уехала тотчас после завтрака, и обедать остались только генеральша с дочерью, Четвериков и предводитель. Целое утро Калинович искал случая поймать княжну и прямо спросить ее: что значит эта перемена; но его решительно не замечали. Полина обращалась с ним как-то насмешливо. Взбешенный всем этим и не зная, наконец, что с собой делать, он ушел было после обеда, когда все разъехались, в свою комнату и решился по крайней мере лечь спать; но от князя явился человек с приглашением: не хочет ли он прогуляться? Калинович пошел. Князь ожидал его уж на крыльце.

Сначала они вышли в ржаное поле, миновав которое, прошли луга, прошли потом и перелесок, так что от усадьбы очутились верстах в трех. Сверх обыкновения князь был молчалив и только по временам показывал на какой-нибудь открывавшийся вид и хвалил его. Калинович соглашался с ним, думая, впрочем, совершенно о другом и почти не видя никакого вида. Перейдя через один овражек, князь вдруг остановился, подумал немного и обратился к Калиновичу:

— А что, Яков Васильич,— начал он,— мне хотелось бы сделать вам один довольно, может быть, нескромный вопрос.

Калинович покраснел, и первая его мысль была: не догадался ли князь о его чувствах к княжне.

— Если вопрос нескромен, так лучше его совсем не делать,— отвечал он полушутливым тоном.

— Да,— подхватил протяжно князь,— но дело в том, что меня подталкивает сделать его искреннее желание вам добра; я лучше рискую быть нескромным, чем промолчать.

Калинович ничего на это не отвечал.

— Именно рискую быть нескромным,— продолжал князь,— потому что, если б лет двадцать назад нашелся такой откровенный человек, который бы мне высказал то, что я хочу теперь вам высказать... о! Сколько бы он сделал мне добра и как бы я ему остался благодарен на всю жизнь!

Калинович продолжал молчать.

— Спросить я вас хочу, мой милейший Яков Васильич,— снова продолжал князь,— о том, действительно ли справедливы слухи, что вы женитесь на mademoiselle Годневой?

Калинович опять невольно сконфузился.

— Вопрос в самом деле, князь, не совсем скромный,— проговорил он.

— И вы не хотите мне на него отвечать, не так ли? Да? — подхватил князь.

— Я не столько не хочу,— отвечал спокойно и по возможности овладев собой, Калинович,— сколько не могу, потому что, если эти слухи и существуют, то ни я, ни mademoiselle Годнева в том не виноваты.

Князь посмотрел пристально на Калиновича: он очень хорошо видел, что тот хочет отыгрываться словами.

— Глас народа, говорит пословица, глас божий. Во всякой сплетне есть всегда тень правды,— начал он.— Впрочем, не в том дело. Скажите вы мне... я вас решительно хочу сегодня допрашивать и надеюсь, что вы этим не обидитесь.

— Чем же я, князь, могу обидеться, когда это показывает только ваше участие ко мне! — возразил, пожав плечами, Калинович.

— Именно участие, и самое искреннее!.. Скажите вы мне вот что: имеете вы состояние или нет?

— У меня ничего нет.

— Но, может быть, вам угрожает наследство от какой-нибудь бабушки, тетушки?..

— Все мое наследство в моей голове,— отвечал Калинович.

Князь усмехнулся.

— Наследство,— начал он с расстановкою,— если хотите, очень хорошее, но для жизненных ресурсов совершенно уж ненадежное: головные товары, mon cher, куда как туго продаются!.. Что, казалось бы, следовало обменивать на вес брильянтов, то мы часто должны уступать за медь с примесью чугуна... Да, мой милый молодой человек,— продолжал князь, беря Калиновича за руку,— выслушайте вы, бога ради, меня, старика, который вас полюбил, признает в вас ум, образование, талант,— выслушайте несколько моих задушевных убеждений, которые я купил ценою горького собственного опыта! Все мы обыкновенно в молодости очень легко смотрим на брак, тогда как это самый важный шаг в жизни, потому что это единственный почти случай, где для человека ошибка непоправима. Пошалили вы в молодости, лениво и глупо провели пять — шесть лет; но... стоит опомниться, поработать год, два,— и все поправлено. Проигрались в пух в карты, израсходовались на какую-нибудь любовь — ничего: одинокому, холостому человеку денежные раны не смертельны. Заняли вы должность, не соответствующую вам, ступайте в отставку; потеряли, наконец, выгодную для вас службу,— хлопочите и можете найти еще лучше... словом, все почти ошибки, шалости, проступки — все может быть поправлено, и один только тяжелый брачный башмак с ноги уж не сбросишь...

— Сентенция эта, князь, довольно стара,— заметил Калинович.

— Если хотите, даже очень стара,—подхватил князь,— но, к сожалению, очень многими забывается, и, что для меня всегда было удивительно: дураки, руководствуясь каким-то инстинктом, поступают в этом случае гораздо благоразумнее, тогда как умные люди именно и делают самые безрассудные, самые пагубные для себя партии. У меня теперь, Яков Васильич, у самого два сына,— продолжал князь, более и более одушевляясь,— и если они не бедняки совершенные, то и не богаты. И вот им мое отцовское правило: на богатой девушке и по любви должны жениться, хоть теперь же, несмотря на то, что оба еще

прапорщики, потому что это своего рода шаг в жизни; на богатой и без любви, если хотят, пускай женятся, но на бедной и по любви — никогда! Всей моей родительской властью не допущу до этого.

Калинович улыбнулся.

— Правило ваше, князь, уж потому несправедливо, что оно совершенно одностороннне. Вы смотрите на брак решительно с одной только хозяйственной стороны.

— А как же прикажете смотреть? — возразил князь запальчиво.— Неужели, милостивый государь, прикажете принимать в расчет эту вашу глубокую, безумную любовь? Mon cher! Mon cher! Вы человек умный: неужели вы не понимаете, что такое эта любовь всех вас, молодых людей? Ничуть не больше, как замаскированное стремление полов, возбужденная и задержанная чувственность — никак не больше. И поверьте, брак есть могила этого рода любви: мужа и жену связывает более прочное чувство — дружба, которая, честью моею заверяю, гораздо скорее может возникнуть между людьми, женившимися совершенно холодно, чем между страстными любовниками, потому что они по крайней мере не падают через месяц после свадьбы с неба на землю... Любовь!.. Я не могу слышать равнодушно, когда этот вздор, фантом, порожденный разгоряченным воображением, чувство, которое родится и питается одними только препятствиями, берут в основание такого важного дела, как брак. Будь у вас, с позволения сказать, любовница, с которой вы прожили двадцать лет вашей жизни, и вот вы, почти старик, говорите: «Я на ней женюсь, потому что я ее люблю...» Молчу, ни слова не могу сказать против!.. Но как же вы хотите заставить меня верить в глубину и неизменность любви какого-нибудь молодого человека в двадцать пять лет и девчонки в семнадцать, которые, расчувствовавшись над романами, поклялись друг другу в вечной страсти?

— Все это, князь, может быть, очень справедливо,— возразил Калинович,— но чрезвычайно обще и требует слишком многих исключений. По вашему правилу, очень бы немногим пришлось жениться.

— Напротив, многим,— перебил князь,— и даже очень многим разрешаю это удовольствие. Пускай себе женятся и тешатся!.. Люди, мой милый, разделяются на два разряда: на человечество дюжинное, чернорабочее, которому

самим богом назначено родиться, вырасти и запречься потом с тупым терпением в какую-нибудь узкую деятельность,— вот этим юношам я даже советую жениться; они народят десятки такого же дюжинного человечества и, посредством благодетелей, покровителей, взяток, вскормят и воспитают эти десятки, в чем состоит их главная польза, которую они приносят обществу, все-таки нуждающемуся, по своим экономическим целям, в чернорабочих по всем сословиям. Но есть, mon cher, другой разряд людей, гораздо уже повыше; это... как бы назвать... забелка человечества: если не гении, то все-таки люди, отмеченные каким-нибудь особенным талантом, люди, которым, наконец, предназначено быть двигателями общества, а не сонливыми трутнями; и что я вас отношу к этому именно разряду, в том вы сами виноваты, потому что вы далеко уж выдвинулись из вашей среды: вы не школьный теперь смотритель, а литератор, следовательно, человек, вызванный на очень серьезное и широкое поприще. Вам будет грех и стыдно каким-нибудь неблагоразумным браком спутать себя на первых порах по рукам и по ногам.

— Я очень рад, князь, что вы договорились до значения литератора: оно-то, кажется, и дает мне право располагать своим сердцем свободнее и не подчиняться безусловно вашим экономическим правилам.

— Mon cher! — воскликнул князь.— Звание-то литератора, повторяю еще раз, и заставляет вас быть осмотрительным; звание литератора, милостивый государь, обязывает вас, чтоб вы ради будущей вашей славы, ради пользы, которую можете принести обществу, решительно оставались холостяком или женились на богатой: последнее еще лучше.

— Я на это смотрю совершенно иначе, потому что все-таки верю некоторым образом в себя и в свои силы,— проговорил Калинович.

— Вы смотрите на это глазами вашего услужливого воображения, а я сужу об этом на основании моей пятидесятилетней опытности. Положим, что вы женитесь на той девице, о которой мы сейчас говорили. Она прекраснейшая девушка, и из нее, вероятно, выйдет превосходная жена, которая вас будет любить, сочувствовать всем вашим интересам; но вы не забывайте, что должны заниматься литературой, и тут сейчас же возникнет вопрос: где

вы будете жить; здесь ли, оставаясь смотрителем училища, или переедете в столицу?

— Вы, князь, говорите, как будто бы уж я был женат,— возразил, усмехнувшись, Калинович.

— Ну да,— положим, что вы уж женаты,— перебил князь,— и тогда где вы будете жить? — продолжал он, конечно, здесь, по вашим средствам... но в таком случае, поздравляю вас, теперь вы только еще, что называется, соскочили с университетской сковородки: у вас прекрасное направление, много мыслей, много сведений, но, много через два — три года, вы все это растеряете, обленитесь, опошлеете в этой глуши, мой милый юноша — поверьте мне, и потом вздумалось бы вам съездить, например, в Петербург, в Москву, чтоб освежить себя — и того вам сделать будет не на что: все деньжонки уйдут на родины, крестины, на мамок, на нянек, на то, чтоб ваша жена явилась не хуже другой одетою, чтоб квартирка была хоть сколько-нибудь прилично убрана. Семейная жизнь — омут, бездонная кадка для денег. Я наследовал от отца, не так, как вы, а все-таки состояние, которое могло бы меня на службе поддержать, если б я служил до генералиссимуса. Я был, наконец, любимец вельможи, имел в перспективе попасть в флигель-адъютанты, в тридцать лет пристегнул бы, наверняк, генеральские эполеты, и потому можете судить, до чего бы я дошел в настоящем моем возрасте; но женился по страсти на девушке бедной, хоть и прелестной, в которой, кажется, соединены все достоинства женские, и сразу же должен был оставить Петербург, бросить всякого рода служебную карьеру и на всю жизнь закабалиться в деревне.

— Вы, однако, князь, в вашей семейной жизни не обеднели, а еще разбогатели,— заметил Калинович.

Князь покачал головой.

— Разбогател я!..— сказал он.— А знаете ли, мой милый друг, чего мне это стоит? Знаете ли, что я и мое образование, которое по тому времени, в котором я начинал жить, было не совсем заурядное, и мои способности, которые тоже из ряда посредственных выходили, и, наконец, самое здоровье — все это я должен был растратить в себе и сделаться прожектером, аферистом, купцом, для того чтоб поддержать и воспитать семью, как прилично моему роду. А сколько нравственных уступок! Сколько дел против совести! Сколько унижения и расточенной лести пе-

ред людьми, которых бы знать никогда не хотел! И теперь, когда все, кажется, поустроил, так чувствую, что сам уж никуда не гожусь... Не завидуйте и не берите с меня пример; потому-то я и хочу предостеречь вас, что знаю на себе все тяжелые и горькие последствия подобной ошибки.

— Я не так избалован жизнью, князь,— возразил Калинович,— и не так требователен: для меня будет достаточно, если я, переселясь в Петербург, найду там хоть мало-мальски безбедное существование.

— Даже безбедное существование вы вряд ли там найдете. Чтоб жить в Петербурге семейному человеку, надобно... возьмем самый минимум, меньше чего я уже вообразить не могу... надо по крайней мере две тысячи рублей серебром, и то с величайшими лишениями, отказывая себе в какой-нибудь рюмке вина за столом, не говоря уж об экипаже, о всяком развлечении; но все-таки помните — две тысячи, и будем теперь рассчитывать уж по цифрам: сколько вы получили за ваш первый и, надобно сказать, прекрасный роман?

Калинович смешался: ему стыдно было признаться, что он не получил еще ни копейки и только еще надеялся получить.

— Я получил пятьсот рублей серебром,— проговорил он.

— А сколько таких романов вы можете написать в год? — продолжал князь.— Один... ну, два, никак уж не больше,— отвечал он сам себе,—и это еще в плодотворный год, а будут года хуже, и я хоть не поэт и не литератор, а очень хорошо понимаю, что изящною словесностью нельзя постоянно и одинаково заниматься: тут человек кладет весь самого себя и по преимуществу сердце, а потому это дело очень капризное: надобно ждать известного настроения души, вдохновенья, наконец, призванья!.. Это не ученый какой-нибудь труд или служебное занятие, для которого нужно только терпение, чтоб отправлять его каждодневно... Значит, из всего этого выходит, что в хозяйстве у вас, на первых порах окажется недочет, а семья между тем, очень вероятно, будет увеличиваться с каждым годом — и вот вам наперед ваше будущее в Петербурге: вы напишете, может быть, еще несколько повестей и поймете, наконец, что все писать никаких человеческих сил не хватит, а деньги между тем все будут нужней и нужней. Вы насилуете себя, торопитесь, печатаете, марае-

те свое имя и потом из авторов переходите в фельетонисты, переводчики... и тогда все пропало: загублено и ваше время, и ваш талант, и даже ваше здоровье. Это, я говорю, когда вы будете женаты. Впрочем, и холостой все равно: в Петербурге у человека, в каком бы он положении ни был, развивается шестое чувство: жажда денег... Сколько соблазна! Сколько роскоши кругом! Сколько самых утонченных удовольствий! И для всего этого будет у вас единственный денежный источник — литературные труды. Mon cher, mon cher! — продолжал князь, покачав головой и ударяя себя в грудь.—Пушкин был человек с состоянием, получал по червонцу за стих, да и тот постоянно и беспрерывно нуждался; а Полевой, так уж я лично это знаю, когда дал ему пятьсот рублей взаймы, так он со слезами благодарил меня, потому что у него полтинника в это время не было в кармане. Так вот вам наша русская литература! Мы еще слишком далеки от того, чтоб чтение сделалось общим достоянием. Сколько человек вы видели вчера у меня и для кого из них необходимы книги?— ни для кого, кроме Четверикова. Даже вот этот господин, наш предводитель, человек неглупый и очень богатый, он, я думаю, на грош не купил ни одной книжонки. Читает одну «Северную пчелу», да и ту берет у меня... В такой публике литераторы не зажиреют!

— Все это, князь, я очень хорошо сам знаю и на одну литературу никогда не рассчитывал; но если перееду в Петербург, то буду искать там места,— проговорил Калинович.

— Пожалуй... хорошо...— отвечал князь,— место вам дадут; но какое же по вашему чину? Никак не больше канцелярского чиновника. Может быть, где-нибудь в департаменте сделают вас помощником, а много уж столоначальником; но в таком случае проститесь с литературою. После шести и семи часов департаментских сидений, возвратившись домой, вы разве годны будете только на то, чтоб отправиться в театр похохотать над глупым водевилем или пробраться к знакомому поиграть в копеечный преферанс; а вздумаете соединить то и другое, так, пожалуй, выйдет еще хуже, по пословице: за двумя зайцами погнавшись, не поймаешь ни одного... Вот, любезный мой Яков Васильич, что я хотел и почти считал своей обязанностью сказать вам, и еще раз повторю: обдумайте и оглядите внимательно ваше положение.

— Очень вам благодарен, князь,— возразил Калинович,— но из ваших слов можно вывести странное заключение, что литература должна составить мое несчастье, а не успех в жизни.

— Почему ж? Нет!..— перебил князь и остановился на несколько времени.—Тут, вот видите,—начал он,—я опять должен сделать оговорку, что могу ли я с вами говорить откровенно, в такой степени, как говорил бы откровенно с своим собственным сыном?

— Достаточно вашего участия, князь, чтоб вы имели полное право говорить мне не только откровенно, но даже самую горькую правду,— отвечал Калинович.

— Да; но тут не то,— перебил князь.—Тут, может быть, мне придется говорить о некоторых лицах и говорить такие вещи, которые я желал бы, чтоб знали вы да я, и в случае, если мы не сойдемся в наших мнениях, чтоб этот разговор решительно остался между нами.

Калинович посмотрел на князя, все еще не догадываясь, к чему он клонит разговор.

— Я всегда был довольно скромен...—проговорил он.

— Очень верю,— подхватил князь,— и потому рискую говорить с вами совершенно нараспашку о предмете довольно щекотливом. Давеча я говорил, что бедному молодому человеку жениться на богатой, фундаментально богатой девушке, не быв даже влюблену в нее, можно, или, лучше сказать, должно.

Последние слова князь говорил протяжно и остановился, как бы ожидая, не скажет ли чего-нибудь Калинович; но тот молчал и смотрел на него пристально и сурово, так что князь принужден был потупиться, но потом вдруг взял его опять за руку и проговорил с принужденною улыбкою:

— Вы теперь приняты в дом генеральши так радушно, с таким вниманием к вам, по крайней мере со стороны mademoiselle Полины, и потому... что бы вам похлопотать тут — и,— боже мой! — какая бы тогда для вас и для вашего таланта открылась будущность! Тысяча душ, батюшка, удивительно устроенного имения, да денег, которым покуда еще счету никто не знает. Тогда поезжайте, куда вы хотите: в Петербург, в Москву, в Одессу, за границу... Пишите свободно, не стесненные никакими другими занятиями, в каком угодно климате, где только благоприятней для вашего вдохновения...

Калинович был озадачен: выражение лица его сделалось еще мрачнее; он никак не ожидал подобной откровенной выходки со стороны князя и несколько времени молчал, как бы сбираясь с мыслями, что ему отвечать.

— Ваше предложение, князь, для меня даже несколько обидно, потому что оно сильно отзывается насмешкою,— проговорил он глухим голосом.

— Насмешкой? — спросил удивленный князь.

— Насмешкой,— повторил Калинович,— потому что, если б я желал избрать подобный путь для своей будущности, то все-таки это было бы гораздо более несбыточный замысел, чем мои надежды на литературу, которые вы старались так ловко разбить со всех сторон.

— Будто это так? — возразил князь.— Будто вы в самом деле так думаете, как говорите, и никогда сами не замечали, что мое предположение имеет много вероятности?

— Я никогда ничего не думал об этом и никогда ничего не замечал,— отвечал сухо Калинович.

Князь покачал головой.

— Полноте, молодой человек! — начал он.— Вы слишком умны и слишком прозорливы, чтоб сразу не понять те отношения, в какие с вами становятся люди. Впрочем, если вы по каким-либо важным для вас причинам желали не видеть и не замечать этого, в таком случае лучше прекратить наш разговор, который ни к чему не поведет, а из меня сделает болтуна.

Проговоря это, князь замолчал; Калинович тоже ничего не возразил, и оба они дошли молча до усадьбы.

## VII

Результатом предыдущего разговора было то, что князь, несмотря на все свое старание, никак не мог сохранить с Калиновичем по-прежнему ласковое и любезное обращение; какая-то холодность и полувнимательная важность начала проглядывать в каждом его слове. Тот сейчас же это заметил и на другой день за чаем просил проводить его.

— А я думал, что вы еще у нас погостите,— проговорил князь и переглянулся с княжной.

— Нет, мне нужно быть в городе,— отвечал Калинович.

— Жаль; но удерживать не смеем. Когда же вы, однако, думаете выехать?

— Я просил бы сегодня же.

— Зачем же сегодня? — возразил князь, но таким тоном, что Калинович еще настоятельнее повторил:

— Мне необходимо сегодня.

Князь позвонил и приказал вошедшему лакею, чтоб приготовлен был фаэтон четверней.

Молча прошел потом чайный завтрак, с окончанием которого Калинович церемонно раскланялся с дамами, присовокупив, что он уже прощается. Княгиня ласково и несколько раз кивнула ему головой, а княжна только слегка наклонила свою прекрасную головку и тотчас же отвернулась в другую сторону. На лице ее нельзя было прочитать в эти минуты никакого выражения.

Мистрисс Нетльбет присела.

— Adieu, monsieur! — произнес ле Гран, крепко сжимая ему руку.

Фаэтон между тем стоял уж у крыльца.

Калинович сошел в свою комнату и начал сбираться. Князь пришел его проводить. Радушие и приветливость как будто бы снова возвратились к нему на прощанье.

— Очень, очень вам благодарен,— говорил он, целуя и обнимая гостя.

Калинович с своей стороны благодарил за ласковый и обязательный прием.

— И пожалуйста,— продолжал князь, сжимая и не выпуская его руку,— чтоб недавний наш разговор остался между нами.

Калинович просил, бога ради, не беспокоиться об этом, тем более что он не будет иметь даже возможности разглашать этого разговора, потому что через месяц, вероятно, совсем уедет в Петербург.

— А! Вы думаете в Петербург? — спросил князь совершенно простодушным тоном и потом, все еще не выпуская руки Калиновича, продолжал: — С богом... от души желаю вам всякого успеха и, если встретится какая-нибудь надобность, не забывайте нас, ваших старых друзей: черкните строчку, другую. Чем только могу быть полезен, я готов служить вам. Может быть, даже изменится и взгляд ваш на жизнь, теперь немножко еще студенческий. Петербург

для этого прекрасный учитель. Напишите тогда... может быть, и придумаем что-нибудь сделать.

Калинович очень хорошо понял, в какой огород кидал князь каменья, и отвечал, что он считает за величайшее для себя одолжение это позволение писать, а тем более право относиться с просьбою. Они расстались.

В серьезном и мрачном настроении духа выехал герой мой. Он не мечтал уже на этот раз о благоухающей княжне и не восхищался окружавшей его природой, в которой тоже, как бы под лад ему, заварилась кутерьма; надвинули со всех сторон облака, и потемнело, как в сумерки. В воздухе сделалось душно. Нахохлившись и с разинутыми ртами сидели на кочках вороны; ласточки летали по самой земле. Хоть бы травка, хоть бы листок на дереве шелохнулся. Все, как бы в ожидании чего-то, затихло, и только изредка прорезывалась молния и глухо погремливало. Стал наконец накрапывать дождик, и вдруг, где-то уж очень близко, верескнул с раскатом удар, хлынул, как из ведра, ливень и бестолково задул, нагибая деревья и крутя пылью, ветер. Калинович опустил фордек и еще более погрузился в размышления. С самого приезда в маленький городишко он был в отношении самого себя в каком-то тумане. На самых первых порах его встретила, как мы видели, любовь Настеньки. Калинович, сам не зная как, увлекся ее порывистою и безрассудною страстью, а под минутным влиянием чувственности стал с нею в те отношения, при которых разрыв сделался бесчеловечен и бесчестен. Потом этот неожиданный литературный успех, приветствие в доме генеральши, князь, княжна, мечты о ней — все это следовало так быстро одно за другим... Но разговор с князем как бы отрезвил его: все советы, замечания и убеждения того пали на плодотворную почву. Семена практических начал были обильно заложены в душе моего героя. Все, что говорил князь, ему еще прежде представлялось смутно, в предчувствии — теперь же стало только ясней и наглядней. Впереди были две дороги: на одной невеста с тысячью душами... однако, ведь *с тысячью!* — повторял Калинович, как бы стараясь внушить самому себе могущественное значение этой цифры, но тут же, как бы наступив на какое-нибудь гадкое насекомое, делал гримасу. На другой дороге, продолжал он рассуждать, литература с ее заманчивым успехом, с независимой жизнью в Петербурге, где, что бы князь ни говорил, ши-

рокое поприще для искания счастия бедняку, который имеет уже некоторые права. Из всего этого уж, конечно, самое лучшее — уехать навсегда в Петербург. Но как же Настенька?.. Что делать! Не жениться же на ней теперь, когда это неминуемо должно было отравить бедностью всю будущность! Лучше разом сделать операцию, чем мучиться всю жизнь!..— Так говорило благоразумие в молодом человеке, но совесть в то же время точно буравом вертела сердце.

Въехав в город, он не утерпел и велел себя везти прямо к Годневым. Нужно ли говорить, как ему там обрадовались? Первая увидела его Палагея Евграфовна, мывшая, с засученными рукавами, в сенях посуду.

— Ай, батюшка, Яков Васильич! — вскрикнула она, стыдливо обдергивая заткнутый фартук.

— А! Солнышко наше красное! Откуда взошло и появилось? — воскликнул Петр Михайлыч.— Настенька! — кричал он.— Яков Васильич приехал.

— Ах!..— воскликнула та и вбежала.

Калинович поцеловал у ней руку. Настенька, делая вид, что как будто целует его в голову, поцеловала просто в губы.

— Ах, как я рада, что ты приехал! — обмолвилась она.

Петр Михайлыч сделал добродушную гримасу:

— Ой, ой! Вот как: на *ты* уж дело пошло!

Настенька немножко покраснела.

— Что ж — я могу ему говорить *ты:* мы с ним друзья,— сказала она и протянула Калиновичу руку.

— Конечно,— подхватил тот и еще раз поцеловал ее руку.

Капитана на этот раз не было налицо: он отправился с Лебедевым верст за двадцать в болото за красной дичью. Вошла Палагея Евграфовна.

— Чаю прикажете али кушать будете?..— обратилась она к Калиновичу.

— Чего тут спрашивать, старая! Давай нам и того и сего! — подхватил Петр Михайлыч.

— Нет, я попросил бы съесть чего-нибудь,— отвечал Калинович.

— Ну, покушать, так покушать... Живей! Марш! — крикнул Петр Михайлыч. Палагея Евграфовна пошла было ..— Постой! — остановил ее, очень уж довольный приездом Калиновича, старик.— Там княжеский кучер. Из-

воль ты у меня, сударыня, его накормить, вином, пивом напоить. Лошадкам дай овса и сена! Все это им за то, что они нам Якова Васильича привезли.

— Накормим! Пуще всего не знают без вас! — отвечала с насмешкой экономка и скрылась, а Настенька принялась накрывать на стол. Калинович просил было ее не беспокоиться.

— Что ж, если я хочу, если это доставляет мне удовольствие? — отвечала она, и когда кушанье было подано, села рядом с ним, наливала ему горячее и переменяла даже тарелки. Петр Михайлыч тоже не остался праздным: он собственной особой слазил в подвал и, достав оттуда самой лучшей наливки-лимоновки, которую Калинович по преимуществу любил, уселся против молодых людей и стал смотреть на них с каким-то умилением. Калиновичу, наконец, сделалось тяжело переносить их искреннее радушие.

«Боже мой! Как эти люди любят меня, и между тем какой черной неблагодарностью я должен буду заплатить им!» — мучительно думал он и решительно не имел духа, как прежде предполагал, сказать о своем намерении ехать в Петербург и только, оставшись после обеда вдвоем с Настенькой, обнял ее и долго, долго целовал.

— Ты плачешь? — спросила она, почувствовав, что с глаз его упала ей на щеку слеза.

— Нет, это так,— отвечал Калинович и потом опять ее обнял и сказал ей что-то на ухо.

— Хорошо,— отвечала Настенька.

Во весь остальной вечер он был мрачен. Затаенные в душе страдания подняли в нем по обыкновению желчь. Петр Михайлыч спросил было, как у князя проводилось время. Калинович сделал гримасу.

— Князь — это такой мошенник, каких когда-либо я встречал,— отвечал он.

— Талейран, Талейран! — подтверждал Петр Михайлыч.

— Княгиня идиотка,— продолжал Калинович.

— Ужасная идиотка; это я тогда же заметила,— подтвердила уж Настенька.— А что княжна?..— спросила она.— Это тоже идиотка?

Калинович несколько замялся.

— Нет, как это можно!.. Такая прелестная девица, нет! — отвергнул Петр Михайлыч.

— Решительно идиотка! — повторила Настенька.— Воображает, что очень хороша собой, и не дает себе труда подумать и понять, как она глупа.

— Она не то, что глупа...— начал Калинович,— но это идеал пустоты... Девушка, в которой, может быть, от природы и было кое-что, но все это окончательно изломано, исковеркано воспитанием папеньки.

— Ужасно! — подхватила Настенька.— Когда *ты* читал у них, мне было так досадно за *тебя.* Разве кто-нибудь из них понял, что *ты* написал? Сидели все, как сороки.

— Где ж как сороки?.. Нравилось, особенно этой генеральской дочери,— заметил Петр Михайлыч.

— Ну, да, Полине, потому что она умней тут всех,— возразила Настенька,—и слушала по крайней мере внимательно, может быть, потому, что влюблена в Якова Васильича.

— Вероятно,— подтвердил Калинович и вздохнул.

Домой он ушел часов в двенадцать; и когда у Годневых все успокоилось, задним двором его квартиры опять мелькнула чья-то тень, спустилась к реке и, пробираясь по берегу, скрылась против беседки, а на рассвете опять эта тень мелькнула, и все прошло тихо...

## VIII

Через неделю Калинович послал просьбу об увольнении его в четырехмесячный отпуск и написал князю о своем решительном намерении уехать в Петербург, прося его снабдить, если может, рекомендательными письмами. В ответ на это тотчас же получил пакет на имя одного директора департамента с коротенькой запиской от князя, в которой пояснено было, что человек, к которому он пишет, готов будет сделать для него все, что только будет в его зависимости. Распоряжаясь таким образом, Калинович никак не имел духу сказать о том Годневым, и — странное дело! — в этом случае по преимуществу его останавливал возвратившийся капитан: стыдясь самому себе признаться, он начинал чувствовать к нему непреодолимый страх. Ему казалось, что Настеньку и Петра Михайлыча можно еще было как-нибудь спасительно обмануть, но Флегонта Михайлыча нет. Время между тем шло: отпуск был прислан,

и скрывать долее не было уже никакой возможности. Заранее приготовившись на слезы и упреки со стороны Настеньки, на удивление Петра Михайлыча и на многозначительное молчание капитана и решившись все это отпарировать своей холодностью, Калинович решился и пришел нарочно к Годневым к самому обеду, чтоб застать всех в сборе. Ссылаясь на сырую погоду, он выпил из стоявшего на столе графина огромную рюмку водки и проговорил:

— Сейчас получил я отпуск.

— Отпуск? — повторил Петр Михайлыч.

— Да, думаю съездить в Петербург,— продолжал, насколько мог спокойно, Калинович.

— В Петербург? — спросила уж Настенька и побледнела.

— В Петербург,— отвечал Калинович, и голос у него дрожал от волнения.— Я еще у князя получил письмо от редактора: предлагает постоянное сотрудничество и пишет, чтоб сам приехал войти в личные с ним сношения,— прибавил он, солгав от первого до последнего слова. Петр Михайлыч сначала было нахмурился, впрочем, ненадолго.

— Пожалуй, что и надобно съездить...— произнес он с глубокомысленным видом.

— А надолго ли вы думаете ехать? — спросила Настенька.

Вопрос этот острым ножом кольнул Калиновича в сердце.

— Месяца на три, на четыре,— отвечал он.

— Надобно съездить; сидя здесь, ничего не сделаешь!.. Непременно надобно!..— повторил старик, почти совершенно успокоенный последним ответом Калиновича.— И вы, пожалуйста, Настасья Петровна, не отговаривайте: три месяца не век! — прибавил он, обращаясь к дочери.

— Я не отговариваю. Отчего не съездить, если это необходимо? — отвечала Настенька, хотя на глазах ее навернулись уж слезы и руки так дрожали, что она не в состоянии была держать вилки.

Калинович вздохнул свободнее.

«Ну, не ожидал я, чтоб так легко это устроилось»,— подумал он и, желая представить свой отъезд как очень обыкновенный случай, принялся было быть веселым, но не мог: сидевшие перед ним жертвы его эгоизма мучили и об-





личали его. Невольно задумавшись, он взглядывал только искоса на Флегонта Михайлыча, как бы желая угадать, что у того на душе; но капитан во все время упорно молчал. Петр Михайлыч, глядя на дочь, которая была бледна как мертвая, тоже призадумался. Ушедши после обеда в свой кабинет по обыкновению отдохнуть, он, слышно было, что не спал: сначала все ворочался, кашлял и, наконец, постучал в стену, что было всегда для Палагеи Евграфовны знаком, чтоб она являлась. Та пришла, и между ними начался шепотом разговор, в котором больше слышался голос Петра Михайлыча; экономка же отвечала только своей поговоркой: «Э... э... э... хе... хе...»

Между тем оставшиеся в зале Настенька, Калинович и капитан сидели, погруженные в свои собственные мысли.

— Пойдемте гулять, мне пройтись хочется,— сказала, наконец, вставая, Настенька, обращаясь к Калиновичу.

Тот посмотрел на нее.

— Холодно сегодня. Пожалуй, еще простудишься: что за удовольствие! — возразил он.

— Нет ничего: я в теплом платье,— отвечала Настенька и стала надевать шляпку.

Калинович не трогался с места.

— А вы пойдете с нами? — отнесся он к капитану, видимо, не желая остаться на этот раз с Настенькой вдвоем.

— Никак нет-с! — отвечал отрывисто капитан и, взяв фуражку, но позабыв трубку и кисет, пошел. Дианка тоже поднялась было за ним и, желая приласкаться, загородила ему дорогу в дверях. Капитан вдруг толкнул ее ногою в бок с такой силой, что она привскочила, завизжала и, поджав хвост, спряталась под стул.

— Все вертишься под ногами... покричи еще у меня; удавлю каналью!—проговорил, уходя, Флегонт Михайлыч, и по выражению глаз его можно было верить, что он способен был в настоящую минуту удавить свою любимицу, которая, как бы поняв это, спустя только несколько времени осмелилась выйти из-под стула и, отворив сама мордой двери, нагнала своего патрона, куда-то пошедшего не домой, и стала следовать за ним, сохраняя почтительное отдаление.

Все это Калинович видел, и все это показалось ему подозрительно.

«Куда пошел этот медвежонок?» — думал он, машинально идя за Настенькой, которая была тоже в ажитации. Быстро шла она; глаза и щеки у ней горели. Скоро миновали главную улицу, прошли потом переулок и очутились, наконец, в поле.

— Куда же мы идем? — спросил, наконец, Калинович, поднимая голову и осматривая окрестность.

— На могилу к матушке. Я давно не была и хочу, чтоб ты сходил поклониться ей,— отвечала Настенька.

Калиновича подернуло.

«Час от часу не легче!» — подумал он и с чувством невольного отвращения поглядел на видневшееся невдалеке кладбище. Церковь его была деревянная, с узенькими окнами, стекла которых проржавели от времени и покрылись радужными отливами. Небольшая, приземистая колокольня покачнулась набок. Вся она обшита была узорно вырезанным тесом, и на крыше, тоже узорной, росли уже трава и мох. Погост был сплошь покрыт могилами, над которыми возвышались то белые, то черные деревянные кресты. Простоту эту нарушала одна только мраморная колонка с горевшим на солнце золотым крестом и золотой подписью, поставленная над могилой недавно умершего откупщика. Настенька подвела Калиновича к могиле матери, которую покрывала четвероугольная из дикого камня плита, с иссеченным на верхней стороне изречением: *Помяни мя, господи, егда приидеши во царствии твоем.* Слова эти начертать на вечном жилище своей жены придумал сам Петр Михайлыч.

— Помолимся! — сказала Настенька, становясь на колени перед могилой.— Стань и ты,— прибавила она Калиновичу. Но тот остался неподвижен. Целый ад был у него в душе; он желал в эти минуты или себе смерти, или — чтоб умерла Настенька. Но испытание еще тем не кончилось: намолившись и наплакавшись, бедная девушка взяла его за руку и положила ее на гробницу.

— Поклянись мне, Жак,— начала она, глотая слезы,— поклянись над гробом матушки, что ты будешь любить меня вечно, что я буду твоей женой, другом. Иначе мать меня не простит... Я третью ночь вижу ее во сне: она мучится за меня!

— Настенька!.. К чему все эти мелодраматические сцены?.. Ей-богу, тяжело и без того! — воскликнул Калинович, не могший более владеть собой.

— Нет, Жак, поклянись: это будет одно для меня утешение, когда ты уедешь,— отвечала настойчиво Настенька.

— Клянусь...— проговорил он.

И в самый этот момент с шумом выпорхнула из растущей около густой травы какая-то черная масса и понеслась по воздуху. Калинович побледнел и невольно отскочил. Настенька оставалась спокойною.

— Чего же ты испугался? Это ворон,— проговорила она.

— Подобные сцены хоть у кого расстроят нервы,—отвечал Калинович.

— За что ж ты сердишься?

— Я не сержусь.

— Нет, ты сердишься. Нынче ты все сердишься. Прежде ты не такой был!..— сказала со вздохом Настенька.— Дай мне руку,— прибавила она.

Калинович подал. Войдя в город, он проговорил: «Здесь неловко так идти» и хотел было руку отнять, но Настенька не пустила.

— Нет, ничего; пойдем так... Пускай все видят: я хочу этого! — сказала она.

Калинович пожал только плечами и всю остальную дорогу шел погруженный в глубокую задумчивость. Его неотвязно беспокоила мысль: где теперь капитан, что он делает и что намерен делать?

Капитан действительно замышлял не совсем для него приятное: выйдя от брата, он прошел к Лебедеву, который жил в Солдатской слободке, где никто уж из господ не жил, и происходило это, конечно, не от скупости, а вследствие одного несчастного случая, который постиг математика на самых первых порах приезда его на службу: целомудренно воздерживаясь от всякого рода страстей, он попробовал раз у исправника поиграть в карты, выиграл немного—понравилось... и с этой минуты карты сделались для него какой-то ненасытимой страстью: он всюду начал шататься, где только затевались карточные вечеринки; схватывался с мещанами и даже с лакеями в горку — и не корысть его снедала в этом случае, но ощущения игрока были приятны для его мужественного сердца. Подвизаясь таким образом около года, он наскочил, наконец, на известного уж нам помещика Прохорова, который, кроме того, что чисто делал артикулы ружьем, еще чи-

ще их делал картами, и с ним играть было все равно, что ходить на медведя без рогатины: наверняк сломает! Он порешил Лебедева в несколько часов рублей на пятьсот серебром. Звероловов побледнел и униженно стал просить поиграть еще с ним в долг. Прохоров согласился, и к утру уж был в выигрыше тысяч пять на ассигнации.

— Будет! — проговорил, наконец, математик, вздохнув, как паровая машина, и тотчас же сходил к маклеру и принес на себя вексель.

Неуклонно с тех пор начал он в уплату долга отдавать из своего жалованья две трети, поселившись для того в крестьянской почти избушонке и ограничив свою пищу хлебом, картофелем и кислой капустой. Даже в гостях, когда предлагали ему чаю или трубку, он отвечал басом: «Нет-с; у меня дома этого нет, так зачем уж баловаться?» Из собственной убитой дичи зверолов тоже никогда ничего не ел, но, стараясь продать как можно подороже, копил только деньгу для кредитора.

«Зачем вы платите? Вас ведь, наверное, обыграли»,— говорили ему некоторые.— «Ничего я не знаю-с; я проиграл и должен платить»,— отвечал Лебедев с стоическою твердостию.

В тот самый день, как пришел к нему капитан, он целое утро занимался приготовлением себе для стола картофельной муки, которой намолов собственной рукой около четверика, пообедал плотно щами с забелкой и, съев при этом фунтов пять черного хлеба, заснул на своем худеньком диванишке, облаченный в узенький ситцевый халат, из-под которого выставлялись его громадные выростковые сапоги и виднелась волосатая грудь, покрытая, как у Исава, густым волосом. Застав хозяина спящим, Флегонт Михайлыч, по своей деликатности, вероятно бы, в обыкновенном случае ушел домой, но на этот раз начал будить Лебедева, и нужно было несколько сильных толчков, чтоб прервать богатырский сон зверолова; наконец, он пошевелился, приподнялся, открыл налившиеся кровью глаза, протер их и, узнав приятеля, произнес:

— А, ваше благородие!

— Извините, я вас разбудил,— сказал капитан.

Несмотря на тесную дружбу, он всегда говорил Лебедеву, как и всем другим: *вы,* и тот отвечал ему тем же.

— Ничего-с! Огонька, я думаю, вам в трубочку нужно,— сказал Лебедев, окончательно приходя в себя и приглаживая свои щетиноподобные волосы, растопырившиеся во всевозможные стороны.

— Нет-с, я трубку забыл,— отвечал капитан, хватаясь за пуговицу, на которой обыкновенно висел кисет.

— Ну, так садитесь! — произнес математик, подвигая одной рукой увесистый стул, а другой доставая с окна деревянную кружку с квасом, которую и выпил одним приемом до дна.

Капитан сел.

— Ну-с,— продолжал Лебедев,— а крусановские болота, батенька, мы с вами прозевали: в прошлое воскресенье все казначейство ходило, и ворон-то всех, чай, расшугали, а все вы...

— Некогда было-с,— отвечал капитан краснея — явный знак, что он говорил неправду.

— Некогда?.. Какого черта вы делаете? — возразил, зевая, зверолов и потянулся, напомнив собой в своей избушонке льва в клетке.

Собственно, на это замечание капитан ничего не ответил, но, посеменив руками и ногами, вдруг проговорил:

— Смотритель ваш в Петербург едет?

Лебедев, кажется, не обратил на это особенного внимания.

— Как же! Отпуск уж получил на четыре месяца,— отвечал он.

Оба приятеля на некоторое время замолчали.

— Теперича они едут в Петербург, а может, и совсем оттуда не приедут? — начал капитан больше вопросом.

— Прах его побери! Пускай убирается, куда хочет! — отвечал Лебедев.

Капитан опять посеменил руками и ногами.

— Теперича, хоша бы в доме братца... Что ж? Надобно сказать: они были приняты заместо родного сына...— начал он, но голос у него оборвался.

— Что говорить! Известно!..— подтвердил Лебедев.

— А хоша бы и братец,— продолжал капитан,— не холостой человек, имеет дочь девицу.

— Известно! — повторил Лебедев.

— А хоша бы и здесь,— снова продолжал капитан,— не темные леса, а город: не зажмешь каждому рот... мало ли что говорят.

Лебедев значительно откашлянулся, или, скорее, рыкнул, поняв, наконец, к чему клонит капитан.

— Разговоров много идет,— произнес он, глубокомысленно мотнув головою.

— Да-с. А кому закажешь? — подхватил капитан.

— Много говорят, много... Я что? Конечно, моя изба с краю, ничего не знаю, а что, почитавший Петра Михайлыча за его добрую душу, жалко, ей-богу, жалко!..

Капитан уставил на приятеля глаза.

— Вы теперича,—начал он прерывающимся голосом,— посторонний человек, и то вам жалко; а что же теперича я, имевший в брате отца родного? А хоша бы и Настасья Петровна — не чужая мне, а родная племянница... Что ж я должен теперича делать?..

На вопросе этом капитан остановился, как бы ожидая ответа приятеля; но тот ерошил только свою громадную голову.

— Говорить хоша бы не по ним,— так станут ли еще моих слов слушать?.. Может, одно их слово умней моих десяти,— заключил он, и Лебедев заметил, что, говоря это, капитан отвернулся и отер со щеки слезу.

— Мошенник он — вот что надо было вам сказать! — проговорил зверолов.

Капитан встал и начал ходить по избе.

— Теперича что ж? — заговорил он, разводя руками.— Я, как благородный человек, должен, как промеж офицерами бывает, дуэль с ним иметь?

Лебедев опять значительно откашлянулся.

— Что ж? — продолжал капитан.— Суди меня бог и царь, а себя я не пожалею: убить их сейчас могу, только то, что ни братец, ни Настенька не перенесут того... До чего он их обошел!.. Словно неспроста, с первого раза приняли, как родного сына... Отогрели змею за пазухой!

— Мошенник! — повторил Лебедев.

— Теперича, хоша бы я пришел к вам поговорить: от кого совета али наставленья мне в этом деле иметь...— говорил капитан, смигивая слезы.

— Погодите, постойте! — начал зверолов глубокомысленно и нещадным образом ероша свои волосы.— Постойте!.. Вот что я придумал: во-первых, не плачьте.

Капитан торопливо обтерся.

— Во-вторых, ступайте к нему на квартиру и скажите

ему прямо: «Так, мол, и так, в городе вот что говорят...» Это уж я вам говорю... верно... своими ушами слышал: там беременна, говорят, была... ребенка там подкинула, что ли...

Лицо капитана горело, глаза налились кровью, губы и щеки подергивало.

— Значит, что ж,— продолжал Лебедев, ударив по столу кулаком,— значит, прикрывай грех; а не то, мол, по-нашему, по-военному, на барьер вытяну!.. Струсит, ей-богу, струсит!

Капитан думал.

— Я схожу-с! — проговорил он, наконец.

— Сходите, право так! — подтвердил Лебедев.

— Схожу-с! — повторил капитан и, не желая возвращаться к брату, чтоб не встретиться там впредь до объяснения с своим врагом, остался у Лебедева вечер. Тот было показывал ему свое любимое ружье, заставляя его заглядывать в дуло и говоря: «Посмотрите, как оно, шельма, расстрелялось!» И капитан смотрел, ничего, однако, не видя и не понимая.

В настоящем случае трудно даже сказать, какого рода ответ дал бы герой мой на вызов капитана, если бы сама судьба не помогла ему совершенно помимо его воли. Настенька, возвратившись с кладбища, провела почти насильно Калиновича в свою комнату. Он было тотчас взял первую попавшуюся ему на глаза книгу и начал читать ее с большим вниманием. Несколько времени продолжалось молчание.

— Ну, послушай, друг мой, брось книгу, перестань! — заговорила Настенька, подходя к нему.— Послушай,— продолжала она несколько взволнованным голосом,— ты теперь едешь... ну, и поезжай: это тебе нужно... Только ты должен прежде сделать мне предложение, чтоб я осталась твоей невестой.

Холодный пот выступил на лбу Калиновича. «Нет, это не так легко кончается, как мне казалось сначала!» — подумал он.

— Что ж? Сделаю ли я предложение, или нет, я думаю, это все равно,— проговорил он.

— Равно?.. Как ты странно рассуждаешь!

— Решительно все равно,— повторил Калинович.

— А если это отца успокоит? Он скрывает, но его ужасно мучат наши отношения. Когда ты уезжал к князю,

он по целым часам сидел, задумавшись и ни слова не говоря... когда это с ним бывало?.. Наконец, пощади и меня, Жак!.. Теперь весь город называет меня развратной девчонкой, а тогда я буду по крайней мере невестой твоей. Худа ли, хороша ли, но замуж за тебя выхожу.

Что мог против этого сказать Калинович? Но, с другой стороны, требование Настеньки заставляло его сделать новый бесчестный поступок.

«Ну,— подумал он про себя,—обманывать, так обманывать, видно, до конца!» — и проговорил:

— Если я действительно внушаю такое странное подозрение Петру Михайлычу и если ты сама этого желаешь, так, дорожа здешним общественным мнением, я готов исполнить эту пустую проформу.

Тон этого ответа оскорбил Настеньку.

— Ты точно не желаешь этого и как будто бы уступку делаешь! — сказала она, вся уже вспыхнув.

Калинович обрадовался. Немногого в жизни желал он так, как желал в эту минуту, чтоб Настенька вышла по обыкновению из себя и в порыве гнева сказала ему, что после этого она не хочет быть ни невестой его, ни женой; но та оскорбилась только на минуту, потому что просила сделать ей предложение очень просто и естественно, вовсе не подозревая, чтоб это могло быть тяжело или неприятно для любившего ее человека.

— Ты сегодня же должен поговорить с отцом, а то он будет беспокоиться о твоем отъезде... Дядя тоже наговорил ему,— присовокупила она простодушно.

— Хорошо,— отвечал односложно Калинович, думая про себя: «Эта несносная девчонка употребляет, кажется, все средства, чтоб сделать мой отъезд в Петербург как можно труднее, и неужели она не понимает, что мне нельзя на ней жениться? А если понимает и хочет взять это силой, так неужели не знает, что это совершенно невозможно при моем характере?»

Кашель и голос Петра Михайлыча в кабинете прервал его размышления.

— Папаша проснулся; поди к нему и скажи,— сказала Настенька. Калинович ничего уж не возразил, а встал и пошел. Ему, наконец, сделалось смешно его положение, и он решился покориться всему безусловно. Петр Михайлыч действительно встал и сидел в своем кресле в глубокой задумчивости.

Калинович сел напротив. Старик долго смотрел на него, не спуская глаз и как бы желая наглядеться на него.

— Итак, Яков Васильич, вы едете от нас далеко и надолго! — проговорил он с грустною улыбкою. Кроме Настеньки, ему и самому было тяжело расстаться с Калиновичем — так он привык к нему.

— Да,— отвечал тот и потом, подумав, прибавил: — прежде отъезда моего я желал бы поговорить с вами о довольно серьезном деле.

— Что такое? — спросил торопливо Петр Михайлыч.

— С самого приезда я был принят в вашем семействе, как родной,— начал Калинович.

Петр Михайлыч кивнул головой; в лице его задвигались все мускулы; на глазах навернулись слезы.

— Вашим гостеприимством я пользовался, конечно, не без цели,— продолжал Калинович.

— Да, да,— проговорил старик.

— Мне нравится Настасья Петровна...

— Да, да,— проговорил Петр Михайлыч.

— Теперь я еду и прошу ее руки, и желаю, чтоб она осталась моей невестой,— заключил, с заметным усилием над собой, Калинович.

— Да, да, конечно,— пробормотал старик и зарыдал.— Милый ты мой, Яков Васильич! Неужели я этого не замечал?.. Благослови вас бог: Настенька тебя любит; ты ее любишь — благослови вас бог!..— воскликнул он, простирая к Калиновичу руки.

Тот обнял его.

— Эй, кто там?.. Палагея Евграфовна!..— кричал Петр Михайлыч.

Палагея Евграфовна вошла.

— Поди позови Настю... Яков Васильич делает ей предложение.

При этом известии экономка вспыхнула от удовольствия и пошла было; но Настенька уже входила.

— Настасья Петровна,— начал Петр Михайлыч, обтирая слезы и принимая несколько официальный тон,— Яков Васильич делает тебе честь и просит руки твоей; согласны вы или нет?

— Я согласна, папа,— отвечала Настенька.

— Ну, и благослови вас бог, а я подавно согласен! — продолжал Петр Михайлыч.— Капитана только теперь на-

добно: он очень будет этим обрадован. Эй, Палагея Евграфовна, Палагея Евграфовна!

— Да что вы кричите? Я здесь...— отозвалась та.

— Как на вас, баб, не кричать... бабы вы!..— шутил старик, дрожавший от удовольствия.— Поди, мать-голубка, пошли кого-нибудь попроворней за капитаном, чтоб он сейчас же здесь был!.. Ну, живо.

— Кого послать-то? Я сама сбегаю,— отвечала Палагея Евграфовна и ушла, но не застала капитана дома, и где он был — на квартире не знали.

— Как же это?.. Досадно!..— говорил Петр Михайлыч.

Калинович тоже желал найти капитана, но Настенька отговорила.

— Где ж его искать? Придет еще сегодня,— сказала она.

Но капитан не пришел. Остаток вечера прошел в том, что жених и невеста были невеселы; но зато Петр Михайлыч плавал в блаженстве: оставив молодых людей вдвоем, он с важностью начал расхаживать по зале и сначала как будто бы что-то рассчитывал, потом вдруг проговорил известный риторический пример: «Се тот, кто как и он, ввысь быстро, как птиц царь, порх вверх на Геликон!» Эка чепуха, заключил он.

Чувства радости произвели в добродушной голове старика бессмыслицу, не лучше той, которую он, бог знает почему и для чего, припомнил.

Возвратясь домой, Калинович, в первой же своей комнате, увидел капитана. Он почти предчувствовал это и потому, совладев с собой, довольно спокойно произнес:

— А, Флегонт Михайлыч! Здравствуйте! Очень рад вас видеть.

Капитан молчал.

— Садитесь, пожалуйста,— присовокупил Калинович, показывая на стул.

Капитан сел и продолжал молчать. Калинович поместился невдалеке от него.

— Где это вы были? — начал он дружелюбным тоном.

— Так-с, у знакомых,— отвечал капитан.

— Это жаль, тем более, что сегодня был знаменательный для всех нас день: я сделал предложение Настасье Петровне и получил согласие.

Капитан выпучил глаза.

— Вы изволили получить согласие?—произнес он, сам не зная, что говорит.

— Да,— отвечал Калинович,— искали потом вас, но не нашли.

У капитана то белые, то красные пятна начали выходить на лице.

— В Петербург, стало быть, не изволите ехать? — спросил он, с трудом переводя дыхание.

При этом вопросе Калинович вспыхнул, однако отвечал довольно равнодушным тоном:

— Нет, в Петербург я еду месяца на три. Что делать?.. Как это ни грустно, но, по моим литературным делам, необходимо.

Капитан бессмысленно, но пристально посмотрел ему в лицо.

— Теперь по крайней мере,— продолжал Калинович,— я еду женихом и надеюсь, что зажму рот здешним сплетникам, а близких Настасье Петровне людей успокою.

Капитан начал теряться.

— Что я люблю Настасью Петровну — этого никогда я не скрывал, и не было тому причины, потому, что всегда имел честные намерения, хоть капитан и понимал меня, может быть, иначе,— присовокупил Калинович.

Капитан был окончательно уничтожен. По щекам его текли уже слезы.

— Я очень рад,— проговорил он, протягивая Калиновичу руку, которую тот с чувством пожал.

Затем последовала немая и довольно длинная сцена, в продолжение которой капитан еще раз, протягивая руку, проговорил: «Я очень рад!», а потом встал и начал расшаркиваться. Калинович проводил его до дверей и, возвратившись в спальню, бросился в постель, схватил себя за голову и воскликнул: «Господи, неужели в жизни, на каждом шагу, надобно лгать и делать подлости?»

## IX

Чем ближе подходило время отъезда, тем тошней становилось Калиновичу, и так как цену людям, истинно нас любящим, мы по большей части узнаем в то время, когда их теряем, то, не говоря уже о голосе совести, который не умолкал ни перед какими доводами рассудка, привязан-

ность к Настеньке как бы росла в нем с каждым часом более и более: никогда еще не казалась она ему так мила, и одна мысль покинуть ее, и покинуть, может быть, навсегда, заставляла его сердце обливаться кровью. Но, все это затаив на душе, Калинович по наружности казался еще холоднее и мрачнее. Он чувствовал, что если Настенька хоть раз перед ним расплачется и разгрустится, то вся решительность его пропадет; но она не плакала: с инстинктом любви, понимая, как тяжело было милому человеку расстаться с ней, она не хотела его мучить еще более и старалась быть спокойною; но только заняться уж ничем не могла и по целым часам сидела, сложив руки и уставя глаза на один предмет. Зато неусыпно и бодро принялась хлопотать Палагея Евграфовна: она своими руками перемыла, перегладила все белье Калиновичу, заново переделала его перину, выстегала ему новое одеяло и предусмотрела даже сшить особый мешочек для мыла и полотенца. О подорожниках она задумала еще дня за два и нарочно послала Терку за цыплятами для паштета к знакомой мещанке Спиридоновне; но тот сходил поближе, к другой, и принес таких, что она, не утерпев, бросила ему живым петухом в рожу. Петр Михайлыч, в сопровождении капитана, тоже все возился с извозчиками и выходил из себя.

— То есть, этакой плут этот русский народец, вообразить себе невозможно! — говорил он.— Прихожу я к этому подлецу, Афоньке Беспалому: «Что до Москвы?..» — «Пятьдесят серебром!..» — «Как, шельма: пятьдесят серебром? В двадцать четвертом году ты меня же за пятьдесят ассигнациями с женой возил...» Смеется. «Тогдаста, говорит, четверик овса по десяти копеек покупали, да тарантас, может, не проходный был».— «Ладно, говорю, что̀ ты за тарантас кладешь?» — «Десять целковых».— «Ладно, говорю, бери за тарантас десять, а лошадей мы возьмем почтовых».— «Не хочу, говорит, почто работу из рук отпускать?» — «Так вот же тебе!..» — говорю, и пошел к Никите Сапожникову. Не тут-то было: эта нагайская кобыла, супруга этого шельмы Афоньки, огородами туда уж марш... Прихожу — «Ни копейки меньше»! — А? Каков народец?.. Немец этого не сделает... нет... никогда!

— Дать им, что просят,— отвечал Калинович, которого все эти хлопоты о нем заставляли еще более терзаться.

— Не дам, сударь! — возразил запальчиво Петр Михайлыч, как бы теряя в этом случае половину своего состояния.— Сделайте милость, братец,— отнесся он к капитану и послал его к какому-то Дмитрию Григорьичу Хлестанову, который говорил ему о каком-то купце, едущем в Москву. Капитан сходил с удовольствием и действительно приискал товарища купца, что сделало дорогу гораздо дешевле, и Петр Михайлыч успокоился.

Накануне своего отъезда Калинович совершенно переселился с своей квартиры и должен был ночевать у Годневых. Вечером Настенька в первый еще раз, пользуясь правом невесты, села около него и, положив ему голову на плечо, взяла его за руку. Калинович не в состоянии был долее выдержать своей роли.

— Послушай,— начал он, привлекая ее к себе и целуя,— просидим сегодня ночь; приходи ко мне...

— Хорошо, когда?.. Как все заснут?

— Да; я желаю с тобой быть.

— Хорошо, и я желаю,— отвечала Настенька,— это в последний раз!.. — прибавила она таким грустным голосом, что у Калиновича сердце заныло.

«Боже мой, боже мой! И я покидаю это кроткое существо!» — подумал он и поскорей встал и отошел.

На другой день предполагалось встать рано, и потому после ужина, все тотчас же разошлись. Калинович положен был в зале. Оставшись один, он погасил было свечку и лег, но с первой же минуты овладело им беспокойное нетерпение: с напряженным вниманием стал он прислушиваться, что происходило в соседних комнатах. Прошло полчаса; Петр Михайлыч все еще покашливал, и раздавались по коридору досадные шаги Палагеи Евграфовны. Наконец, пропала на лугу полоса света, отражавшаяся из окна кабинетика, где спал старик, и среди глубокого молчания только мерно отщелкивал маятник стенных часов. Но вот что-то стукнуло... Калинович вскочил и взглянул в гостиную, откуда должна была прийти Настенька. Там было пусто и темно, так что ему сделалось как будто немного страшно, и он снова лег; но кровь волновалась и, казалось, каждый нерв чувствовал и слушал. Опять что-то стукнуло... Нет, это крыса возится с костью. «Неужели она не придет?» — мучительно подумал он, садясь в изнеможении. Однако опять шелест... «Ты здесь?» — послышался шепот. Калинович вздрог-

нул, и в полумраке к нему уж склонилась, в белом спальном капоте, с распущенною косою Настенька... Все было забыто: одною — предстоявшая ей страшная разлука, а другим — и его честолюбие и бесчеловечное намерение... Блаженству, казалось, не будет конца... Но время, однако, шло, и начинало рассветать. Все предметы стали обозначаться ясней и ясней. На дворе закопошились: кухарка выгнала за ворота корову, послышав, что пастух трубит; Терка, согнанный Палагеей Евграфовной с печки, проехал за водой.

— Прощай! — проговорила, наконец, Настенька.

— Прощай! — сказал Калинович.

Простившись еще раз слабым поцелуем, они расстались, и оба заснули, забыв грядущую разлуку. Напрасно проснувшийся потом Петр Михайлыч спрашивал Палагею Евграфовну:

— Что, спят еще?

— Спят,— отвечала та.

— Экой беспечный народ,— говорил старик и, не утерпев, пошел и поднял Калиновича. Настенька тоже вскоре встала и вышла. Она была бледна и с какими-то томными и слабыми глазами. Здороваясь с Калиновичем, она немного вспыхнула.

Последние тяжелые сборы протянулись, как водится, далеко за полдень: пока еще был привезен тарантас, потом приведены лошади, и, наконец, сам Афонька Беспалый, в дубленом полушубке, перепачканном в овсяной пыли и дегтю, неторопливо заложил их и, облокотившись на запряг, стал флегматически смотреть, как Терка, под надзором капитана, стал вытаскивать и укладывать вещи. Петр Михайлыч, воспользовавшись этим временем, позвал таинственным кивком головы Калиновича в кабинет.

— Есть у меня к вам, Яков Васильич, некоторая просьбица,— начал он каким-то несмелым голосом.— Это вот-с,— продолжал он, вынимая из шифоньерки довольно толстую тетрадь,— мои стихотворные грехи. Тут есть элегии, оды небольшие, в эротическом, наконец, роде. Нельзя ли вам из этого хлама что-нибудь сунуть в какой-нибудь журналец и напечатать? А мне бы это на старости лет было очень приятно!

Калинович мысленно улыбнулся этому простодушному желанию.

— Отчего же?.. С большим удовольствием,— отвечал он.

— Сделайте милость,— подхватил старик,— только Настеньке не говорите; а то она смеяться станет,— шепнул он, выходя.

В зале они нашли приказничиху, которая, как ни мало была довольна своим постояльцем, но все-таки считала себя обязанною проводить его. Пришел также товарищ купец, в аккуратно подпоясанном тулупе, в котором он уж достаточно согрелся. Палагея Евграфовна расставила завтрак по крайней мере на двух столах; но Калинович ничего почти не ел, прочие тоже, и одна только приказничиха, выпив рюмки три водки, съела два огромных куска пирога и, проговорив: «Как это бесподобно!»,— так взглянула на маринованную рыбу, что, кажется, если б не совестно было, так она и ее бы всю съела.

— Закусите! — попотчевал Петр Михайлыч купца.

— Благодарим покорно: закушено грешным делом! — отвечал тот, дохнув луком.

— Ну, так, значит, поприсядемте! — продолжал Петр Михайлыч, и на глазах его навернулись слезы. Все сели, не исключая и торчавшего в дверях Терки, которому приказала это сделать Палагея Евграфовна.

— Ну! — снова начал Петр Михайлыч, вставая; потом, помолившись и пробормотав еще раз: «Ну»,— обнял и поцеловал Калиновича. Настенька тоже обняла его. Она не плакала...

— Прощайте, желаю благополучного пути туда и обратно,— проговорил с какими-то гримасами капитан.

У Палагеи Евграфовны были красные, наплаканные пятна под глазами; даже Терка с каким-то чувством поймал и поцеловал руку Калиновича, а разрумянившаяся от водки приказничиха поцеловалась с ним три раза. Все вышли потом проводить на крыльцо.

— С богом! — произнес купец, крестясь и усевшись. Афонька тронул. Во все время Калинович не проговорил ни слова; но выражение лица его было чисто мученическое: обернувшись назад, он все еще видел в окне бледную и печальную Настеньку. Дома Годневых стало, наконец, не видать. Миновалось и училище, куда он, наводя такой страх на подчиненных, ходил каждый день. Серебристые главы собора блестели на солнце так ярко и красиво, что будто они никогда так не блестели. Остались

сзади и присутственные места, на крылечке которых спокойно сидели два сторожа, и направо пошел вал, с видневшеюся на нем беседкой, где Калинович в первый раз вызвал Настеньку на признание в любви. Как он был счастлив и доволен в этот вечер! А теперь бежал этого счастья, чтоб искать другого... какого — бог знает! В Солдатской слободке, на поросшем травой тротуаре, коза почтмейстера, от которой он пил молоко, щипала траву. В остроге сквозь железные решетки выглядывали бритые, с бледными, изнуренными лицами головы арестантов, а там показалось и кладбище, где как бы нарочно и тотчас же кинулась в глаза серая плита над могилой матери Настеньки... «Как все это знакомо, и все — прощай! Увидится ли когда-нибудь все это опять, или эти два года, с их местами и людьми, минуют навсегда, как минует сон, оставив в душе только неизгладимое воспоминание?..» Невыносимая тоска овладела при этой мысли моим героем; он не мог уж более владеть собой и, уткнув лицо в подушку, заплакал!

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### I

Два дня уже тащился на сдаточных знакомый нам тарантас по тракту к Москве. Калинович почти не подымал головы от подушки. Купец тоже больше молчал и с каким-то упорством смотрел вдаль; но что его там занимало — богу известно. В Серповихе, станций за несколько от Москвы, у них ямщиком очутилась баба, в мужицких только рукавицах и шапке, чтоб не очень уж признавали и забижали на дороге. Купец заметил было ей:

— Срамота, тетка, и ехать-то с тобой, хоть бы к ноче дело-то шло, так все бы словно поскладнее было.

— Не все, батька, дело-то делается ночью; важивала я вашу братью и днем. Не ты первой!.. — возразила баба и благополучнейшим манером доставила их на станцию, где встретила их толпа ямщиков.

— А, чертова перечница, опять в извоз пустилась! — заметил один из них.— Хорошо ли она вам, господа, угождала? А то ведь мы сейчас с нее спросим,— прибавил он, обращаясь к седокам.

— Ты поди девкам-то своим угождай и спрашивай с них, а уж мужчинке тебе против меня не угодить! — возразила баба и молодцевато соскочила с передка.

Когда новые лошади были заложены, на беседку влез длинновязый парень, с сережкой в ухе, в кафтане с прорехами и в валяных сапогах, хоть мокреть была страшная; парень из дворовых, недавно прогнанный с почтовой станции и для большего форса все еще ездивший с

колокольчиком. В отношении лошадей он был каторга; как подобрал вожжи, так и начал распоряжаться.

— Н-н-у! — крикнул он и вытянул всю тройку плетью.

Коренная вздумала было схитрить и села в хомуте.

— О черт! Дьявол! — проговорил извозчик и начал ее хлестать не переставая.

Лошадь, наконец, заскакала. Ему и это не понравилось.

— О проклятая! Заскакала! — промычал он и передернул вожжи, а сам все продолжал хлестать. Тарантас, то уходя, то выскакивая из рытвин, немилосердно тряс. У Калиновича, как ни поглощен он был своими грустными мыслями, закололо, наконец, бока.

— Что ж ты сломя голову скачешь? — проговорил он.

— Сердит я ездить-то,— отвечал извозчик, потом, вскрикнув: «О вислоухие!» — неизвестно за что, дернул вожжу от левой пристяжной, так что та замотала от боли головой.

— Тише, говорят тебе! — повторил Калинович.

— Ничего! Сидите только, не рассыплю! — возразил извозчик и, опять крикнув: «Ну, вислоухие!», понесся марш-марш. Купца, несмотря на его тяжеловесность, тоже притряхивало, но ему, кажется, это было ничего и даже несколько приятно.

— Лошадь ведь у них вся на ногу разбитая: коли он вначале ее не разгорячит, так хуже, на полдороге встанет,— объяснил он Калиновичу.

— Не встанет у меня! Не такое мое сердце; нынче в лихорадке лежал, так еще сердитее стал,— ответил на это ямщик, повертывая и показывая свое всплошь желтое лицо и желтые белки.

Станции, таким образом, часа через два как не бывало. Въехав в селение, извозчик на всем маху повернул к избе, которая была побольше и понарядней других. Там зашумаркали; пробежал мальчишка на другой конец деревни. В окно выглянула баба. Стоявший у ворот мужик, ямщичий староста, снял шляпу и улыбался.

— Кто очередной? — спросил извозчик, слезая с передка.

— Старик,— отвечал староста.

— Наряжай, любезный, наряжай, нечего тут прохлаждаться! —проговорил купец.

— Наряжено, хозяин, наряжено,— отозвался ста-

роста и, обходя сзади тарантас, проговорил: «Московский, знать... проходной, видно».

— Проходной, до Москвы,— отвечал извозчик.— Тетка Арина! Дай-ка огонька,— прибавил он глядевшей из окна бабе и, вынув из-за пазухи засаленный кисетишко и коротенькую трубчонку, набил ее махоркой.

Баба скрылась и через минуту высунула из окна обе руки, придерживая в них горящий уголь, но не вытерпела и кинула его на землю.

— Ой, чтобы те, и с огнем-то твоим... Все рученьки изожгла,— проговорила она.

— Больно уж хлипка,— как на том-то свете станешь терпеть, как в аду-то припекать начнут? — сказал извозчик, поднимая уголь и закуривая трубку.

— Угорели же, паря,— говорил староста, осматривая тяжело дышавшую тройку.

Извозчик вместо ответа подошел к левой пристяжной, более других вспотевшей, и, проговорив: «Ну, запыхалась, проклятая!», схватил ее за морду и непременно заставил счихнуть, а потом, не выпуская трубки изо рта, стал раскладывать.

— Что ж, любезный, скоро ли будет? Аль не сегодня надо, а завтра? — отнесся к старосте купец.

— Коли хошь, так и завтра,— отвечал с полуулыбкой староста.

— А деньги не хошь завтра? — возразил купец с ожесточением.

В это время подошел мужик с ребенком на руках.

— Пошто деньги завтра? Деньги надо сегодня,— вмешался он.

— То-то, деньги сегодня! Деньги вы брать охочи,— проговорил купец, сурово взглянув на него.

— Сейчас, хозяин, сейчас! Не торопись больно: смелешь, так опять приедешь,— успокаивал его староста, и *сейчас* это началось с того, что старуха-баба притащила в охапке хомут и узду, потом мальчишка лет пятнадцати привел за челку мышиного цвета лошаденку: оказалось, что она должна была быть коренная. Надев на нее узду и хомут, он начал, упершись коленками в клещи и побагровев до ушей, натягивать супонь, но оборвался и полетел навзничь.

— Смотри, паря, каменья-то не ушиби,— заметил ему все еще стоявший около мужик с ребенком.

Парень окрысился.

— Поди ты к дьяволу! Стал тоже тут с пострелом-то своим! — проговорил он и, плюнув на руки, опять стал натягивать супонь.

Одна из пристяжных пришла сама. Дворовый ямщик, как бы сжалившись над ней, положил ее постромки на вальки и, ударив ее по спине, чтоб она их вытянула, проговорил: «Ладно! Идет!» У дальней избы баба, принесшая хомут, подняла с каким-то мужиком страшную брань за вожжи. Другую пристяжную привел, наконец, сам извозчик, седенький, сгорбленный старичишка, и принялся ее припутывать. Между тем старый извозчик, в ожидании на водку, стоял уже без шапки и обратился сначала к купцу.

— Мелких, любезный, нет,— отвечал тот равнодушнейшим тоном.

— И мелких не стало,— повторил извозчик, почесывая в голове,— купечество тоже, шаромыжники! — прибавил он почти вслух, обходя тарантас и обращаясь к Калиновичу. Тот бросил ему с досадой гривенник. Вообще вся эта сцена начала становиться невыносима для него, и по преимуществу возмущал его своим неподвижным, кирпичного цвета лицом и своей аляповатой фигурой купец. Ему казалось, что этому болвану внутри его ничего не мешает жить на свете и копить деньгу. За десять целковых он готов, вероятно, бросить десять любовниц, и уж, конечно, скорей осине, чем ему, можно было растолковать, что в этом случае человек должен страдать. «Сколько жизненных случаев,— думал Калинович,— где простой человек перешагивает как соломинку, тогда как мы, благодаря нашему развитию, нашей рефлекции, берем как крепость. Тонкие наслаждения, говорят, нам даны, боже мой! Кто бы за эту тонину согласился платить такими чересчур уж не тонкими страданьями, которые гложут теперь мое сердце!» На последней мысли он крикнул сердито:

— Скорей вы, скоты!

— Сейчас, батюшка, сейчас,— отозвался старикашка-извозчик, взмащиваясь, наконец, на козлы.— О-о-о-ой, старуха! — продолжал он.— Подь-ка сюда, подай на передок мешок с овсом, а то ишь, рожон какой жесткий, хошь и кожей обтянут.

Старуха подала.

— Ты, старец любезный, и живой-то не доедешь, послал бы парня,— заметил купец.

— О-о-о-ой, ничего! Со Христом да с богом доедем.

— Еще как важно старик-то отожжет... Трогай, дедушка,— подхватил староста.

Старик тронул. Сама пришедшая пристяжная обнаружила сильное желание завернуть к своему двору, в предупреждение чего мальчишка взял ее за уздцы и, колотя в бок кулаком, повел. Стоявшие посредине улицы мужики стали подсмеивать.

— Выводи, выводи жеребца-то! Ишь, как он голову-то гнет,— сказал между ними мужик с ребенком, а прочие захохотали.

Калиновичу сделалось еще досаднее

«И этим, дурачье, могут веселиться»,— подумал он с завистью. Выбравшись за деревню, старикашка пустил лошадей маленькой рысцой. В противоположность прежнему извозчику он оказался предобродушный и тотчас же принялся рассуждать сам с собой: «Ну-ка, паря, вожжей пожалел. Да, мошенник, говорю я; я тебя лошадкой, живой тварью, ссужал, а ты на-ка! Веревки жадничаешь. Не удавлюсь на твоем мочале, дурак — сусед еще!» Проговоря это, старик остановился на некоторое время в раздумье, как бы все еще рассуждая о жадности соседа, а потом вдруг обратился к седокам и присовокупил:

— Плут, батюшки, господа честные, у нас по деревне народ!

— Плут?.. — отозвался купец.

— Плут!.. И какой же, то есть, плут на плуте, вор на воре. Я-то, вишь, смирный, не озорник, и нет мне от них счастья. На-ка, вожжей пожалел!.. Да что я, с кашей, что ли, их съем? Какие были, такие и ворочу, пес!

Пока старик бормотал это, они въехали в двадцативерстный волок. Дорога пошла сильно песчаная. Едва вытаскивая ноги, тащили лошаденки, шаг за шагом, тяжелый тарантас. Солнце уже было совсем низко и бросало длинные тени от идущего по сторонам высокого, темного леса, который впереди открывался какой-то бесконечной декорацией. Калинович, всю дорогу от тоски и от душевной муки не спавший, начал чувствовать, наконец, дремоту; но голос ямщика все еще продолжал ему слышаться.

— Нечем, батюшки, господа проезжие,— говорил

он,— не за что нашу деревню похвалить. Ты вот, господин купец, словно уж не молодой, так, можо, слыхал, какая про наше селенье славушка идет — что греха таить!

— То есть, примерно, насчет чего же? — спросил купец.

— А насчет того, батюшка, что по дорогам пошаливали,— отвечал таинственным полушепотом старик.

Купец откашлянулся.

— Что ж, и понониче этим занимаются? — спросил он с расстановкою.

— Ну, понониче,— продолжал старик,— где уж! Против прежнего ли?.. Начальство тоже все год от году строже пошло. Этта окружной всю деревню у нас перехлестал, и сами не ведаем за что.

— Перехлестал? — спросил купец с каким-то удовольствием.

— Перехлестал,— отвечал извозчик,— а баловство то же все происходит. Богу ведомо, на кого и приходит? Помекают на беглых солдатиков, а неизвестно!

Купец опять откашлянулся.

— И частые баловства? — спросил он.

— Бывают, батюшка!.. Этта, в сенокос, нашли женщину убитую, и брюхо-то вострым колом все разворочено, а по весне тоже мужичка-утопленника в реке обрели. Пытал становой разыскивать: сам ли как пьяный в воду залез, али подвезли кто — шут знает. Бывает всего!

Что-то вроде вздоха послышалось из груди купца.

— Может, чай, и тройки останавливают? — произнес он.

— Коли злой человек, батюшка, найдет, так и тройку остановит. Хоть бы наше теперь дело: едем путем-дорогой, а какую защиту можем сделать? Ни оружия при себе не имеешь... оробеешь... а он, коли на то пошел, ему себя не жаль, по той причине, что в нем — не к ночи будь сказано — сам нечистой сидит.

Купцу, кажется, не хотелось продолжать разговор в этом роде.

— Что про то и говорить! — подтвердил он.

— Что говорить, батюшка,— повторил и извозчик,— и в молитве господней, сударь, сказано,— продолжал он,— избави мя от лукавого, и священники нас, дураков, учат: «Ты, говорит, только еще о грехе подумал, а уж ангел твой хранитель на сто тысяч верст от тебя отлетел — и вселилась в тя нечистая сила: будет она твоими

ногами ходить и твоими руками делать; в сердце твоем, аки птица злобная, совьет гнездо свое...» Учат нас, батюшка! «Дьявола, говорят, надо бояться паче огня и меча, паче глада и труса; только молитва божья отгоняет его, аки воск, тает он пред лицом господним».

— Так, так, верно,— подтвердил купец,— потрогивай однако. Что вон около лесу за народ идет, словно с кольями? — прибавил он.

— И то словно с кольями. Ишь, какие богатыри шагают! Ну, ну, сердечные, не выдавайте, матушки!.. Много тоже, батюшка, народу идет всякого... Кто их ведает, аще имут в помыслах своих? Обереги бог кажинного человека на всяк час. Ну... ну! — говорил ямщик.

Калиновичу невольно припомнилось его детство, когда и он боялся домовых и разбойников. «Мила еще, видно, и исполнена таинственных страхов жизнь для этих людей, а я *уж в суеверы не гожусь, чертей и ада не страшусь* и с удовольствием теперь попал бы под нож какому-нибудь дорожному удальцу, чтоб избавиться, наконец, от этих адских мук»,— подумал он и на последней мысли окончательно заснул. Между тем старикашка-извозчик переменился на маленького мальчишку, которого в темноте совсем уж было не видать, и только слышалось, что он всю станцию, как птичка, посвистывал. Мальчишку потом заменил большой извозчик, с широчайшей спиной; но и того почти было тоже не видать и совсем не слыхать; зато всю станцию пахло от него овчинным тулупом и белелась его серая в корню лошадь. К рассвету, наконец, их перенял, на здоровеннейшей тройке, московский извозчик, молодцеватый малый, с перетянутой тальей и в поярковой шляпе, перевитой лентами. На половине станции Калинович проснулся. Вдали виднелась Москва с своими золотыми главами церквей. Из тысячи труб вился дым прямыми столбами. Дорога шла по гладкому, бойкому шоссе. Прозябшие на утреннем холоде лошади и с валившим от них паром несли так, что удержу не было. Скоро пришлось им обогнать шедший батальон. Впереди всех ехал на вороной лошади, с замерзшими усами, батальонный командир, а сзади его шли кларнетисты и музыканты, наигрывая марш, под который припрыгивали и прискакивали с посиневшими щеками солдаты и с раскрасневшимися лицами молодые юнкера. Немного подальше шел, скрипя колесами, неуклюжий обоз с хлоп-

чатой бумагой, и на таком количестве лошадей, что как будто бы и конца ему не было. На весь этот оживленный вид герой мой смотрел холодным и бесчувственным взором, и только скакавший им навстречу, совсем уж на курьерской тройке, господин средних лет, развалившийся в бричке и с владимирским крестом на шее, обратил на себя некоторое внимание его. «Может быть, и я поеду когда-нибудь с таким же крестом»,—подумал Калинович, и потом, когда въехали в Москву, то показалось ему, что попадающиеся народ и извозчики с седоками, все они смотрят на него с некоторым уважением, как на русского литератора. Это чувство, впрочем, значительно в нем понизилось, когда он, по денежным своим средствам, остановился на подворье в Зарядье, в маленьком грязном нумере. Чисто с целью показаться в каком-нибудь обществе Калинович переоделся на скорую руку и пошел в трактир Печкина, куда он, бывши еще студентом, иногда хаживал и знал, что там собираются актеры и некоторые литераторы, которые, может быть, оприветствуют его, как своего нового собрата; но — увы! — он там нашел все изменившимся: другая была мебель, другая прислуга, даже комнаты были иначе расположены, и не только что актеров и литераторов не было, но вообще публика отсутствовала: в первой комнате он не нашел никого, а из другой виднелись какие-то двое мрачных господ, игравших на бильярде. Калинович сел на диван и решился по крайней мере с половым поговорить о самом себе.

— А что, у вас есть журналы? — спросил он.

— Как же-с.

— Есть июльская книжка? — и Калинович назвал тот журнал, в котором была помещена его повесть.

— Сейчас... за буфетом спросить надо,— сказал половой и, очень скоро возвратившись, подал совершенно почти новую книжку.

Калинович не без волнения развернул свою повесть и начал как бы читать ее, ожидая, что не скажет ли ему половой что-нибудь про его произведение. Но тот, хоть и стоял перед ним навытяжку, но, кажется, более ожидал, что прикажут ему подать из съестного или хмельного.

— Книжка-то нова, не растрепана,— проговорил Калинович с едва скрываемою горькою улыбкою.

— Да ведь-с это тоже как...— отвечал половой,— иную, боже упаси, как истреплют, а другая так почесть новая

и останется... Вот за нынешний год три этакие книжки сподряд почесть что и не требовала совсем публика.

Калинович только вздохнул: три эти книжки были именно те, где была напечатана его повесть.

Уязвленный простодушными ответами полового, он перешел в следующую комнату и, к большому своему удовольствию, увидал там, хоть и не очень короткого, но все-таки знакомого ему человека, некоего г-на Чиркина, который лет уже пятнадцать постоянно присутствовал в этом заведении. В настоящую минуту он ел свиные котлеты и запивал их кислыми щами.

Калинович решился подойти к нему и напомнить о себе.

— А ну вот! Здравствуйте,—произнес тот тоном вовсе небольшого уважения.

Несмотря на это, Калинович подсел к нему.

— Что вас давно не видать? — спросил Чиркин, как будто бы не видал его всего только каких-нибудь месяца три.

— Я жил в провинции года с полтора.

— А, вот что,— произнес и на это Чиркин совершенно равнодушно.

— Сделался литератором и еду теперь в Питер,— добавил с улыбкою Калинович.

— Вот как! — сказал Чиркин, и опять самым равнодушнейшим тоном.

Калинович только из приличия просидел еще несколько минут с подобным невежей и отошел от него, а потом и совсем вышел из трактира. Он решился походить по Москве, чтобы предаться личным и историческим воспоминаниям. Прежде всего он подошел к университету и остановился перед старым зданием. Вот и крыльцо, на котором он некогда стоял, ожидая с замирающим сердцем поступительного экзамена, перешел потом к новому университету, взглянул на боковые окна, где когда-то слушал энциклопедию законоведения, узнал, наконец, тротуарный столбик, за который, выбежав, как полоумный, с последнего выпускного экзамена, запнулся и упал. Все это припомнилось и узналось, но и только! От университета прошел он в Кремль, миновал, сняв шапку, Спасские ворота, взглянул на живописно расположенное Замоскворечье, посмотрел на Ивана Великого, который как будто бы побелел. По-прежнему шла от него высокая решетка, большой колокол и царь-пушка тоже стояли на прежних

местах, и все это — увы! — очень мало заняло моего героя. С какими-то беспорядочными мыслями возвратился он в свой нумер, который показался ему еще грязней, еще гаже. Из соседней комнаты слышались охриплые пьяные голоса мужчин и взвизги тоже, должно быть, пьяных женщин. Свободная, кочующая жизнь холостяка, к которой Калинович стремился, с такой болью отрывая себя от связывающей его женщины, показалась ему отвратительна. Не зная, как провести вечер, он решился съездить еще к одному своему знакомому, который, бог его знает, где служил, в думе ли, в сенате ли секретарем, но только имел свой дом, жену, очень добрую женщину, которая сама всегда разливала чай, и разливала его очень вкусно, всегда сама делала ботвинью и салат, тоже очень вкусно. Бывши студентом, Калинович каждое воскресенье ходил к ним обедать, но зачем он это делал — и сам, кажется, хорошенько того не знал, да вряд ли и хозяева то ведали. Все времяпрепровождение его в этом доме состояло в том, что он с полуулыбкою выслушивал хозяйку, когда она рассказывала и показывала ему, какой кушак вышила отцу Николаю и какие воздухи хочет вышить для церкви Благовещенья. С мужем он больше спорил и все почти об одном и том же предмете: тому очень нравилась, как и капитану, «История 12-го года» Данилевского, а Калинович говорил, что это даже и не история; и к этим-то простым людям герой мой решился теперь съездить, чтобы хоть там пощекотать свое литературное самолюбие. Он нашел тот же совершенно домик, только краска на нем немного полиняла,— ту же дверь в лакейскую, то же зальцо, и только горничная другая вышла к нему навстречу.

— Что, дома? — спросил он.

— Пожалуйте, барин наверху-с,— отвечала та, почему-то шепотом и тихонько повела его по знакомой ему лестнице. В комнате направо он увидел самого хозяина, сидевшего за столом, в халате, с обрюзглым лицом и с заплаканными глазами.

— Ах, боже мой! Давно ли? — проговорил он и постарался даже улыбнуться.

— Вы нездоровы? — спросил его Калинович.

— Жены лишился,— отвечал старик, и по его толстым, отвислым щекам потекли слезы.

— Скажите! — произнес Калинович тоном глубокого

сожаления, а сам с собой подумал: «Зачем меня нелегкая дернула ехать к этому старью?»

— Давно постигло вас это несчастье? — спросил он вслух.

— Девятый день сегодня. Собачка заперта или нет? — обратился хозяин слабым голосом к вошедшей горничной.

— Заперта-с,— отвечала и та тоже слабым голосом.— Священники пришли-с,— доложила она в заключение.

— Хорошо... Приготовляйте там,— отвечал вдовец.— Панихиду сейчас будут служить! — прибавил он.

«Ну уж на это-то ты меня не подденешь»,— подумал про себя Калинович и встал.

— Не смею более беспокоить,— проговорил он.

— Благодарю вас, благодарю,— отвечал хозяин, крепко, крепко пожимая его руку и с полными слез глазами.

— В этой проклятой Москве все или умерло, или замирает! — проговорил Калинович, выйдя на улицу. И на другой день часу в десятом он был уже в воксале железной дороги и в ожидании звонка сидел на диване; но и посреди великолепной залы, в которой ходила, хлопотала, смеялась и говорила оживленная толпа, в воображении его неотвязчиво рисовался маленький домик, с оклееннюю гостиной, и в ней скучающий старик, в очках, в демикотоновом сюртуке, а у окна угрюмый, но добродушный капитан, с своей трубочкой, и, наконец, *она* с выражением отчаяния и тоски в опухнувших от слез глазах.

— Monsieur, будьте такой добрый, поберегите мой сак! — раздался около него женский голос с иностранным акцентом.

Калинович взмахнул глазами: перед ним стояла молоденькая, стройная дама, в белой атласной шляпке, в перетянутом черном шелковом платье и накинутой на плечи турецкой шали. Маленькими ручками в свежих французских перчатках держала она огромный мешок. Калинович поспешил его принять у ней.

— Où est ce Gabriel?[1] Несносный!—проговорила дама и скрылась.

Через несколько минут Калинович увидел, что она ходила по зале под руку с одутловатым, толстым гусарским офицером, что-то много ему говорила, по временам улыбалась и кидала лукавые взгляды. На все это тот отвечал ей самодовольной улыбкой.

[1] Где этот Габриэль? *(франц.)*

Звонок пробил.

— Adieu, mon Gabriel![1] — воскликнула дама каким-то комически-печальным тоном, протягивая гусару руку.

— Adieu,— отвечал тот сиповатым голосом.

Дама подошла к Калиновичу. Тот встал и взял ее мешок.

— Bien merci! — поблагодарила она и мило улыбнулась.

— Vous avez déjà un cavalier! [2] — проговорил им вслед гусар.

— Oui,— отвечала дама, проворно уходя.

Калинович молча следовал за ней. В вагоне она начала распоряжаться как дома. Положив рядом с собой мешок и проговоря севшему напротив Калиновичу: «Pardon, monsieur, permettez» [3],— протянула свои очень красивые ножки на диван, причем обнаружила щегольски сшитые ботинки и даже часть белых, как снег, чулок. Когда поезд тронулся, Калинович внимательно вгляделся на свою спутницу. Оказалось, что она была с каким-то идеальным выражением в лице; голубые глаза ее были томны и влажны, ресницы длинны. Сквозь белую нежную кожу просвечивались синенькие жилочки; губки были полные, розовые и с постоянной улыбкой. Заметив пристальные взоры на себя своего соседа, дама в свою очередь сначала улыбнулась, а потом начала то потуплять глаза, то смотреть в окно. Станции через две ей наскучил этот немой разговор.

— Вы Петербурге живете? — спросила она.

— Да,— отвечал Калинович, не желая сказаться провинциалом.— А вы? — прибавил он.

— Петербурге... Там весело...

— Весело?

— Да, балы... маскарад... итальянская опера я бываю.

При этих словах Калиновичу невольно вспомнилась Настенька, обреченная жить в глуши и во всю жизнь, может быть, не увидающая ни балов, ни театров. Ему стало невыносимо жаль бедной девушки, так что он задумался и замолчал.

— О, какой вы скучный! Для чего? — проговорила спутница.

---

[1] Прощай, мой Габриэль! *(франц.)*

[2] У вас уже есть кавалер! *(франц.)*

[3] Простите, сударь, позвольте, *(франц.)*

Калиновичу захотелось пококетничать.

— Я потерял мою невесту,— отвечал он, взглянув на подаренное ему Настенькой в последний день кольцо.

— А! Вы любили? — произнесла соседка протяжно.— И я любила,— прибавила она и позевнула.

Калинович посмотрел на нее.

— А теперь вы любите? — спросил он.

— Теперь? Не знаю... Нет!

— Кто же вас провожал?

— А! Вот вы что думаете! Нет, это мой брат,— отвечала дама и лукаво засмеялась.— Князя Хилова вы знаете Петербурге? — прибавила она.

— Нет, не знаю... Это тоже брат?

Дама засмеялась.

— О нет, это мой знакомый... Он милый.

— Милый?

— Да, а то вот у него есть друг его, тот — фи! Гадкий, толстый, нос красный! Фи! Не люблю.

— Гусар тоже толстый.

— Нет, тот добрый, брат добрый.

— Вы, конечно, иностранка, но откуда вы родом? — спросил Калинович.

— Зачем?.. Я русская...

— Нет, вы не русская, потому что говорите неправильно: вы или немка, или полька.

— О нет... я турка,— отвечала дама и опять засмеялась.

— После этого все турчанки красавицы, если на вас похожи,— заметил Калинович.

— О, какой вы льстец! — воскликнула она.

— Почему ж я льстец?

— Так... льстец... Мамзель Сару вы знаете?

— Нет, что ж, она хороша?

— Да, только злая такая, ужас — фи!

Разговор продолжался в том же тоне, и Калинович начинал все более и более куртизанить. Здесь мне опять приходится объяснять истину, совершенно не принимаемую в романах, истину, что никогда мы, грубая половина рода человеческого, неспособны так изменить любимой нами женщине, как в первое время разлуки с ней, хотя и любим еще с прежнею страстью. Дело тут в том, что воспоминания любви еще слишком живы, чувства жаждут привычных наслаждений, а между тем около нас пу-

сто и нет милого существа, заменить которое мы готовы, обманывая себя, первым хорошеньким личиком.

— Вы будете обедать? — спросил Калинович, подъезжая к Твери.

— Да, я люблю кушать,— отвечала соседка.

— Есть,— поправил Калинович.

— Ах, да, есть... хорошо,— отвечала она, и когда поезд остановился, Калинович вел ее уж под руку в вокзал.

— Il fait froid! [1] — проговорила она, кокетливо завертываясь в шаль.

«Премиленькая!» — подумал Калинович и чувствительно пожал ее руку своим локтем.

— Два обеда! — сказал он лакею.— Voulez-vous du vin? [2] — обратился он к своей даме.

— Да, я люблю, comment cela dire *boire*? [3].

— Пить!

— Да, пить.

— Бутылку шампанского! — сказал Калинович человеку.

Тот подал; пробка щелкнула.

— Ах! — вскрикнула дама.

— Испугались?

— Да, это громко, я пугаюсь,— отвечала она и потом, положив пальчик на край стакана, из которого пенилось вино, сказала: — Ну, ну, будет!.. Не смей больше ходить.

«Прехорошенькая!» — думал Калинович.

Дама начала с аппетитом кушать котлеты.

Перед жарким он поднял бокал и проговорил.

— Votre santé, madame! [4]

— Et la votre, monsieur [5],— отвечала она, тоже выпивая, но тотчас поморщилась, проговоря: «Ай, горько!»

— А вы знаете, что значит по русскому обычаю, когда, пивши вино, говорят: *горько?*

— Нет.

— Значит, надобно поцеловаться.

— Ах, это?.. Да, хорошо.

— Хорошо?

— Хорошо! — подтвердила дама и, по возвращении в вагон, сняла шляпку и стала еще милее.

---

[1] Холодно! *(франц.)*
[2] Хотите вина? *(франц.)*
[3] Как это сказать *пить? (франц.)*
[4] За ваше здоровье, сударыня! *(франц.)*
[5] И за ваше, сударь, *(франц.)*

Между тем начинало становиться темно. «Погибшее, но милое создание!» — думал Калинович, глядя на соседку, и в душу его запало не совсем, конечно, бескорыстное, но все-таки доброе желание: тронуть в ней, может быть давно уже замолкнувшие, но все еще чуткие струны, которые, он верил, живут в сердце женщины, где бы она ни была и чем бы ни была.

— Вы, решительно, полька! Чем больше я на вас гляжу, тем больше убеждаюсь в том,— начал он.

— Ах, да, только вы ошибаетесь... Я ж говорила вам: я турка...— отвечала она.

— А я вам говорю, что вы полька и немецкая полька,— продолжал Калинович,— потому что у вас именно это прекрасное сочетание германского типа с славянским: вы очень хороши собой.

— О, да, да,— подтвердила соседка.

— Конечно, да,— подхватил Калинович,— и, может быть, в Варшаве или даже подальше там у вас живут отец и мать, брат и сестра, которые оплакивают вашу участь, если только знают о вашем существовании.

Заметно грустное чувство отразилось на хорошеньком личике соседки.

— Зачем вы можете так говорить? Вы меня не знаете,— сказала она уж не прежним насмешливым тоном.

— Я знаю еще больше,— продолжал Калинович,— знаю, что вам тяжело и очень тяжело жить на свете, хотя, может быть, вы целые дни смеетесь и улыбаетесь. На днях еще видел я девушку, которую бросил любимый человек и которую укоряют за это родные, презрели в обществе, но все-таки она счастливее вас, потому что ей не за что себя нравственно презирать.

Соседка слушала. Собственно, слов она, кажется, не понимала, но смысл их угадала, и в лице ее уже тени не оставалось веселости.

— Вы меня не знаете: зачем можете так говорить? — повторила она.

— Нет, знаю,— возразил Калинович,— и скажу вам, что одно ваше спасенье, если полюбит вас человек и спасет вас, не только что от обстановки, которая теперь вас окружает, но заставит вас возненавидеть то, чем увлекаетесь теперь, и растолкует вам, что для женщины существует другая, лучшая жизнь, чем ездить по маскарадам и театрам.

Соседка этих слов совершенно уж не поняла, и, когда Калинович кончил и взял ее за упершийся в диван его башмачок, она отдернула ножку и проговорила:

— Зачем это?.. Нельзя.

— Отчего ж нельзя?.. Может быть, я именно такой человек,— прошептал Калинович.

— А, да, нет! Я не верю мужчинам.

— За что?

— Так, они все такие недобрые... лукавые... Фи!.. Нет!

— Я не такой,— проговорил Калинович и опять было взялся за башмачок, но соседка опять его отдернула.

— Нет, это нельзя,— сказала она.

— Отчего ж?

— Так; как можно! Вы нескромный: все смотрят.

— А в Петербурге можно?

— Ах, какой вы!.. Зачем! Я вас не знаю...

— Узнаете, и можно? — проговорил Калинович и, как бы наклоняясь за чем-то, поцеловал руку соседки.

— Вы шалун, я вас боюсь,— сказала она, кокетливо складывая руки на груди и снимая ножки с дивана.

Объяснение это было прервано появлением новых пассажиров: толстого помещика с толстой женой, которые, как нарочно, стали занимать пустые около них места.

— Позвольте! — проговорил басом барин и нецеремонно опустился на диванчик рядом с молоденькой дамой, между тем как жена его, тяжело дыша и пыхтя, перелезла почти через колени Калиновича и села к окну. Сопровождавший их солдат стал натискивать им в ноги подушки, мешочки и связки с кренделями, калачами, так что молодые люди мои были совершенно отгорожены друг от друга. Хорошенькая соседка, сделав сначала насмешливую гримасу и потом проговорив: «Adieu!», прижала голову к дивану, закрыла глаза и старалась, как видно, заснуть. В свою очередь взбешенный Калинович, чувствуя около себя вместо хорошенького башмачка жирные бока помещицы, начал ее жать изо всей силы к стене; но та сама раздвинула локти и, произнеся: «Чтой-то, помилуйте, как здесь толкают!», пахнула какой-то теплотой; герой мой не в состоянии был более этого сносить: только что не плюнувши и прижав еще раз барыню к стене, он пересел на другую скамейку, а потом, под дальнейшую качку вагона, невольно задремал.

На рассвете, как известно, подъезжают к Петербургу. Большая часть пассажиров по обыкновению засуетилась. У Калиновича тоже немного сердце замерло; подражая другим, он протер запотевшее стекло и начал было смотреть в него; но увидел только куда-то бесконечно идущее поле, покрытое криворослым мелким ельником; а когда пошли мелькать вагоны, так и того стало не видать. Калинович счел за лучшее наблюдать хорошенькую соседку, которая, точно между двумя скалами, барином и барыней, спала крепким сном и проснулась только у самого вокзала.

— Приехали! — проговорил он, подходя к ней, ласковым голосом, как говорят иногда детям матери: «Проснулся, душечка?»

— О, да! Приехали! — произнесла она, мило зевая, и, взяв проворно сак, пошла.

— Послушайте, где же ваша квартира? — говорил Калинович, догоняя ее и почти умоляющим голосом.

— На Гороховой!.. Дом Багова,— спросить меня... Амальхен!..— отвечала она скороговоркой и скрылась.

Оставшись один, Калинович поспешил достать свой чемодан и, бросив его на первого попавшегося извозчика, велел себя везти в какую-нибудь, только не дорогую, гостиницу. Извозчик, чтобы не очень затруднять себя, подвез его прямо к гостинице «Москва», где герой мой и поместился за рубль серебром в четвертом этаже, в трехаршинной комнатке, но с вощеным столиком и таковым же диваном. Разобрав свои вещи, он сейчас же сел у окна и стал глядеть с жадным любопытством на улицу: там сновали уже туда и сюда экипажи, шли пешеходы, проехал взвод казаков, провезли, по крайней мере на десяти лошадях, какую-то машину. Калинович понял, что он теперь на пульсовой жиле России, а между тем, перенеся взгляд от земли на небо, он даже удивился: нигде еще не видал он, чтоб так низко ходили облака и так низко стояло солнце. На голову его в то же время как бы налегал какой-то туман; хотелось зевать, глаза слипались. Он прилег на диване, заснул и проспал таким образом часов до четырех, и когда проснулся, то чувствовал уже положительную боль в голове и по всему телу легонькой озноб — это было первое приветствие, которое оказывала ему петербургская тундра. Пересилив несколько себя, Калинович спросил себе обедать, выпил рюмку вина, стакан

крепкого кофе и отправился осматривать достопримечательности города. Для этого он нанял извозчика и велел себя везти мимо всех дворцов и соборов.

— Постой, что это за мост? — крикнул он, когда извозчик затрусил по каменной мостовой около дома Белосельской-Белозерской.

— Аничков! А это Аничковской дворец тоже! — отвечал извозчик.

— Кто же живет в нем?

— Не знаю, не слыхал.

— А что за церковь?

— Церковь Казанская это.

— Собор?

— Да.

«Зачем это такие огромные крылья к ней приделаны?» — подумал про себя Калинович.

— Эти два чугунные-то воина, надо полагать, из пистолетов палят! — объяснял было ему извозчик насчет Барклай де Толли и Кутузова, но Калинович уже не слыхал этого. От скопившихся пешеходов и экипажей около Морской у него начинала кружиться голова, а когда выехали на площадь и он увидел Зимний дворец, то решительно замер: его поразило это огромное и великолепное здание.

— Вези меня скорей на Неву! — проговорил он, увидя издали катящиеся невские волны; но — увы! — неприветливо они приняли его, когда он въехал на Дворцовый мост. С них подул на него такой северяк, что не только любоваться, но даже взглянуть на них хорошенько было невозможно.

— Фу, черт возьми, как холодно! — проговорил он, кутаясь по самые уши в воротник шинели, и, доехав до Благовещенского моста, бросил извозчика и пошел пешком, направляя свой путь к памятнику Петра. Постоял около него несколько времени, обошел его раза два кругом, взглянул потом на Исакия. Все это как-то раздражающим образом действовало на него. Не зная сам куда идти, он попал на Вознесенский проспект. Мелкая торговля, бьющаяся изо всех сил вылезти в магазины, так и стала ему кидаться в глаза со всех сторон; через каждые почти десять шагов ему попадался жид, и из большей части домов несло жареным луком и щукой; но еще более безобразное зрелище ожидало его на Садовой: там из ка-

бака вывалило по крайней мере человек двадцать мастеровых; никогда и нигде Калинович не видал народу более истощенного и безобразного: даже самое опьянение их было какое-то мрачное, свирепое; тут же, у кабака, один из них, свалившись на тротуар, колотился с ожесточением головой о тумбу, а другой, желая, вероятно, остановить его от таких самопроизвольных побоев, оттаскивал его за волосы от тумбы, приговаривая: «Черт, полно, перестань!» Прочие на все это смотрели хоть и мрачно, но совершенно равнодушно.

Спеша поскорее уйти от подобной сцены, Калинович попал на Сенную, и здесь подмокшая и сгнившая в возах живность так его ошибла по носу, что он почти опрометью перебежал на другую сторону, где хоть и не совсем приятно благоухало перележавшею зеленью, но все-таки это не был запах разлагающегося мяса. Из всех этих подробностей Калинович понял, что он находится в самой демократической части города.

Время между тем подходило к сумеркам, так что когда он подошел к Невскому, то был уже полнейший мрак: тут и там зажигались фонари, ехали, почти непрестанной вереницей, смутно видневшиеся экипажи, и мелькали перед освещенными окнами магазинов люди, и вдруг посреди всего, бог весть откуда, раздались звуки шарманки. Калинович невольно приостановился, ему показалось, что это плачет и стонет душа человеческая, заключенная среди мрака и снегов этого могильного города.

Придя домой, он в утомлении опустился головой на диван. Если в Москве было ему скучно, то здесь вдруг овладела им непонятная и невыносимая тоска.

«Что ж это такое? — думал он.— Неужели я так обабился, что только около этой девчонки могу быть спокоен и весел? Нет! Это что-то больше, чем любовь и раскаянье: это скорей какой-то страх за самого себя, страх от этих сплошной почти массой идущих домов, широких улиц, чугунных решеток и холодом веющей Невы!»

## II

Прошло три дня. Тоска и какой-то безотчетный страх не оставляли Калиновича, тем больше, что он никуда почти не выходил. Туалет его около трех лет не освежавшийся, оказался до такой степени негодным, что не

только мог заявить о вопиющей бедности, но даже внушить подозрение на счет нравственности. Зная щепетильность Петербурга в этом отношении, он решился лучше просидеть дома, пока не будет готово заказанное платье у Шармера, которое, наконец, на четвертый день было принесено благороднейшей наружности подмастерьем. Когда Калинович, облекшись предварительно тоже в новое и очень хорошее белье, надел фрачную пару с высокоприличным при ней жилетом, то, посмотревшись в зеркало, почувствовал себя, без преувеличения, как бы обновленным человеком; самый опытный глаз, при этой наружности, не заметил бы в нем ничего провинциального: довольно уже редкие волосы, бледного цвета, с желтоватым отливом лицо; худощавый, стройный стан; приличные манеры — словом, как будто с детских еще лет водили его в живописных кафтанчиках гулять по Невскому, учили потом танцевать чрез посредство какого-нибудь мсье Пьеро, а потом отдали в университет не столько для умственного образования, сколько для усовершенствования в хороших манерах, чего, как мы знаем, совершенно не было, но что вложено в него было самой уж, видно, природой. Расплатившись с портным, Калинович сейчас же поехал сделать визит редактору. По всем практическим соображениям, он почти наверное рассчитывал, что тот примет его с полным вниманием и уважением, а потому, прищурившись, прочитал надпись на дверях редакторской квартиры и смело дернул за звонок. Человек отворил дверь.

— Доложи, что Калинович приехал,— назвал он твердо и довольно громко свою фамилию.

Человек ушел.

— Калинович приехал! — докладывал он.

— Кто такой? Какой Калинович? — спрашивал его другой голос.

— Калинович,— повторил лакей.

— Проси,— отвечал ему голос с досадой.

Лакей возвратился.

— Пожалуйте,— произнес он.

Калиновича подернуло. Видимо, что его принимают, не помня хорошенько, кто он такой. Пройдя первую же дверь, он прямо очутился в огромном кабинете, где посредине стоял огромный стол с своими чернильницами, карандашами, кучею тетрадей и небрежно кинутыми «Худо-

жественным листком» и французской иллюстрацией. Кабинетный стол князя показался Калиновичу пред этим жертвенником бедной конторкой школьника. По стенам шли полки, тоже заваленные книгами и газетами. Три пейзажа, должно быть Калама, гравированное «Преображение» Иордана и, наконец, масляная женская головка, весьма двусмысленной работы, но зато совсем уж с томными и закатившимися глазами, стояли просто без рамок, примкнутыми на креслах; словом, все показывало учено-художественный беспорядок, как бы свидетельствовавший о громадности материалов, из которых потом вырабатывались разные рубрики журнала. Сам хозяин помещался в довольно темном углу. Это был растолстевший сангвиник, с закинутою назад головою, совершенно без шеи, и только маленькие, беспрестанно бегавшие из-под золотых очков глаза говорили о его коммерческих способностях. Кутаясь в свой толстый, плюшевый сюртук, сидел он в углу дивана. На другом конце от него топился камин, живописно освещая гораздо более симпатичную фигуру господина, с несколько помещичьей посадкой, который сидел, опершись на трость с дорогим набалдашником, и с какой-то сибаритской задумчивостью, закинув на потолок свои голубые глаза. Вообще во всей его фигуре было что-то джентльменское, как бы говорившее вам, что он всю жизнь честно думал и хорошо ел. Тот же камин освещал еще молодого человека, весьма скромного роста и с физиономией, вовсе уж ничего не обещающей. Он стоял около одной из полок и, как бы желая скрыть, что им никто не занимается, делал вид, что будто бы сам был погружен в чтение развернутой перед ним газеты. Окинув все это одним взглядом, Калинович подошел прямо к хозяину.

— Здравствуйте-с, очень рад с вами познакомиться! — проговорил тот, слегка привставая, и тут же прибавил: — Monsieur Белавин, monsieur Калинович.

Оба гостя молча поклонились друг другу.

Молодой человек как-то украдкою и болезненно взглянул, как бы ожидая, что и его познакомят; но ему не выпало этой чести.

— Вы ведь, кажется, москвич? — продолжал редактор, когда Калинович сел.

— Да... Но, впрочем, последнее время я жил в провинции,— отвечал Калинович.

— В провинции? — повторил редактор, уставляя на него свои маленькие глаза.

— В провинции,— повторил Калинович,— и, приехав сюда,— прибавил он несколько официальным тоном,— я поставил себе долгом явиться к вам и поблагодарить, что вы в вашем журнале дали место моему маленькому труду.

— О, помилуйте! Это наша обязанность,— подхватил редактор, быстро опуская на ковер глаза, и потом, как бы желая переменить предмет разговора, спросил:

— Вы ведь, однако, через Москву ехали?

— Через Москву.

— По железной?

— По железной.

— И скажите, хорошо? — продолжал редактор.

— Хорошо-с,— отвечал Калинович, начинавший уже несколько удивляться тому, что неужели с ним не находят разговора поумней.

Редактор между тем выпустил длинную струю дыма от куримой им сигары и, с гораздо более почтительным выражением, обратился к господину, названному Белавиным.

— Это очень важный теперь вопрос,— начал он несколько глубокомысленным тоном,— свяжет ли железная дорога эти два города, каким это образом и в чем именно это произойдет?

В ответ на это Белавин закрыл первоначально глаза, и что-то вроде насмешливой улыбки промелькнуло у него на губах.

— Не думаю, чтоб много,— произнес он,—первое что, вероятно, будут в Москве дрова еще дороже, а в Петербурге, может быть, ягоды дешевле.

— Ну, нет; это что ж! Одна эта быстрота при торговых сношениях... наконец, обмен идей.

— Каких? — спросил Белавин, опять зажимая глаза и самым равнодушнейшим тоном.

Редактор на это потупился и ничего не отвечал.

«С какой только важностью и о каком вздоре рассуждают эти два господина!» — подумал Калинович с досадой в душе.

— Холодно, говорят, в вагоне ногам? — обратился к нему редактор.

— Я не чувствовал этого,— отрывисто отвечал Калинович.

— Нет? — спросил редактор.

— Нет,— повторил Калинович таким уж насмешливым тоном, что молодой человек, занимавшийся газетой, посмотрел на него с удивлением.

Редактор опять пустил длинную струю дыма и обратился к Белавину:

— Мы давеча говорили об этом господине... Что вам угодно, а он непрочен.

Белавин придал лицу своему серьезное выражение, которым как бы говорил, что он совершенно с этим не согласен.

— Возьмите вы,— продолжал редактор, одушевляясь и, видимо, желая убедить,— больше полустолетия этот народ проводит перед вами не историю, а разыгрывает какие-то исторические представления.

Белавин слушал.

— Господствует учение энциклопедистов... подкопаны все основания общественные, государственные, религиозные... затем кровь... безурядица. Что можно было из этого предвидеть?.. Одно, что народ дожил до нравственного и материального разложения; значит, баста!.. Делу конец!.. Ничуть не бывало, возрождается, как феникс, и выскакивает в Наполеоне Первом. Это черт знает что такое!

Белавин продолжал молчать и слушать.

— Этот господин идет завоевывать Европу, перетасовывает весь Германский союз, меняет королей, потом глупейшим образом попадается в Москве и обожающий его народ выдает его живьем. Потом Бурбоны... июльская революция... мещанский король... новый протест... престол ломается, пишется девизом: liberté, égalité, fraternité[1] — и все это опять разрешается Наполеоном Третьим!

Заключив эти слова, редактор даже склонил голову от удивления.

Калинович был почти согласен с ним, но, как человек осторожный, не показывал виду и по временам взглядывал на Белавина, который, наконец, когда редактор кон-

---

[1] Свобода, равенство, братство *(франц.)*.

чил, приподнял опять немного глаза и произнес явно насмешливым тоном:

— Так судить народ издали невозможно; слишком поверхностно; ошибешься!

— Я не знаю, ошибешься или нет, но это факты,— возразил редактор.

Белавин, прищурившись, посмотрел на противоположную стену.

— Под этими фактами,— начал он,— кроется весьма серьезное основание, а видимая неустойчивость — общая участь всякого народа, который социальные идеи не оставляет, как немцы, в кабинете, не перегоняет их сквозь реторту парламентских прений, как делают это англичане, а сразу берет и прикладывает их к делу. Это общая участь! И за то уж им спасибо, что они с таким самоотвержением представляют из себя какой-то оселок, на котором пробуется мысль человеческая. Как это можно? Помилуйте!

— Да-с, вы говорите серьезное основание; но где ж оно и какое? Оно должно же по крайней мере иметь какую-нибудь систему, логическую последовательность, развиваться органически, а не метаться из стороны в сторону,— возразил редактор; но Калинович очень хорошо видел, что он уж только отыгрывался словами.

В лице Белавина тоже промелькнуло что-то вроде слегка заметной улыбки.

— Энциклопедисты, как вы говорите,— начал он, взмахнув глазами на потолок,— не доводили народа до разложения: они сбивали феодальные авторитеты и тому подобные заповедные цепи, которые следовало разбить.

— Однако эти цепи заменились другими, может быть, тягчайшими, в особе корсиканца.

— Почему же? — возразил Белавин.— Революция девяностых годов дала собственно народу и личное право и право собственности.

— Все это прекрасно; но последние события? — произнес редактор, уж больше спрашивая.

— Что ж? — отвечал как-то нехотя Белавин.— Дело заключалось в злоупотреблении буржуазии, которая хотела захватить себе все политические права, со всевозможными матерьяльными благосостояниями, и работники сорок восьмого года показали им, что этого нельзя; но

так как собственно для земледельческого класса народа все-таки нужна была не анархия, а порядок, который обеспечивал бы труд его, он взялся за Наполеона Третьего, и если тот поймет, чего от него требуют, он прочней, чем кто-либо!

— Но где же тут прогресс, скажите вы мне? — воскликнул редактор.

Белавин улыбнулся.

— Прогресс?..— повторил он.— Прогресс теперь дело спорное. Мы знаем только то, что каждая эпоха служит развитием до крайних пределов известных идей, которые вначале пробиваются болезненно, а потом заражают весь воздух.

— Это так,— подтвердил редактор.

На этих словах Калинович встал с своего места и, подойдя к одной из картин, стал ее рассматривать. Странного рода чувства его волновали: в продолжение всего предыдущего разговора ему ужасно хотелось поспорить с Белавиным и, если возможно, взять нотой выше его; но — увы! — при всем умственном напряжении, он чувствовал, что не может даже стать на равную с ним высоту воззрения. «Неужели я так оглупел и опошлел в провинции, что говорить даже не умею с порядочными людьми?» — думал он, болезненно сознавая к Белавину невольное уважение, смешанное с завистью, а к самому себе — презрение.

Молодой человек, стоявший около полки и давно уж ласкавший его взором, подошел к нему.

— Я, кажется, имею удовольствие видеть господина Калиновича? — проговорил он.

— Точно так,— отвечал тот.

— Я читал вашу повесть с величайшим наслаждением,— прибавил молодой человек.

Калинович поблагодарил молчаливым кивком головы.

— Я сам тоже писатель... Дубовский... Вы, может быть, и не читали моих сочинений,— продолжал молодой человек с каким-то странным смирением, и в то же время модничая и прижимая шляпу к колену.

— Нет-с, я читал,— отвечал сухо Калинович, в самом деле никогда их не читавший.

Молодой человек несколько минут переминался.

— Как это у нас странно угодить теперь публике! — начал он нетвердым голосом.— Я вот тогда... в прошлом

году... так как теперь пишут больше все очерки, описал «Быт и поверья Козинского уезда»; но вдруг рецензенты отозвались так строго, и даже вот в журнале Павла Николаича,— прибавил он, робко указывая глазами на редактора,— и у них был написан очень неблагоприятный для меня отзыв... И что ж?.. Конечно, я никак не могу себя отнести к первоклассным дарованиям, но по крайней мере люблю литературу и занимаюсь ею с любовью, и это, кажется, нельзя еще ставить в укор человеку...

— Разумеется,— подтвердил Калинович, думая сам с собою: «Этакая дрянь!» и, не желая себя компрометировать разговором с подобным господином, возвратился на свое место и взялся за шляпу.

Редактор заметил это и обратился к нему.

— Где же вы, собственно, жили? — спросил он.

— Я жил в Эн-ске,— отвечал Калинович.

— В Эн-ске? Славные это места! Я проезжал раза два. Эти огромные леса... река... Эн-ск, кажется, ведь на реке?

— На реке-с.

— На сплавной?

— На сплавной,— отвечал Калинович и начал раскланиваться.

Белавин между тем все внимательней и внимательней смотрел на него.

— Мне еще надобно с вами два слова,— проговорил редактор и проворно отошел в сторону.

Калинович последовал за ним.

— Ваша повесть, кажется, называется «Кавалерист»? — прибавил он вполголоса.

— Нет-с, «Странные отношения»,— отвечал Калинович.

— Сколько листов?

— Девять.

— Девять. Значит, девятью сорок — триста шестьдесят, так?

— Я слышал, что платят по пятидесяти...— заметил Калинович.

— Нет-с, нет,— отвечал редактор утвердительным тоном и тотчас же, отсчитав триста шестьдесят рублей, отдал их Калиновичу.

— Я еще привез рассказ,— проговорил было тот.

— Да, да, пожалуйста, доставьте; мы там увидим...

посмотрим...— перебил торопливо хозяин, заметно спеша к Белавину.

Калинович раскланялся и ушел.

«Каков скотина! Даже не знает, что я написал!» — думал он, сходя с лестницы и кусая губы. Двери между тем опять за ним отворились, и его догонял Дубовский.

— Я тоже ухожу,— проговорил он.

Калинович сначала не хотел было отвечать ему, но потом подумал: «Этот господин шатается по литераторам: расспрошу его, как и что там у них происходит».

— Не хотите ли со мной отобедать где-нибудь тут? — проговорил он.

— С большим удовольствием,— отвечал Дубовский.

— Где ж тут? Отведите меня; я не знаю.

— К Доминику,— произнес тот.

— Ну, хоть к Доминику,— согласился Калинович.

Придя туда, они сели к окну, в сторонке, чтоб не быть очень на виду. Калинович велел подать два обеда и бутылку вина. Он несколько затруднялся, каким бы образом и с чего начать разговор; но Дубовский сам предупредил его.

— Вы, кажется, получили с Павла Николаича деньги?— сказал он, таинственно наклонясь к Калиновичу.

— Да, получил,— отвечал тот.

— Много?

— Восемьсот рублей,— нарочно солгал Калинович. Дубовского подало назад. Сладкого и заискивающего выражения в лице его как будто и не бывало.

— Это приятно! — проговорил он, покачивая головой и как-то скверно улыбаясь.

— Да, ничего,— отвечал Калинович.

— Это с ним не всегда случается,— продолжал Дубовский, доедая суп и по-прежнему покачивая головой.

— Будто? — спросил Калинович самым простодушнейшим тоном.

Дубовский опять скверно улыбнулся.

— Не знаю, по крайней мере я на самом себе имею этот опыт,— отвечал он.

Калинович выразил на лице своем как бы участие и внимание.

— Я написал вроде исторического исследования или монографии: «Ермак»,— начал Дубовский.

— Да,— подтвердил Калинович.

— Труд, на который я,— продолжал молодой автор, пожимая плечами,— посвятил три года. Все документы, акты, договоры,— все были мною собраны и все прочтены. Я ничего себе не позволил пропустить, и, конечно, всего этого вышло, быть может, листов на восемь печатных.

— Да,— повторил Калинович.— Но выпейте, однако, вина,— прибавил он, наливая стаканы.

— Merci! — отвечал Дубовский, торопливо выпивая вино, и, видимо, тронутый за чувствительную струну, снова продолжал: — Я был, однако, так еще осторожен, что не позволил себе прямо отнестись в редакцию, а вот именно самого Павла Николаича, встретив в одном доме, спрашиваю, что могу ли надеяться быть напечатан у них. Он говорил: «Очень хорошо, очень рад». Имел ли я после того право быть почти уверен?

— Конечно,— подтвердил Калинович.

Дубовский начинал уж его не на шутку забавлять.

— Я доставляю,— продолжал тот,— проходит месяц... другой, третий... Я, конечно, беспокоюсь о судьбе моего произведения... езжу, спрашиваю... Мне сначала ничего не отвечали, потом стали сухо принимать, так что я вынужден был написать письмо, в котором просил решительного ответа. Мне на это отвечают, что «Ермак» мой может быть напечатан, но только с значительными сокращениями и пропусками.

— С пропусками! Скажите! — воскликнул Калинович серьезнейшим тоном.

— Да,— отвечал его собеседник многозначительно.— Я еду по крайней мере узнать, какого рода эти пропуски... Показывают,— наполовину перечеркано! Каким умом, каким ученым — неизвестно!

Проговоря это, Дубовский остановился на несколько минут.

— Я уж не говорю,— продолжал он,— сколько обижен я был тут как автор; но, главное, как человек небогатый, и все-таки был так глуп, или прост, или деликатен,— не знаю, как хотите назовите, но только и на это согласился.

— Скажите, пожалуйста! — повторил Калинович, сохраняя в лице по-прежнему серьезное внимание.— Что ж потом было?

— Потом-с,— продолжал Дубовский, у которого

озлобленное выражение лица переменилось на грустное,— потом напечатали... Еду я получать деньги, и вдруг меня рассчитывают по тридцати пяти рублей, тогда как я знаю, что всем платят по пятидесяти. Я, конечно, позволил себе спросить: на каком праве делается это различие? Мне на это спокойно отвечают, что не могут более назначить, и сейчас же уезжают из дома. Благороден этот поступок или нет? — заключил он, взглянув вопросительно на Калиновича.

Тот только покачал головой.

— Вам бы что-нибудь предпринять надобно было, пожаловаться кому-нибудь... хоть генерал-губернатору, что ли?

— Я и предпринимал,— возразил Дубовский,— и езжу вот теперь третий месяц, чтоб по крайней мере объясниться решительно; но, к несчастию, меня или не принимают, или ставят в такое положение, что я ни о чем заговорить не могу.

— Что ж ездить? Пожаловаться надобно генерал-губернатору, непременно...— повторил Калинович, которому ужасно захотелось, чтоб вышел подобный скандал.

— Я на это неспособен; а что, конечно, считаю себя вправе говорить об этом всему Петербургу,— отвечал Дубовский, и, так как обед в это время кончился, он встал и, поматывая головой, начал ходить по комнате.

Калинович в свою очередь перешел и прилег на диване. Ему уж начинал надоедать его собеседник.

— Куда ж он деньги девает, когда в таких пустяках считается? — спросил он больше к слову.

Дубовский грустно улыбнулся.

— Мест много для денег, особенно имевши такую страсть к женщинам.

— К женщинам? — спросил Калинович с любопытством.

— Да,— отвечал с прежнею грустною улыбкою Дубовский.— Теперь главная его султанша француженка, за которую он одних долгов заплатил в Париже двадцать пять тысяч франков, и если б вот мы пришли немного пораньше сюда, так, наверное, увидали бы, как она прокатила по Невскому на вороной паре в фаэтоне с медвежьею полостью... Стоит это чего-нибудь или нет?

— О счастливец! — воскликнул Калинович.

— Да-с, он счастливец; но каково другим? От этого

гибнет, может быть, русская литература, или потом... Танцовщицу Карышеву знаете?

— Нет, не знаю.

— Тоже на его иждивении, и представьте себе: женщина маленького роста, с толстыми икрами.

— Это хорошо, когда с толстыми икрами,— перебил Калинович.

Дубовский сделал презрительную мину.

— Не знаю, что тут хорошего, тем больше, что с утра до ночи ест, говорят, конфеты... Или теперь... Это черт знает, что такое! — воскликнул он.— Известная наша сочинительница, Касиновская, целую зиму прошлого года жила у него в доме, и он за превосходные ее произведения платил ей по триста рублей серебром,— стоит она этого, хотя бы сравнительно с моим трудом, за который заплачено по тридцати пяти?

— Если она только хорошенькая, так отчего ж не стоит? — заметил Калинович.

— Да, если так смотреть, так конечно! —возразил Дубовский несколько обиженным голосом и снова, покачивая головой, стал ходить по комнате.

— Кто ж у него журналом заправляет, если он все с женщинами возится? — спросил Калинович.

— Там у него какой-то Зыков, господин высокоумный,— отвечал с усмешкою Дубовский.

— Какой Зыков? Не из Московского ли университета? — почти воскликнул Калинович.

— Московского университета.

— Боже мой! — продолжал Калинович.— Это старый мой друг и товарищ и отличнейший человек.

Дубовский сейчас же переменил тон.

— Очень хороший, говорят,— подтвердил он,— я, конечно, тогда его не знал; но если б обратился прямо к нему с моим произведением, так, может быть, другая постигла бы его участь.

— Значит, от него все зависит?

— Решительно все от него.

— Где ж его адрес? Скажите, пожалуйста.

Дубовский сказал.

Калинович сейчас же записал и, так как выспросил все, что было ему нужно, и, не желая продолжать долее беседу с новым своим знакомым, принялся сначала зевать, а потом дремать. Заметив это, Дубовский взялся

за шляпу и снова, с ласковой, заискивающей улыбкой, проговорил:

— Надеюсь, что позволите быть знакому?

— Очень рад,— отвечал Калинович, не привставая и только протягивая руку.

Через несколько минут Дубовский, с важностью приподнявши воротник у бекеши и с глубокомысленно-ученым выражением в лице, шел уж по Невскому.

«Этакий дурак!..» — думал Калинович, наблюдая его в окошко, и от нечего делать допил бутылку вина. Кровь немного взволновалась: счастливый редактор с его француженкой, танцовщицей и с писательницей начал рисоваться в его воображении в различного рода соблазнительных картинах.

«Э, черт возьми! Поеду и я к Амальхен. Надобно же как-нибудь убивать время, а то с ума сойдешь»,— подумал он и, взяв извозчика, велел себя везти в Гороховую.

Дворник в доме Багова на вопрос: «Здесь ли живет Амальхен?» — отвечал с полуулыбкой: «Здесь, сударь! Пожалуйте: в первом этаже, дверь направо, без надписи». Калинович позвонил. Дверь ему отворила лет тридцати пяти женщина, с строгими цыганскими чертами лица.

— Доложи, что приехал господин, который ехал с мамзель Амальхен по железной дороге,— поспешно проговорил Калинович.

Женщина, как видно привыкшая к посещению незнакомых лиц, молча повернулась и ушла.

Возвратившись через минуту, она произнесла сердитым голосом:

— Давайте пальто! Снимайте!

Калинович подал и вместе с тем счел за нужное сунуть ей в руку рубль серебром. Лицо привратницы в минуту умилилось.

— Подите туда, барышня сейчас выйдет,— произнесла она, вешая пальто и совсем уж ласковым тоном.

Калинович вошел. Единственная стеариновая свечка, горевшая перед зеркалом, слабо освещала комнату. Гардины на окнах были спущены, и, кроме того, на них стояли небольшие ширмочки, которые решительно не давали никакой возможности видеть с улицы то, что происходило внутри. Над маленьким роялино висела гравюра совершенно hологрудой женщины. Мебель была мягкая.

Бархатом обитый диван, казалось Калиновичу, так и манил присесть на него с хорошенькой женщиной.

Вошла Амальхен. Она была в небрежно надетом капоте. Руки ее были совсем обнажены и, точно из слоновой кости выточенные, блистали белизною и представляли прелестнейшие формы. Лицо было как-то еще идеальнее.

— Здравствуйте,— проговорил Калинович, подходя к ней и беря ее за руку.

— Да!.. Здравствуйте! — отвечала Амальхен и опустилась именно на соблазнительный диван.

Калинович сел около нее.

— Вот я и приехал к вам,— начал он.

— Да, вижу, приехал...— произнесла она, кидая лукавый взгляд; потом, помолчав немного, начала напевать довольно приятным голосом:

Galopaden tanz ich gern...
Mit den jungen hübschen Herr'n [1].

— Что такое? — спросил Калинович.

— Mit den jungen hübschen Herr'n! — повторила Амальхен и затем вдруг крикнула: — Маша!

В дверях показалась сердитая женщина.

— Звощик здесь?.. Тут? — спросила Амальхен.

— Здесь, барышня, дожидается,— отвечала та.

— Зачем вам извозчик? — спросил Калинович.

— Так, я хочу кататься,— отвечала жеманно Амальхен и опять запела:

Mit den braven Officier'n
Ganz besond'rs mit Kirassier'n [2].

— А мне можно с вами? — спросил Калинович.

— Да.

— Ну так ступайте одевайтесь!

— Да,— подхватила Амальхен и, запев:

Galopaden tanz ich gern...
Mit den jungen hübschen Herr'n,—

ушла в свою спаленку. Через минуту она возвратилась в дорогом салопе и в шляпе с черной блондовой вуалью.

У подъезда их ожидал фаэтон парой.

— Куда ж мы поедем? — спросил Калинович.

---

[1] Я люблю танцевать с молодыми, красивыми господами (*немецк.*)

[2] С храбрыми офицерами, в особенности с кирасирами (*немецк.*).

— А, да, далеко поедем; я хочу...— отвечала Амальхен.

— Поезжай куда-нибудь подальше,— приказал Калинович извозчику.

Тот сначала вывез их на Адмиралтейскую площадь, проехал потом мимо Летнего сада, через Цепной мост и выехал, наконец, в Кирочную.

— Куда ж еще? — спросил он.

— Домой, я думаю, — сказал Калинович.

— А, да! Il fait froid,— отвечала Амальхен.

— Домой! — крикнул Калинович.

У подъезда квартиры Амальхен первая выскочила из фаэтона.

— Что ж, барышня, когда же деньги-то? — спросил извозчик, обертываясь.

— Деньги завтра, — отвечала Амальхен, стоя уже в дверях и опять напевая:

Galopaden tanz ich gern...

— Как же завтра? Помилуйте, хозяин с нас спрашивает! — вопиял извозчик.

— А завтра! — повторила Амальхен.

— Сколько тебе? — спросил Калинович.

— Двадцать пять рубликов, ваше благородие, сделайте божескую милость. Что ж такое? Нас ведь самих считают.

— Какие же двадцать пять рубликов? Проехал три переулка... — возразил Калинович.

— Какие три переулка! Пятые сутки здесь дежурим. Хозяин ведь не терпит. Помилуйте, как же это возможно?

— Что ж, отдать ему? — спросил Калинович.

— А, да, — разрешила Амальхен и убежала.

Калинович отдал извозчику.

«Черт знает, что я такое делаю!» — подумал он и вошел за хозяйкой.

Чрез несколько минут они снова уселись на диван. Калинович не мог оторвать глаз от Амальхен — так казалась она мила ему в своей несколько задумчивой позе.

— Маша, чай! — крикнула Амальхен.

Та подала красивый чайный прибор с серебряным чайником и графинчиком коньяку.

Чашку Калиновича Амальхен долила по крайней мере наполовину коньяком.

— Я не пью, — проговорил было тот.

— О, нет, пей, — сказала она.

— В таком случае пей и ты,— подхватил Калинович и, налив ей тоже полчашки, выпил свою порцию залпом.

— Послушай, — начал он, беря Амальхен за руку, — полюби меня!

— О, нет!

— Отчего ж нет?

— Так... — отвечала она и запела:

Galopaden tanz ich gern...

— Замолчи ты со своим Galopaden!.. Отчего ж нет? — воскликнул Калинович, ероша свои волосы.

— Так: у меня есть старик... он не хочет этого.

— Ну, к черту старика! — проговорил Калинович и обнял ее.

— О, нет; он мне денег дает, — отвечала Амальхен.

— У меня денег больше! Я тебе больше дам! Сколько хочешь? Возьми еще двадцать пять?

— Да... нет... этого нельзя.

— Отчего же нельзя? Сколько же тебе?

— Мне много надо.

— Сколько же? — повторил Калинович. — Хочешь пятьдесят?

— Фи, нет! — возразила Амальхен.

— Пятьдесят,— повторил Калинович и, как бы шутя, загасил свечку.

— Шалун! — сказала Амальхен.

## III

Проводить время с Амальхенами было вовсе для моего героя не обычным делом в жизни: на другой день он пробирался с Гороховой улицы в свой номер каким-то опозоренным и расстроенным... Возвратившись домой, он тотчас же разделся и бросился на постель.

«Боже! До какого разврата я дожил! Настенька, друг мой! Простишь ли ты меня?» — восклицал он мысленно, хотя мы знаем, как постоянно старался он уверить себя, что эта женщина для него не имеет никакого значения. Часам к пяти, наконец, нервы его поуспокоились. Кали-

нович невольно заглянул в свой бумажник и усмехнулся: там недоставало ровно двухсот целковых. «И это в один день!» — подумал он и с ужасом вспомнил, что в восемь часов к нему обещалась приехать Амальхен. Чтоб спасти себя от этого свидания, он решился уйти на целый вечер к Зыкову, который был действительно его товарищ по гимназии и по университету и единственный друг его юности. Во время студенчества они жили на одной квартире, и если этот человек в самом деле полный распорядитель при журнале, то все для него сделает.

Зыков жил на дворе в четвертом этаже; на дверях его квартиры вместо медной дощечки был просто приклеен лоскуток бумаги с написанной на нем фамилией; но еще более удивился Калинович, когда на звонок его дверь отворила молода́я дама в холстинковом платье, шерстяном платке и с какой-то необыкновенно милой и доброй наружностью. Догадываясь, что это, должно быть, жена хозяина, он вежливо спросил:

— У себя господин Зыков?

— У себя; но он болен, — отвечала дама.

— Меня он, может быть, примет; я Калинович, — назвал он себя.

— Ах, да, вероятно! — подхватила дама.

Калинович вошел вслед за ней; и в маленькой зальце увидел красивенького годового мальчугана, который, на своих кривых ножонках и с заткнутым хвостом, стоял один-одинешенек. Увидя, что мать прошла мимо, он заревел.

— Перестань, Сережа, перестань; сейчас возьму, — говорила та, грозя ему пальцем и уходя в дверь направо.

«Неужели у них даже няньки нет?» — подумал Калинович.

Дама назвала его фамилию.

— Будто?.. Не может быть! — послышался задыхавшийся от радости голос Зыкова.

Калинович не утерпел и вошел, но невольно попятился назад. Небольшая комната была завалена книгами, тетрадями и корректурами; воздух был удушлив и пропитан лекарствами. Зыков, в поношенном халате, лежал на истертом и полинялом диване. Вместо полного сил и здоровья юноши, каким когда-то знал его Калинович в университете, он увидел перед собою скорее скелет, чем живого человека.

— Яша, здравствуй! — говорил он, привставая и обнимая гостя.

Калинович почувствовал, что глаза Зыкова наполнились слезами. Он сам его крепко обнял.

— Ну, садись, Яша, садись, — говорил тот, опускаясь на диван и усаживая его.

— Что, ты болен? — спросил Калинович.

— Да, немножко, — отвечал Зыков, — впрочем, я рад, что хоть перед смертью еще с тобой увиделся.

— Почему ж перед смертью? — проговорила дама, возвратившись с дитятей на руках и садясь в некотором отдалении. Все мускулы лица ее при этих словах как-то подернуло.

— Ну, когда хочешь, так и не перед смертью, — сказал с грустной улыбкой Зыков. — Это жена моя, а ей говорить о тебе нечего, знает уж, — прибавил он.

— Да, я знаю, — сказала та, ласково посмотрев на Калиновича.

— Где же, однако, ты был, жил, что делал? Рассказывай все! Видишь, мне говорить трудно! — продолжал больной.

— Ты и не говори, я тебе все расскажу, — подхватил с участием Калинович и начал: — Когда мы кончили курс — ты помнишь, — я имел урок, ну, и решился выжидать. Тут стали открываться места учителей в Москве и, наконец, кафедры в Демидовском. Я ожидал, что должны же меня вспомнить, и ни к кому, конечно, не шел и не просил...

Зыков одобрительно кивнул ему головой.

— Однако не вспомнили, — продолжал Калинович, — и даже когда один господин намекнул обо мне, так ему прямо сказали, что меня совершенно не знают.

Зыков горько улыбнулся и покачал головой. Мальчуган между тем, ухватив ручонками линейку, что есть силы начал стучать ею по столу.

«Постреленок!» — подумал Калинович с досадою.

— Ну, рассказывай, — повторил ему больной.

— Что рассказывать? — продолжал он. — История обыкновенная: урок кончился, надобно было подумать, что есть, и я пошел, наконец, объявил, что желал бы служить. Меня, конечно, с полгода проводили, а потом сказали, что если я желаю, так мне с удовольствием дадут место училищного смотрителя в Эн-ске; я и взял.

Зыков с досадою ударил по дивану своей костлявой рукой.

— А! Даша, как это тебе нравится? — обратился он к жене.

— Перестань, Сережа! — сказала та своему шалуну, подставляя ему свою руку, чтоб он колотил по ней линейкой вместо стола, а потом отвечала мужу:

— Что ж! Если сам Яков Васильич никуда не ходил и никого не просил!

Больной еще более рассердился.

— Не ходил!.. Не просил! — воскликнул он, закашливаясь.— Вместо того чтобы похвалить за это человека, она его же за то обвиняет. Что ж это такое?

— Да я не обвиняю, за что ж ты сердишься? — подхватила с кроткой улыбкой молодая женщина.

— Нет, ты обвиняешь!.. Сами выходят замуж бог знает с каким сумасшествием... на нужду... на голод... перессориваются с родными, а мужчину укоряют, отчего он не подлец, не изгибается, не кланяется...

Проговоря это, больной чуть не задохся, закашлявшись.

— Ну, перестань, не волнуйся; на, выпей травы,— сказала молодая женщина, подавая ему стакан с каким-то настоем.

Зыков начал жадно глотать, между тем как сынишка тянулся к нему и старался своими ручонками достать до его все еще курчавых волос.

— Ну, что ж ты там делал? — спросил он, опять опускаясь на диван.

— Делал то, что чуть не задохся от хандры и от бездействия,— отвечал Калинович,— и вот спасибо вам, что напечатали мой роман и дали мне возможность хоть немножко взглянуть на божий свет.

При этих словах на лице Зыкова отразилось какое-то грустное чувство.

— Ты тут через генерала прислал к нам,— произнес он с усмешкою.

— Да, это знакомый моего знакомого,— отвечал Калинович, несколько озадаченный этим замечанием.

— Дрянь же, брат, у твоего знакомого знакомые!— начал Зыков.— Это семинарская выжига, действительный статский советник... с звездой... в парике и выдает себя за любителя и покровителя русской литературы. Твою

повесть прислал он при бланке, этим, знаешь, отвратительно красивейшим кантонистским почерком написанной: «что-де его превосходительство Федор Федорыч свидетельствует свое почтение Павлу Николаичу и предлагает напечатать сию повесть, им прочтенную и одобренную...» Скотина какая!

Калинович несколько сконфузился.

— Я, конечно, не знал, что ты тут участник и распорядитель,— начал он с принужденною улыбкою,— и, разумеется, ни к кому бы не отнесся, кроме тебя; теперь вот тоже привез одну вещь и буду тебя просить прочесть ее, посоветовать там, где что нужным найдешь переменить, а потом и напечатать.

Последние слова были сказаны как бы вскользь, но тон просьбы, однако, чувствительно слышался в них. Лицо больного приняло еще более грустное и несколько раздосадованное выражение.

— Что тебе за охота пришла повести писать, скажи на милость? — вдруг проговорил он.

Калинович окончательно было растерялся.

— Призвание на то было! — отвечал он, краснея и с принужденною улыбкою, но потом, тотчас же поправившись, прибавил: — Мне, впрочем, несколько странно слышать от тебя подобный вопрос.

— Отчего же? — спросил Зыков.

Калинович пожал плечами.

— Тебе, собственно, моя повесть могла не понравиться, но чтоб вообще спрашивать таким тоном...— проговорил он.

— Твоя повесть—очень умная вещь. И—боже мой! — разве ты можешь написать что-нибудь глупое? — воскликнул Зыков.— Но, послушай,— продолжал он, беря Калиновича за руку,— все эти главные лица твои — что ж это такое?.. У нас и в жизни простолюдинов и в жизни среднего сословия драма клокочет... ключом бьет под всем этим... страсти нормальны... протест правильный, законный; кто задыхается в бедности, кого невинно и постоянно оскорбляют... кто между подлецами и мерзавцами чиновниками сам делается мерзавцем,— а вы все это обходите и берете каких-то великосветских господ и рассказываете, как они страдают от странных отношений. Тьфу мне на них! Знать я их не хочу! Если они и страдают — так с жиру собаки бесятся. И наконец: лжете вы

в них! Нет в них этого, потому что они неспособны на то ни по уму, ни по развитию, ни по натуришке, которая давно выродилась; а страдают, может быть, от дурного пищеварения или оттого, что нельзя ли где захватить и цапнуть денег, или перепихнуть каким бы то ни было путем мужа в генералы, а вы им навязываете тонкие страдания!

На последних словах с Зыковым сделался опять сильнейший припадок кашля, так что все лицо его побагровело.

Жена, побледнев, подошла и крепко сжала ему голову, чтоб хоть сколько-нибудь облегчить припадок.

— Перестань ты сердиться! Ей-богу, скажу доктору,— произнесла она с укоризною.— Не верьте ему, Яков Васильич, повесть ваша понравилась и ему, и мне, и всем,— прибавила она Калиновичу, который то бледнел, то краснел и сидел, кусая губы.

— Очень вам благодарен! — отвечал он и обратился к Зыкову.

— Что ж, ты меня укоряешь только за среду, которую я выбрал и которую ты почему-то не любишь,— за это только?

— Нет, не за одно это,— отвечал больной с упорством,— во-первых, мысль чужая, взята из «Жака».

Калинович покраснел.

— Выразилась она далеко не в живых лицах, далеко!..— продолжал Зыков.— А я вот теперь, умирая, сохраняю твердое убеждение, что художник даже думает образами. Смотри, у Пушкина в чисто лирических его движениях: «В час незабвенный, в час печальный я долго плакал пред тобой» — образ! «Мои хладеющие руки тебя старались удержать» — еще образ! «Но ты от горького лобзанья свои уста оторвала» — опять образ! Или, наконец, бог с ней, с объективностью! Давай мне лиризм — только настоящий, не деланный, а как у моего бесценного Тургенева, который, зайдет ли в лес, спустится ли в овраг к мальчишкам, спишет ли тебе бретера-офицера,— под всем лежит поэтическое чувство. А с одной, брат, рассудочной способностью, пожалуй, можно сделаться юристом, администратором, ученым, но никак не поэтом и не романистом — никак!

Калинович ничего уж не возражал, но хозяйка опять заступилась за него.

— Как же ты говоришь так решительно? Яков Васильич написал одну вещь — и ты уж произносишь свой суд, а он напишет еще — и ты станешь думать другое, и это наверное будет! — сказала она мужу.

Зыков всплеснул руками.

— Господи боже мой! — воскликнул он.— Неужели ты думаешь, что если б я не ставил его бог знает как высоко, моего умницу, так я бы стал говорить? Неужели ты хочешь, чтоб он был каким-нибудь Дубовским, которому вымарают целую часть, а он скажет очень спокойно, что это ничего, и напишет другую... Наконец, черт с ней, с этой литературой! Она только губит людей. Вот оно, чего я достиг с ней: пусто тут, каверны, и ему чтоб того же с ней добиться...— заключил Зыков, колотя себя в грудь и закрывая в каком-то отчаянии глаза.

Бедная жена отвернулась и потихоньку отерла слезы. Калинович сидел, потупившись.

— Вот у меня теперь сынишко, и предсмертное мое заклятье его матери: пусть он будет солдатом, барабанщиком, целовальником, квартальным, но не писателем, не писателем...— заключил больной сиповатым голосом.

Калинович и хозяйка молча переглянулись между собою.

— Вы все в провинции жили? — спросила та.

— Да,— отвечал Калинович.

— И не женились там?

— Нет.

— Там, я думаю, много хорошеньких,— прибавила с улыбкою молодая дама.

— Нет,— отвечал Калинович, слегка вздохнув, и беседа их продолжалась еще некоторое время в том же несколько натянутом тоне. Зыков, наконец, открыл глаза. Калинович воспользовался этим и, будто взглянув нечаянно на часы, проворно встал.

— Прощай, однако,— проговорил он.

Больной обратил на него тоскливый взгляд.

— Куда же ты? Посиди,— сказал он.

— Нет, нужно: в театр хочу зайти, не бывал еще,— отвечал Калинович.

Зыков привстал.

— Ну, прощай, коли так; бог с тобой!.. Поцелуй, однако, меня,— сказал он, силясь своей слабой и холодной рукой сжать покрепче руку Калиновича.

Тот поцеловал его.

— Во всяком случае, любезный друг,— начал он,— хоть ты и не признаешь во мне дарования, но так как у меня написана уж повесть, то я не желал бы совершенно потерять мой труд и просил бы тебя напечатать ее и вообще пристроить меня на какую-нибудь постоянную при журнале работу, в чем я крайне нуждаюсь по моим обстоятельствам.

— Хорошо, хорошо... устроим, только повестей уж больше не пиши,— отвечал с улыбкою Зыков.

— Не буду, не буду,— отвечал в свою очередь Калинович тоже с улыбкою.

Хозяйка пошла его проводить и, поставив опять сынишку к стулу, вышла за ним в переднюю.

— Пожалуйста, не сердитесь на него: видите, в каком он раздраженном состоянии и как ужасно болен! — сказала она.

— Что это, полноте! — подхватил Калинович.— Но что такое с ним и давно ли это?

— Решительно от этих проклятых занятий и корректур: день и ночь работал,— отвечала Зыкова, и по щекам ее текли слезы уже обильным ручьем.

— Видно, и в самом деле лучше отказаться от литературы,— проговорил, покачав головой, Калинович.

— Гораздо лучше! — подхватила Зыкова и сама заперла за ним дверь.

Герой мой должен был употребить над собой страшное усилие, чтоб выдержать предыдущую сцену. Силу его душевной горечи понять может только тот, кто знает, что такое авторское самолюбие и, как бы камень с неба, упавшее на вас разочарование: шесть лет питаемой надежды, единственно путеводной звезды для устройства карьеры как не бывало! Получив когда-то в уездном городке обратно свою повесть, он имел тысячу прав отнести это к несправедливости, к невежеству редакции; но теперь было не то: Калинович слишком хорошо знал Зыкова и никак уж не мог утешить себя предположением, что тот говорит это по зависти или по непониманию. Кроме того, как человек умный, он хоть смутно, но понимал свои творческие средства. Устами приятеля как бы говорило ему его собственное сознание. Он очень хорошо знал, что в нем нет художника, нет того божьего огня, который заставляет работать неизвестно зачем и для чего, а потому

только, что в этом труде все счастье и блаженство. Он взялся за литературу, как за видное и выгодное занятие. Он думал обмануть публику, но вот один из передовых ее людей понял это, а может быть, понимают также и сотни еще других, а за ними поймет, наконец, толпа! И, боже, сколько проклятий произнес герой мой самому себе за свои глупые, студентские надежды, проклятий этой литературе с ее редакторами, Дубовскими и Зыковыми. «Служить надобно!» — решил он мысленно и прошел в театр, чтоб не быть только дома, где угрожала ему Амальхен. У кассы, сверх всякого ожидания, ему встретился Белавин. Калинович некоторое время недоумевал, поклониться с ним или нет, однако тот, сам заметив его, очень приветливо протянул ему руку и проговорил:

— Здравствуйте, Калинович. Вы тоже в театр?

— Да,— отвечал он.

Взяв два билета рядом, они вошли в залу. Ближайшим их соседом оказался молоденький студент с славными, густыми волосами, закинутыми назад, и вообще очень красивый собой, но с таким глубокомысленным и мрачным выражением на все смотревший, что невольно заставлял себя заметить.

Калинович тоже был в такой степени бледен и расстроен, что Белавин спросил его:

— Что с вами? Здоровы ли вы?

— Не очень... пришел сюда уж рассеяться... Сегодня, кажется, драма? — отвечал он, чтоб сказать что-нибудь.

— «Отелло»,— подхватил Белавин.— Не знаю, как в этот раз, а иногда прелесть что бывает! Главное, меня публика восхищает — до наивности мила: чем восхищается и что ее трогает...

— Да,— произнес односложно Калинович, решительно бывший под влиянием какого-то столбняка.

— Удивительно! — подтвердил Белавин.

Студент, слушавший их внимательно, при этих словах как-то еще мрачней взглянул на них. Занавес между тем поднялся, и кто не помнит, как выходил обыкновенно Каратыгин на сцену? В «Отелло» в совет сенаторов он влетел уж действительно черным вороном, способным заклевать не только одну голубку, но, я думаю, целое стадо гусей. В райке и креслах захлопали.

— Что ж это такое? — произнес тихо Белавин, потупляя глаза.

Калинович, ничего почти не видевший, что происходило на сцене, отвечал ему из приличия улыбкой. Студент опять на них посмотрел.

— Не хорошо-с, не хорошо!..— повторил Белавин.

— Отчего ж не хорошо? — отнесся вдруг к нему студент с разгоревшимися глазами.

— Оттого не хорошо, что не по-человечески говорит, не по-человечески ходит: очень уж величественно! — отвечал с улыбкою, но довольно вежливо Белавин.

— Это он делает как полководец, который привык водить войска на поле битвы, это, я полагаю, исторически верно,— сказал студент, пожимая плечами.

— Даже великолепное звание полководца не дает ему на то права,—возразил Белавин.—Величие в Отелло могло являться в известные минуты, вследствие известных нравственных настроений, и он уж никак не принадлежал к тем господам, которые, один раз навсегда создав себе великолепную позу, ходят в ней: с ней обедают, с ней гуляют, с ней, я думаю, и спят.

Проговоря это, Белавин взглянул значительно на Калиновича. В продолжение всего действия, когда, после сильных криков трагика, раздавались аплодисменты, оба они или делали гримасы, или потупляли глаза. С концом акта занавес упал. Белавин, видимо утомленный скукою, встал и взял себя за голову.

— Двадцать пять лет,— начал он с досадою и обращаясь к Калиновичу,— этот господин держит репертуар и хоть бы одно задушевное слово сказал! Крики и крики — и больше ничего! Хорош, мне рассказывали, способ создания у него ролей: берется, например, какая-нибудь из них, и положим, что в ней пятьсот двадцать два различных ощущения. Все они от йоты до йоты запоминаются и потом, старательно подчеркнутые известными телодвижениями, являются на сцену. Сердит я на вас — я сейчас отворачиваюсь, машу на вас руками. Люблю я вас — я обращаю к вам глупо-нежное лицо, беру ваши руки, прижимаю их к сердцу. Устрашить хочу вас, и для этого выворачиваю глаза, хватаю вас за руки, жму так, что кости трещат,—и все это, конечно, без всякой последовательности в развитии страсти, а так, где вздумается, где больше восклицательных знаков наставлено, и потому можете судить, какой из всего этого выходит наипрелестнейший сумбур.

- Это, впрочем, собственно французская школа,— заметил Калинович, думая с насмешкою над самим собою: «Мне ли рассуждать об искусстве, когда я сам бездарнейший человек».

— Да,— возразил ему Белавин,— но дело в том, что там, как и во всяком старом искусстве, есть хорошие предания; там даже писатели, зная, например, что такие-то положения между лицами хорошо разыгрывались, непременно постараются их втиснуть в свои драмы. Точно так же и актер: он очень хорошо помнит, что такой-то господин поражал публику тем-то, такой-то тем-то, и все это старается, сколько возможно, усвоить себе, и таким образом выходит что-то такое сносное, в чем виден по крайней мере ум, сдержанность, приличие сценическое. А ведь уж тут ничего нет, ровно ничего, кроме рьяности здорового быка!..

Весь этот монолог Белавина студент прослушал, глазом не мигнувши.

— Мочалов в этом отношении гораздо выше,— заметил Калинович, опять чтоб что-нибудь сказать.

— Помилуйте, как же это возможно! — воскликнул Белавин.— Это лицедей, балетчик, а тот человек... Помилуйте: одно уж это осмысленное, прекрасное подвижное лицо, этот симпатичный голос... помилуйте!

— Говорят, напротив, Мочалов не имеет ни голоса, ни роста, — вмешался студент.

— Не знаю-с, какой это нужен голос и рост; может быть, какой-нибудь фельдфебельский или тамбурмажорский; но если я вижу перед собой человека, который в равносильном душевном настроении с Гамлетом, я смело заключаю, что это великий человек и актер! — возразил уж с некоторою досадою Белавин и опустился в кресло.

Занавес поднялся. К концу акта он снова обратился к Калиновичу:

— Заметьте, что этот господин одну только черту выражает в Отелло, которой, впрочем, в том нет: это кровожадность,— а? Как вам покажется? Эта страстная, нервная и нежная натура у него выходит только мясником; он только и помнит, что «крови, крови жажду я!» Это черт знает что такое!

Проговоря это, Белавин встал.

— Выйдемте! — сказал он Калиновичу, мотнув головою.

Тот молча последовал за ним. Они вошли в фойе, куда, как известно, собирается по большей части публика бельэтажа и первых рядов кресел. Здесь одно обстоятельство еще более подняло в глазах Калиновича его нового знакомого. На первых же шагах им встретился генерал.

— Славно играет! — отнесся он к Белавину, заметно желая знать его мнение.

— Да, воинственного много! — отвечал тот с двусмысленною улыбкою.

— Да,— подтвердил генерал и прошел.

Далее потом их нагнал строгой наружности седой господин, со звездой на фраке.

— Здравствуйте, Петр Сергеич,— проговорил он почти искательным тоном.

— Здравствуйте,— отвечал, проходя и весьма фамильярно, Белавин.

Одна из попавшихся ему навстречу дам обратилась к нему почти с умоляющим голосом:

— Когда ж вы, cher ami, ко мне приедете!

— Сегодня же, графиня, сегодня же,— отвечал он ей с улыбкой.

— Пожалуйста,— повторила графиня и ушла.

Не было никакого сомнения, что Белавин жил в самом высшем кругу и имел там вес.

«Нельзя ли его как-нибудь поинтриговать для службы!» — подумал Калинович и с каким-то чувством отчаяния прямо приступил.

— Я приехал сюда заниматься литературой, а приходится, кажется, служить,— проговорил он.

— Что ж так? — спросил Белавин.

Калинович пожал плечами.

— Потому что все это,— начал он,— сосредоточилось теперь в журналах и в руках у редакторов, на которых человеку без состояния вряд ли можно положиться, потому что они не только что не очень щедро, но даже, говорят, не всегда верно и честно платят.

— Говорят, что так... говорят! — подхватил Белавин и грустно покачал головой.

— Если же стать прямо лицом к лицу с публикой, так мы сейчас видели, как много в ней смысла и понимания.

— Немного-с, немного!..— подтвердил Белавин.

— И наконец,— продолжал Калинович,— во мне самом, как писателе, вовсе нет этой обезьянской, актерской

способности, чтоб передразнивать различных господ и выдавать их за типы. У меня один смысл во всем, что я мог бы писать: это — мысль; но ее-то именно проводить и нельзя!

— Какая тут мысль! Бессмыслие нам надобно!..— воскликнул Белавин.

— И выходит, что надобно служить,— заключил Калинович с улыбкою.

Белавин сначала взмахнул глазами на потолок, потом опустил их.

— В государстве, где все служит, конечно, уж удобнее и приятнее служить... конечно! — произнес он, и некоторое время продолжалось молчание.

— Но для меня и в этом случае затруднение,— начал опять Калинович,— потому что решительно не знаю, как приняться за это.

— Что ж? — возразил Белавин с ударением.— Это дорога торная: толцыте, и отверзется всякому!

— Но все-таки для начала нужна хоть маленькая протекция,— перебил Калинович и остановился, ожидая, что не вызовется ли в этом случае Белавин помочь ему.

Но тот молчал.

— У меня только и есть письмо к директору,— продолжал Калинович, называя фамилию директора,— но что это за человек?..— прибавил он, пожимая плечами.

— Человек, говорят, хороший,— проговорил, наконец, Белавин с полуулыбкою и бог знает что разумея под этими словами.

— Но когда его можно застать, я даже и того не знаю,— спросил Калинович.

— Я думаю, поутру, часов до двенадцати, когда он бывает еще начальником, а после этого часа он обыкновенно делается сам ничтожнейшим рабом, которого бранят, и потому поутру лучше,— отвечал Белавин явно уж насмешливым и даже неприязненным тоном.

Калинович счел за лучшее переменить предмет разговора.

— Вероятно, скоро начнут,— сказал он.

— Да, но я ухожу... Пожалуйста, посетите меня. Я живу на Невском, в доме Энгельгарда,— проговорил Белавин и уехал.

Калинович сошел в кресла. Там к нему сейчас же обратился с вопросами студент.

— Как фамилия вашего знакомого?

— Белавин.

— А ваша?

— Калинович,— отвечал он, ожидая, что тот спросит, не автор ли он известной повести «Странные отношения», но студент не спросил.

«Даже этот мальчишка не знает, что я сочинитель»,— подумал Калинович и уехал из театра. Возвратившись домой и улегшись в постель, он до самого почти рассвета твердил себе мысленно: «Служить, решительно служить», между тем как приговор Зыкова, что в нем нет художника, продолжал обливать страшным, мучительным ядом его сердце.

## IV

Несмотря на твердое намерение начать службу, Калинович, однако, около недели медлил идти представиться директору. Петербург уж начинал ему давать себя окончательно чувствовать, и хоть он не знал его еще с бюрократической стороны, но уж заранее предчувствовал недоброе. Робко и нерешительно пошел он, наконец, одним утром и далеко не той смелою рукою, как у редактора, дернул за звонок перед директорской квартирой. Дверь ему отворил курьер.

— Я имею письмо...— скромно проговорил Калинович.

— К генералу? — спросил курьер.

— Да, к генералу,— отвечал не вдруг Калинович, еще не знавший, что в Петербурге и статских особ четвертого класса зовут генералами.

Курьер, указав ему на залу, пошел сам на цыпочках в кабинет.

Калинович вошел и стал осматривать.

Зала была оклеена какими-то удивительно приятного цвета обоями; в углу стоял мраморный камин с бронзовыми украшениями и с своими обычными принадлежностями, у которых ручки были позолочены. Через тяжелую драпировку виднелось, что в гостиной была поставлена целая роща кактусов, бананов, олеандров, и все они затейливо осеняли стоявшую промеж них разнообразнейших форм мебель. У директора была квартира казенная и на казенный счет меблируемая.

Кроме Калиновича, в зале находились и другие лица; это были: незначительной, но довольно приятной наружности молодой чиновник в вицмундире, застегнутом на все пуговицы, и с портфелью в руках. Ближе к кабинету ходил другой молодой человек, тоже в вицмундире, с тонкими, но сонными чертами лица и с двойным лорнетом на носу. Как бы в доказательство небольшого уважения к тому месту, где был, он насвистывал, впрочем негромко, арию из «Лючии». Собственно просителей составляли: молодая дама с прекрасными карими глазами, но лицом страдальчески худым и с пересохшими губами. На ней было перекрашенное платье, дешевая шляпка и поношенные перчатки. Несмотря на бедность этого костюма, в нем заметно было присутствие некоторого вкуса: видно было, что эта женщина умела одеваться и когда-то иначе одевалась. Невдалеке от нее помещался плешивый старичок, один из тех петербургско-чухонских типов, которые своей наружностью ясно говорят, что они никогда не были умны, ни красивы и никаких никогда возвышенных чувств не имели, а так — черт знает с чем прожили на свете — разве только с тем, что поведения были трезвого. Несмотря на свою мизерность, старичишка был одет щепетильно чисто. Вдали от прочих, в строго официальной форме, стоял другой господин, в потертом девятого класса мундире, при шпаге и со шляпою под мышкой; по неприятным желтого цвета глазам, по вздернутым ноздрям маленького носа и по какой-то кислой улыбке легко можно было заключить о раздражительности его темперамента.

Прошло около получаса в ожидании. Молодой человек, с лорнеткой в глазу, начал уж зевать.

— Скоро Лёв Николаич выйдет? — спросил он другого чиновника.

— Я думаю, что скоро, ваше сиятельство,— отвечал тот с некоторым почтением.

Молодой человек опять начал ходить и насвистывать.

Наконец, из гостиной появилась лет десяти девочка, перетянутая, в накрахмаленных, коротеньких юбочках и с голыми, по шотландской моде, икрами.

— Здравствуйте, душенька! — проговорил ей скромный молодой чиновник.

Она сделала ему книксен и, заметно кокетничая, прошла в кабинет папаши, вероятно, затем, чтоб поздравить

его с добрым утром, и, выйдя оттуда, уже радостно пробежала назад, держа в руках красивую корзинку с конфектами.

Вслед за ней вышел и сам папаша. Это был худой и высокий мужчина с выдавшеюся вперед, как у обезьян, нижнею челюстью, в щеголеватом вицмундире и со звездой на правой стороне. При появлении его все подтянулись.

— Pardon, comte[1],— заговорил он, быстро подходя и дружески здороваясь с молодым человеком.— Вот как занят делом — по горло! — прибавил он и показал рукой даже выше горла; но заявленные при этом случае, тщательно вычищенные, длинные ногти сильно заставляли подозревать, что не делами, а украшением своего бренного и высохшего тела был занят перед тем директор.

— Pardon; dans un moment je serai à vous. Ayez la bonté d'entrer dans ma chambre. Pardon![2]—повторил он.

Молодой человек фамильярно кивнул головой и ушел в кабинет. Директор обратил глаза на старика.

— Сделано ваше дело, сделано,— говорил он, подходя к нему и пожимая мозглявую его руку.

— Значит, ваше превосходительство, сегодня и получить можно? — спросил тот.

— Можете-с, и прокутить даже можете сегодня,— прибавил директор с веселостью, не совсем свойственною его наружности и сану.

Старик оскалился своим огромным ртом.

— Чего доброго, ваше превосходительство! Дело мое молодое; по пословице: «Седина в бороду, а бес в ребро». До свиданья, ваше превосходительство,— говорил он, униженно раскланиваясь.

— До свиданья,— повторил директор и еще раз пожал ему руку.

Старик ушел. Что-то вроде насмешливой гримасы промелькнуло на лице чиновника в мундире. Директор между тем вежливо, но серьезно пригласил движением руки даму отойти с ним подальше к окну. Та подошла и начала говорить тихо: видно было, что слова у ней

---

[1] Извините, граф, *(франц.)*

[2] Извините; через минуту я буду к вашим услугам. Пройдите, пожалуйста, в мой кабинет. Извините! *(франц.)*

прерывались в горле и дыхание захватывало: «Mon mari... mes enfants...»[1] — слышалось Калиновичу. Директор, слушая ее, пожимал только плечами.

— Que puis-je faire, madame?[2] — воскликнул он и продолжал, прижимая даже руку к сердцу.— Если б ваш муж был мой сын, если б, наконец, я сам лично был в его положении — и в таком случае ничего бы не мог и не захотел сделать.

Смертная бледность покрыла лицо молодой дамы.

— У нас есть своя правда, своя юридическая совесть,— продолжал директор.— Между политическими преступниками есть благороднейшие люди; их участь оплакивают; но все-таки казнят, потому что юридически они виноваты.

Тупо и бессмысленно взглянула на него при этих словах бедная женщина.

— Муж мой, генерал, не преступник: он служил честно,— произнесла она уже с негодованием.

— Que faire! Он болен целый год, а служба не больница и не богадельня. Je vous répète encore une fois, que je n'en puis rien faire[3],— заключил директор и, спокойно отвернувшись, не взглянул даже, с каким страдальческим выражением и почти шатаясь пошла просительница.

«Господин не из чувствительных!» — подумал про себя Калинович, между тем как директор прямо подошел к нему и взглянул вопросительно.

— Титулярный советник Калинович! — произнес он.

— А, да! Attendez un peu[4],— проговорил довольно благосклонно директор и потом, обратившись к господину в мундире и приняв совершенно уже строгий, начальнический тон, спросил:

— Вам что?

— За что я погибать должон, то желаю знать, ваше превосходительство? — произнес тот, тщетно стараясь придать своему голосу просительское выражение.

Директор сделал презрительную гримасу.

— Дело ваше еще не рассмотрено, следовательно, я

---

[1] Мой муж... дети... *(франц.)*

[2] Что же я могу сделать, сударыня? *(франц.)*

[3] Что делать!.. Я повторяю вам еще раз, что ничего сделать не могу, *(франц.)*

[4] Подождите немного, *(франц.)*

ничего не знаю и ничего не могу вам сказать,— проговорил он скороговоркой и, быстро повернувшись спиной, ушел в кабинет.

Аспидом посмотрел ему вслед чиновник; но потом потупился ненадолго и, как бы нечто придумав, подошел хитрой и лукавой походкой к молодому чиновнику с портфелью.

— Я, кажется, имею удовольствие говорить с господином Макреевым? — проговорил он.

— Точно так,— отвечал тот вежливо.

— Стало быть, дело о Забокове в вашем столе по производству?

— Да, у меня.

— Я самый этот несчастный Забоков и есть,— продолжал чиновник,— и потому позвольте хоть с вами иметь объяснение — сделайте божескую милость!..— прибавил он, сколько мог, просительским тоном.

— Сделайте одолжение,— отвечал с прежнею вежливостью молодой чиновник.

— Господин начальник губернии теперь пишет,— начал Забоков, выкладывая по пальцам,— что я человек пьяный и характера буйного; но, делая извет этот, его превосходительство, вероятно, изволили забыть, что каждый раз при проезде их по губернии я пользовался счастьем принимать их в своем доме и удостоен даже был чести иметь их восприемником своего младшего сына; значит, если я доподлинно человек такой дурной нравственности, то каким же манером господин начальник губернии мог приближать меня к своей персоне на такую дистанцию?

— Да-с; но это очень мало идет к делу,— возразил было очень скромно столоначальник.

— Как мало идет к делу? Позвольте! — возразил уже с своей стороны запальчиво чиновник.— Еще теперь господин начальник губернии пишет, якобы я к службе нерадив и к корыстолюбию склонен... Позвольте!.. Но по какому же теперь случаю он нерадивого и корыстолюбивого чиновника держал шесть лет на службе? Мало того; после каждой ревизии нерадивому чиновнику делана была благодарность, что и было опубликовано в указах губернского правления тысяча восемьсот тридцать девятого, сорокового и сорок первого годов, а в тысяча восемьсот сорок втором году я награжден был по их представлению

орденом св. Анны третьей степени... Значит, и это нейдет к делу? — заключил он, злобно осклабляясь.

— Но что ж, если б это и шло к делу, что из этого следует? — спросил заметно начинавший сбиваться молодой столоначальник.

— В законе указано, что̀ следует за лживые по службе донесения,— отвечал ему определительно Забоков.— Дела моего,— продолжал он,— я не оставлю; высочайшего правосудия буду ходатайствовать, потому что само министерство наделало тут ошибок в своих распоряжениях.

— Какие же это могли быть ошибки? — спросил молодой человек, старавшийся насмешливо улыбнуться.

— Ошибки такого рода,— отвечал, не изменяя тона, Забоков,— я теперь удален от должности, предан суду. Дело мое, по обсуждении в уголовной палате, поступило на решение правительствующего сената, и вдруг теперь министерство делает распоряжение о производстве нового обо мне исследования и подвергает меня казематному заключению... На каком это основании сделано? — позво̀льте вас спросить.

— Это сделано, сколько я помню, на основании нового представления начальника губернии,— возразил столоначальник.

Уездный юрист ядовито усмехнулся.

— Нет-с, позвольте! Этого нельзя было сделать,— начал он,— новое представление начальника губернии долженствовало быть передано в правительствующий сенат для общего обсуждения — только-с, да! И если б уже он, по высочайше дарованной ему власти, нашел нужным обследовать его, тогда министерство приводи в исполнение и, по требованию его, сажай меня хоть в кандалы; но само оно не могло этого сделать, ибо покрывалось высшею властью сената... По крайней мере так сказано в законах и так бывало в старину, а нынче не знаю-с!

— Прекрасно! — воскликнул молодой столоначальник, продолжая притворно улыбаться.— Вы бы теперь убили человека и стали бы требовать, чтоб обстоятельство это передано было к соображению с каким-нибудь производящимся о вас делом?

— Ой, нет-с, нет! Не так изволите толковать. Когда бы я убил человека, я бы, значит, сделал преступление, влекущее за собой лишение всех прав состояния, а

в делах такого рода полиция действительно действует по горячим следам, невзирая ни на какое лицо: фельдмаршал я или подсудимый чиновник — ей все равно; а мои, милостивый государь, обвинения чисто чиновничьи; значит, они прямо следовали к общему обсуждению с таковыми же, о которых уже и производится дело. Законы, я полагаю, пишутся для всех одинакие, и мы тоже их мало-мальски знаем: я вот тоже поседел и оплешивел на царской службе, так пора кое-что мараковать; но как собственно объяснял я и в докладной записке господину министру, что все мое несчастье единственно происходит по близкому знакомству господина начальника губернии с госпожою Марковой, каковое привести в законную ясность я и ходатайствовал перед правительством неоднократно, и почему мое домогательство оставлено втуне — я неизвестен.

— Какую-то госпожу Маркову приплели! — проговорил молодой столоначальник, улыбаясь и потупляя глаза.

— Да-с, Маркову, именно! — подтвердил Забоков.— Вы вот смеяться изволите, а, может быть, через ее не я один, ничтожный червь, а вся губерния страдает. Правительству давно бы следовало обратить внимание на это обстоятельство. Любовь сильна: она и не такие умы, как у нашего начальника, ослепляет и уклоняет их от справедливости, в законах предписанной.

Молодой столоначальник еще более потупился. Подобное прямое и откровенное объяснение, по его мнению, совершенно уже выходило из пределов службы.

— Не по вине моей какой-нибудь,— продолжал он,— погибаю я, а что место мое надобно было заменить господином Синицким, ее родным братом, равно как и до сих пор еще вакантная должность бахтинского городничего исправляется другим ее родственником, о котором уже и производится дело по случаю учиненного смертоубийства его крепостною девкою над собственным своим ребенком, которого она бросила в колодезь; но им это было скрыто, потому что девка эта была его любовница.

Молодой столоначальник двусмысленно улыбнулся.

— Все это, сами согласитесь...— начал было он, но в это время в кабинете послышался звонок, и проворно пробежал туда из лакейской курьер.

— Готов доклад о графе? — спросил он, выходя.

— Готов,— отвечал торопливо столоначальник.

— Пожалуйте,— сказал курьер.

Столоначальник, схватив портфель, бросился в кабинет, и ему вслед посмотрел злобно уездный чиновник.

— Коли маленький человек,— начал он с ядовитой улыбкой и обращаясь некоторым образом к Калиновичу,— так и погибать надобно, а что старшие делают, того и слушать не хотят — да! Начальника теперь присылают: миллион людей у него во власти и хотя бы маломальски дело понимать мог, так и за то бы бога благодарили, а то приедет, на первых-то порах тоже, словно степной конь, начнет лягаться да брыкаться: «Я-ста, говорит, справедливости ищу»; а смотришь, много через полгода, эту справедливость такой же наш брат, суконное рыло, правитель канцелярии, оседлает, да и ездит... И у всех одно правило: «Нам дай, а сам не смей!» Да где я возьму? Из коленка, что ли, выломлю! А коли этого нет, так нынче вон молодых да здоровых начали присылать: так, где-нибудь в Троицкой улице, барыню заведет, да еще и не одну, а, как турецкий паша, двух либо трех, и коленопреклонствуй перед ними вся губерния,— да! А все только мы, маленькие чиновники, виноваты. Эко ты, господи боже мой! — заключил Забоков, пожимая от удивления плечами, а потом, обратившись к Калиновичу, присовокупил:

— А вы, сударь, здесь изволите продолжать службу, или...

— Да, я, вероятно, буду здесь служить,— отвечал тот.

— И доброе дело-с; дай бог вам счастья! А что в наших глухих местах служить, так марать себя надо молодому человеку. Я имею на то собственный пример. Старший сын мой, мальчик, не хвастаясь сказать, прекрасный, умный; кончил курс в Демидовском лицее первым студентом, ну и поступил было в чиновники особых поручений — шаг хороший бы, кажется, для молодого человека, как бы дело в порядке шло, а то, при его-то неопытности, в начальники попался человек заносчивый, строптивый. Как приехал в губернию, не оглядясь, не осмотрясь, бац в Петербург донесение, что все скверно и мерзко нашел; выслужиться, знаете, хотелось поскорей: «Вот-де я какой молодец; давай мне за это чинов и крестов!..» Однако ж там фактов потребовали. Вот он навербовал этой молодежи, да и разослал по губернии и — батюшки мои! — слышим мы, ездят они, куролесят. Я своему и пишу:

«Слушай, говорю, Александр, на словах начальнику — что хочешь, в угоду ему, ври, а на бумаге держись крепче закона». Так ведь где тут-с! Отвечает: «Наш, говорит, папенька, начальник с таким весом и направлением, что может не стесняться законами!» Изволите видеть, умней законов уж они стали! А на поверку вышло, что умника ихнего, за резкость в распоряжениях, перевели в другое место; а они и остались, как рак на мели. Другой приехал уж с другой фанаберией: человек в летах, семейный, нуждающийся; молодежь, значит, была ему не под руку, стали надобны люди поопытней, чтоб знали тоже, где и как оброчную статейку обделать. Призвал он к себе наших голубчиков и самым деликатным манером: «Рассмотреть, говорит, по делам их действия!», а там, смотришь, и оказывается: где превышение власти, где голословное обвинение, где односторонность в направлении дела. «Нет, говорит, господа, так служить нельзя!» — да и упрятал двоих в уголовную; а моему в отставку велел подать. «Что, я говорю, Александр, много напрыгали? Себя-то погубили, добра-то не наделали, а противозаконного тоже много совершили,— да!»

— Во всяком случае гораздо благороднее подобным образом пострадать на службе, чем быть выгнану за взятки! — произнес с гримасою Калинович.

— Что, сударь, взятки! — возразил Забоков.— Кто их нынче не берет? Хоть бы взять тоже тех же молодых людей: стали их нынче по судебным местам посылать, и, признаться сказать, неприятно даже видеть. Прежде, бывало, председатель сидит за зерцалом: старец маститый, орденами и сединами украшенный; а нынче, что это, боже ты мой! Торчит какой-нибудь, словно сосулька: молодо, худо, вертовато!.. Взяток, говорят, не берут; а копни-ка поглубже, так сейчас и увидишь, что судится, например, один помещик с другим; дело одного правое, а гнут его, смотришь, в пользу другого. Отчего это? Оттого, что у этого другого бывают балы да обеды с шампанским, с портерком да с коньячком, али не то, так жена — женщина молодая да умная, по-французски молодых людей заговаривать ловкая — да! Значит, то же на то и вышло: тех же щей, лишь пожиже влей; забывая то, что по присяжному листу мы клянемся не кривить душой: ни по корысти, ни по свойству, ни по родству, ни по дружбе. Перед богом все равна несправедливость, а то

уж будто только одни деньги и взятки! Взяток на многие фасоны много, и без них быть не может в мире.

— Однако за границей нет же взяток?

— Как нет взяток? Не может быть! — возразил Забоков.— Не может, сударь, быть! — повторил он утвердительно.— Где есть люди, там есть и взятки. Теперь вот ваш Петербург хвастает: «У нас, говорит, чиновники облагороженные»; ну, и, по-видимому, кажись бы, так следовало, кабы, кажется, и я в этаких палатах жил,— продолжал Забоков, оглядывая комнату,— так и я бы дворянскую честь больше наблюдал, и у меня, может быть, руки не были бы в сале замараны, хоть и за масло держался; но что ж на поверку выходит? Его превосходительство теперь нам с вами головкой не мотнул, а старичонке этому — поставщик он, выходит, на отопление, освещение и канцелярские принадлежности — ему руку подал... И как прикажете понимать это — оракул и молчит. Хоть и далеко, сударь, живем, а про здешние порядки тоже слыхали. Не отсюда бы к нам посылать ревизовать, а нас бы сюда, так кое-что раскопали бы... Другую особу возведут тоже высоко, а тут-то, на грех, в верхнем апартаменте мало. Значит, надобно людей себе способных набирать; ну, а люди стали нынче тоже, ох, какие не дураки: коли он видит, что тебе нужен, так уж всю коку с соком выжмет из тебя, какая только ему следует... Смотришь, и доложат: служу-де я честно... в столицах жизнь дорога... нуждаюсь... ну, значит, экономические суммы, благо их много, и за бока... тысяч пять на серебро и отсчитают заимообразно, да! А по нашим вот местам губернатор тоже на одного станового поналегал да на ревизии двадцати целковых по книгам не досчитал, так в солдаты отдали: *казнограбитель* он, выходит! Али теперь, приедет земский чиновник в казенную деревню да поесть попросит, так и тем корят: «Вы, говорит, *мироеды*» — того не рассудя, что собака голодная на хороший чужой двор забежит, так и ту накормят — да!

Калиновичу, наконец, стало скучно слушать Забокова.

— Кто этот молодой человек, граф? Не знаете ли вы? — спросил он, чтоб переменить разговор.

Забоков усмехнулся и покачал головой.

— Это-с вице-директор новый,— отвечал он лукавым тоном.— Рода, сударь, он хорошего, нельзя, чтоб втуне пропадал для отечества. У него еще ни уса, ни бороды нет,

да и разуму, может, столько же, а ему дали место пятого класса да тысячи три, может быть, жалованья: он им за это бумажки три в неделю и подпишет,— да! А мы, маленькие чиновники, воротим год-то годенский, копны бумаги одной испишем, и все берем даром жалованье — что ты прикажешь делать? — воскликнул Забоков; но в это время дверь кабинета отворилась, и быстро прошел по зале новый вице-директор. В один момент уездный либерал замолчал и вытянулся в струнку.

— Генерал вас просит,— сказал вошедший потом столоначальник Калиновичу.

Тот вошел в кабинет, который оказался не менее редакторского кабинета и отличался только более строгим, чиновничьим порядком. Сам директор сидел за письменным столом.

— Присядьте,— проговорил он, поправляя крест на шее.

Калинович сел на край деревянного кресла.

— Voulez vous fumer? [1] —продолжал довольно любезно директор, предлагая ему сигару и зажигая даже огня.

При всем уменье владеть собой Калинович чувствовал, что начинает теряться: дрожащими руками взял он сигару и неловко закурил ее; директор тоже закурил и, кажется, приготовлялся говорить много и долго.

— Князь пишет,— начал он,— что вы желали бы служить в Петербурге.

— Я необходимо в том нуждаюсь, ваше превосходительство,— отвечал Калинович, привставая.

— Да,— произнес протяжно директор,— но дело в том, что я буду вам говорить то, что говорил уже десятку молодых людей, которые с такой же точно просьбой и не далее, как на этой неделе, являлись ко мне. Что за желание у всех вас, господа, служить именно в Петербурге? Смотрите вы, что из этого выходит: здесь мы не знаем, куда деваться с прекрасными, образованными молодыми людьми, между тем как в провинции служат люди, подобные вон этому выгнанному господину, которого вы видели и который, конечно, в службе, кроме взяток и кляуз, ничего не проводил. Как вам, молодому поколению, не совестно допускать это!

— Но какая же служба может быть в провинции? — скромно заметил Калинович.

---

[1] Хотите курить? *(франц.)*

— Всякая, какая вы хотите! — воскликнул директор.— Чего вы здесь достигнете? Помощника столоначальника, столоначальника, начальника отделения, наконец... Но ведь это, сами согласитесь, мелкий канцелярский труд, мертвое переложение мертвых бумаг, тогда как в провинции за что вы ни возьметесь: следственная, например, часть — не самая ли это живая, служебная струйка? Вы становитесь тут лицом к лицу с народом, узнаете его страсти, пороки, потребности... Или в судебном месте заняли вы должность какого-нибудь секретаря уголовной палаты и уже сразу разрешаете участь людей *вы*, исключительно, потому что члены, я знаю, они только подписывают. Помилуйте, как это?.. Провинция — это какая только может быть лучшая школа для службы...

— Перспективы нет, ваше превосходительство, в провинциальной службе,— проговорил Калинович.

— Напротив, гораздо больше, чем в столице! — возразил директор.— Здесь у вас тысяча шансов быть, как говорится, затерту в службе; но там, по вашему образованию, вы непременно служите на виду. Начальник губернии или там председатель какой-нибудь другого ведомства узнает вас, и так как не все же они кончают в провинции свою службу, но, большею частью, переходят сюда, он вас переводит с собой, как чиновника, ему известного и полезного, а вы в свою очередь являетесь уж человеком опытным и в жизни и в службе. Россию вы узнаете не по статистике, механизм управления изучите в самом его приложении, а это очень важно. Практические люди, умеющие не только думать, но и дело делать, очень в настоящее время нам нужны.

Калинович не находил ничего с своей стороны возразить на это и молчал.

— Всех вас, молодых людей, я очень хорошо знаю,— продолжал директор,— манит Петербург, с его изысканными удовольствиями; но поверьте, что, служа, вам будет некогда и не на что пользоваться этим; и, наконец, если б даже в этом случае требовалось некоторое самоотвержение, то посмотрите вы, господа, на англичан: они иногда целую жизнь работают в какой-нибудь отдаленной колонии с таким же удовольствием, как и в Лондоне; а мы не хотим каких-нибудь трех-четырех лет поскучать в провинции для видимой общей пользы! Подобный эгоизм, по-моему, непростителен. Но что я говорю?..

Даже и в смысле эгоизма надобно каждому бежать этого Петербурга за один его отвратительный климат, который отравляет и морит человека с каждым глотком воздуха.

«Ну, с этакими мраморными каминами я перенес бы петербургский климат»,— подумал Калинович.

— Меня, ваше превосходительство, более привлекают сюда мои обстоятельства, потому что я занимаюсь несколько литературой,— сказал он, думая тем поднять себя в глазах директора; но тот остался равнодушен, и даже как будто бы что-то вроде насмешливой улыбки промелькнуло на губах его.

— А! Вы занимаетесь литературой?.. Князь мне не писал об этом,— произнес он.

— Да, очень только немного,— отвечал Калинович, догадываясь, что выстрелил невпопад.

— Что ж вы пишете, прозой или стихами? — спросил директор.

— Прозой.

— В каком же роде?

— Я пишу повести,— отвечал Калинович, чувствуя, что все лицо его вспыхнуло.

— Повести? — повторил директор.— В таком случае, я полагаю, вам лучше бы исключительно заняться литературой. К чему ж вам служба? Она только будет мешать вашим поэтическим трудам,— произнес он.

Насмешка уже явно слышалась в его тоне.

— Мое литературное значение, ваше превосходительство, так ничтожно, что я готов пожертвовать им для службы,— поспешил объяснить Калинович.

— Да-а,— произнес протяжно директор и несколько времени думал, глядя на свои длинные ногти.

— Очень бы желал,— начал он, подняв голову,— сделать для князя приятное... Теперь у меня времени нет, но, пожалуйста, когда вы будете писать к нему, то скажите, что я по-прежнему его люблю и уважаю и недоволен только тем, что он нынче редко стал ездить в Петербург.

— Непременно-с,— подхватил Калинович, привставая.

— Да-а, пожалуйста! — повторил директор.— В отношении собственно вас могу только, если уж вам это непременно угодно, могу зачислить вас писцом без жалованья, и в то же время должен предуведомить, что более десяти молодых людей терпят у меня подобную участь и,

конечно, по старшинству времени, должны раньше вас получить назначение, если только выйдет какое-нибудь, но когда именно дойдет до вас очередь — не могу ничего сказать, ни обещать определительно.

Говоря последние слова, директор уже вставал.

Калинович тоже встал.

— Без жалованья, ваше превосходительство, я не могу служить,— произнес он.

Директор пожал плечами.

Калинович начал раскланиваться.

— Очень рад с вами познакомиться,— говорил директор, протягивая к нему руку и устремляя уж глаза на развернутую перед ним бумагу, и тем свидание это кончилось.

Медленно и с какой-то улыбкой ожесточения прошел герой мой мозаическими плитами выстланную лестницу. День был сумрачный, дождливый. Тяжелые облака висели почти над самыми трубами, с какими-то глупыми намокшими рожами сновали туда и сюда извозчики. Сердито и проворно шли пешеходы под зонтиками. Посредине улицы проезжали, завернувшись в рогожи, ломовые ребята, ни на кого и ни на что не обращая внимания. Точно неприступные и неприветливые замки, казалось Калиновичу, глядели своими огромными окнами пяти- и шестиэтажные домы.

— А! Вам хорошо там внутри! Голод и нужда к вам не достучатся! — шептал он, сжимая кулаки, и, сам не зная зачем, очутился на Аничкином мосту, где, опершись на чугунные перила, стал глядеть на Фонтанку. Там кипела деятельность: полоскали на плотах прачки белье; в нескольких местах поили лошадей; водовозы наливались водой; лодочник вез в ялике чиновника; к огромному дому таскали на тачках дикий камень сухопарые солдаты; двое чухонцев отпихивали шестом от моста огромную лайбу с дровами. Всему этому люду Калинович позавидовал.

«Каждый, кажется, мужик,— думал он,— способный, как животное, перетаскивать на своих плечах тяжесть, нужней для Петербурга, чем человек думающий, как будто бы ума уж здесь больше всего накопилось, тогда как в сущности одна только хитрость, коварство и терпение сюда пролезли. Справедливо сказано, что посреди этой, всюду кидающейся в глаза, неизящной роскоши, и,

наконец, при этой сотне объявленных увеселений, в которых вы наперед знаете, что намека на удовольствие не получите, посреди всего этого единственное впечатление, которое может вынесть человек мыслящий,— это отчаяние, безвыходное, безотрадное отчаяние. «Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate!»[1] написал бы я на въездных сюда воротах для честных бедняков!» — заключил он и пошел в свой нумер, почти не чувствуя, как брызгал ему в лицо дождик, заползал даже за галстук, и что новые полусапожки его промокли насквозь.

## V

Разбитая надежда на литературу и неудавшаяся попытка начать службу,— этих двух ударов, которыми оприветствовал Калиновича Петербург, было слишком достаточно, чтобы, соединившись с климатом, свалить его с ног: он заболел нервной горячкой, и первое время болезни, когда был почти в беспамятстве, ему было еще как-то легче, но с возвращением сознания душевное его состояние стало доходить по временам до пределов невыносимой тоски. Вместо комфортабельной жизни, вместо видного положения в обществе, знакомства с разными государственными людьми, которым нужен литератор, нужен ум, он лежал больной в мрачном, сыром нумере один-одинехонек. Чтобы иметь хоть кого-нибудь около себя, он принужден был нанять за дешевую плату неопрятного и оборванного лакея, который, тоже, видно, испытав неудачи в Петербурге, был мрачен и суров и находил какое-то особенное наслаждение не исполнять или не понимать того, что ему приказывали.

В своем мучительном уединении бедный герой мой, как нарочно, припоминал блаженное время своей болезни в уездном городке; еще с раннего утра обыкновенно являлся к нему Петр Михайлыч и придумывал всевозможные рассказы, чтоб только развлечь его; потом, уходя домой, говорил, как бы сквозь зубы: «После обеда, я думаю, Настя зайдет»,— и она действительно приходила; а теперь сотни прелестнейших женщин, может быть, проносятся в красивых экипажах мимо его квартиры, и хоть бы одна даже взглянула на его темные и грязные окна!

[1] Оставь надежду всяк сюда входящий! *(Данте, «Ад»)*

Чрез несколько дней, впрочем, из пятисот тысяч жителей нашлась одна добрая душа: это был сосед Калиновича, живший еще этажом выше его,— молодой немец, с толстыми ногами, простоватой физиономией и с какими-то необыкновенно добродушными вихрами по всей голове. Калинович еще прежде с ним познакомился, ходя иногда обедать за общий стол, и с первых же слов немец показался ему так глуп, что он не стал с ним и говорить. Несмотря на это, добрый юноша, услышав о болезни Калиновича, приотворил в одно утро осторожно дверь и, выставив одни только свои вихры, проговорил:

— Вы больны?

— Да, болен. Войдите,— отвечал Калинович слабым голосом.

Немец вошел.

— Может быть, я вас беспокою? — проговорил он, жеманно кланяясь.

— Нет; что ж? Я очень рад... Присядьте,— сказал Калинович, действительно довольный, что хоть какое-нибудь живое существо к нему зашло.

Немец церемонно сел и с непритворным участием начал на него смотреть.

— Вы служите где-нибудь? — спросил Калинович после минутного молчания.

— Да, служу в конторе Эйхмана, купеческой,— отвечал немец.

— Много получаете жалованья?

— Да, тысячу целковых получаю.

«Этакой болван получает тысячу целковых, а я ничего!» — подумал Калинович и не без зависти оглядел свеженький, чистенький костюм немца и его белейшую тонкого голландского полотна рубашку.

— Вы играете в карты? — спросил он.

— Да, играю,— отвечал немец.

— Поиграемте, и ходите, пожалуйста, ко мне: я со скуки не знаю, что делать.

— С удовольствием, если это вам приятно,— отвечал немец.

— А теперь вы свободны?

— Да; но сегодня праздник, свободный мой день: я желал бы прогуляться по Невскому.

— Ну, к черту Невский! Неужели он вам не надоел? Сядемте теперь.

— Хорошо,— отвечал немец, хоть теперь, кажется, вовсе ему не хотелось играть.

— Подай стол и карты! — сказал Калинович лакею. Тот стол подал и ушел в свою конуру.

— Карты, болван! — крикнул Калинович.

Лакей показался.

— Я не знаю, где карты-с,— произнес он.

— В столе, скотина, животное! — говорил, почти плача от досады, больной.

Лакей, сердито посмотрев на него и отыскав, наконец, карты, грубо их подал.

— Все эти дни, не зная, куда от тоски деваться, я уж гранпасьянс раскладывал,— продолжал Калинович с горькой усмешкой.

— Как это жалко! — произнес немец, и когда начали играть, оказался очень плохим мастером этого дела. С первой игры Калинович начал без церемонии браниться; ставя ремиз, он говорил: «Так нельзя играть; это значит подсиживать!.. У вас все приемные листы, а вы пасуете».

— Ах, да... виноват... да! — сознавался немец простодушно и уж вслед затем объявлял такую игру, что оставался без трех и без четырех.

Калинович пожимал плечами.

— Вы играете решительно, как полоумный! — говорил он с улыбкою презрения.

— Ах, да! Это я дурно сыграл...— соглашался и с этим партнер.

Таким образом они сыграли пульки три. Часу в восьмом немец хотел уйти.

— Куда ж вы? — спросил Калинович.

— Мне нужно; я желаю быть в одном доме в гостях,— отвечал тот с улыбкою.

— Полноте, не ходите: а то что ж я буду делать?.. Это ужасно!.. Не ходите.

— Извольте,— отвечал покорно немец, и таким образом они играли часов до двух ночи.

В следующие затем дни Калинович, пользуясь своей способностью властвовать, завладел окончательно соседом. Едва только являлся тот со службы и успевал отобедать, он зазывал его к себе и сажал играть. Немец немилосердно потел в жарко натопленной комнате, употреблял всевозможные усилия, чтоб не зевать; но уйти

не смел, и только уж впоследствии участь его несколько улучшилась; узнав, что он любит выпить, Калинович иногда посылал для него бутылки по две пива; но немец и тем конфузился. Начиная наливать третий или четвертый стакан, он обыкновенно говорил: «Я вас не беспокою этим?» Такого дурного тона щепетильность возмущала Калиновича.

— Пейте, пожалуйста...Что ж это такое?..— говорил он с досадой.

Наглотавшись пива, немец, обыкновенно, начинал играть еще глупее и почти каждый раз оставался в проигрыше рубля по три, по четыре серебром. Калиновича сначала это занимало, хотя, конечно, он привязался к игре больше потому, что она не давала ему времени предаваться печальным и тяжелым мыслям; но, с другой стороны, оставаясь постоянно в выигрыше, он все-таки кое-что приобретал и тем несколько успокаивал свои практические стремления. Чрез месяц, однако, ему и карты надоели, а немец своей простотой и неразвитостью стал, наконец, невыносим. Напрасно Калинович, чтоб что-нибудь из него выжать, принимался говорить с ним о Германии, о ее образовании, о значении в политическом мире: немец решительно ничего не понимал. В каком-то детском, созерцательном состоянии жил он в божьем мире, а между тем, что всего более бесило Калиновича, был счастлив. У него было несколько, таких же, вероятно, тупоголовых, немцев-приятелей; в продолжение целого лета они каждый праздник или ездили за рыбой, брали тони и напивались там пьяны, или катались верхом по дачам. Кроме того, у немца было несколько родственных и семейных домов, куда он ходил на вечера, и на другой день всегда оставался очень этим доволен.

— Что ж вы там делаете? — спросил его однажды Калинович.

— А? Мы в лото играем, танцуем: очень приятно,— отвечал немец.

— Любили ли вы когда-нибудь? Существует ли для вас какая-нибудь женщина? — продолжал Калинович, желая допытать окончательно немца.

Тот покраснел и потупился.

— Нет,— произнес он.

— Как же нет? Вам, я думаю, уж лет двадцать пять.

— Да, мне двадцать шесть лет, и когда женюсь, тогда... а теперь нет.

«Этакий бесстрастный болван!» — подумал Калинович и хотел уже выпроводить гостя, сказав, что спать хочет, но в это время вошел лакей.

— Иволгин приехал,— проговорил он своим гробовым голосом.

— Какой еще тут Иволгин? — спросил с досадою и довольно громко Калинович.

Лакей молчал.

— Ну, проси,— прибавил он.

Гость вошел. Это был тот самый студент, который так наивно навязался ему на знакомство в театре. Калинович еще больше нахмурился.

— Вы, может быть, не узнали меня? — говорил молодой человек.

Роскошные волосы его были на этот раз еще более растрепаны; галстук свернут набок; на сюртуке недоставало трех пуговиц.

— Нет-с, напротив...— отвечал Калинович, показывая рукой на ближайший стул.

Студент сел и принял несколько небрежную позу.

— Я, конечно,— начал он довольно развязно,— давно бы воспользовался вашим позволением быть у вас, но, вероятно, тогда ослышался в адресе и даже сегодня перебывал по крайней мере в десяти домах, отыскивая вас.

«Нужно очень было хлопотать!» — подумал про себя Калинович.

— Вы, однако, ужасно с этих пор переменились, похудели,— продолжал студент.

— Я болен,— отвечал сухо Калинович.

— Как это досадно! — произнес молодой человек, действительно с досадой на лице.—А я именно сегодня шел к вам с одной моей просьбой...— прибавил он, потупляя глаза.

Калинович молчал.

— Вы тогда говорили о Каратыгине и вообще об игре актеров с этим господином... как его фамилия?

— Белавин.

— Да, Белавин; очень, кажется, умный человек, и я очень тоже бы желал с ним познакомиться.

«Ну, тот вряд ли разделяет это желание»,— опять подумал про себя Калинович.

— Мне совестно тогда было сказать о себе,— продолжал студент,— но я сам страстный любитель театра, и страсть эта живет во мне с детства и составляет мое величайшее блаженство и вместе мое несчастие.

— Почему же несчастие? — спросил Калинович.

Студент горько усмехнулся.

— Потому,— начал он насмешливым тоном,— что я имел несчастие родиться на свет сыном очень богатого человека и к тому еще генерал-лейтенанта, который говорит, что быть актером позорно для русского дворянина.

«Есть же на свете такие дураки, которые страдают от того, что богаты и дети генералов»,— подумал про себя Калинович.

— А вы думаете быть актером? — спросил он.

— Да, это мое почти решительное намерение,— отвечал молодой человек,— и я нахожу, что идея отца совершенно ложная. По-моему, если вы теперь дворянин и писатель, почему ж я не могу быть дворянином и актером, согласитесь вы с этим?..

— Быть актером, конечно, не позорно ни для кого, но в самой деятельности есть разница.

— Какая же разница? Искусство сравнивает людей: писатель — художник и актер — художник.

— Большая и существенная разница: творчество одного свободно, самобытно; другого — подчиненное. Те же отношения, как исполнителя к композитору: один создает, другой только усваивает, понимает...— проговорил Калинович.

— Но разве актеры не так же свободно создают?.. Один играет роль так, другой иначе — не правда ли?— отнесся студент к немцу.

— Да, это так,— отвечал тот.

— Я не про то говорил,— возразил нехотя Калинович и, не надеясь, видно, на понимательную способность своих слушателей, не хотел более объяснять своей мысли и замолчал.

— Но скажите вы мне, пожалуйста,— продолжал студент,— вы согласны с этой мыслью господина Белавина насчет Каратыгина?

— Кто ж с этим не согласен? — отвечал с усмешкой Калинович.

Студент пожал плечами.

— Не знаю-с; я до сих пор считал и считаю его величайшим трагиком и, разумеется, невольно подражал ему, хотя, конечно, всегда старался сделать что-нибудь свое, самобытное,— проговорил он.

— Стало быть, вы избираете собственно драматический род?— проговорил Калинович.

— Драматический. И потому вот теперь, чтоб собственно испытать себя, я взялся именно за Шекспира; другой месяц работаю над ним и, кажется, кое-что сделал.

— Как же вы работаете? — спросил Калинович с скрытною насмешкою.

— Обыкновенно как: запираюсь в своей комнате, становлюсь перед трюмо и начинаю изучать.

«А ведь лекций, болван, вероятно, не слушает»,— подумал Калинович.

— На котором вы курсе? — произнес он вслух.

— На втором,— отвечал студент с пренебрежением,— и, вероятно, кончу тем,— продолжал он.— Пускай отец, как говорит, лишает меня благословения и стотысячного наследства; меня это не остановит, если только мне удастся сделать именно из Гамлета то, что я думаю.

«Вот дурак-то!» — продолжал думать сам с собой Калинович.

— Роль Гамлета, кажется, очень трудна по тонкости в отделке,— сказал он.

— Ужасно трудна,— подтвердил юноша, —но я откровенно могу вам сказать, что вполне сочувствую ей, потому что сам почти в положении Гамлета. Отец мой, к несчастью, имеет привязанность к нашей бывшей гувернантке, от которой страдала наша мать и, может быть, умерла даже от нее, а теперь страдаем мы все, и я, как старший, чувствую, что должен был бы отомстить этой женщине и не могу на это решиться, потому что все-таки люблю и уважаю моего отца.

«Ну, и семейных тайн не пощадил, этакая скотина!» — думал Калинович.

— За мое призвание,— продолжал студент,— что я не хочу по их дудке плясать и сделаться каким-нибудь офицером, они считают меня, как и Гамлета, почти су-

масшедшим. Кажется, после всего этого можно сыграть эту роль с душой; и теперь меня собственно останавливает то, что знакомых, которые бы любили и понимали это дело, у меня нет. Самому себе доверить невозможно, и потому, если б вы позволили мне прочесть вам эту роль... я даже принес книжку... если вы только позволите...

— Если вам угодно; но я судья плохой,— отвечал Калинович, проклиная в душе гостя и его страсть.

— Вы судья превосходный,— отвечал молодой человек, уж вставая и вынимая из кармана перевод Полевого.

— Не будете ли вы так добры прочитать за короля и королеву? — прибавил он, относясь к немцу.

— Извольте; но я говорю очень дурно по-русски,— отвечал тот.

— Это ничего; пожалуйста!..— подхватил юноша и стал в грустную позу Гамлета в первом явлении.— Начинайте! — сказал он немцу, который, насилу нашедши, где говорит король, прочел:

«— Теперь к тебе я обращаю речь, мой брат и мой любезный сын, Гамлет!

— Немного больше брата; меньше сына»,— произнес молодой человек с грустной улыбкой.

«— Зачем такие облака печали?» — прочел немец.

«— Так близко к солнцу радости, могу ли одеть себя печали облаками, государь?» — отозвался с грустною иронией Гамлет.

«— Зачем ты взоры потупляешь в землю, будто ищешь во прахе твоего покойного отца? Таков наш жребий: всем живущим умирать!» — возразил немец.

«— Да, королева, всем живущим умирать: таков наш жребий!» — подтвердил многозначительно студент.

«— Если так, зачем же смерть отца тебя печалит, как будто тем закон природы изменен! Так кажется, смотря на грусть твою»,— продолжала королева.

«— Не кажется, но точно так я мыслю. Ни черные одежды и ни вздохи, ни слезы и ни грусть, ни скорбь, ничто не выразит души смятенных чувств, какими горестно терзаюсь я. Простите!» — проговорил молодой человек, пожав плечами и обращаясь к немцу.— Хорошо? — прибавил он своим уже голосом.

— Да, хорошо,— отвечал немец.

Калинович сердито смотрел в угол. Юноша ничего этого не замечал.

— Это еще не так хорошо, неловко с переговорами. А лучше я прочту его известную «to be or not to be»,— проговорил он скороговоркой и тотчас же ушел за дверь, откуда появившись совершенно грустный и печальный, начал:

«— Быть или не быть — вот в чем вопрос. Что доблестнее для души: сносить удары оскорбительной судьбы, или вооружиться против моря зол и победить его, исчерпав разом! Умереть... уснуть!..» Нет, это не выходит, холодно: это не задушевно — не правда ли? — отнесся он к немцу.

— Это холодно; да! — подтвердил тот.

— Холодно,— согласился и сам актер.— Позвольте, я лучше прочту другое, где больше одушевления,— присовокупил он опять скороговоркой и снова начал: «— Для чего ты не растаешь, ты не распадешься прахом, о, для чего ты крепко, тело человека! И если бы всесильный нам не запретил самоубийство, боже мой, великий боже! Как гнусны, бесполезны, как ничтожны деяния человека на земле! Жизнь! Что ты? Сад заглохший под дикими бесплодными травами. Едва лишь шесть недель прошло, как нет его, его, властителя, героя, полубога пред этим повелителем ничтожным, пред этим мужем матери моей. Его, любившего ее любовью столь пламенной. Небо и земля! Могу ль забыть? Она, столь страстная супруга, один лишь месяц, я не смею мыслить... О женщины! Ничтожество вам имя... Башмаков еще не износила, в которых шла за гробом мужа, как бедная вдова, в слезах, и вот она — она! О боже! Зверь без разума, без чувства грустил бы доле. Она супруга дяди, который так походит на отца, великого Гамлета, как я на Геркулеса!» — произнес трагик с одушевлением.— Хорошо это, скажите мне, пожалуйста? Вполне ли я выполнил, или еще мне надо поработать? — пристал уже он к Калиновичу.

— Хорошо,— отвечал тот и думал про себя: «Что ж это такое, наконец?»

— В самом деле хорошо? — спрашивал юноша с блистающими от удовольствия глазами.— Впрочем, у меня другое место выходило еще лучше. Позвольте уж! — прибавил он и, приняв опять драматическую позу, зачитал: «— Комедиант! Наемщик жалкий, и в дурных стихах мне

выражая страсти, плачет, бледнеет, дрожит, трепещет! Отчего и что причиной? Выдумка пустая! Какая-то Гекуба. Что ж ему Гекуба? Зачем он делит слезы, чувства с нею? Что если б страсти он имел причину, какую я имею, он залил бы слезами весь театр, и воплем растерзал бы слух, и преступленьем ужаснул, и в жилах у зрителей он заморозил кровь».

Последние слова были так громко произнесены, что проходившая мимо квартирная хозяйка испугалась и, приотворив двери, спросила:

— Батюшки! Что такое у вас?

— Ничего,— отвечал Калинович и, не могший уже более удержаться, покатился со смеху.

Юноша сконфузился.

— У меня как-то не выходит... сам чувствую... Не правда ли? — спросил он.

— Нет, что ж? Ничего! — отвечал Калинович.

— А который час? — отнесся он, зевая, к немцу.

— Девять часов, и мне позвольте уж уйти: я желаю еще быть в одном месте,— отвечал тот, вставая.

— Сделайте одолжение,— проговорил Калинович и зевнул в другой раз нарочно.

Студент понял, что ему тоже пора убираться.

— И я не смею вас больше беспокоить,— проговорил он, берясь за фуражку,— но прошу позволить мне когда нибудь, когда буду в лучшем ударе, прийти еще к вам и почитать.

— С большим удовольствием,— отвечал сухо Калинович и, когда гости ушли, остался в решительном ожесточении.

— Это ужасно! — воскликнул он.— Из целого Петербурга мне выпали на долю только эти два дуралея, с которыми, если еще пробыть месяц, так и сам поглупеешь, как бревно. Нет! — повторил он и, тотчас позвав к себе лакея, строжайшим образом приказал ему студента совсем не пускать, а немца решился больше не требовать. Тот, с своей стороны, очень остался этим доволен и вовсе уж не являлся.

## VI

Около недели герой мой оставался совершенно один и большую часть времени думал о Настеньке. Уединенные воспоминания воскресили перед ним картину любви со

всеми мелкими, блаженными подробностями. Замкнутый и сосредоточенный по натуре своей, он начал нестерпимо желать хоть бы с кем-нибудь задушевно побеседовать, рассказать про свою любовь не из пустого, конечно, хвастовства, а с целью проанализировать себя, свои чувства и передать те нравственные вопросы, которые по преимуществу беспокоили его. Перебирая в голове всех своих знакомых, Калинович невольно остановился на Белавине. «Вот с этим человеком, кажется, можно было бы потолковать и отвести хоть немного душу»,— подумал он и, не будучи еще уверен, чтоб тот пришел, решился послать к нему записку, в которой, ссылаясь на болезнь, извинялся, что не был у него лично, и вместе с тем покорнейше просил его сделать истинно христианское дело — посетить его, больного, одинокого и скучающего. В ответ на это письмо в тот же вечер в маленькой прихожей раздался знакомый голос: «Дома барин?» Калинович даже вскочил от радости. Входил действительно Белавин своей несколько развалистой походкой.

— Здравствуйте! — проговорил он, радушно протягивая руку.

— Как я вам благодарен! — произнес Калинович голосом, полным искренней благодарности.

— Что это вы, Петербургу, видно, дань платите? — продолжал Белавин, садясь и опираясь на свою с золотым набалдашником трость.

— Да, Петербург меня не побаловал ни физически, ни нравственно,— отвечал Калинович.

— Кого же он балует, помилуйте! Город без свежего глотка воздуха, без религии, без истории и без народности! — произнес Белавин, вздохнув.— Ну что вы, однако, скажете мне,— продолжал он,— вы тогда говорили, что хотите побывать у одного господина... Как вы его нашли?

Калинович усмехнулся.

— Этот господин, кажется, эссенция, выжимка чиновнической бюрократии, в котором все уж убито.

— И убивать, я думаю, было нечего. Впрочем, он еще лучше других; есть почище.

— Хорош и этот! В другом месте, пожалуй, и не найдешь.

— Именно. Надобно воспитаться не только умственно, но органически на здешней почве и даже пройти не-

скольким поколениям и слоям, чтоб образовался такой цветок и букет... удивительно!.. Все, что, кажется, самого простого, а тем более человека развитого, при другом порядке вещей, стало бы непременно шокировать, поселять смех, злобу, досаду — они всем этим бесконечно услаждаются. Зная, например, очень хорошо, что в деятельности их нет ничего плодотворного, живого, потому что она или скользит поверх жизни, или гнет, ломает ее, они, в то же время, великолепнейшим образом драпируются в свою официальную тогу и кутают под нее свою внутреннюю пустоту, думая, что никто этого даже и не подозревает. Невообразимо, что такое... Невообразимо!

— Меня, впрочем, этот господин отсылал к более активному труду, в провинцию, говоря, что здесь нечего делать! — заметил Калинович.

— Это мило, это всего милей — такое наивное сознание! — воскликнул Белавин и захохотал.— И прав ведь, злодей! Единственный, может быть, случай, где, не чувствуя сам того, говорил великую истину, потому что там действительно хоть криво, косо, болезненно, но что-нибудь да делается, а тут уж ровно ничего, как только писанье и писанье... удивительно! Но все-таки, значит, вы не служите? — прибавил он, помолчав.

— Нет, не служу,— отвечал Калинович.

— И лучше, ей-богу, лучше! — подхватил Белавин.— Как вы хотите, а я все-таки смотрю на всю эту ихнюю корпорацию, как на какую-то неведомую богиню, которой каждогодно приносятся в жертву сотни молодых умов, и решительно портятся и губятся люди. И если вас не завербовали — значит, довольно уж возлежит на алтаре закланных жертв... Количество достаточное! Но пишете ли вы, однако, что-нибудь?

— Нет, ничего,— отвечал Калинович.

— Это вот дурно-с... очень дурно! — проговорил Белавин.

— Что делать? — возразил Калинович.— Всего хуже, конечно, это для меня самого, потому что на литературе я основывал всю мою будущность и, во имя этих эфемерных надежд, душил в себе всякое чувство, всякое сердечное движение. Говоря откровенно, ехавши сюда, я должен был покинуть женщину, для которой был все; а такие привязанности нарушаются нелегко даже и для совести!

— Да, бывает...— подтвердил Белавин,— и вообще,— продолжал он,— когда нельзя думать, так уж лучше предаваться чувству, хотя бы самому узенькому, обыденному. Я вообще теперь, сам холостяк и бобыль, с поздним сожалением смотрю на этих простодушных отцов семейств, которые живут себе точно в заколдованном кружке, и все, что вне их происходит, для них тогда только чувствительно, когда уж колет их самих или какой-нибудь член, органически к ним привязанный, и так как требование их поэтому мельче, значит, удовлетворение возможнее — право, завидно!..

— Но всякий ли способен себя ограничивать этим? — возразил Калинович.— Не говоря уже о материальных, денежных условиях, бывает иногда нравственная запутанность.

— Что нравственная запутанность... помилуйте! — воскликнул Белавин.— Все это так сглаживается, стирается, приноравливается временем...

— Ну, бог знает, вряд ли на время можно так рассчитывать! — перебил Калинович.— Вот теперь мое положение,— продолжал он с улыбкой.— Благодаря нашему развитию мы не можем, по крайней мере долгое время, обманываться собственными чувствами. Я очень хорошо понял, что хоть люблю девушку, насколько способен только любить, но в то же время интересы литературные, общественные и, наконец, собственное честолюбие и даже более грубые, эгоистические потребности — все это живет во мне, волнует меня, и каким же образом я мог бы решиться всем этим пожертвовать и взять для нравственного продовольствия на всю жизнь одно только чувство любви, которое далеко не наполняет всей моей души... каким образом? Но в то же время это меня мучит.

Прислушиваясь к словам Калиновича, Белавин глядел на него своим умным, пристальным взглядом. Он видел, что тот хочет что-то такое спросить и не договаривает.

— Что ж вас именно тут мучит? — спросил он.

— Мучит, конечно, вопрос, что, отрицаясь от этой девушки, дурно я поступил или нет? — объяснил Калинович определительнее.

Белавин усмехнулся и, наклонившись на свою трость, несколько времени думал.

— Об этом в последнее время очень много пишется и

говорится,— начал он.— И, конечно, если женщина начала вас любить, так, зря, без всякого от вас повода, тут и спрашивать нечего: вы свободны в ваших поступках, хоть в то же время я знал такие деликатные натуры, которые и в подобных случаях насиловали себя и делались истинными мучениками тонкого нравственного долга.

— И долга совершенно воображаемого и придуманного,— заметил Калинович.

— Да, почти,— отвечал Белавин,— но дело в том,— продолжал он,— что эмансипация прав женских потому выдвинула этот вопрос на такой видный план, что по большей части мы обыкновенно, как Пилаты, умываем руки, уж бывши много виноватыми. Почти всегда серьезные привязанности являются в женщинах результатом того, что их завлекали, обманывали надеждами, обещаниями,— ну и в таком случае мы, благодаря бога, не древние, не можем безнаказанно допускать амуру писать клятвы на воде. Шутить чужой страстью так же непозволительно, как и тратить бесплатно чужие деньги.

— Вы говорите: «Завлекали»! Кто же в наше время решится быть Ловеласом, что ли? — возразил Калинович.— Но хоть бы теперь, я сам был тоже увлечен и не скрывал этого, но потом уяснил самому себе степень собственного чувства и вижу, что нет...

— Чего же, собственно, нет? — спросил Белавин, еще пристальнее взглянув на Калиновича.

Тот несколько замялся.

— Нет того, что не могу на ней жениться,— отвечал он.

Белавин опять на некоторое время задумался.

— Жениться! — повторил он.— Что ж! Если вы не решаетесь на брак по вашим обстоятельствам или не рискуете на него из нравственного опасения — любите просто.

— Как же просто? — воскликнул Калинович.— Это уж какая-то чересчур рыцарская и донкихотская любовь, не имеющая ни плоти, ни формы.

— Донкихотская! — повторил, грустно покачав головой, Белавин.— Не говорите этого. Вам особенно, как литератору, грех поддерживать это мертвящее направление, которое все, что не носит на себе какого-нибудь официального авторитета, что не представляет на ощупь ося-

зательной пользы, все это окрестили донкихотством. И, поверьте мне, бесплодно проживает ваше поколение, потому что оно окончательно утратило романтизм,— тот общий романтизм, который, с одной стороны, выразился в сентиментальности, а с другой, слышался в лире Байрона и сказался открытием паров. Да-с, не коммерция ваша, этот плут общечеловеческий, который пожинает теперь плоды, создала и изобрела железную дорогу и винт: их создал романтизм в науке. Что вы улыбаетесь? Конечно, уж начало этому кроется даже не в голове ловкого механика, приложившего силу к делу, а прямо в полусумасшедших теориях алхимиков. Помилуйте, как это возможно! Я с ужасом смотрю на современную молодежь,— продолжал он еще с большим одушевлением,— что ж, наконец, составляет для них смак в жизни? Деньги и разврат! По их мнению, женщина не имеет другого значения, как в форме богатой невесты либо публичной особы — это ужасно! Тогда как я еще очень хорошо помню наших дядей и отцов, которые, если б сравнить их с нами, показались бы атлетами, были и выпить и покутить не дураки, а между тем эти люди, потому только, что нюхнули романтизма, *умели и не стыдились* любить женщин, по десятку лет не видавшись с ними и поддерживая чувство одной только перепиской.

На последних словах Калинович опять улыбнулся.

— На романтизм, собственно стерновский,— возразил он,— я смотрю совершенно иначе. По-моему, он предполагает величайшее бесстрастие. Одна уж эта способность довольствоваться какой-нибудь перепиской показывает нравственное уродство, потому что, как вы хотите, но одни вечные письма на человека нормального, неизломанного всегда будут иметь скорее раздражающее, чем удовлетворяющее влияние.

— Отчего ж раздражающее? Вы смешиваете чувство с чувственностью,— заметил Белавин.

— О боже мой! Но каким же образом можно отделить, особенно в деле любви, душу от тела? Это как корни с землей: они ее переплетают, а она их облепляет, и я именно потому не позволяю себе переписки, чтоб не делать девушке еще большего зла.

— Снявши голову, по волосам не тужат! И вы, кажется, этим оправдываете одно свое простое нежелание,— произнес с улыбкою Белавин.

— Напротив, мне это очень тяжело,— подхватил Калинович.— Я теперь живу в какой-то душной пустыне! Алчущий сердцем, я знаю, где бежит свежий источник, способный утолить меня, но нейду к нему по милости этого проклятого анализа, который, как червь, подъедает всякое чувство, всякую радость в самом еще зародыше и, ей-богу, составляет одно из величайших несчастий человека.

Белавин опять усмехнулся.

— Да,— произнес он,— много сделал он добра, да много и зла; он погубил было философию, так что она едва вынырнула на плечах Гегеля из того омута, и то еще не совсем; а прочие знания, бог знает, куда и пошли. Все это бросилось в детали, подробности; общее пропало совершенно из глаз, и сольется ли когда-нибудь все это во что-нибудь целое, и к чему все это поведет... Удивительно!

— Поведет, конечно, к открытиям.

— Да, вероятно; но все это будет мелко, бесплодно, и, поверьте мне, что все истинно великое и доброе, нужное для человека, подсказывалось синтетическим путем.

— Романтизмом науки! — заметил с усмешкой Калинович.

— Да, именно, романтизмом, — говорил Белавин, вставая.— Прощайте, однако, мне пора.

— Куда же вы?

— В оперу итальянскую таскаюсь. До свиданья.

— Из наших, однако, положений,— говорил Калинович, провожая гостя,— можно вывести довольно странное заключение, что господин, о котором мы с вами давеча говорили, должен быть величайший романтик.

— Это как? — спросил тот.

— По решительному отсутствию анализа, которого, я думаю, в нем ни на грош нет.

Белавин покатился со смеху.

— Напротив! — возразил он.— У них, если хотите, есть анализ, и даже эта бесплодная логическая способность делать посылки и заключения развита более, чем у кого-либо; но дело в том, что единица уж очень крупна: всякое нечистое дело, прикинутое к ней, покажется совершеннейшими пустяками, меньше нуля. Прощайте, однако, au revoir! — заключил Белавин.

После беседы этой Калинович остался окончательно

в каком-то лирическом настроении духа. Первым его делом было сейчас же приняться за письмо к Настеньке.

«Мой единственный и бесценный друг! (писал он) Первое мое слово будет: прости меня, что так долго не уведомлял о себе; причина тому была уважительная: я не хотел вовсе к тебе писать, потому что, уезжая, решился покинуть тебя, оставить, бросить, презреть — все, что хочешь, и в оправдание свое хочу сказать только одно: делаясь лжецом и обманщиком, я поступал в этом случае не как ветреный и пустой мальчишка, а как человек, глубоко сознающий всю черноту своего поступка, который омывал его кровавыми слезами, но поступить иначе не мог. Из двух зол, мне казалось, я выбирал для тебя лучшее: ни тоска обманутой любви, ни горесть родных твоих, ни худая огласка, которая, вероятно, теперь идет про тебя, ничего не в состоянии сравниться с теми мучениями, на которые бы ты была обречена, если б я остался и сделался твоим мужем. Я истерзал бы тебя обидным раскаянием, своими бесполезными жалобами и, может быть, даже ненавистью своей. Что делать! Я не рожден для счастия семейной жизни в бедной доле. Честолюбие живет во мне, кажется, на счет всех других страстей и чувств, как будто бы древний римлянин возродился во мне. Только in forum, на площади, мечтал я постоянно жить, и только слава может наполнить мою беспокойную душу. Еще бывши ребенком, когда меня отправляли в школу и когда все, начиная с умирающей матери до последней поломойки, плакало около меня, один я не проронил слезинки — и все это казалось мне только глупо и досадно. Неудачи не задушили во мне моей страсти, но только сдавили ее и сделали упруже и стремительнее. Под ее влиянием я покинул тебя, мое единственное сокровище, хоть, видит бог, что сотни людей, из которых ты могла бы найти доброго и нежного мужа,—сотни их не в состоянии тебя любить так, как я люблю; но, обрекая себя на этот подвиг, я не вынес его: разбитый теперь в Петербурге во всех моих надеждах, полуумирающий от болезни, в нравственном состоянии, близком к отчаянию, и, наконец, без денег, я пишу к тебе эти строчки, чтоб ты подарила и возвратила мне снова любовь твою. Не надейся быть ни женой моей, ни видеть даже меня, потому что я решился доканывать себя в этом отвратительном Петербурге; но все-таки люби меня и пиши ко мне. Это единственная

нравственная роскошь, которую мы можем дозволить себе. Ты поймешь, конечно, все, что я хотел тебе сказать, и снова дружески протянешь руку невольному мученику самого себя.

*Твой Калинович».*

Калинович написал это письмо со всей искренностью, без всякой задней мысли порисоваться, написал потому, что желала того душа его, потому что в эти минуты действительно он любил Настеньку.

## VII

Отправив письмо к Настеньке, Калинович превратился в какое-то олицетворенное ожидание: худой, как привидение, с выражением тоски в лице, бродил он по петербургским улицам, забыв и свое честолюбие, и свою бедность, и страшную будущность. Одна только мысль его каждый день была, что вот зайдет почтальон и принесет ему благодатную весточку. Одним утром, не зная, что с собой делать, он лежал в своем нумере, опершись грудью на окно, и с каким-то тупым и бессмысленным любопытством глядел на улицу, на которой происходили обыкновенные сцены: дворник противоположного дома, в ситцевой рубахе и в вязаной фуфайке, лениво мел мостовую; из квартиры с красными занавесками, в нижнем этаже, выскочила, с кофейником в руках, растрепанная девка и пробежала в ближайший трактир за водой; прошли потом похороны с факельщиками, с попами впереди и с каретами назади, в которых мелькали черные чепцы и белые плерезы. Разносчик, идя по улице с лоханью на голове и поворачиваясь во все стороны, кричал: «Лососина, рыба живая!», а другой, шедший по тротуару, залился, как бы вперебой ему, звончайшим тенором: «Огурчики зеленые!» Все это было так знакомо и так противно, что Калинович от досады плюнул и чуть не попал на шляпу проходившему мимо чиновнику. Но вот едут еще дрожки: на них сидит, к нему спиной, должно быть, молоденькая дама и в очень неприглядной шляпке. Она о чем-то спросила тащившего из всех сил свою бочку водовоза. Тот ткнул в ответ пальцем на ворота; дрожки подъехали. Калиновичу вдруг стало легче жить и дышать, как будто он попал в другую атмосферу. Не

понимая, что такое с ним делается, он перелег на диван и — странно! — сам не зная к чему, стал прислушиваться: вся кровь как будто прилила к сердцу. По коридору раздались шаги; дверь растворилась; послышался знакомый голос... Калинович вскочил. Непонятное предчувствие не обмануло его: в комнату входила Настенька.

— Здравствуй! — говорила она.

Обезумевший Калинович бросился к ней и, схватив ее за руки, начал ощупывать, как бы желая убедиться, не привидение ли это, а потом между ними прошла та немая сцена неожиданных и радостных свиданий, где избыток чувств не находит даже слов. Настенька, сама не зная, что делает, снимала с себя бурнус, шляпку и раскладывала все это по разным углам, а Калинович только глядел на нее.

— Как же это ты приехала? — заговорил он, наконец, беря ее за руку.

— А ты, друг мой, рад мне — да? Но какой же ты худой! Что это? Зачем было так грустить? — отвечала она, всматриваясь ему в лицо.

— Рад,— отвечал Калинович, опускаясь на диван и привлекая к себе Настеньку.— Господи! —произнес он и, схватив себя за голову, зарыдал.

— Что это, друг мой, как это тебе не стыдно? Перестань! — говорила она, утирая ему глаза платком.

— Как же это ты приехала? Господи! — повторил Калинович.

— Так и приехала. Ты написал, что болен; я сказала отцу и приехала.

— А что отец? Скажи мне...

— Он, бедный — пожалей его — болен, в параличе,— отвечала Настенька, и голос ее задрожал.

— Как же это? — повторил Калинович, все еще не могший прийти в себя.

Сколько ни был он рад приезду Настеньки, но в глубине души его уже шевельнулся отвратительный вопрос: «Как же и на что мы будем жить?»

— Вели, однако, взять мои вещи у извозчика! Есть у тебя кто-нибудь? — продолжала Настенька.

— Есть. Эй, Федор! — крикнул Калинович.

Федор, конечно, не откликнулся на первый зов.

— Что ж ты, болван?— повторил Калинович.— Поди сейчас и принеси сюда вещи от извозчика.

Федор, сердито промычавши себе под нос, ушел.

— Ну что, не брани его! — сказала Настенька.

Калинович горько улыбнулся.

— Если бы ты, душа моя, только знала, что я, бывши больным, перенес от этого животного...— проговорил он.

— Очень знаю и знала, но теперь тебе будет хорошо: я сама тебе стану служить,— отвечала Настенька, прижимаясь к нему.

Федор принес три узла, составлявшие весь ее багаж.

— Сколько я тебе, друг мой, денег привезла! — продолжала она, проворно вскакивая с дивана, и, достав из одного мешочка шкатулку, отперла ее и показала Калиновичу. Там было тысячи две серебром.

— Ах, ты сумасшедшая! Какие же это деньги? — спросил он.

— Не твое дело,— отвечала Настенька.— Однако я ужасно устала и есть хочу. Что ж ты мне чаю не велишь дать? — прибавила она.

— Федор! Самовар! Живей! — крикнул Калинович и опять привлек к себе Настеньку, посадил ее около себя, обнял и начал целовать.

На глазах его снова навернулись слезы.

— Ах, какой ты истеричный стал! Ведь я теперь около тебя; о чем же плакать? — говорила Настенька.

Федор принес нечищеный самовар и две старые чашки.

— Перестань же, я чаю хочу. А ты хочешь? — прибавила она.

— Да, налей и мне! Ты давно уж меня не поила чаем,— отвечал Калинович.

— Давно, друг мой,— сказала Настенька и, поцеловав еще раз Калиновича, села разливать чай.— Ах, какие гадкие чашки! — говорила она, тщательно обмывая с чашек грязь.— И вообще, cher ami, посмотри, как у тебя в комнате грязно и нехорошо! При мне этого не будет: я все приведу в порядок.

— Не до чего было: умирать сбирался...— отвечал Калинович.

— Этого не смейте теперь и говорить. Теперь вы должны быть счастливы и должны быть таким же франтом, как я в первый раз вас увидела — я этого требую! — возразила Настенька и, напившись чаю, опять села около

Калиновича.— Ну-с, извольте мне рассказывать, как вы жили без меня в Петербурге: изменяли мне или нет?

— Не до измен было! — отвечал Калинович, скрыв притворным вздохом нетвердость в голосе.

— Я знаю, друг мой, что ты мне не изменишь, а все-таки хотела тебе ухо надрать больно-больно: вот как!..— говорила Настенька, теребя Калиновича потихоньку за ухо.— Придумал там что-то такое в своей голове, не пишет ни строчки, сам болен...

— Ну, прости меня! — сказал Калинович, целуя ее руку.

— Прости? А ты не знаешь, что довел было меня до самоубийства?

Калинович посмотрел на нее.

— О, вздор какой! — проговорил он.

— Нет, не вздор; после этого ты не знаешь ни характера моего, ни любви моей к тебе,— возразила Настенька.— Тогда, как ты уехал, я думала, что вот буду жить и существовать письмами; но вдруг человек не пишет месяц, два, три... полгода, наконец! Что другое могла я предположить, кроме смерти твоей! Спрашиваю всех, читаю газеты, журналы, чтоб только имя твое встретить,— и нигде ничего! Князь тогда приехал в город; я, забывши всякий стыд, пошла к нему... на коленях почти умоляла сказать, не знает ли чего о тебе. «Ничего, говорит, не знаю!»

Калинович слушал, потупив голову.

— И я решительно бы тогда что-нибудь над собою сделала,— продолжала Настенька,— потому что, думаю, если этот человек умер, что ж мне? Для чего осталось жить на свете? Лучше уж руки на себя наложить,— и только бог еще, видно, не хотел совершенной моей погибели и внушил мне мысль и желание причаститься... Отговела я тогда и пошла на исповедь к этому отцу Серафиму — помнишь? — настоятель в монастыре: все ему рассказала, как ты меня полюбил, оставил, а теперь умер, и что я решилась лишить себя жизни!

Калинович слегка улыбнулся и покачал головой.

— Что ж он на это сказал тебе? — спросил он.

— А то сказал, что «привязанности, говорит, земные у тебя сильны, а любила ли ты когда-нибудь бога, размышляла ли о нем, безумная?» Я стою, как осужденная, и, конечно, в этакую ужасную минуту, как вообразила,

припомнила всю свою жизнь, так мне сделалось страшно за себя... «Неужели, говорит, твое развращенное сердце окаменело и для страха перед господом, судьей грозным, во громах и славе царствующим? Молись, говорит, до кровавого пота!» Какой-то трепет духовный, ужас, друг мой, овладел мной... знаешь, как иногда перед причастьем ждешь, что вот огонь небесный спалит тебя, недостойную. Всплеснула я руками, бросилась на колени и точно уж молилась: всю, кажется, душу мою, все сердце выплакала. «Я, говорит, теперь, положу на тебя эпитимью и, когда увижу, что душа твоя просветлела, тогда причащу», и начал потом говорить мне о боге, о назначении человека... именно раскрыл во мне это религиозное чувство... Я поняла тогда, как он выразился, что, только вооруженные мечом любви к богу, можем мы сражаться и побеждать полчище наших страстей.

Калинович снова улыбнулся и вообще он слушал Настеньку, как слушает иногда мать милую болтовню своего ребенка. Та заметила, наконец, это.

— Ты смеешься?.. Я умирала — а он смеется! Что ж это, друг мой? — сказала она со слезами на глазах.

— Я не тому...— произнес Калинович, целуя ее руку.

— Я знаю чему! — подхватила Настенька.— И тебя за это, Жак, накажет бог. Ты вот теперь постоянно недоволен жизнью и несчастлив, а после будет с тобой еще хуже — поверь ты мне!.. За меня тоже бог тебя накажет, потому что, пока я не встречалась с тобой, я все-таки была на что-нибудь похожа; а тут эти сомнения, насмешки... и что пользы? Как отец же Серафим говорит: «Сердце черствеет, ум не просвещается. Только на краеугольном камне веры, страха и любви к богу можем мы строить наше душевное здание».

Калинович нарочно старался смотреть в угол.

— Не убивай во мне этой силы, которую этот святой человек дал мне...

— Ну хорошо,— перебил Калинович,— скажи лучше, давно ли старик заболел?

Настенька вздохнула и отвечала:

— Все в это же время! Он ужасно о тебе грустил... ну, и потом видит меня в моем отчаянном положении. Если б тогда кто посмотрел на нас — ужас что такое! Все мы, например, постоянно думали о тебе, а друг с другом ни слова об этом; ко всему этому, наконец, бу-

дят меня раз ночью и говорят, что с отцом паралич. Не имей я в душе твердой религии, я, конечно бы, опять решилась на самоубийство, потому что явно выхожу отцеубийцей; но тут именно взглянула на это, как на новое для себя испытание, и решилась отречься от мира, ходить за отцом — и он, сокровище мое, кажется, понимал это: никому не позволял, кроме меня, лекарства ему подавать, белье переменять...

— Как же он отпустил тебя? — возразил Калинович, глядя ей в лицо.

Настенька махнула только рукой.

— И не спрашивай лучше! — проговорила она.— Тогда как получила твое письмо, всем твоим глупостям, которые ты тут пишешь, что хотел меня кинуть, я, конечно, не поверила, зная наперед, что этого никогда не может быть. Поняла только одно, что ты болен... и точно все перевернулось в душе: и отца и обет свой — все забыла и тут же решилась, чего бы мне ни стоило, ехать к тебе.

Калинович слегка улыбнулся.

— А что же отец Серафим? Как на это взглянул? — спросил он.

Настенька тоже усмехнулась.

— Какой уж тут отец Серафим! Смела я к нему показаться с таким намерением! Все уж потихоньку сделала и уехала, так что иногда я думаю и решительно не понимаю себя. Что же это, наконец, за любовь моя к тебе? Точно ты имеешь надо мной какую-то сверхъестественную власть. Греха? И того как будто бы не существует для меня в отношении тебя. Кажется, если б меня совершенно убедили, что за любовь к тебе я обречена буду на вечные муки, я и тогда бы не побоялась и решилась. Против отца теперь... как хочешь,— продолжала она, больше и больше одушевляясь,— я ужасно его люблю; но когда что коснется тебя — я жалости к нему не чувствую. Когда задумала ехать к тебе, сколько я тут налгала... Господи! Сам он читать не может; я написала, во-первых, под твою руку письмо, что ты все это время был болен и потому не писал, а что теперь тебе лучше и ты вызываешь меня, чтоб жениться на мне, но сам приехать не можешь, потому что должен при журнале работать — словом, сочинила целую историю... Палагею Евграфовну тоже поймала на одну удочку: отвела ее потихоньку к себе

в комнату, стала перед ней на колени. «Душечка, говорю, Палагея Евграфовна, не смущайте и не отговаривайте папашу. Вы сами, может быть, любите человека, и каково бы вам было, если б он больной был далеко от вас: вы бы, конечно, пешком убежали к нему...» Ну и разжалобила.

Калинович качал головой.

— Ну, а капитан что? — спросил он.

— Ах, душка, с капитаном у меня целая история была! — отвечала Настенька.— Первые дни он только дулся; я и думала, что тем кончится: промолчит по обыкновению. Однако вдруг приходит ко мне и своим, знаешь, запинающимся языком говорит, что вот я еду, отец почти при смерти, и на кого я его оставлю... Мучил, я тебе говорю, терзал меня, как я не знаю что... И, наконец, прямо говорит, что ты меня опять обманешь, что ты, бывши еще здесь, сватался к этой Полине и княжеской дочке и что оттого уехал в Петербург, что тебе везде отказали... Тут уж я больше не вытерпела, вспылила. «Не смейте, говорю, дяденька, говорить мне про этого человека, которого вы не можете понимать; а в отношении меня, говорю, любовь ваша не дает вам права мучить меня. Если, говорю, я оставляю умирающего отца, так это нелегко мне сделать, и вы, вместо того чтоб меня хоть сколько-нибудь поддержать и утешить в моем ужасном положении, вы вливаете еще мне яду в сердце и хотите поселить недоверие к человеку, для которого я всем жертвую!» И сама, знаешь, горько-горько заплакала; но он и тут меня не пожалел, а пошел к отцу и такую штучку подвел, что если я хочу ехать, так чтоб его с собой взяла, заступником моим против тебя. Можешь себе представить, как это взорвало меня с моим самолюбием! Я велела ему сказать через людей, что я хоть и девушка, но мне двадцать три года, и в гувернерах я не нуждаюсь, да и возить мне их с собой не на что... Так и кончилось, так я и уехала, почти не простясь с ним.

Калинович опять покачал головой.

— Ну зачем это? Он любит тебя...— проговорил он.

— Может быть,— возразила Настенька, вздохнув,— но только ужасно какой упрямый человек! Вообрази себе: при отъезде моем он ни в чем не хотел мне помочь, так что я решительно обо всем сама должна была хлопотать. Во-первых, денег надо было достать. Я очень хорошо зна-

ла, что у тебя их мало, и вдруг я приеду без ничего... Имение решилась заложить, отцу сказала—он позволил; однако, говорят, скоро этого нельзя сделать. «Господи, думаю, что ж мне делать?» А на сердце между тем так накипело, что не жить — не быть, а ехать к тебе. Придумала занять у почтмейстера и вот, душа моя, видела скупого человека — ужас! Целую неделю я каждый день к нему ездила. Решился, наконец, за какие-то страшные проценты... после мне уж растолковали. Выхлопотала я, наконец, все эти бумаги. Румянцев, спасибо, все помогал, его уж все посылала. Привожу их к нему, стал он деньги отсчитывать и, представь себе, дрожит, слезы на глазах: «Не обманите, говорит, меня!» — просто плачет.

Проговорив это, Настенька утомилась и задумалась.

— Потом прощанья эти, расставанья начались,— снова продолжала она.— Отца уж только тем и утешала, что обещала к нему осенью непременно приехать вместе с тобой. И, пожалуйста, друг мой, поедем... Это будет единственным для меня утешением в моем эгоистическом поступке.

Калинович думал.

— Как же ты ехала? Неужели даже без девушки? — спросил он, как бы желая переменить разговор и не отвечая на последние слова Настеньки.

— Да... Из города, впрочем, я выехала с одной помещицей,— отвечала она,— дура ужасная, и — можешь вообразить мое нетерпение скорей доехать, а она боится: как темно, так останавливаемся ночевать, не едем... Мне кусок в горло нейдет, а она ест, как корова... храпит. Потом у нас колесо сломалось; извозчик нам нагрубил, и в Москве, наконец, я решительно осталась одна-одинехонька. Никого не знаю — ужас! Поехала, однако, на железную дорогу; там хотела сэкономничать, взяла в третьем классе — и, представь себе, очутилась решительно между мужиками: от тулупов воняет; а тут еще пьяный какой-то навязался,— начал со мной куртизанить. Ночь наступила... ужас, я тебе говорю. Когда здесь вышла из вагона, так просто перекрестилась. «Господи, думаю, неужели теперь я не одна и увижу его, моего друга, моего ангела!» Ох, как я тебя люблю!

Говоря последние слова, Настенька обвила Калиновича руками и прижалась к его груди. Он поцеловал ее в раздумье.

— Нет, так любить невозможно! — проговорил он.

— Отчего невозможно? — спросила Настенька.

— Так невозможно,— проговорил Калинович, и на глазах его снова навернулись слезы.

## VIII

На первое время Настенька точно благодать принесла в житье-бытье Калиновича. Здоровье его поправилось совершенно; ему возвратилась его прежняя опрятность и джентльментство в одежде. Вместо грязного нумера была нанята небольшая, но чистенькая и светлая квартирка, которую они очень мило убрали. Настеньку первое время беспокоила еще мысль о свадьбе, но заговорить и потребовать самой этого — было очень щекотливо, а Калинович тоже не начинал. Впрочем, она, чтоб успокоить отца, написала ему, что замужем, и с умыслом показала это письмо Калиновичу.

— Посмотри, друг мой, что я пишу,— сказала она с улыбкой.

— Да, хорошо,— отвечал он, тоже с улыбкой, и разговор тем кончился.

Благодаря свободе столичных нравов положение их не возбуждало ни с какой стороны ни толков, ни порицаний, тем более, что жили они почти уединенно. У них только бывали Белавин и молодой студент Иволгин. Первого пригласил сам Калинович, сказав еще наперед Настеньке: «Я тебя, друг мой, познакомлю с одним очень умным человеком, Белавиным. Сегодня зайду к нему, и он, вероятно, как-нибудь вечерком завернет к нам». Настеньке на первый раз было это не совсем приятно.

— Нет... я не выйду,— сказала она,— мне будет неловко... все, как хочешь, при наших отношениях... Я лучше за ширмами послушаю, как вы, два умные человека, будете говорить.

— Вот вздор какой! С таким развитым и деликатным человеком разве может быть неловко? — возразил Калинович и ушел.

В это самое утро, нежась и развалясь в вольтеровском кресле, сидел Белавин в своем кабинете, уставленном по всем трем стенам шкапами с книгами, наверху которых стояли мраморные бюсты великих людей. Перед ним на

столе валялись целые кипы всевозможных журналов и газет. От нечего ли делать или по любви к подобному занятию, но только он с полчаса уже играл хлыстом с красивейшим водолазом, у которого глаза были, ей-богу, умней другого человека и который, как бы потешая господина, то ласково огрызался, тщетно стараясь поймать своей страшной пастью кончик хлыста, то падал на мягкий ковер и грациозно начинал кататься.

Вошел Калинович.

— Здравствуйте,— проговорил своим приветливым тоном Белавин, и после обычных с обеих сторон жалоб на петербургскую погоду Калинович сказал:

— Я теперь переехал на другую квартиру.

— А! — произнес Белавин.

— Особа, о которой мы с вами говорили, тоже приехала сюда,— присовокупил он с улыбкой и потупившись.

— А! — произнес опять Белавин, тоже несколько потупившись.— Очень рад,— прибавил он.

Калинович с некоторым усилием объявил, что он желал бы познакомить Белавина с ней, и потому просит его как-нибудь уделить им вечерок.

— Непременно-с; сегодня же, если позволите,— отвечал Белавин.

Затем они потолковали еще с полчаса о разных новостях, причем хозяин разговорился, между прочим, об одной капитальной журнальной статье, разобрал ее с свойственной ему тонкостью и, не найдя в ней ничего нового и серьезного, воскликнул: — Что это за бедность умственная, удивительно!

— Удивительно! — повторил и Калинович за ним.

Распростившись, он пошел к своей Настеньке. Белавин между тем, позвав человека, велел, чтоб подавали экипаж, намереваясь часа два походить по Невскому, а потом ехать в английский клуб обедать. Странное и довольно любопытное явление могут представить читателю эти два человека, которых мы видели теперь вместе. Белавин, сколько можно было его понять, по всем его убеждениям, был истый романтик, идеалист,— как хотите, назовите. Богатый человек, он почти не служил, говоря, что не может укладываться ни в какой служебной рамке. Всю почти первую молодость он путешествовал: Рим знал до последней его картины, до самого глухого

переулка; прошел пешком всю Швейцарию; жил и учился в Париже, в Лондоне... но и только! Во всем остальном жизнь его была в высшей степени однообразна и бесцветна. Вся она как будто бы состояла из этого стремления к образованию, из толков об изящном, о науке, о политике, из хороших потом обедов, из житья летом в своей усадьбе или на даче, но всегда при удивительно хорошем местоположении. Даже имением своим он управлял особенно как-то расчетливо и спокойно. Самые искренние его приятели в отношении собственного его сердца знали только то, что когда-то он был влюблен в девушку, которой за него не выдали, потом был в самых интимных отношениях с очень милой и умной дамой, которая умерла; но все это, однако, для самого Белавина прошло, по-видимому, легко; как будто ни одного дня в жизни его не существовало, когда бы он был грустен, да и повода как будто к тому не было,— тогда как героя моего, при всех свойственных ему практических стремлениях, мы уже около трех лет находим в истинно романтическом положении. Чем это условливалось? В самом ли деле в романтизме лежит большая доля бесстрастности, или вообще романтики, как люди более требовательные, с более строгим идеалом, не так склонны подпадать увлечениям, а потому как будто бы меньше живут и меньше оступаются?

В ожидании Белавина мои молодые хозяева несколько поприготовились. В маленькой зальце и кабинете пол был навощен; зажжена была вновь купленная лампа; предположено было, чтоб чай, приготовленный с несколько изысканными принадлежностями, разливала сама Настенька, словом — проектировался один из тех чайных вечеров, которыми так изобилует чиновничий Петербург.

— Вы извольте одеться по-домашнему, не нарядно, но только посвежей,— сказал Калинович Настеньке. Он желал ею похвастаться перед Белавиным.

— Да, мой друг, хорошо,— отвечала та, угадывая его намерение.

Часов в девять раздался звонок: Белавин приехал. Калинович представил его Настеньке, как бы хозяйке дома: она немного сконфузилась.

— Мы еще без вас уже много о вас говорили,— сказал гость бесцеремонным, но вежливым тоном, пожимая ее маленькую ручку.

— А он говорил обо мне? — спросила Настенька, взглянув на Калиновича.

— Да,— отвечал значительно Белавин, садясь и опираясь на свою дорогую трость.

— Ну, однако, скажите,— продолжал он, обращаясь к Настеньке, как бы старый знакомый,— вы, вероятно, в первый раз еще в Петербурге? Скажите, какое произвел он на вас впечатление? Я всегда интересуюсь знать, как все это отражается на свежем человеке.

— Я еще почти не видала Петербурга и могу сказать только, что зодчество, или, собственно, скульптура — одно, что поразило меня, потому что в других местах России... я не знаю, если это и есть, то так мало, что вы этого не увидите; но здесь чувствуется, что существует это искусство, это бросается в глаза. Эти лошади на мосту, сфинксы, на домах статуи...

Так старалась объяснить намеками свою мысль Настенька, видимо, желавшая заговорить о чем-нибудь поумнее.

— А что, пожалуй, что это и верно! — произнес в ответ ей Белавин.— Я сам вот теперь себя поверяю! Действительно, это так; а между тем мы занимаем не мили, а сотни градусов, и чтоб иметь только понятие о зодчестве, надобно ехать в Петербург — это невозможно!.. Страна чересчур уж малообильная изящными искусствами... Слишком уж!..

— В театр теперь все сбираемся и не можем никак попасть — так это досадно! — продолжала Настенька.

— В театр-с, непременно в театр! — подхватил Белавин.— Но только не в Александринку — боже вас сохрани! — а то испортите первое впечатление. В итальянскую оперу ступайте. Это и Эрмитаж, я вам скажу,— два места в Петербурге, где действительно можно провести время эстетически.

— Да, и в Эрмитаж,— подхватила Настенька.

— Непременно. И вот вам совет: не начинайте с испанской школы, а то увидите Мурильо, и он убьет у вас все остальное, так что вы смотреть не захотите, потому что Рафаэль тут очень слаб... Немецкая эта школа и плоха и мала... Во французской Пуссен еще вас немного затронет, но Мурильо... этакой страстности в колорите, в положении... боже ты мой! И все это сдержанное, соразмеренное величайшим художественным тактом — непод-

ражаемо! Он и богатство фламандской школы... это восхитительно...

— Ах, как я рада! — произнесла Настенька, пришедшая в волнение от одной уж мысли, что все это увидит.— Я не знаю,— продолжала она,— для музыки я, кажется, просто не рождена, потому что у меня очень дурной слух; но театр... Я, конечно, сносного даже не видала, но, кажется, могу ужасно к нему привязаться. И так мне вот досадно на Якова Васильича: третьего дня, вообразите, приходил к нему какой-то молодой человек, Иволгин, который, как сам он говорит, страстно любит театр и непременно хочет быть актером; но Яков Васильич именно за это не хочет быть с ним знаком! Это неумно и несовременно!

Последние слова Настенька произнесла с большим одушевлением. Белавин все пристальней и внимательней в нее вглядывался.

— Да,— подтвердил он ей.

Калинович между тем улыбался.

— Это вот тот самый студент, который в театре к нам прислушивался,— сказал он Белавину.

Тот кивнул головой.

— Сын очень богатого отца,— продолжал Калинович,— который отдал его в университет, но он там ничего не делает. Сначала увлечен был Каратыгиным, а теперь сдуру изучает Шекспира. Явился, наконец, ко мне, больному, начал тут бесноваться...

— Ну, да; ты тогда был болен; а теперь что ж? Ты сам согласен, что все-таки стремление это в нем благородно: как же презирать его за это? — возразила Настенька.

— И особенно между петербургской молодежью,— вмешался Белавин,— которая так вся подтянута, прилична, черства и никаких уж не имеет стремлений ни к чему, что хоть немного выходит из обыденного порядка.

— Да,— подтвердила Настенька.— Но согласитесь, если с ним будут так поступать и в нем убьют это стремление, явится недоверие к себе, охлаждение, а потом и совсем замрет. Я, не зная ничего, приняла его, а Яков Васильич не вышел... Он, представьте, заклинал меня, чтоб позволили ему бывать, говорит, что имеет крайнюю надобность — так жалко! Может быть, у него в самом деле есть талант.

— Какой тут талант! Что это такое! — воскликнул уж с досадою Калинович.— Ничего не может быть несноснее для меня этой сладенькой миротворности, которая хочет все приголубить, а в сущности это только нравственная распущенность.

— Уж вовсе у меня это не распущенность, а очень сознательное чувство! — возразила Настенька.— Он вот очень хорошо знает,— продолжала она, указав на Калиновича и обращаясь более к Белавину,— знает, какой у меня ужасный отрицательный взгляд был на божий мир; но когда именно пришло для меня время такого несчастия, такого падения в общественном мнении, что каждый, кажется, мог бросить в меня безнаказанно камень, однако никто, даже из людей, которых я, может быть, сама оскорбляла,— никто не дал мне даже почувствовать этого каким-нибудь .двусмысленным взглядом,— тогда я поняла, что в каждом человеке есть искра божья, искра любви, и перестала не любить и презирать людей.

— Нравственная перемена к лучшему,— заметил Белавин.

— Что ж тут к лучшему? — перебил Калинович.— Вы сами заклятой гонитель зла... После этого нашего знакомого чиновного господина надобно только похваливать да по головке гладить.

— Зло надобно преследовать, а добро все-таки любить,— отвечал спокойно Белавин.

— И тогда только вы будете в человеке глубоко ненавидеть зло, когда вы способны полюбить в нем искру, малейшую каплю добра! — подхватила Настенька с полным одушевлением и ударив даже ручкой по столу.

— Браво! — воскликнул Белавин, аплодируя ей.— Якову Васильичу, сколько я мог заметить, капли мало: он любит, чтоб во всем было осязательное достоинство, чтоб все носило некоторый мундир, имело ранг; тогда он, может быть, и поверит.

— Именно,— подхватила Настенька,— и в нем всегда была эта наклонность. Форма ему иногда закрывала глаза на такое безобразие, которое должно было с первого же разу возмутить душу. Вспомни, например, хоть свои отношения с князем,— прибавила она Калиновичу, который очень хорошо понимал, что его начинают унижать в споре, а потому рассердился не на шутку.

— Погодите! Я сейчас же вам доставлю удовольствие наслаждаться этой искрой божьей. Я сейчас же выпишу этого господина. Постойте; пускай он вас учитает! — проговорил он полушутливым и полудосадливым тоном и тут же принялся писать записку.

— Зачем же выписывать, чтоб смеяться потом? — заметила Настенька.

Белавин одобрительно кивнул головой.

— Я не буду смеяться, а посмотрю на вас, что вы, миротворцы, будете делать, потому что эта ваша задача — наслаждаться каким-нибудь зернышком добра в куче хлама — у вас чисто придуманная, и на деле вы никогда ее не исполняете,— отвечал Калинович и отправил записку.

Студент не заставил себя долго дожидаться: еще не встали из-за чая, как он явился с сияющим от удовольствия лицом.

— Как я вам благодарен! — проговорил он Калиновичу.

Тот представил его Белавину.

— Monsieur Белавин! — проговорил он с усмешкою.

Студент пришел в окончательный восторг.

— Как я рад, что имею счастие...— начал он с запинкою и садясь около своего нового знакомого.— Яков Васильич, может быть, говорил вам...

Белавин отвечал ему вежливой улыбкой.

— А что, как ваш Гамлет идет? — спросил Калинович.

— Гамлета уж я, Яков Васильич, оставил,— отвечал студент наивно.— Он, как вы справедливо заметили, очень глубок и тонок для меня в отделке; а теперь — так это приятно для меня, и я именно хотел, если позволите, посоветоваться с вами — в одном там знакомом доме устраивается благородный спектакль: ну, и, конечно, всей пьесы нельзя, но я предложил и хочу непременно поставить сцены из «Ромео и Юлии».

— И сами, конечно, будете играть Ромео? — спросил Калинович.

— Да, не знаю, как удастся. Конечно, на себя я еще больше надеюсь, потому что все-таки много работал, но, главное, девицы, которые теперь участвуют, никак не хотят играть Юлии.

— Отчего ж? — спросила Настенька.

Студент пожал плечами.

— Говорят,— отвечал он,— что роль трудна и что Юлия любит Ромео, а выражать это чувство на подмостках неприлично.

Настенька усмехнулась.

— Здесь то же, как и в провинции: там, я знаю, в одном доме хотели играть «Горе от ума» и ни одна дама не согласилась взять роль Софьи, потому что она находится в таких отношениях с Молчалиным,— отнеслась она к Белавину.

— Общая участь всех благородных спектаклей! — отвечал тот.

— Прочитайте нам что-нибудь,— сказал Калинович студенту с явною целью потешиться над ним.

— Если позволите, я и книгу с собой принес,— отвечал тот, ничего этого не замечая.— Только одному неловко; я почти не могу... Позвольте вас просить прочесть за Юлию. Soyez si bonne! [1] — отнесся он к Настеньке.

— Я никогда не читала таким образом и, вероятно, дурно прочту,— отвечала она, взглянув мельком на Калиновича.

— Вы, вероятно, превосходно прочтете! — подхватил студент.

— Конечно, кому же, кроме вас, читать за Юлию? — проговорил ей Калинович.

Настенька незаметно покачала ему с укоризной головой.

— Извольте,— сказала она и, желая загладить насмешливый тон Калиновича, взяла книгу, сначала просмотрела всю предназначенную для чтения сцену, а потом начала читать вовсе не шутя.

Студент пришел в восторг.

— Превосходно! — воскликнул он, и сам зачитал с жаром.

Калинович взглянул было насмешливо на Настеньку и на Белавина; но они ему не ответили тем же, а, напротив, Настенька, начавшая следующий монолог, чем далее читала, тем более одушевлялась и входила в роль: привыкшая почти с детства читать вслух, она прочитала почти безукоризненно.

— Знаете что? Вы прекрасно читаете; у вас решительно сценическое дарование! — проговорил, наконец,

[1] Будьте так добры! *(франц.)*

Белавин, сохранявший все это время такое выражение в лице, по которому решительно нельзя было угадать, что у него на уме.

— Ах, я очень рада! — подхватила Настенька.— Вдруг я сделаюсь актрисой,— прибавила она, обращаясь к Калиновичу.

— Чего доброго! — отвечал тот.

Студент между тем пришел в какое-то исступление.

— Превосходно, превосходно! — восклицал он и, обратившись к Белавину, стал того допрашивать: — Ну, а я что? Скажите, пожалуйста, как я?

— Ничего; к стиху только прислушивайтесь; надобно больше вникать в смысл и вообще играть нервами, а не полнокровием!..— отвечал тот.

— Да, действительно, я именно этого и хочу достигнуть,— согласился студент.— Но вы превосходны! — обратился он к Настеньке.— И, конечно... я не смею, но это было бы благодеяние — если б позволили просить вас сыграть у нас Юлию. Театр у нашей хорошей знакомой, madame Volmar... я завтра же съезжу к ней и скажу: она будет в восторге.

— Благодарю вас, но я никогда не играла,— полуотговаривалась Настенька.

— De grace, soyez si bonne![1] Будьте великодушны, я готов вас на коленях просить! — приставал студент.

— Нет-с, она не будет играть! — решил Калинович и, чтобы прекратить эту сцену, обратился к Белавину и начал с ним совершенно другой разговор.

Студента, однако ж, это не остановило: он все-таки стал потихоньку упрашивать Настеньку. Она его почти не слушала и, развернув Ромео, который попался ей в первый еще раз, сама не замечая того, зачиталась.

— Ах, как это хорошо, боже мой! — говорила она.

Студент глядел на нее с каким-то умилением. Белавин тоже останавливал на ней по временам свои задумчивые голубые глаза.

Часов в двенадцать гости стали прощаться.

— Ну, батюшка, вы таким владеете сокровищем!..— сказал Белавин в передней потихоньку Калиновичу.

Тот самодовольно улыбнулся и к Настеньке, однако, возвратился в раздумье.

---

[1] Умоляю, будьте так добры! *(франц.)*

— Какой должен быть превосходный человек этот Белавин! — сказала она.

— Да,— отвечал ей машинально Калинович.

Мысли его были далеко в эту минуту.

## IX

Сцена, которую я описал в предыдущей главе, стала повторяться довольно часто, и нравственная стачка между Настенькой и Белавиным начала как-то ярче и ярче высказываться. Калинович между тем все больше удалялся от них и сосредоточивался в самом себе. Душа его была не такого закала, чтоб наслаждаться тихой любовью и скромной дружбой. Маленький комфорт, который его окружал, стал казаться ему смешон до гадости. С чувством какого-то ожесточения отвертывался Калинович от магазинных окон, из которых так красиво метались в глаза разные вещи, совершенно, кажется бы, необходимые для каждого порядочного человека. Проходя мимо огромных домов, в бельэтажах которых при вечернем освещении через зеркальные стекла виднелись цветы, люстры, канделябры, огромные картины в золотых рамах, он невольно приостанавливался и с озлобленной завистью думал: «Как здесь хорошо, и живут же какие-нибудь болваны-счастливцы!» То же действие производили на него экипажи, трехтысячные шубы и, наконец, служащий, мундирный Петербург. Он не мог видеть без глубокого сердечного содрогания, когда выходил из какого-нибудь присутственного здания господин еще не старых лет, в крестах, звездах и золотом камергерском мундире. Кроме уж этих прихотливых и честолюбивых желаний, впереди восставал еще более существенный вопрос: деньги, привезенные Настенькой, конечно, должны были прожиться в какой-нибудь год, но что потом будет? Калинович ниоткуда и ничего не получал. Презрение и омерзение начинал он чувствовать к себе за свое тунеядство: человек деятельный по натуре, способный к труду, он не мог заработать какого-нибудь куска хлеба и питался последними крохами своей бедной любовницы — это уж было выше всяких сил! Чтоб что-нибудь, наконец, предпринять, он решился, переломив самолюбие, послать к Зыкову повесть, заклиная напечатать ее и вообще дать ему работу при журнале.

Лично сам Калинович не в состоянии был доставить свое творчество и выслушать, может быть, от приятеля еще несколько горьких уроков; но, чтоб извинить себя, он объяснил, что три месяца был болен и теперь еще никуда не выходит.

В ответ на это он получил письмо с черной печатью. Адрес был написан женской рукой и весь смочен слезами. Ему отвечала жена Зыкова: «Друга вашего, к которому вы пишете, более не существует на свете: две недели, как он умер, все ожидая хоть еще раз увидеться с вами. С просьбой вашей я не знаю, что делать. Не хотите ли, чтоб я послала ваше сочинение к Павлу Николаичу, который, после смерти моего покойного мужа, хочет, кажется, ужасно с нами поступать...» Далее Калинович не в состоянии был читать: это был последний удар, который готовила ему нанести судьба. Он знал, что как ни глубоко и ни сильно оскорбил его Зыков, но это был единственный человек в Петербурге, который принял бы в нем человеческое участие и, по своему влиянию, приспособил бы его к литературе, если уж в ней остался последний ресурс для жизни; но теперь никого и ничего не стало...

Вы, юноши и неюноши, ищущие в Петербурге мест, занятий, хлеба, вы поймете положение моего героя, зная, может быть, по опыту, что значит в этом случае потерять последнюю опору, между тем как раздражающего свойства мысль не перестает вас преследовать, что вот тут же, в этом Петербурге, сотни деятельностей, тысячи служб с прекрасным жалованьем, с баснословными квартирами, с любовью начальников, могущих для вас сделать вся и все — и только вам ничего не дают и вас никуда не пускают! Чтоб скрыть от Настеньки свое отчаяние, Калинович проворно ушел из дома. Голова его решительно помутилась; то думалось ему, что не найдет ли он потерянного бумажника со ста тысячами, то нельзя ли продать черту душу за деньги и, наконец, пойти в разбойники, награбить и возвратиться жить в общество.

Вдруг раздался сзади его голос: «Яков Васильич!» Калинович вздрогнул всем телом. Это был голос князя Ивана, и через минуту и сам он стоял перед ним, соскочив на тротуар с щегольского фаэтона.

— Что вы и как вы? Тысячу вам вопросов и тысячу претензий. Помилуйте! Хоть бы строчку!.. — говорил

князь, пожимая, по обыкновению, обе руки Калиновича.

— Я ничего: живу в Петербурге,— отвечал тот.

— Да; но что вы, скажите, служите здесь, занимаетесь литературой?

— Нет, не служу, а литературой немного занимаюсь.

— Да, — повторил князь,— но что ж вообще: хорошо... недурно идет?..

— Ни то, ни се,— отвечал Калинович.

— Ни то, ни се! — повторил опять князь.— Вы ведь, однако, теперь нашего поля ягода: человек женатый.

Калинович вспыхнул.

— Нет, я не женат,— отвечал он.

— Как?.. Не шутя?..— спросил князь, взглянув ему в лицо.— Каким же образом у нас положительный прошел об этом слух? Mademoiselle Годнева в Петербурге?

— Она в Петербурге.

— И вы в самом деле не женаты?

— Нет,— отвечал еще раз Калинович.

— Гм! — произнес князь.— Как же я рад, что вас встретил! — продолжал он, беря Калиновича за руку и идя с ним.— Посмотрите, однако, как Петербург хорошеет: через пять лет какие-нибудь приедешь и не узнаешь. Посмотрите: это здание воздвигается... что это за прелесть будет!—говорил князь, видимо, что-то обдумывая.

— Вы здесь одни, ваше сиятельство, или с семейством? — спросил Калинович, которому вдруг захотелось увидеть княжну.

— Нет, я один. Mademoiselle Полина сюда переехала. Мать ее умерла. Она думает здесь постоянно поселиться, и я уж кстати приехал проводить ее,— отвечал рассеянно князь и приостановился немного в раздумье.— Не свободны ли вы сегодня? — вдруг начал он, обращаясь к Калиновичу.— Не хотите ли со мною отобедать в кабачке, а после съездим к mademoiselle Полине. Она живет на даче за Петергофом — прелестнейшее местоположение, какое когда-либо создавалось в божьем мире.

Калинович молчал.

— Пожалуйста,— повторил князь.

Герой мой нигде, кроме дома, не обедал и очень хорошо знал, что Настенька прождет его целый день и будет беспокоиться; однако, и сам не зная для чего, согласился.

— Прекрасно, прекрасно! — произнес князь и, крикнув экипаж, посадил с собой Калиновича.

Быстро понесла их пара серых рысаков по торцовой мостовой. Калинович снова почувствовал приятную качку хорошего экипажа и ощутил в сердце суетную гордость — сидеть, развалившись, на эластической подушке и посматривать на густую толпу пешеходов.

— В Морскую! — крикнул князь, и они остановились у Дюссо.

В первой же комнате их встретил лакей во фраке, белом жилете и галстуке, с салфеткой в руках.

— Здравствуй, Михайло, — сказал ему князь ласково.

Лакей с почтением и удовольствием оскалил зубы.

— Давно ли, ваше сиятельство, изволили пожаловать? — проговорил он.

— Недавно-с, недавно... Это все татары: извольте узнать! И, что замечательно, честнейший народ! — говорил князь Калиновичу, входя в одну из дальних комнат.

Михайло следовал за ним.

— Ну-с, давайте нам поесть чего-нибудь, — продолжал князь, садясь с приемами бывалого человека на диван, — только, пожалуйста, не ваш казенный обед, — прибавил он.

— Слушаю, ваше сиятельство, — отвечал лакей.

— Во-первых, сделайте вы нам, если только есть очень хорошая телятина, котлеты au naturel, и чтоб масла ни капли — боже сохрани! Потом-с, цыплята есть, конечно?

— Самые лучшие, ваше сиятельство: полтора рубля серебром.

— Ну, да... Суп тоже отнюдь не ваш пюре, который у вас прескверно делают; вели приготовить à la tortue, чтоб совсем пикан был — comprenez vous? [1]

— Oui je comprends [2], — отвечал татарин, осклабляясь.

— Ну, а там что-нибудь из рыбы.

— Форели, ваше сиятельство!

— Хорошо... Вина дай, шампанского: охолодить, конечно, вели — и дай ты нам еще бутылку рейнвейна. Вы, впрочем, может быть, за столом любите больше красное? — обратился князь к Калиновичу.

— Все равно, — отвечал тот.

---

[1] черепаховый... понимаешь? *(франц.)*

[2] Да, я понимаю, *(франц.)*

— Все равно? Вино, впрочем, это очень хорошее.

— В пять или в восемь рублей прикажете? — спросил лакей.

— В восемь, в восемь, мой милый,— отвечал князь.

Лакей ушел.

— Удивительно честный народ! — повторил еще раз князь ему вслед.

Обед был готов через полчаса.

— Нет, нет этого букета!..— говорил князь, доедая суп.— А котлеты уж, мой милый, никуда негодны,— прибавил он, обращаясь к лакею,— и сухи и дымом воняют. Нет, это варварство, так распоряжаться нашими желудками! Не правда ли? — отнесся он к Калиновичу.

— Да,— отвечал тот, не без досады думая, что все это ему очень нравилось, особенно сравнительно с тем мутным супом и засушенной говядиной, которые им готовила трехрублевая кухарка. То же почувствовал он, выпивая стакан мягкого и душистого рейнвейна, с злобой воображая, что дома, по предписанию врача, для здоровья, ему следовало бы пить такое именно хорошее вино, а между тем он должен был довольствоваться шестигривенной мадерой.

— Вместо пирожного дай нам фруктов. Я думаю, это будет хорошо,— сказал князь, и когда таким образом обед кончился, он, прихлебывая из крошечной рюмочки мараскин, закурил сигару и развалился на диване.

— Скажите мне, Яков Васильич, что-нибудь хорошенькое! — заговорил он, как бы желая поболтать.

— Здесь ничего особенного нет. Нет ли чего-нибудь в ваших местах? — отвечал Калинович.

— Э, помилуйте! Что может быть хорошего в нашем захолустье! — произнес князь.— Я, впрочем, последнее время был все в хлопотах. По случаю смерти нашей почтенной старушки, которая, кроме уж горести, которую нам причинила... надобно было все привести хоть в какую-нибудь ясность. Состояние осталось громаднейшее, какого никто и никогда не ожидал. Одних денег билетами на пятьсот тысяч серебром... страшно, что такое!

Мороз пробежал по телу Калиновича.

— И само именье, кажется, тоже очень хорошее? — спросил он, употребляя усилие, чтобы придать себе вид равнодушного слушателя.

— А именье вот какое-с. Не говоря уже там об обро-

ках, пять крупчаток-мельниц, и если теперь положить minimum дохода по три тысячи серебром с каждой, значит: одна эта статья — пятнадцать тысяч серебром годового дохода; да подмосковная еще есть... ну, и прежде вздором, пустяками считалась, а тут вдруг — богатым людям везде, видно, счастье,— вдруг прорезывается линия железной дороги: какой-то господин выдумывает разбить тут огородные плантации и теперь за одну землю платит — это черт знает что такое! — десять тысяч чистоганом каждогодно. Ведь это, батюшка, один этот клочок для другого — состояние, в котором не будет уж ни голоду, ни мору, который не требует ни ремонта, ни страховки. Вечный доход с вечного капитала — прелесть что такое!

Как демона-соблазнителя слушал Калинович князя. «И все бы это могло быть моим!» — шевельнулось в глубине души его.

По счету пришлось князю заплатить тридцать два рубля. Он отдал тридцать пять, проговоря: «Сдачу возьми себе», и пошел.

Калинович последовал за ним.

«Этот человек три рубля серебром отдает на водку, как гривенник, а я беспокоюсь, что должен буду заплатить взад и вперед на пароходе рубль серебром, и очень был бы непрочь, если б он свозил меня на свой счет. О бедность! Какими ты гнусными и подлыми мыслями наполняешь сердце человека!» — думал герой мой и. чтоб не осуществилось его желание, поспешил первый подойти к кассе и взял себе билет.

Быстро полетел пароход, выбравшись на взморье. Многолюдная толпа пассажиров весело толпилась на палубе, и один только Калинович был задумчив; но князь опять незаметно навел разговор на прежний предмет.

— Славное это предприятие — пароходство,— говорил он,— пятнадцать, восемнадцать процентов; и вот, если б пристроить тут деньги кузины — как бы это хорошо было!

— А они не в оборотах? — спросил Калинович.

— Нет,— отвечал с досадою князь,— пошлейшим образом лежат себе в банке, где в наш предприимчивый век, как хотите, и глупо и недобросовестно оставлять их. Но что ж прикажете делать? Она, как женщина, теперь вот купила эту мызу, с рыбными там ловлями, с покосом,

с коровами — и в восторге; но в сущности это только игрушка и, конечно, капля в море с теми средствами, которым следовало бы дать ход, так что, если б хоть немножко умней распорядиться и организовать хозяйство поправильней, так сто тысяч вернейшего годового дохода... ведь это герцогство германское! Помилуйте!

«И все бы это могло быть мое!» — неотступно шевелилось в душе Калиновича.

Пароход между тем подошел к пристани; там ожидал и принял их катер. Казалось, все соединилось, чтоб очаровать Калиновича. Вечер был ясный, тихий, теплый; как огненное пятно, горело невысоко уже стоявшее солнце над разливающимся вдали морем и, золотя его окраину, пробегало искрами по маленькой ряби. Точно крыльями взмахивая, начали грести двенадцать человек гребцов в красных рубашках, обшитых позументами. На берегу стали показываться, прячась в садах, разнообразнейших архитектур дачи. В некоторых раздавались звуки фортепьян и мелькали в зелени белые, стройно затянутые платьица, с очень хорошенькими головками. Перед одной из дач катер, наконец, остановился: мраморными ступенями сходила от нее маленькая пристань в море.

— Allons! — проговорил князь, соскакивая, и тотчас ввел Калиновича в садовую аллею, где с первого шага встретили их все декорационные украшения петербургских дач: вдали виднелся один из тех готической архитектуры домиков, которые так красивы и которые можно еще видеть в маленьких немецких городах. Чем дальше они шли, тем больше открывалось: то пестрела китайская беседка, к которой через канаву перекинут был, как игрушка, деревянный мостик; то что-то вроде грота, а вот, куда-то далеко, отводил темный коридор из акаций, и при входе в него сидел на пьедестале грозящий пальчиком амур, как бы предостерегающий: «Не ходи туда, смертный,— погибнешь!» Но что представила площадка перед домом — и вообразить трудно: как бы простирая к нему свои длинные листья, стояли тут какие-то тополевидные растения в огромных кадках; по кулаку человеческому цвели в средней куртине розаны, как бы венцом окруженные всевозможных цветов георгинами. Балкон был весь наглухо задрапирован плющом. Хозяйку они нашли в первой гостиной комнате, уютно сидевшую на маленьком диване, и перед ней стоял, золотом разрисо-

ванный, рабочий столик. По случаю траура Полина была в белом платье и, вследствие, должно быть, нарочно для нее изобретенной прически, показалась Калиновичу как бы помолодевшею и похорошевшею. Против нее сидел старик с серьезною физиономиею и с двумя звездами.

— Тысяча пари, что не угадаете, кого я к вам привез! — говорил князь, входя.

— Ах, monsieur Калинович! Боже мой! Какими судьбами? — воскликнула Полина, дружески протягивая ему руку.

— Monsieur Калинович! — представила она его старику и назвала потом того фамилию, по которой Калинович узнал одно из тех внушительных имен, которые невольно заставляют трепетать сердца маленьких смертных. Не без страха, смешанного с уважением, поклонился он старику и сел в почтительной позе.

— Я было, ваше сиятельство, имел честь заезжать сегодня к вам, но мне отказали,— проговорил князь. В голосе его тоже слышалось почтение.

— Да, я сегодня рано выехал,— отвечал старик протяжным тоном, как бы говоря величайшую истину.

— А что баронесса? — спросил князь, обращаясь к Полине.

— Ах, баронесса — ужас, как меня сегодня рассердила! Вообрази себе, я ждала вот графа обедать,— отвечала та, показывая на старика, — она тоже хотела приехать; только четыре часа — нет, пятого половина — нет. Есть ужасно хочется; граф, наконец, приезжает; ему, конечно, сейчас же выговор — не правда ли?

— Да, выговор, и строгий,— отвечал старик с улыбкою.

— А ее все-таки нет! — продолжала Полина.— И вообрази, в шестом, наконец, часу явился посланный ее: пишет, что не может приехать обедать, потому что сломалось что-то такое у тильбюри, а она дала себе клятву на дачу не ездить иначе, как самой править.

Граф покачал головой.

— Премилая женщина! Я ее ужасно люблю. Ах, какая милая! N'est ce pas?[1] — обратилась к нему Полина.

— Да, c'est une femme de beaucoup d'esprit[2]. Я ее

[1] Не правда ли? *(франц.)*
[2] большого ума женщина *(франц.)*.

знал еще ребенком, и тогда уж в ней видно было что-то такое необыкновенное. Une femme de beaucoup d'esprit! — прибавил он.

— Ах, да, да! — подтвердила Полина.— Ну, что вы? Скажите мне, как вы? — обратилась она к Калиновичу, видимо, желая вызвать его из молчания.

— Слух, который мы имели о monsieur Калиновиче, совершенно несправедлив! — подхватил князь.

— Неужели? — спросила Полина, как бы немного сконфузясь.

— Совершенно несправедлив! — отвечал Калинович, сделав при этом гримасу пренебрежения.

— Скажите! — произнесла Полина и тотчас же постаралась переменить разговор, обратясь с каким-то вопросом к старику.

— Баронесса, кажется, приехала! — произнес князь.

— Ах, как я рада! — воскликнула Полина, и в ту же минуту в комнату проворно вошла прелестнейшая женщина, одетая с таким изяществом, что Калинович даже не воображал, что можно быть так одетою.

— Bonjour, prince! — воскликнула она князю.— Боже! Кого я вижу? Дедушка! — прибавила она потом, обращаясь к старику.

— Опять дедушка! — отвечал тот, пожимая плечами.

— Нет, нет, вы не дедушка! Вы молоденький,— отвечала резво баронесса.— Bonjour, chère Полина! Ах, как я устала! — прибавила она, садясь на диван.

— В тильбюри? — спросила ее Полина.

— Конечно. И представь себе, какая досада: я сейчас потеряла браслет и, главное,— подарок брата, сама не знаю как. Эта несносная моя Бьюти ужасно горячится; я ее крепко держала и, должно быть, задела как-нибудь рукавом или перчаткой — такая досада.

— И барон вам позволяет самой править?

— О, я не слушаюсь в этом случае: пускай его ворчит.

— Рукой уж, видно, махнул! — произнес с улыбкою старик.

— Еще бы! — подхватила баронесса.— Ах! A propos[1] о моем браслете, чтоб не забыть,— продолжала она, обращаясь к Полине.— Вчера или третьего дня была я в городе и заезжала к monsieur Лобри. Он говорит, что

---

[1] кстати (*франц.*).

берется все твои брильянты рассортировать и переделать; и, пожалуйста, никому не отдавай: этот человек гений в своем деле.

— Всех много; куда же? — проговорила Полина.

— Непременно, chère amie, все! — подхватила баронесса.— Знаешь, как теперь носят брильянты? Rapellez vous [1],— обратилась она к старику,— на бале Вронской madame Пейнар. Она была вся залита брильянтами, но все это так мило разбросано, что ничего резко не бросается в глаза, и ensemble был восхитителен.

— Vous avez beaucoup de perles? [2] — спросил старик Полину.

— Так много, что уж даже скучно! — отвечала та.

— Дайте нам посмотреть... пожалуйста, chère amie, soyez si bonne [3]; я ужасно люблю брильянты и, кажется, как баядерка, способная играть ими целый день,— говорила баронесса.

— Ну, что? Нет...— произнесла было Полина.

— Я сейчас достану,— подхватил князь.

— Ayez la complaisance [4],— сказала ему баронесса. Князь ушел.

— Недурная вещь! — говорил он, проходя мимо Калиновича и давая ему на руки попробовать тяжесть ящика, который Полина нехотя отперла и осторожно вынула из него разные вещи.

— C'est magnifique! C'est magnifique! [5] — говорил старик, рассматривая то солитер, то брильянты, то жемчужное ожерелье.

— Однако как все это смешно сделано. Посмотрите на эту гребенку: ах, какие, должно быть, наши бабушки были неумные! Носить такую работу! — воскликнула с разгоревшимися взорами баронесса.

— На днях мы как-то с кузиной заезжали,— отнесся к старику князь,— и оценивали: на двести тысяч одних камней без работы.

— Вероятно,— подхватил тот.

После разговора о брильянтах все перешли в столовую пить чай; там, стоявший на круглом столе старин-

---

[1] Вспомните, *(франц.)*
[2] У вас много жемчугов? *(франц.)*
[3] дорогой друг, будьте так добры; *(франц.)*
[4] Окажите любезность, *(франц.)*
[5] Это великолепно! Это великолепно! *(франц.)*

ной работы, огромный серебряный самовар склонил разговор опять на тот же предмет.

— Вот с серебром тоже не знаю, что делать: такое все старое...— произнесла Полина.

— Насчет серебра chère cousine, как хотите, я совершенно с вами несогласен. Можете себе представить, этой старинной работы разные кубки, вазы. Что за абрис, что за прелестные формы! Эти теперь на стенках резной работы различные вакхические и гладиаторские сцены... нагие наяды... так что все эти нынешние скульпторы гроша не стоют против старых по тонине работы; и такую прелесть переделывать — безбожно.

— Право, не знаю! — проговорила Полина.

— Что же тут недоумевать? — продолжал князь.— Тем больше, что в вашей будущей квартире, вероятно, будет камин, и его убрать этим сокровищем — превосходно.

— Да, это может быть мило; но только, пожалуйста, немного; а то на серебряную лавку будет походить,— заметила баронесса.

— Много, конечно, не нужно. Достаточно выбрать лучшие экземпляры. Где же все! — отвечал князь.— Покойник генерал,— продолжал он почти на ухо Калиновичу и заслоняясь рукой,— управлял после польской кампании конфискованными имениями, и потому можете судить, какой источник и что можно было зачерпнуть.

Беседа продолжалась и далее в том же тоне. Князь, наконец, напомнил Калиновичу об отъезде, и они стали прощаться. Полина была так любезна, что оставила своих прочих гостей и пошла проводить их через весь сад.

— Пожалуйста, monsieur Калинович, не забывайте меня. Когда-нибудь на целый день; мы с вами на свободе поговорим, почитаем. Не написали ли вы еще чего-нибудь? Привезите с собою, пожалуйста,— сказала она.

Калинович поклонился.

Тот же катер доставил их на пароход. Ночью море, освещенное луной, было еще лучше; но герой мой теперь не заметил этого.

— Славный этот человек, граф! — говорил ему князь.— И в большой силе. Он очень любит вот эту козочку, баронессу... По этому случаю разная, конечно, идет тут болтовня, хотя, разумеется, с ее стороны ничего нельзя предположить серьезного: она слишком для этого

молода и слишком большого света; но как бы то ни было, сильное имеет на него влияние, так что через нее всего удобнее на него действовать,— а она довольно доступна для этого: помотать тоже любит, должишки делает; и если за эту струнку взяться, так многое можно разыграть.

Калинович, прислушиваясь к этим словам, мрачным взором глядел на блиставший вдали купол Исакия. В провинции он мог еще следовать иным принципам, иным началам, которые были выше, честней, благородней; но в Петербурге это сделалось почти невозможно. В его помыслах, желаниях окончательно стушевался всякий проблеск поэзии, которая прежде все-таки выражалась у него в стремлении к науке, в мечтах о литераторстве, в симпатии к добродушному Петру Михайлычу и, наконец, в любви к милой, энергичной Настеньке; но теперь все это прошло, и впереди стоял один только каменный, бессердечный город с единственной своей житейской аксиомой, что деньги для человека — все!

Сердито и грубо позвонил Калинович в дверях своей квартиры. Настенька еще не спала и сама отворила ему дверь.

— О друг мой! Помилуй, что это? Где ты был? Я бог знает что передумала.

— Что ж было думать? Съездил в Павловск с знакомыми. Нельзя сидеть все в четырех стенах! — отвечал Калинович.

— Да как же не сказавшись! Я все ждала, даже не обедала до сих пор,— проговорила Настенька.

— Вольно же было! — произнес Калинович и тотчас же лег; но сон его был тревожный: то серебряный самовар, то граф, то пять мельниц, стоявшие рядом, грезились ему.

## X

Князь занимал один из больших нумеров в гостинице Демут. В одно утро он, сверх обыкновения не одетый, а в спальном шелковом халате, сидел перед письменным столом и что-то высчитывал. Греясь у камина, стоял другой господин, в пальто, рыжий, с птичьей, одутловатой физиономией, довольно неуклюжий и сразу дававший узнать в себе иностранца.

— Пятью восемь — сорок, превосходно! — говорил князь, наморщивая свой красивый лоб.

Рыжий господин самодовольно улыбнулся.

— Это хорошее! — произнес он.

— Помилуйте! Хорошее?.. Сорок процентов... Помилуйте! — продолжал восклицать князь и потом, после нескольких минут размышления, снова начал, как бы рассуждая сам с собой: — Значит, теперь единственный вопрос в капитале, и, собственно говоря, у меня есть денежный источник; но что ж вы прикажете делать — родственный! За проценты не дадут,— скажут: возьми так! А это «так» для меня нож острый. Я по натуре купец: сам не дам без процентов, и мне не надо. Гонор этот, понимаете, торговый.

— Понимаю,— выговорил собеседник.— Но что ж? — прибавил он.

— Конечно, уж делать нечего, надобно будет решиться: но все-таки мне хочется сделать это как-нибудь половчее, чтоб не быть уж очень обязанным,— отвечал князь и задумался.

Вошел лакей.

— Калинович приехал, ваше сиятельство,— доложил он.

— О, черт возьми!.. Таскаться тут вдруг вздумал! — проговорил с досадою князь.— Проси! — прибавил он.

Гость вошел. Князь принял его с обычною своею любезностью.

— Здравствуйте, Яков Васильич; prenez place [1],— говорил он.— Но что это, как вы похудели,— совершенно желтый!

— Нездоровилось все это время,— отвечал Калинович, действительно как-то совсем непохожий сам на себя и с выражением какой-то странной решительности в глазах.

— Нехорошо, нехорошо...— говорил князь, заметно занятый собственными мыслями, и снова обратился к прежнему своему собеседнику.

— Если первоначальные операции начать после сентября? — проговорил он.

— Поздно! Машин морем пойдет; теперь на самой мест тоже вода... она мерзнет,— отвечал тот.

---

[1] садитесь, *(франц.)*

— Мерзнет... да... навигация прекратится — это черт знает как досадно! — воскликнул князь.

— О чем вы хлопочете, ваше сиятельство? — спросил Калинович.

— Завод сахарный затеваю. Это monsieur Пемброк, англичанин... Он так добр, что делится со мной своим проектом, и, если теперь бог приведет выхлопотать нам привилегию, так на сорок вернейших процентов можно рассчитывать.

Говоря это, князь глядел на окно.

— Безделицы только недостает — денег! — продолжал он с горькой улыбкой.— Тогда как столько людей, у которых миллионы лежат мертвым капиталом! Как собаки на сене: ни себе, ни людям. Вы, как человек коммерческий, понимаете,— отнесся князь к англичанину, — что такое в торговом деле деньги. Вздор, средство, вот та же почтовая бумага, которую всегда и везде можно найти. Важна мысль предприятия, идея,— а у нас выходит наоборот. Что б вы ни изобрели, хоть бы с неба звезды хватать, но если не имеете собственных денег, ничего не поделаете!

— Кредит нет! — сказал глубокомысленно Пемброк.

— Никакого! Не говоря уже об акциях; товарищества вы не составите: разжевываете, в рот, кажется, кладете пользу — ничему не внемлют. Ну и занимаешься по необходимости пустяками. Я вот тридцать пять лет теперь прыгаю на торговом коньке, и чего уж не предпринимал? Апельсинов только на осиновых пнях не растил — и все ничего! Если набьешь каких-нибудь тридцать тысчонок в год, так уж не знаешь, какой и рукой перекреститься.

Разговор этот Калинович вряд ли и слышал. Он сидел, точно на иголках, и, воспользовавшись первой минутой, когда князь замолчал, вдруг обратился к нему:

— Я было, ваше сиятельство, сегодня к вам с моим делом.

— Что такое? — спросил тот.

— Нет уж, это наедине я могу сказать,— отвечал Калинович.

— Да...— произнес князь и потом, закусив губы и зажав глаза, обратился к англичанину:

— До пятницы, значит, сэр Пемброк, наше дело должно остаться.

— До пятницы? — повторил тот.

— До пятницы. Я вот тоже посображусь и с делами своими,— отвечал князь.

— Ну, farewell [1],— произнес англичанин и пошел.

— До свиданья, mon ami, до свиданья! — проводил его князь и, возвратясь, сел на прежнее место.

— Славная голова! — продолжал он.— И что за удивительный народ эти англичане, боже ты мой! Простой вот-с, например, машинист и, вдобавок еще, каждый вечер мертвецки пьян бывает; но этакой сметки, я вам говорю, хоть бы у первейшего негоцианта. Однако какое же собственно ваше, мой милый Яков Васильич, дело, скажите вы мне.

— Дело мое, ваше сиятельство,— начал Калинович, стараясь насильно улыбнуться,— как вы и тогда говорили, что Петербург хорошая для молодых людей школа.

— Хорошая, очень хорошая,— повторил князь.

— Слишком даже,— продолжал Калинович,— тогда, при первых свиданиях, мне совестно было сказать, но я теперь в очень незавидных обстоятельствах.

— Что ж, ваша литература, значит, плохо? — спросил князь несколько насмешливым тоном.

Калинович с презрением улыбнулся.

— Что литература! — возразил он.— Наслаждаться одним вдохновением я не способен. Для меня это дело все-таки труд, и труд тяжелый, который мог бы только вознаграждаться порядочными деньгами; но и этого нет!

— Какие же деньги! Гроши, я думаю, какие-нибудь, помилуйте! Заниматься еще всем этим так, ну, для забавы, как занимались в мое время литераторы, чтоб убить время; но чтоб сделать из этого ремесло, фай — это неблаговидно даже!

— Что делать! — возразил Калинович и снова продолжал: — Ученым сделаться время уж теперь для меня прошло, да и что бы могло повлечь это? Самая высшая точка, которой можно достигнуть, это профессорство.

Князь усмехнулся.

— Профессорство, по-моему, — начал он, пожимая плечами,— то же школьное учительство, с тою разве разницею, что предметы берутся несколько пошире, и, наконец, что это за народ сами профессора! Они, я думаю, все из семинаристов. Их в дом порядочный, я думаю,

---

[1] до свидания, *(англ.)*

пустить нельзя. По крайней мере я ни в Петербурге, ни в Москве в кругу нашего знакомства никогда их не встречал.

Калинович ничего на это не ответил.

— В гражданскую службу, — заговорил он, не поднимая потупленной головы,— тоже не пускают. Господин, к которому вот вы изволили давать мне письмо... я ходил к нему...

— Да, что же он?

— Отказал: мест нет.

— Это жаль! У него бы приятно было служить. Это превосходнейший человек.

— Отказал,— повторил Калинович,— и, что ужаснее всего, сознаешь еще пока в себе силы, способности кой-какие, наконец, это желание труда — и ничего не делаешь!.. Если б, кажется, имел я средства, и протекция открыла мне хоть какую-нибудь дорогу, я бы не остался сзади других.

— Кто ж в этом сомневается! Сомнения в этом нет... Однако нужно же что-нибудь придумать; нельзя же вам так оставаться... Очень бы мне хотелось что-нибудь сделать для вас,— произнес князь.

Калинович опять позамялся. Все черты лица его как бы углубились и придали ему знакомое нам страдальческое выражение.

— Я больше всего, ваше сиятельство, раскаиваюсь теперь в той ошибке, которую сделал, когда вы, по вашему расположению, намекали мне насчет mademoiselle Полины...— проговорил он.

Князь взмахнул на него глазами. Подобный оборот разговора даже его удивил.

— Гм! — произнес он и потупился, как бы чего-то устыдясь.— Поошиблись, поошиблись...— повторил он.

— Может быть, эту ошибку можно будет теперь поправить,— продолжал Калинович, барабаня пальцами по столу, чтоб не дать заметить, как они дрожали.

— Гм! Теперь! — повторил князь и, приставив палец ко лбу, закрыл глаза. Сотни мыслей, кажется, промелькнули в это время в его голове.

— Все ошибки поправлять трудно, а эту тем больше,— произнес он.

— При вашем содействии, может быть, это будет возможно,— проговорил Калинович.

— Возможно! — повторил князь.— Все в руце судеб, а шансов много потеряно... Ох, как много! Тогда у Полины была еще жива мать, между нами сказать, старуха капризная, скупая: значит, девушке, весьма естественно, хотелось освободиться из-под этой ферулы и вырваться из скучной провинциальной жизни. Теперь этого обстоятельства уж больше нет. Потом, я положительно знаю, что вы тогда ей нравились... но что и как теперь — богу ведомо. Помните стихи Пушкина: «Кто место в небе ей укажет, примолвя: там остановись? Кто сердцу, хоть и не юной, а все-таки девы скажет: люби одно, не изменись?» И, наконец, Петербург, боже мой! Как скоро узнает он, где и какие раки зимуют. Смотрите, какие генералы и флигель-адъютанты начинают увиваться...

— Я бы, конечно, ваше сиятельство, никогда не решился начинать этого разговора; но, сколько раз ни бывал в последнее время у mademoiselle Полины, она попрежнему ко мне внимательна.

— Все это прекрасно, что вы бывали, и, значит, я не дурно сделал, что возобновил ваше знакомство; но дело теперь в том, мой любезнейший... если уж начинать говорить об этом серьезно, то прежде всего мы должны быть совершенно откровенны друг с другом, и я прямо начну с того, что и я, и mademoiselle Полина очень хорошо знаем, что у вас теперь на руках женщина... каким же это образом?.. Сами согласитесь...

Калинович нахмурился.

— Если это препятствие, ваше сиятельство, и существует, то я, конечно, предусмотрел и могу устранить его...— проговорил он неполным голосом.

— Устранить, мой милейший Яков Васильич, можно различным образом,— возразил князь.— Я, как человек опытный в жизни, знаю, что бывает и так: я вот теперь женюсь на одной по расчету, а другую все-таки буду продолжать любить... бывает и это... Так?

— Меня еще Петербург, ваше сиятельство, не настолько испортил; тем больше, что в последние мои свидания я мог лучше узнать и оценить Полину.

— Девушка бесподобная — про это что говорить! Но во всяком случае, как женщина умная, самолюбивая и, может быть, даже несколько по характеру ревнивая, она, конечно, потребует полного отречения от старой привязанности. Я считаю себя обязанным поставить вам это

первым условием: счастие Полины так же для меня близко и дорого, как бы счастие моей собственной дочери.

— Я очень это понимаю, ваше сиятельство! — возразил Калинович.

— Да; теперь собственно насчет меня,— продолжал князь, вставая и притворяя дверь в комнату,— насчет моего участия,— продолжал он, садясь на прежнее место,— я хочу вас спросить: совершенно ли вы изволили выкинуть из вашей головы все эти студенческие замашки, которые в сущности одни только бредни, или нет? Вопрос этот для меня очень важен.

Калинович потупился. Он очень хорошо понимал, что для успеха дела должен был совершенно отказаться от того, что, наперекор его собственной воле, все еще ему помнилось.

— Я уж не тот, ваше сиятельство... — проговорил он.

Князь усмехнулся.

— Платон Михайлыч тоже говорит Чадскому, что он не тот! — возразил он.— Откровенно вам говорю, что я боюсь войти с вами в интимные отношения, чтоб, ей-богу, не стать в щекотливое положение, в которое уж был раз поставлен, когда вы, с вашей школьной нравственной высоты, изволили меня протретировать. Накупаться другой раз на это, как хотите, не совсем приятно.

— Я уж не тот...— повторил Калинович.

Князь призадумался немного.

— Хорошо, смотрите — я вам верю,— начал он,— и первое мое слово будет: я *купец*, то есть человек, который ни за какое дело не возьмется без явных барышей; кроме того, отнимать у меня время, употребляя меня на что бы то ни было, все равно, что брать у меня чистые деньги... У меня слишком много своих дел, так что чем бы я ни занялся, я непременно в то же время должен буду чем-нибудь проманкировать и понести прямо убыток — это раз! Второе: влияние мое на mademoiselle Полину, может быть, сильнее, чем вы предполагаете... Условливается это, конечно, отчасти старым знакомством, родственными отношениями, участием моим во всех ихних делах, наконец, установившеюся дружбой в такой мере, что ни один человек не приглянулся Полине без того, что б я не знал этого, и уж, конечно, она никогда не сделает такой партии, которую бы я не опробовал; скажу даже больше: если б она, в отношении какого-нибудь

человека, была ни то ни се, то и тут в моей власти подлить масла на огонь — так? Теперь третье-с: кто бы на ней ни женился, всякий получит около шестидесяти тысяч годового дохода. Ведь это, батюшка, все равно, что сделаться каким-нибудь владетельным князьком... И потому человеку этому дать мне за это дело каких-нибудь пятьдесят тысяч серебром, право, немного; а, с другой стороны, мне предложить в этом случае свои услуги безвозмездно, ей-богу, глупо! У меня своих четверо ребят, и если б не зарабатывал копейки, где только можно, я бы давным-давно был банкрот; а перед подобной логикой спасует всякая мораль, и как вы хотите, так меня и понимайте, но это дело иначе ни для вас, ни для кого в мире не сделается! — заключил князь и, утомленный, опустился на задок кресла.

Как ни мало предполагал Калинович в нем честности, но подобное предложение было выше всяких ожиданий. Сверх того, ему представилась опасность еще и с другой стороны.

— Я не имею, князь, таких денег,— проговорил он.

— О боже мой, я не сумасшедший, чтоб рассчитывать на ваши деньги, которых, я знаю, у вас нет! — воскликнул князь.— Дело должно идти иначе; теперь вопрос только о том: согласны ли вы на мое условие — так хорошо, а не согласны — так тоже хорошо.

— Я согласен,— отвечал Калинович.

— Значит, по рукам... хотя, собственно, я ничего еще покуда не обещаю и наперед должен узнать мнение Полины: если оно будет в нашу пользу, тогда я предложу вам еще некоторые подробности, на которые тоже попрошу согласиться.

— Когда ж я, ваше сиятельство, могу узнать решение моей участи? — сказал Калинович, уже вставая и берясь за шляпу.

— Завтра же, потому что я сегодня буду в Петергофе и завтра буду иметь честь донести вам, господин будущий владетель миллионного состояния... Превосходнейшая это вещь! — говорил князь, пожимая ему руку и провожая его.

Автор заранее предчувствует ту грозу обвинений, которая справедливо должна разразиться над Калиновичем, и в оправдание своего героя считает себя вправе привести только некоторые случаи, попадавшиеся ему в жизни. Вы,

например, m-me Маянова! Из прекрасных уст ваших, как известно, излетают одни только слова, исполненные высокого благородства и чести; однако в вашей великосветской гостиной, куда допускалась иногда и моя неуклюжая авторская фигура, вы при мне изволили, совершенно одобрительно, рассказывать, что прекрасный ваш beau-frère[1] сделал очень выгодную партию, хотя очень хорошо знали, что тут был именно подобный случай. А вы, наш друг и Аристид, превосходные обеды которого мы поглощаем, утопая в наслаждении, вы, как всем известно, по случаю одного наследства десять лет (а это немножко труднее, чем один раз шагнуть против совести), десять лет вели такого рода тактику, что мы теперь совершенно обеспечены касательно ваших обедов на все будущее время. Вы, молодое поколение, еще не вполне искусившееся в жизни, но уж очень хорошо понимающее всю чарующую прелесть денег, неужели у вас повернется язык произнести над моим героем свое «виновен»? А вас, старцы, любящие только героев добродетельных, я просто не беру в присяжные. Вон из судилища! Вся жизнь ваша была запятнана еще худшим. Все ваши мечты были направлены на приобретение каким бы то ни было путем благоустроенных имений, каменных домов и очаровательных дач. Вы теперь о том только молите бога, чтоб для детей ваших вышла такая же линия. И если уж винить когонибудь, так лучше век, благо понятие отвлеченное! Все вертится на одном фокусе. Смотрите: и в просвещенной, гуманной Европе рыцари переродились в торгашей, арены заменились биржами!

Про героя моего я по крайней мере могу сказать, что он искренно и глубоко страдал: как бы совершив преступление, шел он от князя по Невскому проспекту, где тут же встречалось ему столько спокойных и веселых господ, из которых уж, конечно, многие имели на своей совести в тысячу раз грязнейшие пятна. Дома Калинович застал Белавина, который сидел с Настенькой. Она была в слезах и держала в руках письмо. Не обратив на это внимания, он молча пожал у приятеля руку и сел.

— Я сейчас получила письмо,— начала Настенька, — отец умер!

---

[1] шурин (*франц.*).

Калинович взглянул на нее и еще больше побледнел. Она подала ему письмо. Писала Палагея Евграфовна, оставшаяся теперь без куска хлеба и без пристанища, потому что именьице было уж продано по иску почтмейстера. Страшными каракулями описывала она, как старик в последние минуты об том только стонал, что дочь и зять не приехали, и как ускорило это его смерть... Калиновича подернуло.

— Этого только недоставало! — произнес он голосом отчаяния.

Между тем Настенька глядела ему в глаза, ожидая утешения; но он ни слова больше не сказал. Белавин только посмотрел на него.

— Это еще вопрос: кого больше надобно оплакивать, того ли, кто умер, или кто остался жив? — проговорил он, как бы в утешение Настеньке.

— Меня, собственно, Михайло Сергеич, не то убивает,— возразила она,— я знаю, что отец уж пожил... Я буду за него молиться, буду поминать его; но, главное, мне хотелось хоть бы еще раз видеться с ним в этой жизни... точно предчувствие какое было: так я рвалась последнее время ехать к нему; но Якову Васильичу нельзя было... так ничего и не случилось, что думала и чего желала.

Жгучим ядом обливали последние слова сердце Калиновича. Невыносимые страдания обнаружились в нем по обыкновению тем, что он рассердился.

— Как же вам хотелось ехать, когда вы последнее именно время сбирались на театре играть? — проговорил он.

— И тебе не совестно это говорить? Ах, Жак, Жак!— возразила Настенька и отнеслась с грустной улыбкой к Белавину: — Вообразите, за что его гнев теперь: студент вот этот все ездил и просил меня, чтоб я играла; ну и действительно я побывала тогда в театре... Мне ужасно понравилось; действительно, мне хотелось — что ж тут глупого или смешного? Если б я, например, на фортепьяно захотела играть, я уверена, что он ничего бы не сказал, потому что это принято и потому что княжны его играют; но за то только, что я смела пожелать играть на театре, он две недели говорит мне колкости и даже в эту ужасную для меня минуту не забыл укорить!

— Я не укоряю, а говорю, как было,— перебил Калинович.— Смерть эту вы могли предвидеть, и если она так для вас тяжела, лучше было бы не ездить,— пробормотал он сквозь зубы.

— Что ж, ты и это ставишь мне в вину? Ты сам мне писал...

— Ничего я не писал,— проговорил Калинович еще более глухим голосом.

Настенька уже более не выдержала.

— Ну, скажите, пожалуйста, что он говорит? — воскликнула она, всплеснув руками.— Тебя, наконец, бог за меня накажет, Жак! Я вот прямо вам говорю, Михайло Сергеич; вы ему приятель; поговорите ему... Я не знаю, что последнее время с ним сделалось: он мучит меня... эти насмешки... презрение... неуважение ко мне... Он, кажется, только того и хочет, чтоб я умерла. Я молюсь, наконец, богу: господи! Научи меня, как мне себя держать с ним! Вы сами теперь слышали... в какую минуту, когда я потеряла отца, и что он говорит!

Далее Настенька не могла продолжать и, разрыдавшись, ушла в свою комнату.

— Жалуйся больше! — проговорил ей вслед Калинович.

— Послушайте, Яков Васильич, это в самом деле ужасно! — проговорил, наконец, все молчавший Белавин.— За что вы мучите эту женщину? Чем и какими проступками дала она вам на это право?

— Сделайте милость, Михайло Сергеич; вы менее, чем кто-либо, имеете право судить об этом: вы никогда не зарабатывали себе своей рукой куска хлеба, и у вас не было при этом на руках капризной женщины.

— Где ж тут капризы? — спросил Белавин.

— Я знаю где! И если я волнуюсь и бешусь, так я имею на то право; а она — нет! — воскликнул Калинович, вспыхнув, и ушел в кабинет.

Рыдания Настеньки между тем раздавались громче и громче по комнатам. Белавин, возмущенный и оскорбленный до глубины души всей этой сценой, сидел некоторое время задумавшись.

— Послушайте,— сказал он, вставая и входя к Калиновичу,— с Настасьей Петровной дурно; надобно по крайней мере за доктором послать.

— Там есть люди. Пускай съездят! — произнес Калинович.

— По приглашению слуги он может не приехать, и к кому ж, наконец, послать? Я сам лучше съезжу.

— Сделайте милость, если у вас так много лишнего времени,— отвечал Калинович.

Белавин пожал плечами и уехал. Чрез полчаса он возвратился с доктором.

Калинович даже не вышел. Он употребил все усилия, чтоб сохранить это адское равнодушие, зная, что для Настеньки это только еще цветочки, а ягодки будут впереди!

## XI

Часов в семь вечера Полина сидела у своей гранитной пристани и, прищурившись, глядела на синеватую даль моря. Пользуясь дачной свободой, она была в широкой кисейной блузе, которая воздушными, небрежными складками падала на дикий, грубый камень. Горностаевая мантилья, накинутая на плечи, предохраняла ее от влияния морского воздуха; на ногах были надеты золотом выложенные туфли. В костюме этом Полина совершенно не походила на девушку; скорей это была дама, имеющая несколько человек детей. Вдали показался катер.

«Кажется, что он!» — подумала Полина, еще более прищуриваясь.

Подъезжал князь и через несколько минут был уже у пристани.

— Bonjour, и первое слово: нет ли у вас кого-нибудь? — говорил он, выскакивая из катера.

— Никого.

— И прекрасно!.. Нам предстоит очень важное дело... Пойдемте!

— Пойдем. Как, однако, ты устал, бедненький!

— Ужасно! — отвечал князь.— Целый день сегодня, как за язык повешенный,— продолжал он, входя в гостиную и бросаясь в кресло.

Полина села невдалеке от него.

— Что ж ты делал? — спросила она.

— Делал: во-первых, толковал с одним господином

о делах, потом с другим, и с этим уж исключительно говорил об вас.

— Это как?

— А так, что просят вашей руки и сердца.

Полина немного вспыхнула.

— О, вздор! Кто ж это такой? — проговорила она.

— Старый... Калинович! — отвечал князь и потупился.

Полина только усмехнулась.

— Он уж давно выпытывал у меня,— продолжал князь совершенно равнодушным тоном,— но сегодня, наконец, прямо объявил и просил узнать ваше мнение.

Полина молчала и в раздумье гладила рукой свои горностаи.

— Жених неблистательный для Петербурга,— проговорила она.

— Конечно; впрочем, что ж?..— заговорил было князь, но приостановился.— По-настоящему, мне тут говорить не следует; как ваше сердце скажет, так пусть и будет,— присовокупил он после короткого молчания.

Полина горько улыбнулась.

— Что моему бедному сердцу сказать? — начала она, закрыв глаза рукой.— Ты очень хорошо знаешь, что я любила одного только в мире человека — это тебя! И за кого бы я, конечно, ни вышла, я только посмеюсь над браком.

Князь опять потупил глаза.

— Безумна, конечно, я была тогда как девочка,— продолжала Полина,— но немного лучше и теперь; всегда думала и мечтала об одном только, что когда-нибудь ты будешь свободен.

— Этого нет, кузина; что ж делать! — воскликнул князь.

Полина вздохнула.

— Знаю, что нет,— произнесла она тем же грустным тоном и продолжала: — Тогда в этой ужасной жизни, при матери, когда была связана по рукам и по ногам, я, конечно, готова была броситься за кого бы то ни было, но теперь... не знаю... Страшно надевать новые оковы, и для чего?

— Оковы существуют и теперь,— возразил князь,— поселиться вам опять в нашей деревенской глуши на

скуку, на сплетни,— это безбожно... Мне же переехать в Петербург нельзя по моим делам,— значит, все равно мы не можем жить друг возле друга.

Полина думала.

— А что вы говорили насчет неблистательности, так это обстоятельство,— продолжал он с ударением,— мне представляется тут главным удобством, хотя, конечно, в теперешнем вашем положении вы можете найти человека и с весом и с состоянием. Но, chére cousine, бог еще знает, как этот человек взглянет на прошедшее и повернет будущее. Может быть, вы тогда действительно наденете кандалы гораздо горшие, чем были прежде.

Полина покраснела и молчала в раздумье.

— Совершенно другое дело этот господин,— продолжал князь,— мы его берем, как полунагого и голодного нищего на дороге: он будет всем нам обязан. Не дав вам ничего, он поневоле должен будет взглянуть на многое с закрытыми глазами; и если б даже захотел ограничить вас в чем-нибудь, так на вашей стороне отнять у него все.

Полина продолжала думать.

— Что это ему теперь так вздумалось? Помнишь твой первый разговор с ним? — спросила она.

— Э, пустое! Студенческая привязанность к девочке — больше ничего!

— Однако ж она существует и до сих пор. Госпожа эта здесь!

— Госпожа эта,— возразил князь с усмешкою,— пустилась теперь во все тяжкие. Он, может быть, у ней в пятом или четвертом нумере, а такими привязанностями не очень дорожат. Наконец, я поставил ему это первым условием, и, значит, все это вздор!.. Главное, чтоб он вам нравился, потому что вы все-таки будете его жена, а он ваш муж — вопрос теперь в том.

— Он, я тебе откровенно скажу, нравится мне больше, чем кто-нибудь, хоть в то же время мне кажется, что мое сердце так уж наболело в прежних страданиях, что потеряло всякую способность чувствовать. Кроме того,— прибавила Полина подумав,— он человек умный; его можно будет заставить служить.

— Непременно служить! — подхватил князь.— И потом он литератор, а подобные господа в черном теле

очень ничтожны; но если их обставить состоянием, так в наш образованный век, ей-богу, так же почтенно быть женой писателя, как и генерала какого-нибудь.

— Конечно! — подтвердила Полина.

Князь очень хорошо видел, что дело с невестой было покончено; но ему хотелось еще кой-чего достигнуть.

— Не знаю, как вы посудите,— начал он,— но я полагал бы, что, живя теперь в Петербурге, в этом вашем довольно хорошем кругу знакомства, зачем вам выдавать его за бедняка? Пускай явится человеком с состоянием. Можно будет распустить под рукой слух, что это старая ваша любовь, на которую мать была не согласна, потому что он нечиновен; но для сердца вашего, конечно, не может существовать подобного препятствия: вы выходите за него, и прекрасно! Сделать же вам это очень легко: презентуйте ему частичку вашего капитала и так его этим оперите, что и — боже ты мой!—носу никто не подточит... Так все и вести.

— Разумеется, это можно будет сделать,— отвечала Полина.

— Необходимо так,— подхватил князь.— Тем больше, что это совершенно прекратит всякий повод к разного рода вопросам и догадкам: что и как и для чего вы составляете подобную партию? Ответ очень простой: жених человек молодой, умный, образованный, с состоянием — значит, ровня... а потом и в отношении его, на случай, если б он объявил какие-нибудь претензии, можно прямо будет сказать: «Милостивый государь, вы получили деньги и потому можете молчать».

Полина сидела в задумчивости.

— Итак-с? — продолжал князь, протягивая ей руку.

Она подала ему свою.

— Что ж сказать этому господину, а? — спросил он с какой-то нежностью.

— Ах, господину... господину...— повторила Полина,— скажи, что хочешь,— мне все равно!

— Значит: да — так?

— Ну, хоть да!

Князь сейчас же встал.

— Adieu,— проговорил он.

— Куда ж ты? Останься!

— Нет, нельзя, пора. Adieu.

— Adieu,— повторила Полина, и когда князь стал целовать у нее руку, она не выдержала, обняла его и легла к нему головой на плечо. По щекам ее текли в три ручья слезы.

— Страшно мне, друг мой, страшно! — произнесла она.

— А старый уговор помните: если замуж, так без слез? — говорил князь, грозя пальцем и легохонько отодвигая ее от себя, а потом, заключив скороговоркой: — Adieu,— убежал.

Часто потом и очень часто спрашивала себя Полина, каким образом она могла так необдуманно и так скоро дать свое слово. Конечно, ей, как всякой девушке, хотелось выйти замуж, и, конечно, привязанность к князю, о которой она упоминала, была так в ней слаба, что она, особенно в последнее время, заметив его корыстные виды, начала даже опасаться его; наконец, Калинович в самом деле ей нравился, как человек умный и даже наружностью несколько похожий на нее: такой же худой, бледный и белокурый; но в этом только и заключались, по крайней мере на первых порах, все причины, заставившие ее сделать столь важный шаг в жизни. «Судьба и судьба!» — отвечала она обыкновенно себе,— та судьба, в борьбу с которой верил древний человек и небессознательно завязывал на этом мотиве свои драмы.

В Петербурге князь завернул сначала к своему англичанину, которого застал по обыкновению сильно выпившим, но с полным сохранением всех умственных способностей.

— Ну что, сэр? — начал он. — Дело обделывается: чрез месяц мы будем иметь с вами пятьдесят тысяч чистогану... Понимаете?

— Да, понимаю. Это хорошо,— отвечал англичанин.

— Хорошо-то хорошо,— произнес князь в раздумье,— но дело в том,— продолжал он, чмокнув,— что тут я рискнул таким источником, из которого мог бы черпать всю жизнь: а тут мирись на пятидесяти тысчонках! Как быть! Не могу; такой уж характер: что заберется в голову, клином не вышибешь.

— Когда б вы были Лондон, вы б много дел имели: у вас много ум есть.

— Есть немножко. Однако вы, батюшка, извольте-ка ложиться спать да хорошенько проспаться: завтра надобно начинать хлопотать о привилегии.

— Да, я буду много спать,— отозвался Пемброк.

— Спать, спать! — подтвердил князь.

Распорядившись таким образом с англичанином, он возвратился домой, где сверх ожидания застал Калиновича, который был мрачен и бледен.

— Ну, что, Яков Васильич,— говорил князь, входя,— ваше дело в таком положении, что и ожидать было невозможно. Полина почти согласна.

При этих словах Калинович еще более побледнел, так что князю это бросилось в глаза.

— Что, однако, с вами? Вы ужасно нехороши... Не хуже ли вам?

— Нет, ничего,— отвечал Калинович,— женщина, о которой мы с вами говорили... я не знаю... я не могу ее оставить! — проговорил он рыдающим голосом и, схватив себя за голову, бросился на диван.

Тут уж князь побледнел.

— Полноте, мой милый! Что это? Как это можно? Любите, что ли, вы ее очень? Это, что ли?

— Не знаю; я в одно время и люблю ее и ненавижу, и больше ничего не знаю,— отвечал Калинович, как полоумный.

— Ни то, ни другое,— возразил князь,— ненавидеть вам ее не за что, да и беспокоиться особенно тоже нечего. В наше время женщины, слава богу, не умирают от любви.

— Нет, умирают! — воскликнул Калинович.— Вы не можете этого понимать. Ваши княжны действительно не умрут, но в других сословиях, слава богу, сохранилось еще это. Она уж раз хотела лишить себя жизни, потому только, что я не писал к ней.

Князь слушал Калиновича, скрестив руки.

— Потому только, скажите, пожалуйста! Это уж очень чувствительно,— проговорил он.

Калинович вышел из себя.

— Прошу вас, князь, не говорить таким образом. Цинизм ваш вообще дурного тона, а тут он совершенно некстати. Говоря это, вы сами не чувствуете, как становитесь низко, очень низко,— сказал он раздраженным голосом.

Князь пожал плечами.

— Положим,— начал он,— что я становлюсь очень низко, понимая любовь не по-вашему; на это, впрочем, дают мне некоторое право мои лета; но теперь я просто буду говорить с вами, как говорят между собой честные люди. Что вы делаете? Поймите вы хорошенько! Не дальше как сегодня вы приходите и говорите, что девушка вам нравится, просите сделать ей предложение; вам дают почти согласие, и вы на это объявляете, что любите другую, что не можете оставить ее... Как хотите, ведь это поступки сумасшедшего человека; с вами не только нельзя дела какого-нибудь иметь, с вами говорить невозможно. Это черт знает что такое! — заключил князь с достоинством.

— Да, я почти сумасшедший! — произнес Калинович.— Но, боже мой! Боже мой! Если б она только знала мои страдания, она бы мне простила. Понимаете ли вы, что у меня тут на душе? Ад у меня тут! Пощадите меня! — говорил он, колотя себя в грудь.

— Все очень хорошо понимаю,— возразил князь,— и скажу вам, что все зло лежит в вашем глупом университетском воспитании, где набивают голову разного рода великолепными, чувствительными идейками, которые никогда и нигде в жизни неприложимы. Немцы по крайней мере только студентами бесятся, но как выйдут, так и делаются, чем надо; а у нас на всю жизнь портят человека. Любой гвардейский юнкер в вашем положении минуты бы не задумался, потому что оно плевка не стоит; а вы, человек умный, образованный, не хотите хоть сколько-нибудь возвыситься над собой, чтоб спокойно оглядеть, как и что... Это мальчишество, наконец!.. Вы в связи с девочкой, которая там любит вас; вы ее тоже любите, в чем я, впрочем, сомневаюсь... но прекрасно! Вам выходит другая партия, блестящая, которая какому-нибудь камергеру здешнему составила бы карьеру. В партии этой, кроме состояния, как вы сами говорите, девушка прекрасная, которая, по особенному вашему счастью, сохранила к вам привязанность в такой степени, что с первых же минут, как вы сделаетесь ее женихом, она хочет вам подарить сто тысяч, для того только, чтоб не дать вам почувствовать этой маленькой неловкости, что вот-де вы бедняк и женитесь на таком богатстве. Одна эта деликатность, я не знаю, как высоко

должна поднять эту женщину в ваших глазах! Сто тысяч, а? — продолжал князь, более и более разгорячаясь.— Это, кажется, капиталец такого рода, из-за которого от какой хотите любви можно отступиться. Если уж, наконец, действительно привязанность ваша к этой девочке в самом деле так серьезна — черт ее возьми! — дать ей каких-нибудь тысяч пятнадцать серебром, и уж, конечно, вы этим гораздо лучше устроите ее будущность, чем живя с ней и ведя ее к одной только вопиющей бедности. Сама-то любовь заставляет вас так поступить!

— Этой женщине миллион меня не заменит,— проговорил Калинович.

— Да, вначале, может быть, поплачет и даже полученные деньги от вас, вероятно, швырнет с пренебрежением; но, подумав, запрет их в шкатулку, и если она точно девушка умная, то, конечно, поймет, что вы гораздо большую приносите жертву ей, гораздо больше доказываете любви, отторгаясь от нее, чем если б стали всю жизнь разыгрывать перед ней чувствительного и верного любовника — поверьте, что так!.. Ну и потом, когда пройдет этот первый пыл, что ей мешает преспокойным манером здесь же выйти замуж за какого-нибудь его высокоблагородие, столоначальника, народить с ним детей, для вящего здоровья которых они будут летом нанимать на какой-нибудь Безбородке дачу и душевно благословлять вас, как истинного своего благодетеля.

— А если она не доживет до этой блаженной поры и немножко пораньше умрет? — возразил Калинович.

— Опять — умрет! — повторил с усмешкою князь.— В романах я действительно читал об этаких случаях, но в жизни, признаюсь, не встречал. Полноте, мой милый! Мы, наконец, такую дребедень начинаем говорить, что даже совестно и скучно становится. Во̀лишки у вас, милостивый государь, нет, характера — вот в чем дело!

Калинович сидел, погруженный сам в себя.

— Если еще раз я увижу ее, кончено! Я не в состоянии буду ничего предпринять... Наконец, этот Белавин...— проговорил он.

Князь усмехнулся и, покачнувшись всем телом, откинулся на задок кресла.

— Боже ты мой, царь милостивый! Верх ребячества невообразимого! — воскликнул он.— Ну, не видайтесь, пожалуй! Действительно, что тут накупаться на эти бабьи аханья и стоны; оставайтесь у меня, ночуйте, а завтра напишите записку: так и так, мой друг, я жив и здоров, но уезжаю по очень экстренному делу, которое устроит наше благополучие. А потом, когда женитесь, пошлите деньги — и делу конец: ларчик, кажется, просто открывался! Я, признаюсь, Яков Васильич, гораздо больше думал о вашем уме и характере...

— Кто в вашу переделку, князь, попадет, всякий сломается,— произнес Калинович.

— Не ломают вас, а выпрямляют! — возразил князь.— Впрочем, во всяком случае я очень глупо делаю, что так много говорю, и это последнее мое слово: как хотите, так и делайте! — заключил он с досадою и, взяв со стола бумаги, стал ими заниматься.

Около часа продолжалось молчание.

— Князь! Спасите меня от самого себя!—проговорил, наконец, Калинович умоляющим голосом. Он был даже жалок в эти минуты.

— Но, милый мой, что ж с вами делать? — произнес князь с участием.

— Делайте, что хотите,— я ваш! — ответил Калинович.

— «Ты наш, ты наш! Клянися на мече!» — не помню, говорится в какой-то драме; а так как в наше время мечей нет, мы поклянемся лучше на гербовой бумаге, и потому угодно вам выслушать меня или нет? — проговорил князь.

— Сделайте одолжение,— отвечал Калинович.

— Одолжение, во-первых, состоит в том, что поелику вы, милостивый государь, последним поступком вашим — не помню тоже в какой пьесе говорится — наложили на себя печать недоверия и очень может быть, что в одно прекрасное утро вам вдруг вздумается возвратиться к прежней идиллической вашей любви, то не угодно ли будет напредь сего выдать мне вексель в условленных пятидесяти тысячах, который бы ассюрировал меня в дальнейших моих действиях? Для вас в этом нет никакой опасности, потому что у вас нет копейки за душой, а мне сажать вас в яму, с платою кормовых, тоже никакого нет ни расчета, ни удовольствия... Когда же вы будете иметь

через меня деньги, значит — и отдать их должны. Так ведь это?

В продолжение всего этого монолога Калинович смотрел на князя в упор.

— Мы, однако, князь, ужасные с вами мошенники!..— проговорил он.

— Есть немного!—подхватил тот.— Но что ж делать! Ничего!

Калинович злобно усмехнулся.

— Конечно, уж с разбойниками надобно быть разбойником,— произнес он и, оставшись у князя ночевать, собрал все свое присутствие духа, чтоб казаться спокойным.

## XII

На другой день все стало мало-помалу обделываться. Калинович, как бы совершенно утратив личную волю, написал под диктовку князя к Настеньке записку, хоть и загадочного, но довольно утешительного содержания. Нанята была в аристократической Итальянской квартира с двумя отделениями: одно для князя, другое для жениха, которого он, между прочим, ссудил маленькой суммой, тысячи в две серебром, и вместе с тем — больше, конечно, для памяти — взял с него вексель в пятьдесят две тысячи. Дня через два, наконец, Калинович поехал вместе с князем к невесте. Свидание это было довольно странное.

— Здравствуйте, Калинович!— сказала, встречая их, Полина голосом, исполненным какого-то значения.

Тот ей ничего не ответил. Все утро потом посвящено было осматриванию маленького дачного хозяйства, в котором главную роль играл скотный двор с тремя тучными черкасскими коровами. В конюшне тоже стояли два серые жеребца, на которых мы встретили князя на Невском. Полина велела подать хлеба и начала смело, из своих рук, кормить сердитых животных. Кроме того, по маленькому двору ходили куры, которых молодая хозяйка завела, желая сделать у себя совсем деревню. Во все это Калиновича посвящали очень подробно, как полухозяина, и только уж после обеда, когда люди вообще бывают более склонны к задушевным беседам, князь успел навести разговор на главный предмет.

— Кузина, Яков Васильич, вероятно, желает, чтоб вы сами подтвердили то, что я ему передал,— сказал он.

Полина потупилась и сконфузилась.

— Я готова,— проговорила она.

— Следует, следует-с! — подхватил князь и сначала как бы подошел к балкону, а тут и совсем скрылся.

Оставшись вдвоем, жених и невеста довольно долгое время молчали.

— Нравлюсь ли я вам, Калинович, скажите вы мне? Я знаю, что я не молода, не хороша...— начала Полина.

Калинович больше пробормотал ей в ответ, что какое же другое чувство может заставить его поступать таким образом.

— А Годневу вы любили? — спросила Полина.

— Да, я ее любил,— отвечал Калинович.

— Очень?

— Очень.

— Точно ли вы оставляете ее?

Калинович усиленно вдохнул в себя целую струю воздуха.

— Она изменила мне,— проговорил он.

— Не может быть! Нет!.. Какая же эта она!.. Я не думала этого... Нет, это, верно, неправда.

— Изменила,— повторил Калинович с какой-то гримасой.

— И вам трудно об этом говорить, я вижу.

— Да, нелегко.

— Ну и не станем,— сказала Полина и задумалась.

— Послушайте, однако,— начала она,— я сама хочу быть с вами откровенна и сказать вам, что я тоже любила когда-то и думала вполне принадлежать одному человеку. Может быть, это была с моей стороны ужасная ошибка, которой, впрочем, теперь опасаться нечего! Человек этот, по крайней мере для меня, умер; но я его очень любила.

Калинович молчал.

— Вы не будете за это на меня сердиться? — продолжала Полина.

— По какому же праву? — проговорил он, наконец.

— По праву мужа,— отвечала с улыбкой Полина.

— Что ж? — отвечал Калинович, тоже с полуулыбкой.

— Не сердитесь... Я вас, кажется, буду очень любить! — подхватила Полина и протянула ему руку, до которой он еще в первый раз дотронулся без перчатки; она была потная и холодная. Нервный трепет пробежал по телу Калиновича, а тут еще, как нарочно, Полина наклонилась к нему, и он почувствовал, что даже дыхание ее было дыханием болезненной женщины. Приезд баронессы, наконец, прекратил эту пытку. Как радужная бабочка, в цветном платье, впорхнула она, сопровождаемая князем, и проговорила:

— Bonjour!

— Bonjour! — сказала Полина и сейчас же представила ей Калиновича как жениха своего.

— Ah, je vous félicite [1], — проговорила баронесса.

— Et vous aussi, monsieur [2], — прибавила она, протягивая Калиновичу через стол руку, которую тот пожимая, подумал:

«Вот кабы этакой ручкой приходилось владеть, так, пожалуй бы, и Настеньку можно было забыть!»

Баронесса, конечно, сейчас же вызвала разговор о модах и по случаю предстоявшей свадьбы вошла в мельчайшие подробности: она предназначила, как и у кого делать приданое, кто должен драпировать, меблировать спальню и прочие комнаты, обнаружа при этом столько вкуса и практического знания, что князь только удивлялся, восхищался и поддакивал ей. Калинович тоже делал вид, как будто бы все это занимает его, хоть на сердце были невыносимые тоска и мука.

В дальнейшем ходе событий жених и невеста стали, по заведенному порядку, видаться каждый день, и свидания эти повлекли почти ожидаемые последствия. Кто не знает, с какой силой влюбляются пожилые, некрасивые и по преимуществу умные девушки в избранный предмет своей страсти, который дает им на то какой бы ни было повод или право? Причина тому очень простая: они не избалованы вниманием мужчин, но по своему уму, по своему развитию жаждут любви; им потребно это чувство, и когда подобная звезда восходит на их горизонте, они, как круглые бедняки, страстно и боязливо хватаются за свою последнюю лепту. С Полиной, каковы бы ни были

---

[1] Ах, поздравляю вас, *(франц.)*

[2] И вас также, сударь, *(франц.)*

ее прежние чувства к князю, но, в настоящем случае, повторилось то же самое: с каждым, кажется, часом начала она влюбляться в Калиновича все больше и больше. Бывши скупа и расчетлива не меньше матери, она, не ожидая напоминаний князя, подарила жениху разом билет в полтораста тысяч серебром. Калинович поцеловал у ней при этом руку и был как будто бы поласковей с нею; но деньги, видно, не прибавили ему ни счастия, ни спокойствия, так что он опять не выдержал этой нравственной ломки и в одно милое, с дождем и ветром, петербургское утро проснулся совсем шафранный: с ним сделалась желчная горячка!

Полина перепугалась, сейчас же переехала в город и непременно хотела сама ухаживать за больным, постоянно стараясь развлекать его своими ласками.

Сделавшись от болезни еще нервней и раздражительней, Калинович, наконец, почувствовал к невесте то страшное физиологическое отвращение, которое скрывать не было уже никаких человеческих сил, и чем бы все это кончилось,— неизвестно! К счастию, лечивший его доктор, узнав отношения лиц и поняв, кажется, отчего болен пациент, нашел нужным, для успеха лечения, чтоб невеста не тревожила больного и оставляла его больше в покое, больше одного. Он передал это князю, который, в свою очередь, тоже хорошо понимая настоящую сущность, начал употреблять всевозможные уловки, чтоб задержать Полину у ней на квартире, беспрестанно возил ее по магазинам, и когда она непременно хотела быть у Калиновича, то ни на одну секунду не оставлял ее с ним вдвоем, чтоб не дать возможности выражаться и развиваться ее нежности.

Свадебные хлопоты стали приходить к концу. Калинович худой, как скелет, сидел по обыкновению на своей кровати. Человек доложил ему, что пришел генеральшин Григорий Васильев.

— Пусти! — сказал Калинович.

Вошел знакомый нам старик-повар, еще более оплешивевший, в старомодном, вишневого цвета, с высоким воротником, сюртуке, в светло вычищенных сапожках и серебряным перстнем на правой руке.

— Что тебе надобно? — спросил Калинович.

— Так как, выходит, являюсь господину и барину моему, на все дни живота моего нескончаемому...— от-

вечал Григорий Васильев, свернув несколько голову набок и становясь навытяжку.

Калинович посмотрел на него

— Собственно, как старому генералу, за которого теперь все наши помыслы и сердец наших излияния перед престолом всевышнего изливаться должны за успокоение их высокочувствительной души, и больше ничего... так я и понимаю!..

Калинович догадался, что старик был сильно выпивши, и, желая от него скорее отделаться, подал было ему три рубля серебром, но Григорий Васильев отступил несколько шагов назад.

— Не за тем, Яков Васильич, являюсь,— возразил он с усмешкою,— но что собственно вчерашнего числа госпожа наша Полина Александровна, через князя, изволила мне отдать приказ, что, так как теперича оне изволят за вас замуж выходить и разные по этому случаю будут обеды и балы, и я, по своей старости и негодности, исполнить того не могу, а потому сейчас должен сбираться и ехать в деревню... Как все это я понимать могу? В какую сторону? — заключил старик и принял вопросительную позу.

Калинович, однако, ничего не отвечал ему.

— Не дела моего исполнить не могу — это только напрасные обиды их против меня,— продолжал Григорий Васильев,— а что я человек, может быть, опасный — это может быть...— присовокупил он с многозначительной миной.

— Чем же ты человек опасный? — спросил наконец Калинович, которого начинала несколько забавлять эта болтовня.

— Коли приказанье будет, я доклад смелый могу держать,— отвечал старик с какой-то гордостью.— Григорий Васильев не такой человек, чтоб его можно было залакомить или закупить, что коли по головке погладить, так он и лапки распустит: никогда этого быть не может. У Григорья Васильева,— продолжал он умиленным тоном и указывая на потолок,— был один господин — генерал... он теперь на небе, а вы, выходит, преемник его; так я и понимаю!

— Конечно,— подтвердил Калинович.

— И ежели вы теперича,— продолжал старик еще с большим одушевлением,— в настоящем звании преемник

его чинов, крестов и правил, вы прямо скажете: «Гришка! Поди ты, братец, возьми в своей кухне самое скверное помело и выгони ты этого самого князя вон из моего дома!» А я исполнить то должен, и больше ничего!

Последние слова уж заметно заинтересовали Калиновича.

— Что ж тебе так не нравится князь? — спросил он.

— Князь!..— воскликнул старик со слезами на глазах.— Так я его понимаю: зеленеет теперь поле рожью, стеблями она, матушка, высокая, колосом тучная, васильки цветут, ветерок ими играет, запах от них разносит, сердце мужичка радуется; но пробежал конь степной, все это стоптал да смял, волок волоком сделал: то и князь в нашем деле,— так я его понимаю.

— Что ж, разорил что ли он? — спросил Калинович.

— Тьфу для нас его разоренье было бы! — отвечал Григорий Васильев.— Слава богу, после генерала осталось добра много: достало бы на лапти не одному этакому беспардонному князю, а и десятку таких; конечно, что удивлялись, зная, сколь госпожа наша на деньгу женщина крепкая, твердая, а для него ничего не жалела. Потеряв тогда супруга, мы полагали, что оне либо рассудка, либо жизни лишатся; а как опара-то начала всходить, так и показала тоже свое: въявь уж видели, что и в этаком высоком звании женщины не теряют своих слабостей. Когда приехала вдовицей в деревню, мелкой дробью рассыпался перед ними этот человек. Портреты генерала, чтоб не терзали они очей ее, словно дрова, велел в печке пережечь и, как змей-искуситель, с тех же пор залег им в сердце и до конца их жизни там жил и командовал. Бывало, мину к кому из людей неприятную отнесет, смотришь, генеральша и делает с тем человеком свое распоряжение... Все должны были угождать, трепетать и раболепствовать князю!

Калинович начинал хмуриться.

— Что ж у них, интрига, что ли, была? — спросил он.

Григорий Васильев пожал плечами.

— Горничные девицы, коли не врут, балтывали...— проговорил он, горько усмехнувшись.— И все бы это, сударь, мы ему простили, по пословице: «Вдова — мирской человек»; но, батюшка, Яков Васильич!.. Нам барышни нашей тут жалко!..— воскликнул он, прижимая руку к серд-

цу.— Как бы теперь старый генерал наш знал да ведал, что они тут дочери его единородной не поберегли и не полелеяли ее молодости и цветучести... Батюшка! Генерал спросит у них ответа на страшном суде, и больше того ничего не могу говорить!

— Отчего ж не говорить? — спросил мрачно Калинович и потупляя глаза.

— Говорить! — повторил старик с горькою усмешкою. — Как нам говорить, когда руки наши связаны, ноги спутаны, язык подрезан? А что коли собственно, как вы теперь заместо старого нашего генерала званье получаете, и ежели теперь от вас слово будет: «Гришка! Открой мне свою душу!» — и Гришка откроет. «Гришка! Не покрывай ни моей жены, ни дочери!» — и Гришка не покроет! Одно слово, больше не надо.

— Конечно, говори, тем больше, когда начал,— повторил Калинович еще более серьезным тоном.

— Говори! — повторил опять с горькою усмешкою и качая головой Григорий Васильев.— Говорить, батюшка, Яков Васильич, надобно по-божески: то, что барышня, может, больше маменьки своей имела склонность к этому князю. Я лакей — не больше того... и могу спросить одно: татарин этот человек али христианин? Как оне очей своих не проглядели, глядючи в ту сторону, откуда он еще только обещанье сделает приехать... Батюшка, господин наш новый! А коли бы теперь вам доложить, какие у них из этого с маменькой неудовольствия были, так только одна царица небесная все это видела, понимала и судила... Мы, приближенная прислуга, не знаем, кому и как служить; и я, бывало, по глупому своему характеру, еще при жизни покойной генеральши этим разбойникам, княжеским лакеям, смело говаривал: «Что это, говорю, разбойники, вы у нас наделали! Словно орда татарская с барином своим набежали к нам, полонили да разорили, псы экие!»

Калинович слушал молча и только еще ниже склонил голову.

— Батюшка, Яков Васильич! — восклицал Григорий Васильев, опять прижимая руку к сердцу.— Может, я теперь виноватым останусь: но, как перед образом Казанской божией матери, всеми сердцами нашими слезно молим вас: не казните вы нашу госпожу, а помилуйте, батюшка! Она не причастна ни в чем; только злой человек

ее к тому руководствовал, а теперь она пристрастна к вам всей душой — так мы это и понимаем.

Калинович молчал.

— Конечно, мы хоть и рабы,— продолжал Григорий Васильев,— а тоже чувствовали, как их девичий век проходил: попервоначалу ученье большое было, а там скука пошла; какое уж с маменькой старой да со скупой развлеченье может быть?.. Только свету и радости было перед глазами, что князь один со своими лясами да балясами... ну, и втюрилась, по нашему, по-деревенски сказать.

— Зачем же Полина Александровна за меня замуж выходит, когда она влюблена в князя? — спросил вдруг Калинович.

— Охлажденье, сударь, к нему имеют... большое охлажденье против прежнего,— отвечал успокоительным тоном Григорий Васильев,— вот уж года четыре мы это замечаем; только и говорят своим горничным девицам: «Ах, говорят, милые мои, как бы я желала выйти замуж!» Барышня, батюшка, умная, по политике тонкая, все, может быть, по чувствительной душе своей почувствовали, какой оне пред господом творцом-создателем грех имеют. Как оне теперь рады вам — и сказать того нельзя; только и спрашивают всех: «Видели ли вы моего жениха? Хорош ли он?»

Выслушав все это, Калинович вздохнул. Он приказал старику, чтоб тот не болтал о том, что ему говорил, и, заставив его взять три целковых, велел теперь идти домой; но Григорий Васильев не двигался с места.

— Я все насчет своей негодности, господин вы наш хороший и новый!..— проговорил он, становясь в грустную позу.

— Ты останешься,— сказал ему Калинович.

Но Григорий Васильев с какой-то недоверчивостью повернулся и вышел неторопливо.

Больной между тем, схватив себя за голову, упал в изнеможении на постель. «Боже мой! Боже мой!» — произнес он, и вслед за тем ему сделалось так дурно, что ходивший за ним лакей испугался и послал за Полиной и князем. Те прискакали. Калинович стал настоятельно просить, чтоб завтра же была свадьба. Он, кажется, боялся за свою решимость. Полина тоже этому обрадовалась, и

таким образом в маленькой домовой церкви произошло их венчанье.

Как мертвец худой, стоял жених перед налоем. На вопрос священника: «Не обещался ли кому-нибудь?» — он ничего не проговорил.

Единственными лицами при церемонии были князь и муж баронессы. В качестве свидетелей они скрепили своей благородной подписью запись в брачной книге. После венца у новобрачных, по петербургскому обычаю, был только чай с мороженым и фруктами для близких знакомых, которые, выпиь по нескольку заздравных бокалов, поспешили разъехаться.

В богатом халате, в кованных золотом туфлях и с каким-то мертвенным выражением в лице прошел молодой по шелковистому ковру в спальню жены — и затем все смолкло. На улицах было тоже тихо часов до трех; но на рассвете вдруг вспыхнул на Литейной пожар. Пламя в несколько минут охватило весь дом. Наскакала пожарная команда, и сбежался народ. В третьем этаже раздался крик женщины, молившей о спасении. Толпа дрогнула, но никто не пошевелился. Вдруг появился господин в незастегнутом пальто, без галстука... С несвойственной, видно, ему силой он подставил огромную лестницу и, как векша, проворно взобрался по ней, разбил сразу рукой раму и, несмотря на то, что на него пахнуло дымом и пламенем, скрылся в окно. Все замерло в ожидании. Через несколько минут спаситель появился с бесчувственной женщиной на руках. Толпа встретила его громким «ура» и «браво»; но он скрылся.

Это был новобрачный Калинович.

Как и зачем он тут появился? Еще полчаса перед тем он выбежал, как полоумный, из дому, бродил несколько времени по улицам, случайно очутился на пожаре и бросился в огонь не погибающую, кажется, спасать, а искать там своей смерти: так, видно, много прелести и наслаждения принесло ему брачное ложе.

## XIII

Кто не согласится, что под внешней обстановкой большей части свадеб прячется так много нечистого и грязного, что уж, конечно, всякое тайное свидание какого-нибудь молоденького мальчика с молоденькой девочкой гораздо вы-

ше в нравственном отношении, чем все эти полуторговые сделки, а между тем все вообще «молодые» имеют какую-то праздничную и внушительную наружность, как будто они в самом деле совершили какой-нибудь великий, а для кого-то очень полезный подвиг. Описанная мною свадьба, конечно, имела тот же характер. Молодая, с приличною томностью в лице, пила каждое утро шоколад и меняла потом, раза два и три, свой туалет. Часа в два молодые обыкновенно садились в карету и отправлялись с визитами, результатом которых в их мраморной вазе появились билетики: Comte Koulgacoff[1], m-me Digavouroff, née comtesse Miloff[2], Иван Петрович Захарьин, генерал-лейтенант, Serge Milkovsky[3], Петр Николаевич Трубнов, флигель-адъютант, и так далее; был даже какой-то испанский гранд Auto de Salvigo[4] — словом, весь этот цвет и букет петербургского люда, который так обаятельно, так роскошно показывается нашим вульгарным очам на Невском проспекте и в Итальянской опере и сблизить с которым мою молодую чету неусыпно хлопотала приятельница Полины, баронесса. В какой мере все это тешило самолюбие героя моего,— сказать трудно; во всяком случае, он, кажется, начинал уж привыкать к своему не совсем, конечно, честному, но зато высокоблистательному положению. Когда, задумавшись и заложив руки назад, он ходил по своей огромной зале, то во всей его солидной посадке тела, в покрое даже самого фрака, так и чувствовался будущий действительный статский советник, хоть в то же время добросовестность автора заставляет меня сказать, что все это спокойствие была чисто одна личина: в душе Калинович страдал и беспрестанно думал о Настеньке! На другой день свадьбы он уехал в Павловск и отправил к ней оттуда двадцать пять тысяч серебром при коротеньком письме, в котором уведомлял ее о своей женитьбе и умолял только об одном, чтоб она берегла свое здоровье и не проклинала его. Ответа он не ждал, потому что не написал даже своего адреса.

23 октября назначен был у баронессы большой бал соб-

---

1 Граф Кулгаков, *(франц.)*
2 госпожа Дигавурова, урожденная графиня Милова, *(франц.)*
3 Сергей Милковский, *(франц.)*
4 Ауто де Сальвиго (*исп.)*

ственно для молодых. Накануне этого дня, поутру, Калинович сидел в своем богатом кабинете. Раздался звонок, и вслед за тем послышались в зале знакомые шаги князя. Калинович сделал гримасу.

— Здравствуйте и вместе прощайте! — произнес гость, входя.

— Что ж так? — спросил Калинович неторопливо.

— Еду-с... Дело наше о привилегии кончилось — значит, теперь надо в деревню... работать... хлопотать...— отвечал князь и остановился, как бы не договорив чего-то; но Калинович понял.

— Может быть, вы деньги желаете получить? — сказал он после некоторого молчания.

— Да, Яков Васильич, я бы просил вас. Я теперь такую кашу завариваю, что припасай только! — произнес князь почти униженным тоном.

Калинович нарочно зевнул, чтоб скрыть улыбку презрения, и небрежно выдвинул незапертый ящик в столе.

— Билетами хотите? — проговорил он.

— Все равно! — отвечал князь, вынимая и отдавая Калиновичу его заемное письмо.

Калинович подал ему билет опекунского совета.

— Пятьдесят две тысячи ровно! — проговорил он.

— Верю и благодарю-с! — подхватил князь и, великодушно не поверив уплаты, сунул билет в карман.

Калинович между тем, разорвав с пренебрежением свое заемное письмо на клочки и бросив его на пол, продолжал молчать, так что князю начинало становиться неловко.

— Что ваша, однако, баронесса, скажите? Я видел ее как-то на днях и говорил с ней о вас,— начал было князь.

— Я и сам с ней говорил,— возразил Калинович с насмешкой. —Сегодня в два часа еду к ней,— присовокупил он, как бы желая покончить об этом разговор.

— Поезжайте, поезжайте,— подхватил князь,— как можно упускать такой случай! Одолжить ее каким-нибудь вздором — и какая перспектива откроется! Помилуйте!.. Литературой, конечно, вы теперь не станете заниматься: значит, надо служить; а в Петербурге без этого заднего обхода ничего не сделаешь: это лучшая пружина, за которую взявшись можно еще достигнуть чего-нибудь порядочного.

Явное презрение выразилось при этих словах на лице Калиновича. Тотчас же после свадьбы он начал выслушивать все советы князя или невнимательно, или с насмешкою.

— Что, однако, Полина? Могу я ее видеть? — продолжал он.

— Нет, она не одета,— отвечал сухо Калинович.

— Значит, до свиданья! — проговорил князь, несколько растерявшись.

Хозяин только мотнул головой и не привстал даже. Князь ушел.

— Мерзавец! — проговорил ему вслед довольно громко Калинович и вскоре выехал со двора. Развалясь и положа нога на ногу, уселся он в своей маленькой каретке и быстро понесся по Невскому. В Морской экипаж остановился перед главным входом одного из великолепных домов.

Калинович назвал швейцару свою фамилию.

— Пожалуйте,— проговорил тот и дал знать звонком в бельэтаж.

Калиновичу невольно припомнился его первый визит к генеральше. Он снова входил теперь в барский дом, с тою только разницею, что здесь аристократизм был настоящий: как-то особенно внушительно висела на окнах бархатная драпировка; золото, мебель, зеркала — все это было тяжеловесно богато; тропические растения, почти затемняя окна, протягивали свою сочную зелень; еще сделанный в екатерининские времена паркет хоть бы в одном месте расщелился. Самый воздух благоухал какой-то старинной знатью. Баронесса в ужас приходила от всего этого старого хлама, но барон оставался неумолим и ничего не хотел изменить. Он дозволил жене только убрать свое небольшое отделение, как ей хотелось, не дав, впрочем, на то ни копейки денег. Баронесса, однако, несмотря на это, сделала у себя совершенный рай, вполне по современному вкусу. Точно в жилище феи, вступил Калинович в ее маленькую гостиную, где она была так любезна, что в утреннем еще туалете и пивши кофе приняла его.

— Bonjour! — проговорила она ему навстречу, ангельски улыбаясь, как некогда улыбалась княжна, с тем только преимуществом, что делала это как-то умней и осмысленней.

— Bonjour, madame! — отвечал он с чувством собственного достоинства, но тоже любезно.

— Désirez vous du café? [1] — спросила баронесса.

— Je vous prie! [2] — отвечал Калинович.

— А курить? — прибавила баронесса, подвигая серебряный стакан с папиросами.

Калинович закурил.

— Я привез вам маленькую сумму...— начал он.

— Ах, да, да, merci! — подхватила скороговоркой баронесса, немного сконфузившись, и тотчас же переменила разговор.— Скажите,— продолжала она,— вы давно были влюблены в Полину? Мне это очень интересно знать.

— Да, давно,— отвечал Калинович с замечательным присутствием духа.

— Она очень милая, очень умная... нехороша собой, но именно, что называется, une femme d'esprit: умный человек, литератор, именно в нее может влюбиться. Voulez vous prendre encore une tasse? [3].

— Non, merci,—отвечал Калинович.— Деньги...—прибавил он, вынимая из кармана толстую пачку ассигнаций.

— Да; но мне, я думаю, нужно вам дать какую-нибудь бумагу?

— Нет, не нужно,— отвечал Калинович.

— Merci,— отвечала баронесса, кладя в раздумье деньги в стол.

Несколько времени они оба молчали.

— Я к вам, баронесса, тоже имею просьбу...— начал Калинович.

— Ах, да, знаю, знаю! — подхватила та.— Только постойте; как же это сделать? Граф этот... он очень любит меня, боится даже... Постойте, если вам теперь ехать к нему с письмом от меня, очень не мудрено, что вы затеряетесь в толпе: он и будет хотеть вам что-нибудь сказать, но очень не мудрено, что не успеет. Не лучше ли вот что: он будет у меня на бале; я просто подведу вас к нему, представлю и скажу прямо, чего мы хотим.

— Если можно будет это сделать, так, конечно...— сказал Калинович.

---

[1] Хотите кофе? *(франц.)*

[2] Пожалуйста! *(франц.)*

[3] Не хотите ли еще чашку? *(франц.)*

— Конечно, можно. Неужели вы думаете, что в Петербурге на балах говорят о чем-нибудь другом: все о делах... такой уж несносный город! — произнесла баронесса.

В это время раздался звон шпор. Калинович встал.

— Adieu, до завтра,— произнесла баронесса

Калинович поклонился.

— Скажите Полине, чтоб она была непременно в своем белом платье. Elle est magnifique!

— Слушаю-с,— проговорил Калинович и ушел. Приятная улыбка, которая оживляла лицо его в продолжение всего визита, мгновенно исчезла, когда он сел в экипаж; ему хотелось хоть бы пьяным напиться до бесчувствия, чтоб только не видеть и не понимать, что вокруг него происходило. Дома, как нарочно, вышла ему навстречу Полина в новом ваточном платье для гулянья и спрашивала: «Хороша ли она?»

— Хороша,— отвечал с гримасою Калинович, и через полчаса они гуляли под руку на Невском.

Бал! Бал!.. Когда-то упоительное и восхитительное слово! Еще Пушкин писал: «Люблю я бешеную младость и тесноту, и шум, и радость, и дам изысканный наряд!» Но нас, детей века, уж этим не надуешь. Мы знаем, что такое бал, особенно великосветский. Надобно решительно иметь детское простодушие одного моего знакомого прапорщика, который даже в пище вкусу не знает; надобно именно владеть его головой, чтоб поверить баронессе, когда она мило уверяет вас, что дает этот бал для удовольствия общества, а не для того, чтоб позатянуть поступившее на нее маленькое взыскание, тысяч в тридцать серебром, о чем она и будет тут же, под волшебные звуки оркестра Лядова, говорить с особами, от которых зависит дело. А вон этот господин, застегнутый, как Домби, на все пуговицы, у которого, по мнению врачей, от разливающейся каждый день желчи окончательно сгнила печенка,— неужели этот аспид человечества приехал веселиться? Вы, милая, белокурая дама, рассеянно теряющаяся в толпе! Я чувствую, как сердце ваше обливается кровью при мысли, что муж ваш на днях еще в одном прении напорол такую чепуху, которая окончательно обнаружила всю глубину его умственных неспособностей, и вам вряд ли удастся удержать тот великолепный пост, на котором вам так удобно. А вы, ваше превосходительство, зачем вы так насилуете вашу чиновничью натуру и стараетесь удерживать вашу

адамовскую голову в накрахмаленных воротничках, не склоняя ее земно на каждом шагу, к чему вы даже чувствуете органическую потребность — и все это вы делаете, я знаю, из суетного желания показаться вольнодумцем вон этому господину с бородой, задумчиво стоящему у колонны. А вам, m-me Хмарова, при всем моем глубоком уважении, откровенно должен сказать, что я не верю вашему христианскому смирению, как ни глубоко скромен и прост ваш бальный туалет и как ни кроток ваш взгляд, которым вы оглядываете всю эту разряженную, суетную толпу... Но нет! Червь злобы точит ваше сердце в настоящую минуту! Вам хотелось бы разорвать на части и растоптать, как гадину, этого блестящего генерала, небрежно сидящего в кресле и закинувшего на задок свою курчавую голову. Он с полчаса уже говорит по-французски лучше любого француза и каждую мысль завершает еще каламбурами. Вы очень хорошо знаете, что он явно называет вас притворщицей и много вредит вашему весу! Ты, гражданский воин, мужественно перенесший столько устремленных на тебя ударов и стяжавший такую известность, что когда некто ругнул тебя в обществе, то один из твоих клиентов заметил, что каким же образом он говорит это, когда тебя лично не знает? «Черта тоже никто не знает, а все бранят!» — возразил некто и привел публику в восторг своим ответом. Ты все это перенес, но теперь и тебе, оставленному при одних только павлиньих перьях, без сознания той силы, которая некогда заключалась в твоей подписи, и тебе неловко! Ты приехал почти по необходимости, с единственной целью наблюдать своим орлиным взором за четырьмя рожденными тобой краснощекими козочками, чтоб сердца их не заразились вульгарным чувством к какому-нибудь пролетарию. Жму, наконец, с полным участием руку тебе, мой благодушный юноша, несчастная жертва своей грозной богини-матери, приславшей тебя сюда искать руки и сердца блестящей фрейлины, тогда как сердце твое рвется в маленькую квартирку на Пески, где живет она, сокровище твоей жизни, хотя ты не смеешь и подумать украсить когда-нибудь ее скромное имя своим благородным гербом. Но еще больше жаль мне тебя, честный муж, потомок благородного рода: как одиноко стоишь ты с отуманенной от дел головой, зная, что тут же десятки людей точат на тебя крамолы за воздвигнутые тобой гонения на разные спокой-

но существовавшие пакости... Никому и никому не весело вам, мученикам честолюбия, денег, утонченного разврата и пустой фланерской жизни!

Часу в двенадцатом, наконец, приехали молодые. Они замедлили единственно по случаю туалета молодой, которая принялась убирать голову еще часов с шести, но все, казалось ей, выходило не к лицу. Заставляя несколько раз перечесывать себя, она бранилась, потом сама начала завиваться, обожглась щипцами, бросила их парикмахеру в лицо, переменила до пяти платьев, разорвала башмаки и, наконец, расплакалась. Калинович, еще в первый раз видевший такой припадок женина характера, вышел из себя.

— Или вы сейчас одевайтесь, или я уеду один! — прикрикнул он таким тоном, что Полина сочла за лучшее смириться и с затаенным волнением сейчас же оделась, но только совершенно уж без всякого вкуса. Когда появились они в зале, хозяйка сейчас же пошла им навстречу.

— А, поздно, поздно! — говорила она.

— Мне понездоровилось,— отвечала Полина.

Калинович между тем при виде целой стаи красивых и прелестных женщин замер в душе, взглянув на кривой стан жены, но совладел, конечно, с собой и начал кланяться знакомым. Испанский гранд пожал у него руку, сенаторша Рыдвинова, смотревшая, прищурившись, в лорнет, еще издали кивала ему головой. Белокурый поручик Шамовский, очень искательный молодой человек, подошел к нему и, раскланявшись, очень желал с ним заговорить.

— Скажите, вы пишете теперь что-нибудь? — спросил он.

— Нет,— отвечал односложно Калинович.

Поручик приостановился ненадолго, выправил еще более свою грудь вперед и спросил:

— А скажите, кто теперь первый писатель?

— По мнению каждого, я думаю, он сам,— отвечал Калинович.

Поручик засмеялся.

— Да, это вероятно... — начал было он, но Калинович не счел за нужное продолжать далее с ним разговор и, сколь возможно вежливо отвернувшись от него, обратился к проходившей мимо хозяйке.

— Граф здесь? — спросил он.

— Да... Не теряйте меня из виду: сделаем...— отвечала та мимоходом.

Калинович поблагодарил ее улыбкой и пошел к m-me Digavouroff, née comtesse Miloff, и пригласил ее на кадриль.

Время блестящих и остроумных разговоров между кавалерами и дамами в танцах, а тем более разговоров о чувствах, давно миновалось. Наш светский писатель, князь Одоевский, еще в тридцатых, кажется, годах остроумно предсказывал, что с развитием общества франты высокого полета ни слова уж не будут говорить. В настоящее время для каждого порядочного человека достаточно одного молчаливого самоуслаждения, что он находится не где-нибудь, а в среде сливок человечества...

Герой мой, проговоривший с своею дамою не более десяти слов, был именно под влиянием этой мысли: он, видя себя собратом этого общества, не без удовольствия помышлял, что еще месяца три назад только заглядывал с улицы и видел в окна мелькающими эти восхитительные женские головки и высокоприличные фигуры мужчин. Приятность этих ощущений в нем была, однако, уничтожена мгновенно, когда он взглянул в один из углов залы и увидел господина с бородой, стоявшего по-прежнему у колонны, и около него — *Белавина.* Калинович обмер. Половину громадного состояния своего готов он был в это время отдать, чтоб только не было тут этого обличителя, который мог, во всеуслышание всей этой великосветской толпы, прокричать ему: *ты подлец!* «Тогда как я не подлец, боже мой! Если б только он знал все мои страдания!» — болезненно думал Калинович, и первое его намерение было во что бы ни стало подойти к Белавину, открыть ему свое сердце и просить, требовать от него, чтоб он не презирал его, потому что он не заслуживает этого. С этими мыслями он подошел и, сколько мог, проговорил развязно:

— Здравствуйте, Михайло Сергеич!

— Здравствуйте,— отвечал тот.

Глубокое презрение послышалось Калиновичу в мягком голосе приятеля. Не зная, как далее себя держать, он стал около. Белавин осмотрел его с ног до головы.

— Мне нужно еще возвратить деньги ваши,— проговорил он и вынул из кармана посланный билет к Настеньке.

Калинович не нашелся ничего более сделать, как взять и торопливо положить его в карман. Белавин в свою очередь тоже потупился. Ему самому, видно, совестно было исполнение подобного поручения.

Калинович между тем не отходил и как-то переминался.

— Что же, как же? — говорил он. Но Белавин уж более не обращал на него внимания и обратился к господину с бородой:

— Вы давеча говорили насчет Чичикова, что он не заслуживает того нравственного наказания, которому подверг его автор, потому что само общество не развило в нем понятия о чести; но что тут общество сделает, когда он сам дрянь человек?

— Оно, может быть, удержало бы его,— проговорил господин с бородой.

— А у нас, напротив, всюду наплыв, чтоб покачнуть человека,— вмешался скромно Калинович.

— Гм! Наплыв! — произнес с усмешкою Белавин.— Не в наплыве тут дело — натуришка гадкая! И что такое в подобных людях сознание? Китайская тень, поставленная сбоку воспитанием, порядочным обществом! Вот он, может быть, и посмотрит иногда на нее, как будто бы испугается, а природные инстинкты все-таки возьмут свое. В противном случае можно дойти до ужасного заключения, что в самом деле совесть — дело условное. Прирожденное человеку добро всегда непосредственно, помимо воли его выражается. Начиная с самых развитых до самых варварских обществ, мы видим мучеников чести и добра. Зрячего слепые не собьют, а он их за собой поведет. А когда этого нет, так и нечего на зеркало пенять: значит, личико криво! — заключил Белавин с одушевлением и с свободой человека, привыкшего жить в обществе, отошел и сел около одной дамы.

Калинович был уничтожен. Он очень хорошо понимал, что Белавин нарочно усиливал речь, чтоб чувствительней уколоть его.

— Баронесса вас просит,— сказал, быстро подходя к нему, поручик Шамовский.

— А! — произнес Калинович, обводя бессмысленно глазами залу.

— Она там, во второй гостиной,— подхватил поручик.— Не угодно ли, я вас провожу?

Калинович пошел за ним.

— Я здесь все проулочки знаю,— продолжал самодовольно поручик, действительно знавший расположение всех знакомых ему великосветских домов до мельчайших подробностей.

В небольшой уютной комнате нашли они хозяйку с старым графом, выражение лица которого было на этот раз еще внушительнее. В своем белом галстуке и с своими звездами на фраке он показался Калиновичу статуей Юпитера, поставленной в таинственную нишу. Как серна, легкая и стройная, сидела около него баронесса.

— Вот он! — проговорила она, указывая на входящего Калиновича.

Герой мой отдал вежливый поклон.

— Я вас, кажется, видал у теперешней вашей супруги? —проговорил старик.

— Точно так, ваше сиятельство, я имел честь встретиться там с вами раз,— отвечал Калинович.

— Присядьте тут поближе к нам,— сказала ему баронесса.

Калинович сел.

— Баронесса мне говорила,— начал старик,— что вы желали бы служить у меня.

— Если б только, ваше сиятельство, позволили мне надеяться...— начал было Калинович, но граф перебил его кивком головы.

— Она объяснила мне,— продолжал он,— что вы не нуждаетесь в жалованье и желаете иметь более видную службу.

— Я более чем обеспечен в жизни...— подхватил Калинович, но старик опять остановил его наклонением головы.

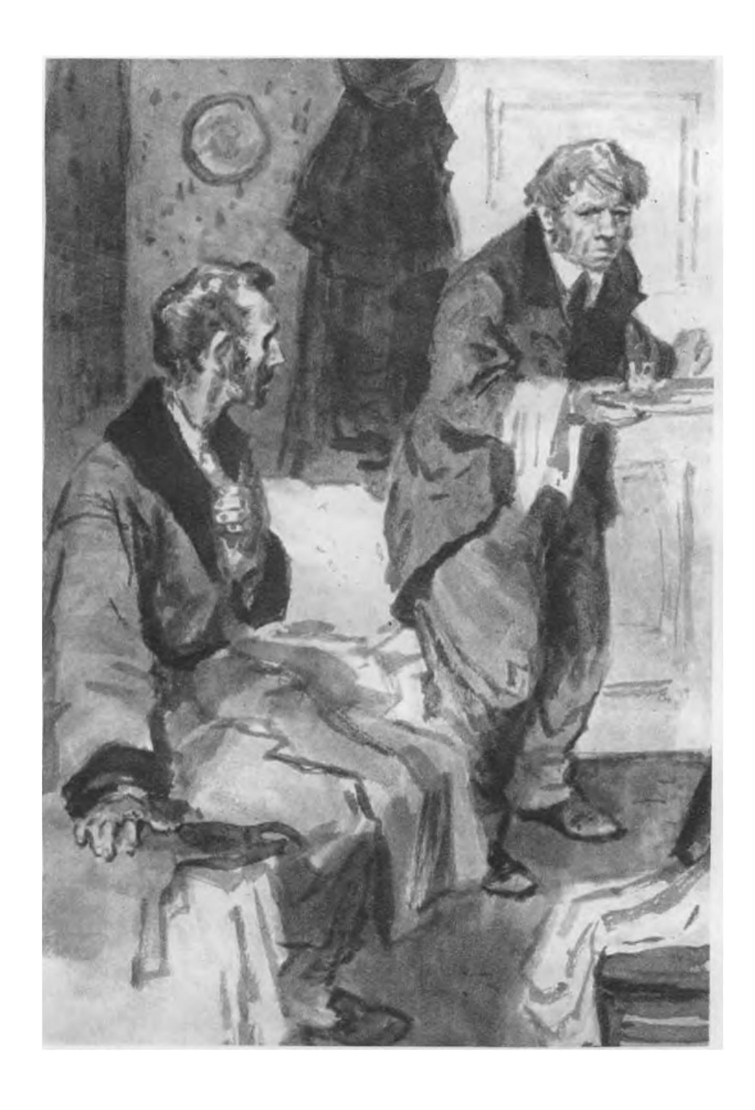
— Вы, однако, литератор, пишете там что-то такое...

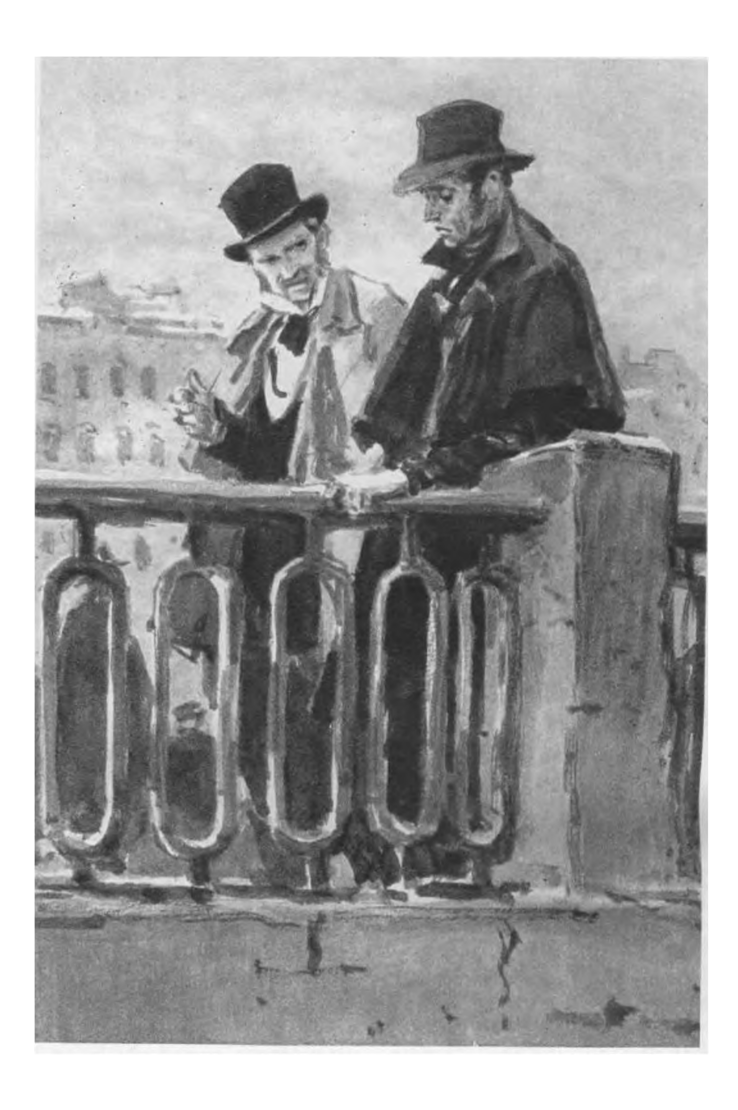
— Да, я писал.

— Все это ничего, прекрасно; но все-таки, когда поступите на службу, я буду просить вас прекратить это. И вообще вам, как чиновнику, как лицу правительственному, прервать по возможности сношения с этими господами, которые вообще, между нами, на дурном счету.

Калинович ничего на это не возразил и молчал.

— С Александром Петровичем вы познакомили их? — обратился старик к баронессе.





— Нет еще, но представлю,— подхватила та.

— Да, представьте; это лучше будет, и скажите, что вы уже мне говорили и что я желаю, чтоб он напомнил мне завтра.

— Merci,— проговорила баронесса.

Старик отвечал ей на это только улыбкою, и затем между ними начался разговор более намеками.

Калинович понял, что он уж лишний, и вышел.

Белавин не выходил у него из головы. «Какое право,— думал он,— имеют эти господа с своей утопической нравственной высоты третировать таким образом людей, которые пробиваются и работают в жизни?» Он с рождения, я думаю, упал в батист и кружева. Хорошо при таких условиях развивать в голове великолепные идеи и в то же время ничего не делать! Палец об палец он, верно, не ударил, чтоб провести в жизни хоть одну свою сентенцию, а только, как бескрылая чайка, преспокойно сидит на теплом песчаном бережку и с грустью покачивает головой, когда у ней перед носом борются и разрушаются на волнах корабли. Худ ли, хорош ли я, но во мне есть желание живой деятельности; я не родился сидеть сложа руки. И неужели они не знают, что в жизни, для того чтоб сделать хоть одно какое-нибудь доброе дело, надобно совершить прежде тысячу подлостей? И наконец, на каком основании взял этот человек на себя право взвешивать мои отношения с этой девочкой и швырять мне с пренебрежением мои деньги, кровью и пóтом добытые для счастья этой же самой женщины?»

Так укреплял себя герой мой житейской моралью; но таившееся в глубине души сознание ясно говорило ему, что все это мелко и беспрестанно разбивается перед правдой Белавина. Как бы то ни было, он решился заставить его взять деньги назад и распорядиться ими, как желает, если принял в этом деле такое участие. С такого рода придуманной фразой он пошел отыскивать приятеля и нашел его уже сходящим с лестницы.

— Monsieur Белавин! — крикнул он, подбегая к перилам.— Возьмите деньги. Ни вы мне возвращать, ни я их оставить у себя не имеем права.

— Полноте; оставьте уж у себя! — отозвался Белавин и хлопнул выходными дверями.

Надобно было иметь нечеловеческое терпенье, чтоб

снести подобный щелчок. Первое намерение героя моего было пригласить тут же кого-нибудь из молодых людей в секунданты и послать своему врагу вызов; но дело в том, что, не будучи вовсе трусом, он в то же время дуэли считал решительно за сумасшествие. Кроме того, что бы ни говорили, а направленное на вас дуло пистолета не безделица — и все это из-за того, что не питает уважение к вашей особе какой-то господин...

Покуда все эти благоразумные мысли смиряли чувства злобы в душе Калиновича, около него раздался голос хозяйки:

— Monsieur Калинович, где вы? Досадный! Пойдемте; я вас представлю вашему директору. Я сейчас уж говорила ему,— произнесла баронесса и взяла его за руку.

Калинович последовал за ней.

— Я посажу вас в партию с ним — проиграйте ему: он это любит.

— Любит? — спросил Калинович насмешливым голосом.

— Любит; ужасно черная душа! — отвечала хозяйка.

— Monsieur Калинович, Александр Петрович! — произнесла она, подходя к известному нам директору.

— Мы уж знакомы,— произнес тот, протягивая Калиновичу руку.

— Знакомы? — спросила баронесса у Калиновича.

— Я имел честь быть раз у его превосходительства,— отвечал тот.

— Стол ваш, господа, в гостиной,— заключила хозяйка и ушла.

Директор и Калинович, как встретившиеся в жизни два бойца, вымеряли друг друга глазами.

— Вы женились? — произнес директор первый.

— Да, вот жена моя,— отвечал Калинович, показывая директору на проходившую с другой дамой Полину, которая, при всей неправильности стана, сумела поклониться свысока, а директор, в свою очередь, отдавая поклон, заметно устремил взор на огромные брильянты Полины, чего Калинович при этом знакомстве и желал.

— Пойдемте, однако, на наше ристалище! — проговорил директор, когда дамы отошли.

— Пойдемте! — подхватил Калинович.

Перед ужином пробежал легкий говор, что он своему партнеру проиграл две тысячи серебром, и, в оправдание моего героя, я должен сказать, что в этом случае он не столько старался о том, сколько в самом деле был рассеян: несносный образ насмешливо улыбавшегося Белавина, как привидение, стоял перед ним.

Недели через две в приказах было отдано, что титулярный советник Калинович определен чиновником особых поручений при ***. Начальство в этом случае не ошиблось: из героя моего вышел блестящий следователь. Через год произведен он был в коллежские асессоры, награжден вслед за тем орденом Анны 3-й степени, а года через два чином надворного советника. Заняв потом место чиновника особых поручений пятого класса, он, в продолжение четырех лет, получил коллежского советника, Владимира на шею и назначен был, наконец, исправляющим должность М-го вице-губернатора.

# ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

## I

Калинович был назначен именно в ту губернию, в которой некогда был ничтожным училищным смотрителем. Читателю, может быть, небезызвестно, что всякая губерния у нас имеет свою собственную политику, не имеющую, конечно, никакой связи с той, которая печатается в «Debats», в «Siècle» и «Times». Нам решительно все равно, кто царствует во Франции — Филипп или Наполеон, английскую королеву хоть замуж выдавайте за турецкого султана, только чтоб рекрутского набору не было. Но зато очень чувствительно и близко нашему сердцу, кто нами заведывает, кто губернатор наш. Об этой политике, выпив в трактире или погребке, толкуют секретари, столоначальники и прочая мелкая приказная братия, толкуют с пеной у рта от душевного волнения, имея на то полное нравственное право, потому что от этой политики у них шиворотки трещат. Образованное дворянство тоже рассуждает об этой политике с гораздо более душевным участием, чем о той, которую читает в газетах. Политика эта условливает действия разных ведомств и по большей части направляет известным образом нелицеприятное прокурорское око.

Колебание и неустойчивость в этой политике хуже всего для так называемых благонамеренных людей. Будь хоть зверь, да один, по крайней мере можно, бывает, лад вызнать; и я с удовольствием могу сказать, что избранная нами губерния в этом случае благоденствова-

ла: пятнадцать уже лет управлял ею генерал-лейтенант Базарьев. Губернии было хорошо, и ему было хорошо, хотя, конечно, нет в жизни пути, а тем более пути губернаторского, без терния; а потому и на долю генерал-лейтенанта тоже выпало несколько шипов. Были у него довольно серьезные неприятности с губернским предводителем по случаю манкировки визитов, которую дозволила себе сделать губернаторша, действительно державшая себя, ко вреду мужа, какой-то царицей; но губернатор, благодаря своей открытой и вполне губернаторской жизни, так умел сойтись с дворянами, что те, собственно в угоду ему, прокатили на первой же баллотировке губернского предводителя на вороных. Вздумал было потом поершиться против него один из прокуроров и на личные предложения начальника губернии стал давать по губернскому правлению протесты, но кончил тем, что, для пользы службы, был переведен в другую, дальнюю губернию. Наконец, последняя и самая серьезная битва губернатора была с бывшим вице-губернатором, который вначале был очень удобен, как человек совершенно бессловесный, бездарный и выведенный в люди потому только, что женился на побочной внуке какого-то вельможи, но тут вдруг, точно белены объевшись, начал, ни много ни мало, теснить откуп, крича и похваляясь везде, что он уничтожит губернатора с его целовальниками, так что некоторые слабые умы поколебались и почти готовы были верить ему, а несколько человек неблагонамеренных протестантов както уж очень смело и весело подняли голову — но ненадолго. Базарьев во все это время так себя держал, что будто бы даже не знал ничего, и предоставил толстому Четверикову, откупщику целой губернии, самому себя обстаивать, который повернул дело таким образом, что через три же недели вице-губернатор был причислен к печальному сонму «состоящих при министерстве», а губернатору в ближайший новый год дана была следующая награда. Словом, как золото, очищающееся в горниле, выходил таким образом старик из всех битв своих в новом блеске власти, и последняя победа его явно уже доказала крепость его в Петербурге и окончательно утвердила к нему любовь и уважение на месте. Видимо, что он был несломим; но в высшем моменте развития каждой славы, как хотите, всегда есть что-то зловещее и роковое... Вопрос о том, что какого сорта птица новый вице-губернатор,

как-то особенно болезненно и с каким-то опасением отозвался во многих умах. Ответы, впрочем, последовали самые благоприятные.

Всякого, как известно, начальника у нас сопровождают сзади и спереди хвосты, известные под именем *своих чиновников,* в лице которых *не свои чиновники* уже заранее зрят смерть. Нашему вице-губернатору предшествовал на этот раз приглашенный им из департамента очень еще молодой человек, но уже с геморроидальным цветом лица, одетый франтом, худощавый и вообще очень похожий своим тоном и манерами на Калиновича, когда тот был молод, и, может быть, такой же будущий вице-губернатор, но пока еще только, как говорили, будущий секретарь губернского правления. Сам же молодой человек, заметно неболтливый, как все петербуржцы, ни слова не намекал на это и занимался исключительно наймом квартиры вице-губернатору, для которой выбрал в лучшей части города, на набережной, огромный каменный дом и стал его отделывать.

— Богач, видно, новый вице-губернатор! — разнеслось по городу.

— Станет побирать, коли так размахивает! — решили другие в уме; но привести все это в бо́льшую ясность рискнул первый губернский архитектор — человек бы, кажется, с лица глупый и часть свою скверно знающий, но имевший удивительную способность подделываться к начальникам еще спозаранку, когда еще они были от него тысячи на полторы верст. Не стесняясь особенно приличиями, он явился на постройку, отрекомендовал себя молодому человеку и тут же начал:

— Для его высокородия изволите изготовлять помещение?

— Для его высокородия,— отвечал молодой человек, не выпуская изо рта папироски.

— Мастеровые здесь чрезвычайно затруднительны и дороги,— продолжал архитектор.

— Нет, ничего,— отвечал молодой человек нехотя и глядя на концы своих глянцевитых сапог.

Архитектор сделал глубокомысленную мину.

— Посредством арестантской роты не угодно ли будет его высокородию приказать произвести им работу? Начальник этой команды, капитан Тимков, мой несколько подчиненный и прекраснейший человек. Он для мно-

гих значительных лиц, из ближайшего начальства, берет это на себя, потому что это ничего ему не стоит. Теперь на какую-нибудь работу требуется пятнадцать человек, он в книге их с платой и запишет, а отпустит их сорок. Что их, разбойников, жалеть! По закону даже следует их стараться занимать и утруждать. И если его высокородию угодно будет, я сейчас же могу сделать это распоряжение.

— Нет, его высокородию это будет неугодно,— отвечал молодой человек с явной уж насмешкой и, бросив на пол окурок папироски, ушел в другие комнаты.

Точно несолоно поевши, вышел архитектор на улицу.

— Скверно! — проговорил он и, сев на пролетку, поехал в свою комиссию.

— Сейчас с вице-губернаторской квартиры; присылали тоже, чтоб посмотрел кое-что,— начал он.

— Ну что, батюшка? Какие слухи? — спросил штаб-офицер.

— А что слухи? По всему, что я видел и слышал, так человек должен быть бесподобный и строгих правил,— отвечал архитектор.

— Отличнейший, говорят, человек! — прошепелявил депутат от дворянства своим суконным языком, оставивший даже для этого «Северную пчелку», которую читал с самого утра.

Хвалить на первых порах начальника составляет один из самых характерных признаков чиновников, и только в этом случае они могут быть разделены на три разряда: одни — это самые молодые и самые, надобно сказать, благородные, которые хвалят так, сами не зная за что... потому только, что новый, а не старый, который одной своей начальнической физиономией надоел им хуже горькой редьки. Вторые — дипломаты, которые в душе вообще не любят начальников, но хвалят потому, что все-таки лучше: неизвестно, кого еще приблизит к себе, может быть, и меня — так чтоб после не пришлось менять шкуры. Наконец, третий разряд, самый простодушный, подлость которых даже бескорыстна и составляет какое-то лирическое движение их сердец. Они хвалят потому только, что это начальник, которого они и в самом деле любят искренно! Секретарь комиссии был именно такой человек. Слышав похвалу членов новому вице-губерна-

тору, он пришел даже в какое-то умиление и, не могши утерпеть от полноты чувств, тотчас рассказал о том всей канцелярии, которая, в свою очередь, разнесла это по деревянным домишкам, где жила и питалась, а вечером по трактирам и погребкам, где выпивала. Из прочих канцелярий чиновники также слышали что-то вроде того, и двое писцов губернского правления, гонимые прежним вице-губернатором, пришли в такой восторг, что тут же, в трактире, к удовольствию публики, принялись бороться — сначала шутя, но, разгорячившись, разорвали друг у друга манишки, а потом разодрались в кровь и были взяты в полицию. Даже старушонки-приказничихи переговорили в церквах у заутрени с такими же старушонками о батюшке новом вице-губернаторе, а которые помоложе — трезвонили о нем на рынке. «Хороший, говорят, сударыня, человек! Очень хороший, и служащие у нас все рады тому!» — говорили они своим знакомым. «Да как, сударыня, не радоваться?.. Помилуйте! Худой ли человек, или хороший!» — отвечали им на то, и так далее: все интересовались, и все хвалили.

В более высшей среде общества распространилась не менее лестная молва о Калиновиче, тем более вероятная, что вышла от самого почти губернатора. По четвергам у него издавна были заведены маленькие вечера, на которые собственно собирался его маленький двор, то есть самые близкие люди. В один из них была, по обыкновению, председательша казенной палаты, чрезвычайно милая и молодых еще лет дама. Сама губернаторша сравнительно с ней была гораздо старее, но зато имела чрезвычайно величественную наружность и как бы рождена была делать парадные выходы и сидеть в своей губернаторской гостиной, где по задней стене сделано было даже возвышение, на которое иногда она взбиралась, чтоб быть еще представительней, напоминая собой в этом случае худощавых театральных герцогинь в бархатных платьях, которых выводят в операх и балетах с толстыми икрами герцоги и сажают на золотое кресло, чтоб посмотреть и полюбоваться на танцующую толпу. Обе дамы терпеть не могли друг друга, и дружба их была чисто дипломатическая; но, чтоб заявить простоту своих отношений, они обе работали.

Из мужчин был предводитель, которого мы когда-то

встретили у князя и который в последнее время, воспылавши нестерпимым желанием получить Анну с короною на шею, сильно заискивал в губернаторе и торчал у него обыкновенно с утра до ночи, когда только его пускали. Подальше прочих сидел совсем свой человек, правитель канцелярии, господин, начинавший уже разъедаться, но все еще не привыкший сидеть не съежившись в губернаторских апартаментах. Он, между прочим, имел обязанность при каждом мановении головы хозяйки вскакивать и выходить на цыпочках в залу, чтоб приказать людям подавать чай или мороженое. Жена его, молоденькая и краснощекая дама, сидела тоже с работою, но губернаторша не обращала на нее никакого внимания; зато очень умильно взглядывал на нее сам губернатор — замечательно еще бодрый старик, в сюртуке нараспашку, с болтающимися густыми эполетами и вообще в такой мере благообразный, что когда он стоял в соборе за обедней в белых штанах и ботфортах, то многие из очень милых дам заверяли, что в него решительно можно еще влюбиться. Молоденькая правительша канцелярии, говорят, лучше всех понимала эту возможность. Между всеми этими лицами нельзя сказать, чтоб беседа была одушевленная. Дамы, как известно, в генеральских чинах,— не пансионерки, не разболтаются. Предводитель был все-таки немного навытяжке; сам же губернатор, только что утвердивший целую кипу журналов губернского правления, был какой-то усталый.

— Не хотите ли сигары? — отнесся он к предводителю.

— Дам не беспокоит ли это? — спросил тот, принимая из рук губернатора сигару.

— Пожалуйста! Он меня уж приучил,— разрешила хозяйка.

— Сигары недурны,— произнес губернатор.

— Отличнейшие! — подхватил предводитель, намахивая себе рукой струю дыма на нос и не без зависти думая сам собой: «Хорошо курить такие, как откупщик тебе тысячами презентует!»

Часов в десять приехал инженерный поручик Ховский, очень любимый губернаторшей за то, что мастерски играл на фортепьяно; он дал, наконец, несколько интересную тему для разговора.

— Сейчас, ваше превосходительство, я с пристани.

Вещи вице-губернаторские привезли,— обратился он прямо к губернатору.

— А! — произнес тот.

— Превосходные! — продолжал поручик, обращаясь уже более к дамам.— Мебель обита пунцовым бархатом, с черными цветами — вещь, кажется, очень обыкновенная, но в работе это дивно как хорошо! Потом эти канделябры, люстры и, наконец, огромнейшие картины фламандской школы! Я посмотрел на некоторые, и, конечно, судить трудно, но, должно быть, оригиналы — чудо, что такое!

— Какое ж тут чудо? У кого же этого нет? — заметила вскользь председательша, никак не хотевшая допустить мысли, чтоб у кого-нибудь могла быть гостиная лучше ее.

Предводитель между тем как бы сам с собой улыбался.

— Не знаю, ваше превосходительство,— начал он нерешительным тоном,— какие вы имеете сведения, а я, признаться сказать, ехавши сюда, заезжал к князю Ивану. Новый вице-губернатор в родстве с ним по жене — ну, и он ужасно его хвалит: «Одно уж это, говорит, человек с таким состоянием... умный, знающий... человек с характером, настойчивый...» Не знаю, может быть, по родству и прибавляет.

— Ни слова! Нисколько! — подтвердил губернатор.— Это забелка — лучший человек в министерстве, какого именно я просил, потому что пора же мне иметь помощника, какого я желаю.

— Уж именно, ваше превосходительство, потому что вы только и желаете того, чтоб как было к лучшему,— произнес предводитель.

— Чтоб как к лучшему — только! — подтвердил губернатор.

При разговоре этом правитель канцелярии обратился всем телом своим в слух, и когда предводитель перед началом карточной партии остановился у стола, он подошел к нему.

— О вице-губернаторе с его превосходительством изволили говорить? — спросил он.

— Да, старик ваш доволен,— отвечал тот.

— Как не быть довольну, помилуйте! — подхватил с умильною физиономией правитель.— У его превосходи-

тельства теперь по одной канцелярии тысячи бумаг, а теперь они по крайней мере по губернскому правлению будут покойны, зная, какой там человек сидит — помилуйте! А хоть бы и то: значит, уважаются представления — какого сами выбрали себе человека, такого и дали. Это очень важно-с.

— Как же не важно! Сила, значит,— заметил предводитель.

— Сила большая-с; слава богу, можно нам служить усердно и покойно! — подхватил правитель канцелярии, зажмуривая глаза.

Сыграв маленькую пульку у губернатора, предводитель уехал к другому предводителю, у которого в нумере четвертые сутки происходила страшная резня в банк. Вокруг стола, осыпанного рваными и ломаными картами, сидело несколько человек игроков. Лица у всех почти были перепачканы мелом, искажены сдержанными страданиями и радостями, изнурены бессонницею, попойкою. Кто был в сюртуке, кто в халате, кто в рубашке; однако и тут переговорили о новом вице-губернаторе.

— Откуда вы? — спросил хозяин, в пух продувшийся и, несмотря на это, самым сибаритским образом развалившийся на диване.

— От губернатора,— отвечал предводитель с вольнодумной улыбкой.— О новом вице-губернаторе все говорили.

— Ну, что, батюшка? Что такое? — спросил советник губернского правления.

— Да что! Старик ваш хвалит, доволен! — отвечал предводитель.

— Это уж не Калиновича ли? — спросил банкомет, совершенно черный господин и, как видно, вполне желчного и мизантропического характера.

— Да, Калиновича... Что же? — спросил в свою очередь предводитель несколько обиженным тоном.

Банкомет улыбнулся.

— Он вам задаст: хвалят! Он при мне ревизовал нашу губернию, так так сердечных пробрал, что до новых веников не забудут.

— Ну, уж вы, скептик! — произнес сибарит-хозяин, кутаясь в свой парижского покроя халат.

— Даст он вам, скептик! И рожа-то у канальи, как у

аспида, по пословице: гнет дуги — не парит, сломает — не тужит.

Словам банкомета никто, однако, не поверил, и добрая молва о Калиновиче продолжала распространяться.

## II

Недели через три восьмерик почтовых лошадей, запряженных в дормез английской работы, марш-марш летел по тракту к губернскому городу. Это ехал новый вице-губернатор. На шее у него, о чем он некогда так заносчиво мечтал, действительно виднелся теперь владимирский крест.

Впереди экипажа его, едва унося ноги, скакал, в разбитом тарантасе, исправник, придерживая свою треугольную шляпу, чтоб она не слетела, и все еще стараясь молодцевато опереться на свою тоненькую шпажонку. Сам начальник губернии выслал его навстречу, чтоб принять своего помощника с бо́льшим уважением. Но весь этот почет и эффект слишком, кажется, мало занимали и тешили моего героя — и далеко уж это был не тот фанфарон-мальчик, каким мы встретили его в первый раз, при вступлении его на службу. Понурив свою рановременно начавшую седеть голову, сидел он в коляске. По впалым и желтоватым щекам его проходили глубокие морщины, и только взгляд серых глаз сделался как-то еще устойчивее и тверже.

Сидевшая с ним рядом Полина тоже постарела и была худа, как мумия. Во всю последнюю станцию Калинович ни слова не проговорил с женой и вообще не обращал на нее никакого внимания. У подъезда квартиры, когда он стал выходить из экипажа, соскочивший с своего тарантаса исправник хотел было поддержать его под руку.

— Перестаньте! — проговорил Калинович, немного покраснев, и потом, как бы желая смягчить это, прибавил: — Очень вам благодарен; только напрасно вы беспокоились: вероятно, у вас и без того много занятий.

Проговоря это, он отвернулся и увидел полицеймейстера, красноносого подполковника и величайшего мастера своего дела. Приложив руку под козырек и ступив шага

два вперед, он представил рапорт о благосостоянии города, что по закону, впрочем, не требовалось; но полицеймейстер счел за лучшее переслужить.

— Сегодня или завтрашний день изволите представляться его превосходительству? — спросил он, раболепно следуя за Калиновичем.

— Нет-с, ни сегодня, ни завтра: я еще устал,— отвечал тот.

На лице полицеймейстера отразилось некоторое удивление, которое он, впрочем, как следует хорошему подчиненному, постарался скрыть, и раскланялся. В тот же день сделали было набег члены губернского правления, чтоб явиться новому начальнику, но не были приняты. Дня через четыре, наконец, произошло первое представление вице-губернатора. Первоначально при этом проскакал с своим казаком полицеймейстер доложить губернатору, что новый вице-губернатор едет представляться. Правитель канцелярии, дожидавшийся доклада в приемной, несколько призастегнулся. Адъютант, читавший военные приказы, отложил их в сторону. Дежурный чиновник причесался перед зеркалом.

Калинович подъехал на паре небольших, но кровных жеребцов в фаэтоне, как игрушечка. Сбросив в приемной свой бобровый плащ, вице-губернатор очутился в том тонко-изящном и статном мундире, какие умеют шить только петербургские портные. Потом, с приемами и тоном петербургского чиновника, раскланявшись всем очень вежливо, он быстро прошел в кабинет, где, с почтительным склонением головы подчиненного, представился губернатору.

— Очень рад, любезнейший Яков Васильич, познакомиться с вами,— встретил его тот несколько обязательным тоном, но в то же время сейчас любезно предложил ему стул и сам сел.

— Что в Петербурге, скажите вы мне, так же шумно, деятельно? — начал он.

— Как и всегда,— отвечал Калинович.

— Славный город, славный! — продолжал губернатор с некоторым глубокомыслием.— Видели вы, однако, ваших товарищей-членов? — прибавил он.

— Они были у меня, ваше превосходительство, но я чувствовал себя с дороги не так здоровым и не мог их принять.

— О, да! Это все равно, и вы, значит, позволите мне представить их вам сегодня.

Калинович поблагодарил его кивком головы.

— Вы, может быть, захотите даже обревизовать губернское правление, чтоб потом быть тверже в вашем контроле?

— Я только хотел просить, ваше превосходительство, об этом,— отвечал Калинович.

— Сделайте милость! Я вас сам прошу о том же. Я не из таких губернаторов, что если я пятнадцать лет тут управляю, так, значит, все хорошо и прекрасно: напротив: я человек, и чем вы больше мне откроете, тем более я буду благодарен... Многое, вероятно, упущено; во многом есть медленность... и я буду просить вас об одном только, как ближайшего моего помощника, чтоб как-нибудь нам общими силами постараться все это исправить и поправить. Я так много наслышан о вас из Петербурга, что почти заранее уверен в успехе нашем.

Калинович опять поблагодарил одним только молчаливым поклоном.

— Хоть наперед должен вас предуведомить,— продолжал губернатор,— что управлять здешней губернией и быть на посту губернатора очень нелегкая вещь: в сущности все мы здесь сидим как отдельные герцогства. Это вот, например, палата государственных имуществ... это палата финансовая... там юстиция... удел и, наконец, ваше губернское правление с своими исправниками, городничими — и очень понятно, по самому простому, естественному течению дел, что никому из всех этих ведомств не понравится, когда другое заедет к нему и начнет умничать... Значит, пускай делал бы каждый свое, так этого нет,— губернатору говорят: ты начальник, хозяин губернии.

— Вы, кажется, ваше превосходительство, умели счастливо поладить со всем этим,— заметил Калинович.

— Решительно со всеми, сколько только возможно,— подхватил с некоторым торжеством губернатор.— Из-за чего я стану ссориться?.. Для чего? Теперь вот рекрутское присутствие открыло уже свои действия, и не угодно ли будет полюбопытствовать: целые вороха вот тут, на столе, вы увидите просьб от казенных мужиков на разного рода злоупотребления ихнего начальства, и

в то же время ничего невозможно сделать, а самому себе повредить можно; теперь вот с неделю, как приехал флигель-адъютант, непосредственный всего этого наблюдатель, и, как я уже слышал, третий день совершенно поселился в доме господина управляющего и изволит там с его супругой, что ли, заниматься музыкой. Что тут прикажете делать губернатору?

Калинович отвечал на это только улыбкой.

— Теперь опять этот раскол,— продолжал губернатор гораздо уж тише,— что это такое?.. Конечно, кто из всех нас, православных христиан, не понимает, что все эти секты — язва нашего общества, и кто из подданных русского царя, в моем, например, ранге, не желает искоренения этого зла? Но надобно знать, кого преследовать. Совратителей, говорят, и сейчас же указывают вам на богатого мужика или купца; он, говорят, пользуется уважением; к нему народу много ходит по торговле, по знакомству; но чтоб он был действительно совратителем — этого еще ни одним следствием не доказано, а только есть в виду какой-нибудь донос, что вот такая-то девка, Марья Григорьева, до пятидесяти лет ходила в православную церковь, а на шестидесятом перестала, и совратил ее какой-нибудь Федор Кузьмич — только! Но, положим даже, что существует это; положим, что он двух—трех девок, слепых, кривых, хромых, ради спасения их душ, привел в свой толк; но тут, как я полагаю, надобно положить на вески это зло и ту пользу, которую он делает обществу. Я положительно, например, могу сказать, что где бы ни был подобный человек, он всегда благодетель целого околотка: он и хлебца даст взаймы, и деньжонками ссудит; наконец, если есть у него какая-нибудь фабрика,— работу даст; ремесла, наконец, изобретает; грибы какие-нибудь заставит собирать и скупает у бедных, продавая их потом по этим милютиным лавкам, где сидит такая же беспоповщина, как и он. Так я этакими людьми всегда дорожить буду, чтоб там про меня ни говорили. Другое дело вот эти их шатуны, странники, которые, собственно, эту ересь духовную своим лжеучением и поддерживают, те — другое дело. Я им пикнуть не даю; как попал, так и в острог; морю там сколько возможно.

Если б губернатор был менее увлечен разговором и взглянул бы в это время повнимательнее на лицо своего

помощника, то заметил бы у него не совсем лестную для себя улыбку.

— Каковы здесь чиновники, ваше превосходительство? — спросил Калинович, потупляя глаза и, кажется, желая вызвать его на дальнейший откровенный разговор.

— Хороши,— отвечал губернатор,— по крайней мере по моему собственно ведомству я старался организовать, сколько возможно, почище, и собственно к своим чиновникам я строг. Мой чиновник должен быть второй я. Мое правило такое: ревизуя, я не смотрю на эти их бумаги: это вздор, дело второстепенное — я изучаю край, смотрю на его потребности. Если нет на чиновника жалоб — значит, хорош. Конечно, тут надобно смотреть, кто жалуется. Изветам этих кляузников из мещанишек, из выгнанных приказных я не только не даю ходу, а напротив, их самих стараюсь прихлопнуть. Это своего рода зараза, которой если дать распространиться, так никому от нее покоя не будет. Но если вам жалуется помещик, купец — человек порядочный,— значит, чиновник вывел его из терпения, и тут уж у меня пощады нет. Не губерния для нас, а мы для губернии существуем; значит, нами должны быть довольны; вот моя система!

В какой мере Калинович был согласен с этою системою, по выражению лица его судить было трудно.

— Двенадцать часов, однако, пора! — проговорил губернатор и позвонил.

Вошел с каскою в руках адъютант. Генерал сказал ему по-французски, чтоб он распорядился об экипаже, и предложил вице-губернатору, если угодно ему, отправиться вместе в губернское правление. В приемной их остановили на несколько минут просители: какой-то отставной штабс-капитан, в мундире и в треугольной еще шляпе с пером, приносивший жалобу на бежавшую от него жену, которая вместе с тем похитила и двухспальную их брачную постель, сделанную на собственные его деньги; потом сморщенная, маленькая, с золотушными глазами, старушка, которая как увидела губернатора, так и повалилась ему в ноги, вопия против собственного родного сына, прибившего ее флейтой по голове. Видимо, желая показать новому помощнику свою внимательность в делах службы, генерал довольно подробно рас-

спросил обоих и передал адъютанту письменные их просьбы.

— Удивительно, какая еще грубость нравов! — произнес он, выходя с Калиновичем.— Один бьет старушку-мать, а другому не то больно, что жена убежала, а то, что она перину увезла... И со всем этим надобно как-нибудь ладить.

На крыльце их ожидал, стоя навытяжку, полицеймейстер. Губернатор величественно махнул рукой, чтоб подавали экипаж, и когда Калинович хотел сесть в свой фаэтон, он не пустил его.

— Сядемте со мной; потолкуем еще пока!

Калинович исполнил его желание. Полицеймейстер с казаком понесся вперед; губернатор с умыслом, кажется, поддерживал всю дорогу очень одушевленный и почти дружеский разговор с вице-губернатором. Попадавшиеся навстречу чиновники и купечество, делавшие почти фрунт, не могли не заметить этого; а жена одного из чиновников особых поручений, очень молоденькая еще дама, ехавшая на пролетках, нарочно велела кучеру ехать шагом и долго, прищурившись, смотрела вслед двум властителям. На подъезде присутственных мест, несмотря на осенний холодный день, дрожала печальная фигура экзекутора в одном мундиришке — фигура, в скором времени умершая, частью от простуды, а частью и от душевных волнений.

— Здравствуй, любезный, — проговорил ему губернатор и, молодцевато неся голову, побежал вверх.

Кто испытывал приятное ощущение входить начальническим образом на лестницы присутственных мест, тот поймет, конечно, что решительно надобно быть человеком с самыми тупыми нервами, чтоб не испытать в эти минуты какого-то гордого сознания собственного достоинства; но герой мой, кажется, не ощущал этого — так, видно, было много на душе его тяжелых и мрачных мыслей. Он шел, потупя голову и стараясь только не отстать от своего начальника.

Канцелярия присутствия стояла уже навытяжке.

— Народ все порядочный! — шепнул губернатор.

При входе в комнату присутствия представились новому вице-губернатору члены.

— А сколько лет вы, Сергей Николаич, советником? — спросил губернатор старшего советника.

— Восьмнадцать лет, ваше превосходительство,— отвечал тот смиренным тоном.

— А сколько в это время от сената губернскому правлению было выговоров? — продолжал губернатор.

— Сколько помню, кажется, ни одного,— отвечал советник.

Губернатор усмехнулся.

— Недурно-с, ни одного! — произнес он, выпрямляя стан.

— Господин асессор у нас воспитанник Московского университета; а вот Валентину Осипычу мы обязаны таким устройством городского хозяйства, что уж, вероятно, ни в одной губернии такого нет,— заключил губернатор, указывая на советника второго отделения, который действительно имел какую-то хозяйственную наружность и, как бык, смотрел в упор на Калиновича.

Старшим секретарем оказался рыжий Медиокритский: счастливая звезда его взошла вместе с звездою правителя канцелярии, с которым они были свояки, будучи женаты на родных сестрах, дочерях священника Кипренского. Узнав, кто именно назначен вице-губернатором, Медиокритский обмер в душе, но никому не открылся и только, рассчитывая показаться кем-нибудь другим, отрастил в последнее время огромнейшие бакенбарды, так что вице-губернатор действительно как будто бы не узнал его. Губернатор, отзываясь лестно о советниках, по преимуществу, в этом случае желал их наградить за то, что они прежнего вице-губернатора выдали ему с руками и ногами.

Из присутствия он повел вице-губернатора по отделениям.

— Господа! Вот новый и ближайший начальник ваш, под наблюдением которого непосредственно будет ваша нравственность и ваше усердие по службе! — говорил он везде звучным голосом, после чего не позволил себе долее удерживать Калиновича, и тот уехал.

Однако этим не кончилось. Губернатор в тот же день отплатил визит и непременно желал быть представлен хозяйке, так что Полина, в дорожной кацавейке и в совершенно не убранной еще гостиной, заставленной ящиками, картонами и тому подобным хламом, принуждена была принять его. При визите этом оказалось, что губер-

натор знал еще покойного отца Полины, у которого даже некоторое время служил под командой и который будто бы был превосходнейший человек. На такого рода любезность вице-губернаторша также не осталась в долгу и, как ни устала с дороги, но дня через два сделала визит губернаторше, которая продержала ее по крайней мере часа два и, непременно заставивши пить кофе, умоляла ее, бога ради, быть осторожною в выборе знакомств и даже дала маленький реестр тем дамам, с которыми можно еще было сблизиться. Не ограничиваясь этим, губернаторша, забыв на этот раз свою гордость, отплатила на другой же день визит Полине, пила у ней также кофе и просидела часа три, а потом везде начала говорить, что новая вице-губернаторша хоть и нехороша собой, но чрезвычайно милая женщина. Про Калиновича как мужчины, так и дамы, его видевшие, тоже говорили, что он нехорош собой, но имеет чрезвычайно умное выражение в лице.

## III

Дружественные отношения, начавшие возникать между начальником губернии и вице-губернатором, были восхитительны для общества, и вследствие этого приготовлялась великолепнейшая зима. Во-первых, переехал князь Иван и образовал, конечно, дом. Другой дом открыл зять его, толстяк Четвериков; он уже лет пять, как женился на прелестной княжне, из которой теперь вышла восхитительная дама. Третий — и тоже очень хороший дом — был у предводителя, добивавшегося Анны на шею. О председателе казенной палаты и говорить нечего: это лицо и подчиненный ему советник питейного отделения повсеместно живут очень открыто. Управляющий палатою государственных имуществ, несмотря на свою скупость, для погашения в обществе разных неблаговидных про него толков по случаю рекрутского набора и с целью повеселить флигель-адъютанта по необходимости должен был в эту зиму развернуться на два, на три вечера. Что касается губернатора, то сверх его обычных четвергов у него предположено было три огромнейшие бала. Кроме того,' он говорил, что употребит все усилия переманить из Калуги антрепренера с отличнейшей труппой актеров. От вице-губернатора тоже ожидали по крайней мере од-

ного бала, хоть он и не показывал никакой склонности к общественной жизни. Словом, все это было как нельзя лучше, и все уже началось своим порядком. Князь, как родственник вице-губернатора, заметно старавшийся сблизить его с губернатором, везде почти говорил, что Калинович в восторге от порядка в управлении и от самой губернии. В обществе почти верили тому; но люди, ближе стоящие к делу, как, например, советники губернского правления и прокурор,— люди эти очень хорошо видели и понимали, что вряд ли это так. Во всяком случае, ясно было, что вице-губернатор хочет действовать совершенно самостоятельно. Дело началось с экзекутора губернского правления, который, как мы знаем, умер от усердия к службе. Заместить эту вакансию губернатор, вследствие небольшого стороной ходатайства, предположил его помощником и дал об этом предложение губернскому правлению; но вице-губернатор явился к нему и объяснил, что он желает определить на это место своего чиновника — знакомого нам зверолова Лебедева, который и был уж им вызван.

— Какая же нам цель принимать из других ведомств, когда у нас куча своих? — справедливо возразил губернатор.

— Я этого человека, ваше превосходительство, знаю и уверен по крайней мере в том, что он не будет красть ни казенных свечей, ни бумаги.

Губернатор только улыбнулся и, не желая ссориться из подобных пустяков, согласился. Вторая гроза разразилась над Медиокритским. Обревизовав канцелярию присутствия, вице-губернатор вошел к губернатору с рапортом, объясняя в нем, что по делам старшего секретаря найден им величайший и умышленный беспорядок, который явно показывает, что господин Медиокритский, еще прежде того, как ему лично известно, замешанный в похищении у частного лица тысячи рублей серебром, и ныне нравственно не исправился, а потому полагает для пользы службы удалить его без прошения от должности. Кто знает служебные отношения, тот поймет, конечно, что сделать подобное представление, не предварив даже начальника губернии, была дерзость и явное желание нанести неприятность правителю канцелярии, который был, как все знали, правая рука и вторая душа губернатора в управлении. Три дня старик медлил; но от вице-губер-

натора получено было новое полуофициальное письмо, в котором он говорил, что ежели его превосходительству неугодно будет удалить секретаря Медиокритского, то он вынужденным найдется просить министерство о назначении себя в другую губернию. Таким образом, дело поставлено было в такое положение, что губернатор едва нашел возможным, чтоб не оставить бедную жертву совершенно без куска хлеба, дать ей место смотрителя в тюремном замке, что, конечно, было смертным скачком после почетной должности старшего секретаря. В новом замещении этой должности опять вышло неприятное столкновение: губернатор хотел по крайней мере определить на это место кого-нибудь из своих канцелярских чиновников — например, одного из помощников своего правителя, человека, вполне ему верного и преданного; но вице-губернатор объявил, что на это место он имеет в виду опять нашего старого знакомого, Экзархатова, о котором предварительно были собраны справки, не предается ли он по-прежнему пьянству, и когда было дознано, что Экзархатов, овдовев, лет семь ничего в рот не берет, Калинович в собственноручном письме предложил ему место старшего секретаря. Экзархатов, припоминая своего бывшего начальника, сначала отказался, но вице-губернатор вторично писал ему, извиняясь в прежнем своем с ним поступке, который произошел, с одной стороны, от его нетерпимости, а с другой и от несчастной слабости Экзархатова. «Но так как (прибавлял он) оба мы с летами исправились от своих недостатков, то, вероятно, теперь сойдемся, и я вас дружески прошу разделить со мной тяжелые служебные обязанности, помочь мне провести те честные и благородные убеждения, которые мы с вами вдохнули в молодости в святых стенах университета». Добрый Экзархатов не устоял против такого приглашения и явился к своему новому покровителю. При первом свидании было несколько странно видеть этих двух старых товарищей: один был только что не генерал, сидел в великолепном кабинете, на сафьяне и коврах, в бархатном халате; другой почтительно стоял перед ним в потертом вицмундире, в уродливых выростковых сапогах и с своим обычно печальным лицом, в тонких чертах которого все еще виднелось присутствие доброй и серьезной мысли. Калинович принял его чрезвычайно ласково, и дня через два Экзархатов

был определен. Губернатор ограничился только тем, что был сух и, где только можно, придирался к новобранцу.

— По губернскому правлению,— говорил он открыто в обществе,— я решительно намерен предоставить все вице-губернатору, потому что он его ближайший начальник; его место тут, а мое — в губернии. Но потом оказалось, что вице-губернатор и в распоряжения по губернии начал вмешиваться. Из разного рода неоднократных случаев приведу один, так как в нем замешаны более знакомые нам лица. Кому не известно, что в настоящее время обыкновенные исправничьи места выеденного яйца не стоют: каких-нибудь триста или четыреста рублей с откупщика, плата за лошадей, да разве кое-что придется сорвать на следствиях; а из этого между тем надо еще дать правителю канцелярии, подмазать в губернском правлении, чтоб не очень придирались. В остатке, значит, вздор. Но никак нельзя было этого сказать про пост смирнейшего в мире исправника в известном нам Эн-ске. Даже помещики с тремя сотнями душ перед баллотировкой говаривали: «Сделай, говорит, меня в Эн-ске исправником, так я в английские короли не захочу». Дело все заключалось в лесном сплаве: до трех тысяч гусянок всякую весну сплавлялось вниз по реке, и теперь судохозяину дать исправнику, при выправке билета, с каждого судна, какой-нибудь золотой, заведено было еще исстари, а между тем в итоге это выходило пятнадцать тысяч серебром. Место это приобрела и упрочила за мужем именно сама мадам исправница своими исключительно личными исканиями и ходатайствами; а потому можете судить о чувствах этой дамы, когда она узнала, что новым вице-губернатором назначен — и кто же? — душка Калинович! Смело могу уверить, что в эти минуты она забыла все сплетни, которые сочиняла некогда про него и про Настеньку. С замирающим сердцем и в каком-то истерическом состоянии она всем и каждому говорила, всплескивая руками: «Три года я только что не каждый день видела его; ну и тогда уж в лице у него заметно было что-то значительное, этакое, знаете, что-то петербургское. А милушка-то жена его! Господи, царь небесный! Я более чем дружна была с этим домом... более... Эту любовь ихнюю... все знала. Потом там другая в него была влюблена; он то к той, то к этой, и так все это мило,

что выразить невозможно. Он будет, он должен покровительствовать моему Семену Никитичу». Говоря это, исправница доходила до какой-то поэзии похвал—и слезы умиления текли по ее полным щекам. Однако ничто не помогло и ничто не сбылось из ее пророчеств. Великим постом, когда должна была начаться выдача билетов, вице-губернатор вдруг вошел к губернатору с рапортом, что, так как в городе Эн-ске сыздавна производит земская полиция в свою пользу незаконный сбор с судопромышленников, то, в видах прекращения этого побора, удалить настоящего исправника от должности, как человека, уже *приобыкшего* к означенному злоупотреблению; в противном же случае, если его превосходительство сие голословное обвинение найдет недостаточным, то обстоятельство это раскрыть формальным следствием, и с лицами, как непосредственно виновными, так и допускающими сии противозаконные действия, поступить по законам. Губернатор только развел руками, получив эту бумагу. Как было тут поступить? Если назначить следствие, то эти дураки мужики, пожалуй, еще разболтают про все те жалобы, которые подавали они ему на исправника и которым, однако, не давалось никакого ходу; но, с другой стороны — основаться на словесном обвинении вице-губернатора и без следствия пожертвовать чиновником, неукоснительно исполнявшим свои прямые и косвенные обязанности!.. Старик даже заболел, придумывая с правителем канцелярии, как бы сделать лучше; и так как своя рубашка все-таки ближе к телу, то положено было, не оглашая дела, по каким-то будто бы секретно дошедшим сведениям причислить исправника к кандидатам на полицейские места. Автор сам видел после этого несчастного случая исправницу, прискакавшую было в губернский город, и не слезами она плакала — нет,— каменьями! Жерновами! На Калиновича она не столько претендовала: он сделал это по ненависти к ней, потому что она никогда, по глупому своему благородству, не могла молчать о его мерзкой связи с мерзавкой Годневой; но, главное, как губернатору, этому старому хрычу, которому она сама, своими руками, каждый год платила, не стыдно было предать их?..

Подобной болтовней она довела себя до того, что, по секретному приказанию начальника губернии, была выслана полицеймейстером из города, тем более что губер-

натор, видимо, еще не хотел оглашать своих неудовольствий с вице-губернатором и все еще говорил, что он именно такого помощника себе желал, чтоб тот помогал ему открывать злоупотребления, которые от него, как от человека, были скрыты. Новая выходка вице-губернатора сделала, однако, невозможным продолжать такую тактику. В губернском правлении назначено было свидетельство в умственных способностях дворянина Язвина, который, по ходатайству наследников, содержался уже в сумасшедшем доме. Почти вся губерния знала, что губернатор, по разного рода отношениям к претендентам-родственникам, принимал в этом деле живое участие и, конечно, приехал сам на свидетельство. Из прочих лиц явились только доктора: кривошейка-инспектор, с крестом на шее, и длинный, из немцев, и с какими-то ожесточенными глазами оператор. Оба они, верные всегда и во всем рабы губернаторские, вошли в присутствие нога в ногу, поклонились почтительно и заняли свои места. Вслед за ними пришел прокурор, молодой еще человек, до упаду всегда танцевавший на всех губернаторских балах польку-мазурку; но из председателей не явился никто; предводитель тоже; по уважению своему к начальнику губернии, все они раз навсегда сказали, что, где только губернатор подпишет, там и их рука будет. Словом, все обстояло как следует! В двенадцать часов сумасшедший был введен. Это был молодой человек с крошечным лбом, с совершенно плоским черепом, со впалой грудью и с выдавшимся животом, в байковом халатишке, в толстом, заплатанном белье и порыжелых туфлях. Его держал под руку высочайший и с какими-то адскими чертами лица вахмистр, способный, кажется, усмирить сотню чертей, не только что одного безумного. Их скромно сопровождала знакомая уж нам фигура Прохорова, который был один из претендующих родственников и который на этот раз не горланил, как некогда в земском суде, а смиренно, держа под мышкой ваточную фуражку, стал было у притолоки; но губернатор движением головы предложил ему сесть, и Прохоров, щепетильно и едва касаясь краешка, уселся на отдаленное кресло.

— Этот господин был уже у нас в переделке! — отнесся губернатор к сидевшему от него по правую руку Калиновичу.— Но сенат требует вторичного пересвиде-

тельствования и заставляет нас перепевать на тот же лад старую песню.

— Да, я знаю-с: я читал все дело,— отвечал Калинович.

Кривошейка-инспектор начал спрашивать сумасшедшего, как его зовут, какой он веры, звания. Нескоро и с глупой улыбкой, как бы не понимая, что такое все это значит, отвечал тот, но ничего не врал.

— Послушайте, любезный,— отнесся вдруг губернатор к сумасшедшему,— как вы думаете, что вертится: земля или солнце?

— Чаво вы говорите? Я не знаю, чаво вертится, васе пиисхадитество! — отвечал тот.

— Ну, да вертится ведь что-нибудь, земля или солнце; так что именно вертится? — повторил губернатор.

— Да сто же такое вертится? Подите, сто такое вы говорите, васе пиисхадитество,— отвечал сумасшедший, боязливо пятясь назад.

— Не понимает! — произнес губернатор, пожав плечами.

— По глазам видно отсутствие мысли,— подтвердил оператор.

— А скажите мне, отчего луна не из чугуна? — сострил вдруг асессор, желавший продолжать вопросы в тоне начальника губернии.

Сумасшедший только посмотрел на него: губернатор и все прочие члены улыбнулись. Не могши удержаться от удовольствия, Прохоров захохотал во все горло.

— Нет, так спрашивать и записывать этого нельзя! — вмешался, привставая с места, Калинович, все время молчавший, и потом обратился к больному: — Подите сюда, ко мне, мой милый!

Тот трусливо начал подходить.

— Не бойтесь; подходите. Отчего вы так дрожите? — говорил вице-губернатор, ласково беря его за руку.

— Да вон этот все дерется, васе пиисхадитество,— отвечал сумасшедший, указывая на вахмистра.

— Как же он это может? Он не смеет этого; мы его накажем,— продолжал Калинович.

— Мне драться, ваше высокородие, не пошто, а что шумят очення... — запротестовал было, покраснев в лице, солдат.

— Молчи! — произнес строго вице-губернатор. Вахмистр немного попятился. Калинович опять обратился к сумасшедшему: — Сядьте вот, милый, тут, потолкуемте,— прибавил он.

— Ничего, васе пиисхадитество, я и постою, я не устал, ей-богу-с! — отвечал гораздо уже свободнее сумасшедший.

— А отчего это вы все подергиваетесь? Не нравится, что ли, вам ваше платье?

— Да сто, васе пиисхадитество! Известно-с: все обобрали, сто было... вон халатиско какой дали-с. У них, васе пиисхадитество, народ, все пьяница такой-с; пожалуй, еще пропьют; а у меня платье хоросее было-с.

— А сколько у вас душ? — спросил Калинович.

— Двести дус у меня, васе пиисхадитество,— отвечал Язвин,— папенька родной оставил, ей-богу-с!

— Ну, а хлеб, скажите, как у вас родится: хорошо или нет?

— Где уж, васе пиисхадитество, хоросо хлебу родиться! — продолжал сумасшедший, как бы совсем попавший на свой тон.—Все вон дядинька Михайло Ильич, вон он сидит тут. «Посто, говорит, дурак, тебе лосади? Еще убьют тебя», весь табунок и угнал к себе. Ну, а по деревне, васе пиисхадитество, известно, как без лосадки, сами посудите! Лосадка тебе и дело сделает, и добра накладет. Мужички мне опосля говорят: «Барин, говорят, посто вы лосадок отдали: без скота хлебца не бывает»; а мне сто делать? Ишь, они озорники какие! Словно и бога у них нет-с!

Прохоров не мог долее выдерживать.

— Кабы вы были не сумасшедший, вы бы не говорили этого, и будете наказаны за то, болван этакой! — проговорил он; но помешанный в свою очередь тоже рассердился.

— Сто ты ругаешься? — возразил он с запальчивостью.— Про сто меня наказут, коли я правду говорю, а ты думаешь, побоюсь тебя. Как же! Сто ты с девкой-то у нас сделал? Мальчик, васе пиисхадитество, у него от девки-то родился: девусник-усник-подокосесник!

Губернатор вышел из себя.

— Молчать! Вздор несешь! —крикнул он.

Сумасшедший оробел. Высокий вахмистр к нему приблизился на два шага.

— Умеете ли вы считать, мой милый? — поспешил перебить Калинович.— Нате вот, сочтите эти деньги: сколько тут? — прибавил он, подавая тяжелый бумажник.

— Это все васи деньги, васе пиисхадитество? Какой вы богатый-с!

— Да, я богат. Сосчитайте.

Сумасшедший почесал голову и сосчитал совершенно верно.

— Тут две тысячи и пятьдесят рублев, васе пиисхадитество, да вот еще бумажка пять рублев,— отвечал он, отодвигая от себя деньги, а потом, обдернув рукава и еще как-то глупей улыбнувшись, прибавил: — Дайте, васе пиисхадитество, мне эти пять-то рубликов-с.

— А у вас разве нет денег? — спросил Калинович.

— Нет, васе пиисхадитество, хоть бы копеечка,— ей-богу-с. Этто вот мужичок нас принес было мне тли целковеньких, да смотритель увидал и те отнял! «Ты, говорит, еще ноз купишь, да зарежешься»; а посто я стану лезаться? Дурак, сто ли, я какой! И за сто они меня тут держат с сумасшедшими, на-ка?

Проговоря это, Язвин приостановился, но, помолчав, снова продолжал:

— Прикажите, васе пиисхадитество, отпустить меня, сделайте милость; а то я боюсь, ей-богу-с! Этта у нас один благой, злой он такой, поймал другую благую бабу, да так ее оттрепал в сенях, сто еле жива осталась,— того и гляди убьют еще; а коли говорить, васе пиисхадитество, начальству насему станес, так у них только и речи: «Поговори, говорит, у нас еще, так выхлещем» — ей-богу-с! Сделайте милость, батюска, прикажите отпустить; я вам в ножки поклонюсь! — присовокупил сумасшедший и действительно поклонился Калиновичу в ноги.

— Есть ли по крайней мере у вас другие родные, которые бы взяли вас на поруки? — отвечал тот, поднимая его.

— Да как же, васе пиисхадитество, у меня здесь двоюродная сестричка есть: бедненькая она! Пять раз жаловаться ходила, ей-богу-с! «За сто вы, говорит, братца

моего дерзите? Я его к себе беру». Так только и есть, сто прогнали, ей-богу-с! «Пошла вон», говорят.

— Понимаете ли вы, что и пред кем вы говорите? — вмешался опять Прохоров, показывая на губернатора.

— Однако уведите его; довольно! — прибавил губернатор повелительным голосом.

Вахмистр, как железными щипцами, ухватил своей левой рукой больного за локоть и, повернувши его направо кругом, увел.

— Во всяком случае,— продолжал губернатор,— я остаюсь при старом заключении, что он не в полном рассудке. Как вы? — прибавил он, обращаясь к докторам.

— В рассудке неполном,— подтвердил инспектор.

— Какой же тут рассудок, помилуйте! При губернаторе и что говорит: помилуйте! — заявил всему присутствию Прохоров.

Все члены были согласны с этим.

— В таком случае, ваше превосходительство, значит, я буду совершенно противоположного мнения,— возразил Калинович.— Я полагаю, что этот молодой человек совершенно в полном рассудке.

— Как в рассудке? Что вы такое говорите? — воскликнул губернатор, как бы не веря своим ушам.

— В рассудке,— повторил Калинович, не изменяя тона,— а потому полагаю, что держать его в сумасшедшем доме и грешно и противозаконно: это варварство!

— Да ведь в законе глупорожденные также отнесены к сумасшедшим,— заметил было прокурор.

Но вице-губернатор не обратил даже внимания на его слова и продолжал:

— Что ж касается того, как он управлял своим имением, то об этом произвести дознание и, с заключением дворянского собрания, представить на решение сената. Но, так как из слов его видно, что у него обобран весь скот и, наконец, в деле есть просьбы крестьян на стеснительные и разорительные действия наследников, то обстоятельство это подлежит особому исследованию — и виновных подвергнуть строжайшей ответственности, потому что усилие их представить недальнего человека за сумасшедшего, с тем чтоб засадить его в дом умалишен-

ных и самим между тем расхищать и разорять его достояние, по-моему, поступок, совершенно равносильный воровству, посягательству на жизнь и даже грабежу.

Эта строго официальная речь Калиновича как громом оглушила все собрание. Прохоров побледнел; члены не знали, куда глаза направить. Губернатор первый нашелся:

— Все это прекрасно! Но взгляд ваш, сами согласитесь, совершенно новый: он решительно из дела не вытекает.

— Взгляд мой, ваше превосходительство, полагаю, единственный, который может вытекать из этого дела,— возразил в свою очередь со всею вежливостью Калинович.

— Это вы говорите, а мы полагаем, что наш единственный. Согласны вы, господа? — обратился губернатор, едва сдерживая гнев свой, к членам.

Те наклонением головы изъявили согласие.

— Значит, так и записать надо,— продолжал губернатор, крутя усы. — Так и напишите, — отнесся он строго к секретарю Экзархатову,— что все господа присутствующие остаются при старом заключении, а господин вице-губернатор имеет представить свое особенное мнение, и вы уж, пожалуйста, потрудитесь не замедлить,— прибавил он, обращаясь к Калиновичу, как бы желая хоть этим стеснить его.

— Я завтра же представлю,— отвечал тот совершенно равнодушным тоном.

Губернатор встал и молодецки выпрямил свой высокий рост.

— До свиданья,— сказал он, кивая всем приветливо головой.— До свиданья, Яков Васильич. Очень жаль, что так часто приходится нам спорить с вами,— прибавил он полушутливым, полуукоризненным тоном Калиновичу и гордо вышел из присутствия.

Прохоров последовал за ним, губернатор, поговоря с ним несколько минут на лестнице, сел в экипаж. Он был очень бледен и всю дорогу продолжал кусать усы. По возвращении его домой тотчас проскакал во весь опор жандарм за правителем канцелярии. Оставшиеся между тем члены губернского правления ни слова между собой не говорили и, потупив глаза, стали внимательно зани-

маться своим делом. На каждом лице как будто было написано: *быть худу, быть бедам!* И один только вице-губернатор оставался совершенно спокоен: на губах его видна была даже какая-то насмешливая улыбка.

## IV

В продолжение целой недели в городе только и говорили, что о последней распре двух властителей. Общество, положительно обвиняя вице-губернатора, еще тесней и преданней сгруппировалось около губернатора, и один только князь вертелся, как бес перед заутреней. Льстя больше всех старику в глаза, он в то же время говорил, что со стороны вице-губернатора была тут одна только настойчивость—бычок нашел; но ничего нет ни умышленного, ни злонамеренного, и, желая, вероятно, как-нибудь уладить это дело, затеял, наконец, зов у дочери. Дать самому у себя вечер ему, говорят, решительно было не на что: сахарный завод его давно уж лопнул. Зять, по слухам, копейкой не помогал, именье было описано и поступило в продажу. Переехав в город, он заложил все свое серебро и вообще по наружности был какой-то растерянный, так что куда девался его прекрасный дар слова и тонкая находчивость в обращении. Но, как бы ни было, вечер он проектировал все-таки с большим расчетом; только самые интимные и нужные люди были приглашены: губернатор с губернаторшей и с адъютантом, вице-губернатор с женой, семейство председателя казенной палаты, прокурор с двумя молодыми правоведами, прекрасно говорившими по-французски, и, наконец, инженерный поручик, на всякий случай, если уж обществу будет очень скучно, так чтоб заставить его играть на фортепьяно — и больше никого. Около часа прошло, как приехал губернатор и собралось все маленькое общество; но Калиновича еще не было. Беспокойство начало отражаться на лице князя.

— Да вы сами были? — шепнул он сидевшему около него и тяжело пыхтевшему зятю.

— Сам был: обещался...— отвечал тот.

Князь пожал плечами.

— Странно! — проговорил он; но в это время раздал-

ся звонок, и вице-губернатор вошел. Он первый поклонился губернаторше и губернатору.

— Здравствуйте, Яков Васильич! Давно мы с вами не видались! — произнес старик, протягивая ему руку, но не приподымаясь с кресел, и до такой степени сумел совладеть с собой, что ноты неприязни не почувствовалось в этой фразе.

— Давно, ваше превосходительство,— отвечал Калинович совершенно простодушным тоном.

— А что ж Полина? — спросила хозяйка, разливавшая на большом круглом столе чай.

— Она не так здорова,— отвечал гость.

Князь переглянулся при этом с дочерью. Губернаторша взглянула на инженерного поручика, который еще поутру только рассказывал ей, как замечательный случай, что вице-губернаторша, выезжавшая везде, ни разу еще не была ни у княгини, ни у дочери ее. Муж ли ей не позволял того, или она сама не хотела — никто не знал. Стулья между тем так были поставлены, что вице-губернатор непременно должен был сесть рядом с губернатором; но он, легонько повернувшись на каблуках, подошел и сел около хозяйки в кресло, которое, собственно, предназначено было для губернаторши, но которая не успела еще занять его.

— Я поближе к чаю — позволите? — спросил Калинович мадам Четверикову, которая была одета в щегольское платье гласе и цвела красотой. Она взмахнула только на него своими превосходными карими глазами и, проговоря: «Пожалуйста!», начала приготовлять ему чай.

— Куда ж вы так много сахару кладете? Это ужас! — заметил ей Калинович.

— Ах, да, и в самом деле это много! — сказала, как бы сконфузившись, мадам Четверикова.— Решительно не умею наливать этого несносного чаю! — прибавила она.

— Что же вы умеете после этого? — спросил Калинович.

— Ничего,— отвечала мадам Четверикова несколько обиженным голосом.

— Дурно-с! — произнес Калинович, и оба несколько минут как-то страстно смотрели друг на друга.

— Послушайте! — начала хозяйка, низко-низко на-

клонившись над столом.— Вы в ссоре с этим господином? — прибавила она, указывая головой на губернатора.

— Это с чего вы взяли?.. Не знаю, как он мной, а я им очень доволен,— отвечал Калинович с насмешкой.

— Ну, нет; это вы смеетесь! Зачем вы ссоритесь с ним? Он такой милый! — возразила хозяйка.

— Да, он милый; только взяточник.

— Зачем вы так говорите? Нет, это пустяки!— возразила хозяйка.

— Вольно ж вам заставлять меня говорить о пустяках, тогда как я вижу перед глазами ваши мелькающие ручки, которым сама Киприда позавидовала бы!

— Merci за комплимент.

— У меня нет в отношении вас комплиментов,— отвечал Калинович,— и знаете ли что? — продолжал он довольно искренним тоном.— Было время, когда некто, молодой человек, за один ваш взгляд, за одну приветливую улыбку готов был отдать и самого себя, и свою жизнь, и свою будущность — все.

— Да, знаю,— отвечала мадам Четверикова, лукаво потупившись.— А послушайте,— прибавила она,— вы написали тот роман, о котором, помните, тогда говорили?

— Нет! Я нарочно тогда его выдумал, чтоб предсказать вам ту будущность, которою вы теперь наслаждаетесь.

— Хороши и вы!— возразила хозяйка укоризненным тоном.

— Не лучше вас: друг друга стоим! — отвечал Калинович, и вообще заметно было, что вместо ожидаемого сближения с губернатором он целый вечер намеревался любезничать с хозяйкою; но из дома принесли ему записку, при чтении которой заметное чувство удовольствия показалось на лице его.

— Adieu,— проговорил он, осторожно беря шляпу и пожимая руку хозяйки под столом.

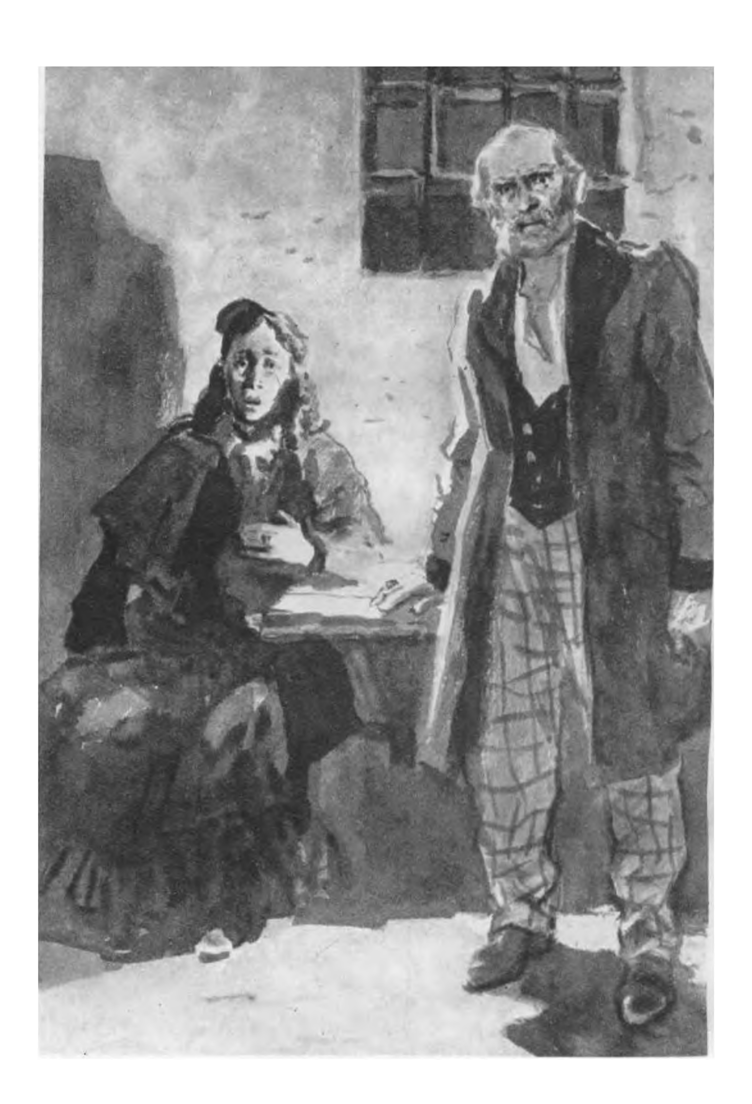
— Куда же вы? — спросила та удивленным и недовольным тоном.

— Нужно-с: не беспокойте никого. Adieu,— проговорил Калинович и пошел.

Князь побежал было за ним, но не успел догнать.

Губернатор между тем сделал вид, что будто бы через полчаса только заметил отсутствие Калиновича.





— А где же наш вице-губернатор? — спросил он совершенно равнодушным тоном.

— Не знаю, убежал! Получил из дома записку и убежал, — отвечал князь.

Губернатор ничего на это не сказал и стал смотреть на ламповый транспаран, как бы любуясь им. Приехал вскоре полицеймейстер. Гремя шпорами и саблей, он прямо подошел к губернатору и, приложив руку к виску, проговорил:

— Сейчас прибыл, ваше превосходительство, чиновник министра внутренних дел, надворный советник Куропилов.

Губернатор встал и побледнел.

— Зачем? — произнес он.

— Как я слышал из разговора их с господином вице-губернатором, который теперь к ним приехал, что по делу дворянина Язвина, — отвечал полицеймейстер.

— Да, прекрасно!.. Что ж вы на меня-то смотрите, точно не видали? — спросил его губернатор с азартом.

Полицеймейстер, в свою очередь, покраснел, но скоро поправился.

— Не будет ли каких-нибудь приказаний, ваше превосходительство? — проговорил он, опять приложив руку к виску.

— Никаких... Какие же могут быть приказания?.. Ступайте... Очень вам благодарен за беспокойство... Никаких... — повторил старик раздраженным голосом, и полицеймейстер уехал.

— Дурак!.. — повторил ему вслед губернатор. — Приедет из Петербурга какой-нибудь там чиновник — переполошится, скачет... ужасный болван! — присовокупил он полушутливым тоном, но не мог скрыть беспокойства и, не дождавшись ужина, уехал.

Вскоре после того разнесся слух, что надворный советник Куропилов не являлся даже к губернатору и, повидавшись с одним только вице-губернатором, ускакал в именье Язвина, где начал, говорят, раскапывать всю подноготную. Приближенные губернатора объявили потом, что старик вынужденным находится сам ехать в Петербург. При этом известии умы сильно

взволновались. Дворянство в первом же клубе решило дать ему обед.

— Обед, господа, чтоб показать этому молокососу! — говорили некоторые.

— Обед! — повторили почти все в один голос.

Но тут сейчас же возник вопрос: приглашать ли вице-губернатора к подписке или нет? Поглупей и немного уж выпившие кричали: «Нет, не нужно!.. К черту его!..» Но более благоразумные недоумевали. К счастию, в это время приехал князь и решил:

— Какое мы право имеем выкидывать его из нашего общества? Он человек вежливый... приличный... он дворянин... здешний помещик, наконец... Хочет подписаться — прекрасно, не хочет — его дело.

— Его дело! — подтвердили благоразумные.

Председатель казенной палаты, как старшина-хозяин, должен был предложить Калиновичу подписной лист. Он нарочно для этого приехал к нему в первый праздничный день как бы с визитом.

— Старику, нашему губернатору, обед затевается. Угодно вам участвовать? — говорил он не совсем твердым голосом.

— А! Обед, и обед, вероятно, будет очень хороший. Я люблю хорошие обеды. Очень рад! — ответил тот и сейчас же подписался.

Видимо, что в этой фразе он ввернул штучку, поясненную потом еще более в самый обед, на который он не приехал, а прислал на имя старшины-хозяина записку, изъявляя в ней искреннее соболезнование, что по случившейся маленькой болезни не может с обществом разделить приятного удовольствия кушать мерных стерлядей и грецкими орехами откормленных индеек; значит, он сожалел только об обеде, а не о том, что не присутствовал на почетном прощальном митинге начальнику губернии. Выходка эта возбудила еще более любви и уважения к губернатору. Тотчас же после портера начались излияния чувств перед ним. Советник контрольного отделения, ни на одном официальном обеде не могший сообразить, что там всегда очень много подается вина, обыкновенно напивался еще за закуской. В этот раз он тоже, давно уже готовый, вдруг встал и притащился к губернаторскому креслу.

— Я, ваше превосходительство, уж пьян; извини! —

забормотал он. — Когда тебя министр спрашивал, какой такой у тебя контролер, ты что написал? Я знаю, что написал, и выходит: ты жив — и я жив, ты умер — я умер! Ну и я пьян, извини меня, а ручку дай поцеловать, виноват!

— Ничего, ничего,— говорил губернатор, не давая руки, которую советник старался было поймать.

Вставши в это время на ноги, председатель казенной палаты прекратил эту сцену. Он кивнул головой распоряжавшемуся обедом чиновнику особых поручений, и тот отвел контролера на его стул предаваться умилению и договаривать свою благодарность, сам же председатель приготовлялся сказать короткий, но приличный спич. Прежде всего, впрочем, должно объяснить, что рядом с губернатором по правую руку сидел один старикашка, генерал фон Вейден, ничтожное, мизерное существо: он обыкновенно стращал уездных чиновников своей дружбой с губернатором, перед которым, в свою очередь, унижался до подлости, и теперь с сокрушенным сердцем приехал проводить своего друга и благодетеля. По левую сторону помещался некто Каламский, предводитель дворянства, служивший в военной службе только до подпоручика и потому никогда не воображавший, чтоб какой-нибудь генерал обратил на него человеческое внимание, но с поступлением в предводители, обласканный губернатором, почувствовал к нему какую-то фанатическую любовь. Заслышав об отъезде его, он в два дня проскакал пятьсот верст и все-таки поспел к обеду. Оба эти лица послужили прекрасными сюжетами для оратора.

— Ни лета одного, — начал он, указывая на старика-генерала,— ни расстояния для другого,— продолжал, указав на предводителя,— ничто не помешало им выразить те чувства, которые питаем все мы. Радуемся этой минуте, что ты с нами, и сожалеем, что эта минута не может продолжиться всю жизнь, и завидуем счастливцу Петербургу, который примет тебя в лоно свое.

— Ура! — воскликнула со всех сторон толпа с поднятием бокалов.

Губернатор, встав на ноги, растерялся от умиления.

— Господа! На все это я могу ответить только драгоценным для нас изречением: «Разумейте, языцы, яко с нами бог!» — бухнул он ни к селу ни к городу.

— С нами бог! — повторила за ним восторженная толпа.

Старик заплакал, и следовавшее затем одушевление превышало всякую меру описаний. После обеда его качали на руках. Окончательно умиленный, он стал требовать шампанского: сам пил и непременно заставлял всех пить; бросил музыкантам, во все время игравшим туш, пятьдесят рублей серебром и, наконец, сев в возок, пожелал, чтоб все подходили и целовали его выставленное в окошечко лицо...

## V

Скажите, где и когда толпа не была лжива, клятвопреступна и изменчива? Едва только пришло известие, что старику-губернатору в Петербурге плохо, а Калинович, напротив, произведен был в статские советники; едва только распространилось это в обществе, как губернаторша почти всеми была оставлена. Уединенно пришлось ей сидеть в своем замкоподобном губернаторском доме, и общественное мнение явно уже склонилось в пользу их врага, и началось это с Полины, которая вдруг, ни с того ни с сего, найдена была превосходнейшей женщиной, на том основании, что при таком состоянии, нестарая еще женщина, она решительно не рядится, не хочет жить в свете, а всю себя посвятила семейству; но что, собственно, делает она в этой семейной жизни — никто этого не знал, и даже поговаривали, что вряд ли она согласно живет с мужем, но хвалили потому только, что надобно же было за что-нибудь похвалить.

Калиновича тоже стали понимать иначе: очень хорошо увидели, что он человек с характером и с большим, должно быть, весом в Петербурге. Первый изменил мнение в его пользу председатель казенной палаты, некогда военный генерал, только два года назад снявший эполеты и до сих пор еще сохранивший чрезвычайно благородную наружность; но, несмотря на все это, он до того унизился, что приехал к статскому советнику и стал просить у него извинения за участие в обеде губернатору, ссылаясь на дворянство, которое будто бы принудило его к тому как старшину-хозяина. Секретарь Экзархатов, бывший свидетель этой сцены и очень уж,

кажется, скромный человек, не утерпел и, пришедши в правление, рассказал, как председатель прижимал руку к сердцу, возводил глаза к небу и уверял совершенно тоном гоголевского городничего, что он сделал это «по неопытности, по одной только неопытности», так что вице-губернатору, заметно, сделалось гадко его слушать.

— О чем же, ваше превосходительство, вы беспокоитесь? Для меня, ей-богу, все равно,— сказал он с досадою и презрением; но медному лбу председателя было решительно нипочем это замечание, и он продолжал свое.

— Как у них эта способность подличать насчет всего развита, так уму невообразимо! — заключил Экзархатов, и вся канцелярия засмеялась.

Второй человек, ставший под знамена Калиновича, был князь.

— Нельзя... нельзя... нечего старику было спорить и фордыбачить... надо было покориться.

В продолжение всего моего романа читатель видел, что я нигде не льстил моему герою, а, напротив, все нравственные недостатки его старался представить в усиленно ярком виде, но в настоящем случае не могу себе позволить пройти молчанием того, что в избранной им служебной деятельности он является замечательно деятельным и, пожалуй, даже полезным человеком. Князь, бывший умней и образованней всего остального общества, лучше других понимал, откуда дует ветер, Калинович мог действительно быть назван представителем той молодой администрации, которая в его время заметно уже начинала пробиваться сквозь толстую кору прежних подьяческих плутней. Молодой вице-губернатор, еще на университетских скамейках, по устройству собственного сердца своего, чувствовал всегда большую симпатию к проведению бесстрастной идеи государства, с возможным отпором всех домогательств сословных и частных. В управлении были приняты им те же основания. Дело началось с городских голов, которые все очень любят торговать и плутовать себе в карман и терпеть не могут служить для общества. Вице-губернатор всех их вызвал к себе и объявил, что если они не станут заниматься думскими делами и не увеличат городских доходов, то выговоров он не будет де-

лать, а перепечатает их лавки, фабрики, заводы и целый год не даст им ни продать, ни купить на грош, и что простотой и незнанием они не смели бы отговариваться, потому что каждый из них такой умный плут, что все знает. Как из парной бани, вышли от него головы и в ту же ночь поскакали на почтовых в свои городки, наняли на свой счет писцов в думы и ратуши и откопали такие оброчные статьи, о которых и помину прежде не было.

Откуп тоже не ушел. Не стесняясь личным знакомством и некоторым родством с толстым Четвериковым, Калинович пригласил его к себе и объяснил, что, так как дела его в очень хорошем положении, то не угодно ли будет ему хоть несколько расплатиться с обществом, от которого он миллионы наживает, и пожертвовать тысяч десять серебром на украшение города. Можно себе представить, что почувствовал при этих словах скупой и жадный Четвериков!

— Ведь откуп, Яков Васильич, никаких на этакие случаи не имеет экстраординарных сумм,— проговорил он краснея.

Калинович вышел из себя.

— Я знать, сударь, не хочу, имеете ли вы такие суммы или нет! — вскрикнул он.— Вы стыдились бы говорить это! Вся губерния, я думаю, знает, что у вас сундуки трещат от последних грошей, которые отдает вам бедный мужик и оборванный чиновник. Хоть бы четыре процента вы, устыдившись, возвратили с вашего грабежа обществу. Вот клянусь вам спасителем,— продолжал вице-губернатор, окончательно разгорячившись и показывая на образ,— что если вы не дадите мне... теперь уж не десять, а пятнадцать тысяч, когда заартачились, если не пожертвуете этой суммой, то каждое воскресенье, каждый праздник я велю во всей губернии запирать кабаки во время обедни и при малейшем намеке на участие ваших целовальников в воровстве и буйствах буду держать их в острогах по целым годам!

Струсивший толстяк развел только руками.

— Сломить меня не думайте, как сделали это с прежним вице-губернатором! — продолжал Калинович, колотя пальцем по столу.— Меня там знают и вам не выдадут; а я, с своей стороны, нарочно останусь здесь, чтоб не дать вам пикнуть, дохнуть... Понимаете ли вы

теперь всю мою нравственную ненависть к вашим проделкам? — заключил он, колотя себя в грудь.

Толстяк окончательно растерялся.

— Mais, mon cher, je vous prie, ne vous emportez pas...[1] — забормотал он,— я могу эти деньги, если хотите, сегодня же доставить.

— Сделайте одолжение, а завтра же будет напечатано в газетах и донесено министру о вашем пожертвовании,— отвечал Калинович.— Вы можете даже не скрывать, что я насильно и с угрозами заставил вас это сделать, потому что все-таки, полагаю, в этом случае будет больше чести мне и меньше вам! — прибавил он с насмешкою, провожая Четверикова.

— О да, конечно! Зачем же это рассказывать? — отвечал тот, стараясь насильно улыбнуться; но когда сел в экипаж, то лицо его приняло поразительно грустное выражение.

— Тому старому черту отдано за год, и этот требует еще пятнадцать тысяч, тьфу ты подлость! — прошепелявил он своими жирными, отвислыми губами.

От управляющего губернией был послан между тем жандарм за начальником арестантской роты, и через какие-нибудь полчаса в приемной зале уж стоял навытяжке и в полной форме дослужившийся из сдаточных капитан Тимков, который, несмотря на то, что владел замечательно твердым характером и столь мало подвижным лицом, что как будто бы оно обтянуто было лубом, а не кожей человеческой, несмотря на все это, в настоящие минуты, сам еще не зная, зачем его призвали, был бледен до такой степени, что молодой чиновник, привезенный вице-губернатором из Петербурга и теперь зачисленный в штат губернского правления, подошел к нему и, насмешливо зевая, спросил:

— Что вы такие? Не больны ли?

— Никак нет-с...— отвечал капитан дрожащими губами.

Калинович, наконец, вышел из кабинета и, хоть в зале было несколько человек других чиновников, прямо подошел к капитану.

— Послушайте,— начал он,— чтоб прекратить ваши плутни с несчастными арестантами, которых вы употребляете в свою пользу и посылаете на бесплатную ра-

---

[1] Но, дорогой мой, прошу вас, не горячитесь так... (*франц.*)

боту к разным господам... которые, наконец, у вашей любовницы чистят двор и помойные ямы... то чтоб с этой минуты ни один арестант никуда не был посылаем! Они будут отделывать набережную: каждый месяц я буду сам их рассчитывать, и, кроме задельной платы, пойдет еще сумма на улучшение пищи. И горе вам, если капуста будет кисла и говядина гнила! Я приеду сам и со всем вашим потрохом окормлю вас этой дрянью. Ступайте!

Капитан уж ничего не отвечал, но, повернувшись по всей форме налево кругом, вышел. Остановившись на крыльце, он пожал плечами, взглянул только на собор, как бы возлагая свое упование на эту святыню, и пошел в казармы.

Все эти действия Калиновича, наконец, начали удивлять и пугать людей солидных. «Он сумасшедший человек! В каком-нибудь звании вице-губернатора переделывает, ломает... помилуйте!» — говорили они втихомолку друг другу. Что же касается молодежи, посреди которой обыкновенно всегда бывает больше протестантов старому порядку вещей, молодежь эта была в восторге от него. Между всеми отличался толстейший магистр Дерптского университета, служивший в канцелярии губернатора, где он дал себе слово каждый день записывать в свою памятную книжку по десятку подлостей и по дюжине глупостей, там совершавшихся. Старик-губернатор знал это и не мог подобного неприятного человека исключить от себя, потому что магистр был прислан из Петербурга под присмотр полиции, с назначением именно служить в канцелярии. Другой протестант был некто m-r Козленев, прехорошенький собой молодой человек, собственный племянник губернатора, сын его родной сестры: будучи очень богатою женщиною, она со слезами умоляла брата взять к себе на службу ее повесу, которого держать в Петербурге не было никакой возможности, потому что он того и гляди мог попасть в солдаты или быть сослан на Кавказ. Из одного этого можно заключить, что начал выделывать подобный господин в губернском городе: не говоря уже о том, что как только дядя давал великолепнейший на всю губернию бал, он делал свой, для горничных — в один раз все для брюнеток, а другой для блондинок, которые, конечно, и сбегались к нему потихоньку со всего

города и которых он так угощал, что многие дамы, возвратившись с бала, находили своих девушек мертвецки пьяными. Каждый почти торжественный день повеса этот и его лакей садились на воротные столбы, поджимали ноги, брали в рот огромные кольца и, делая какие-то гримасы из носу, представляли довольно похоже львов. Все эти штуки могли еще быть названы хоть сколько-нибудь извинительными шалостями; но было больше того: обязанный, например, приказанием матери обедать у дяди каждый день, Козленев ездил потом по всему городу и рассказывал, что тетка его, губернаторша, каждое после-обеда затевает с ним шутки вроде жены Пентефрия и в доказательство этого возил с собой и всем показывал два сюртука действительно с оборванными полами. Третий был отставной уланский ротмистр, очень молодцеватый из себя мужчина, с лицом, напоминающим несколько лица итальянских бандитов. Для выражения своих благородных чувств и мыслей он имел какой-то отрицательный прием, состоявший в том, что душой и телом стремился выбить зубы каждому, кого только считал подлецом. В настоящее время предметом его преследования был правитель канцелярии губернатора, и он говорил, что не умрет без того, чтоб не разбить ему в кровь его мордасово, и что будто бы это мордасово и существовать без того не может на божьем мире. Все эти господа, собравшись раз в клубе, сидели за маленьким столом и разговаривали. Толстый магистр подробнейшим образом рассказывал, как сегодня поутру Калинович доказывал правителю канцелярии, что он и туп, и глуп, и подл. Ротмистр пришел в восторг.

— Молодец вице-губернатор! — крикнул он.— Надобно выпить за его здоровье. Эй ты, болван! Дай шампанского! — обратился он к лакею.

Вино было подано. В это время проходил мимо молодой чиновник, протеже Калиновича.

— Послушайте, батюшка,— обратился к нему магистр,— сейчас мы будем пить за здоровье вашего вице-губернатора. Нельзя ли его попросить сюда? Он в карты там играет. Можно ведь, я думаю? Он парень хороший.

— Очень можно,— отвечал тот.

— Подите попросите!

— Хорошо, — отвечал молодой человек и через несколько минут возвратился с Калиновичем.

— Позвольте нам выпить за ваше здоровье! — начал ротмистр.— За то, что вы отлично продергиваете эту губернаторскую челядь, и, пожалуйста, хорошенько!

— А моя просьба, Яков Васильич,— подхватил Козленев,— нельзя ли как-нибудь, чтоб дядю разжаловали из генералов и чтоб тетушку никто не смел больше называть «ваше превосходительство»? Она не перенесет этого, и на наших глазах будет таять, как воск.

— Да здравствует разум и правда! — сказал магистр, пожимая своей жирной рукой руку Калиновича.

— Очень вам благодарен, господа; тем более мне приятно ваше внимание, что это мнение честнейших и благороднейших людей, —отвечал тот, чокаясь со всеми.

— Еще шампанского! — крикнул было Козленев, но вице-губернатор, не желая, может быть, чтоб одушевление дошло еще до большей фамильярности, поспешил уйти, отзываясь тем, что его ожидают партнеры.

## VI

Покуда происходили все предыдущие события, в губернии подготовлялось решение довольно серьезного вопроса, состоявшего в том, что на днях должны были произойти торги на устройство сорокаверстной гати, на которую по первой смете было ассигновано двести тысяч рублей серебром. В прежние времена не было бы никакого сомнения, что дело это останется за купцом Михайлом Трофимовым Папушкиным, который до того был дружен с домом начальника губернии, что в некоторые дни губернаторша, не кончивши еще своего туалета, никого из дам не принимала, а Мишка Папушкин сидел у ней в это время в будуаре, потому что привез ей в подарок серебряный сервиз,— тот самый Мишка Трофимов, который еще лет десять назад был ничтожный дровяной торговец и которого мы видели в потертой чуйке, ехавшего в Москву с Калиновичем. Но зато, посмотрите, какая теперь стала из него пышная фигура! Посмотрите, каков только он едет по тамошней главной улице! Низко оселись под ним, на лежачих рессорах, покрытые лаком пролетки;

блестит на солнце серебряная сбруя; блестят оплывшие бока жирнейшего в мире жеребца; блестят кафтан, кушак и шапка на кучере; блестит, наконец, он сам, Михайло Трофимов, своим тончайшего сукна сюртуком, сам, растолстевший пудов до пятнадцати весу и только, как тюлень, лениво поворачивающий свою морду во все стороны и слегка кивающий головой, когда ему, почти в пояс, кланялись шедшие по улице мастеровые и приказные. Вообще, говорят, из него вышел мужик скотоватый и по-прежнему только боявшийся чертей и разбойников на дороге, но больше никого. Навстречу ему ехал губернский архитектор и, поравнявшись, сделал ручкой. Подрядчик улыбнулся ему на это.

— Постойте-ка, Михайло Трофимыч, погодите! — крикнул архитектор.

— Годим, коли надо! — отозвался подрядчик.— Постой ты, дура! — прибавил он кучеру.

Тот остановился.

Архитектор соскочил с пролеток и подбежал петушком.

— Я все старое,— начал он,— берете за собой Манохинскую гать али нет?

Подрядчик нахмурился.

— Эх ты, братец ты мой! Словно вострым колом ударил ты меня этим словом! — отозвался он и потом продолжал в раздумье: — Манохинская ваша гать, выходит, дело плевое, так надо сказать.

— Да что плевое-то? Что? Капризный ты человек!.. Кажется, сметой уж не обижены,— говорил архитектор, глядя с умилением в глаза Михайлу Трофимову.

— Не о смете, любезный, тут разговор: я вон ее не видал, да и глядеть не стану... Тьфу мне на нее! — Вот она мне что значит. Не сегодня тоже занимаемся этими делами; коли я обсчитан, так и ваш брат обсчитан. Это что говорить! Не о том теперь речь; а что сами мы, подрядчики, глупы стали,— вон оно что!

— Да что глупы-то? Николашки Травина, что ли, боишься?

— Рылом еще Николашка Травин не вышел, чтоб стал я его бояться, и не токмо его, ни Григорья вашего Петрова, ни Полосухина, ни Семена Гребенки,— никого я их не боюсь, тем, что знаю, что люди в порядке.

— Люди в порядке...— подтвердил архитектор.

— В порядке,— повторил подрядчик,— и хоть бы нам теперича портить дела друг дружке не приходится. Коли он мне теперича эту оказию в настоящем виде сдаст, так я ему в двадцати местах дам хлеба нажить, а дело то, что баря в наше званье полезли. Князь тут нюхтит, коли слышал?

— Как не слышать!.. Просьбу уж подал; только так мы полагаем, что не за делом, брат, гонится — будь спокоен, а так, сорвать только ладит... свистун ведь человек!

— То-то вы умны, видно, да еще не больно! — возразил с досадою подрядчик.— И я, помекая по-вашему на то, ездил к нему и баял с ним.

— Ну, что ж?

— Ну, что? А то, что прямо было обозначил ему: «Полно, говорю, ваше сиятельство, барин ты умный, не порти, говорю, дела, возьми наперед отступного спокойным делом, да и баста! Я, говорю, тебе тысчонок пять уваженья сделаю». Так поди! Разве сговоришь?.. «Мне-ста, говорит, Михайло Трофимыч, я теперь в таких положениях, что не токмо пятью, а пятнадцатью тысячьми дыр моих не заткнуть, и я, говорит, в этом деле до последней полушки сносить буду, и начальник губернии, говорит, теперь тоже мой сродственник, он тоже того желает...»

— Про начальника губернии он врет начисто, одни только отводы делает: не такой тот человек! — заступился архитектор.

— Понимаем это; что ты учишь, словно малого ребенка! — возразил подрядчик с запальчивостью.— Не сегодня тоже крестили, слава богу! Ездил я тоже и к начальнику губернии.

— А когда ездил, так и хорошо! — подхватил было архитектор.

— Спасибо за это хорошее; отведал я его! — продолжал Михайло Трофимыч.— Таких репримандов насказал, что я ничего бы с него не взял и слушать-то его! Обидчик человек — больше ничего! Так я его и понимаю. Стал было тоже говорить с ним, словно с путным: «Так и так, говорю, ваше высокородие, собственно этими казенными подрядами я занимаюсь столько лет, и хотя бы начальство никогда никаких неудовольствий от меня не имело... когда и какие были?»

— Какие уж от тебя неудовольствия! — подтвердил архитектор.

— Какие!—повторил Михайло Трофимыч ожесточенным голосом.— А он что на то говорит? «Я-ста знать, говорит, не хочу того; а откуда, говорит, вы миллионы ваши нажили — это я знаю!» — «Миллионы, говорю, ваше высокородие, хоша бы и были у меня, так они нажиты собственным моим трудом и попечением».— «Все ваши труды, говорит, в том только и были, что вы казну обворовывали!» Эко слово брякнул! Я и повыше его от особ не слыхал того.

Архитектор вздохнул и покачал головой.

— Да ты слушай, братец, какие опосля того стал еще рисунки расписывать — смехоты, да и только! — продолжал Михайло Трофимов тем же ожесточенным голосом.— Ежели теперь, говорит, это дело за вами пойдет, так чтоб на вашу комиссию — слышь? — не токмо што, говорит, десятый процент, а чтоб ни копейки не пошло — слышь?

Архитектор опять покачал головой.

— Что ж ему так комиссия-то наша поперек уж горла стала,— сказал он.

— Да уж не о комиссии, а о самом себе тут я говорю... Начальство теперь само по себе, а я сам по себе: кто ж в моем деле может указчик быть? Мои деньги! Хочу парю, хочу жарю, хочу с кашей ем — и баста! Разговаривать нечего!—окончательно вспылил, ударив себя в грудь, Михайло Трофимов.—«А в производители работ, говорит, слышь, я из здешних господ вам не дам, а выпишу из Питера: того уж, говорит, не купите». Слышь! Словно мы, братец, ты мой, питерских-то не видали. Я, согрешил грешный, прямо ему сказал на то: «Разве, говорю, ваше высокородие, английских каких выпишете: там, может быть, у тех другое поведение; а что питерских мы тоже знаем: дерут с нашей братьи еще почище здешних».—«Ну уж этого, говорит, не беспокойтесь, не будет у меня, да и принимать, говорит, я сам буду; на каждой сажени дыру проверчу: и то говорит, знайте!» В эку глубь хочет лезти!

— Да что он в эти дыры увидит? Что видеть-то тут?..— перебил, усмехнувшись, архитектор.

— Не знаю, что увидит; такое уж, видно, любопытство на то имеет,— отвечал двусмысленным тоном Михайло Трофимов.— Пустой он человек, больше имени ему от ме-

ня нет! — продолжал он, опять одушевившись.— Кабы он теперича был хороший градоначальствующий и коли он в мнении своем имеет казну соблюдать, так ему не то, что меня обегать, а искать да звать, днем с огнем, меня следует, по тому самому, что на это дело нет супротив меня человека! Дело это большое! Теперь этот князь говорит, что он до последней копейки сбивать станет. Это одни только фу-фу! Значит, ему, как бы не так, только денег сорвать, а там будь что будет. Знаем мы этих бар-то подрядчиков! Немало их на наших глазах в трубу вылетело. Дешевле, хоть бы кому ни было, супротив меня взять не приходится: не та линия!.. У меня, может, у ворот теперь стоит народу тысячи полторы закабаленного. Я еще по весне... голод тоже был, да солдатство подошло... задатки роздал: так мне, паря, спола-горя, как черту в муке, ворочаться. Я, может быть, по десяти копеек на день стану человека разделывать, а другому и за три четвертака не найти, — так тут много надо денег накинуть!

— Ты бы это, Михайло Трофимыч,— как там хочешь, а ты бы рассказал все это вице-губернатору; он бы тебя понял! — заметил архитектор.

— Нет, уж это, дяденька, шалишь! — возразил подрядчик, выворотив глаза.— Ему тоже откровенно дело сказать, так, пожалуй, туда попадешь, куда черт и костей не занашивал,— вот как я понимаю его ехидность. А мы тоже маленько бережем себя; знаем, с кем и что говорить надо. Клещами ему из меня слова не вытащить: пускай делает, как знает.

— Неужто и на торги-то не приедете? Что уж очень рассердились! — спросил архитектор.

Подрядчик опять нахмурился.

— На торги я прийти приду, этих делов без меня не бывает,— отвечал он,— и теперь этот ихний сиятельство или отступного мне давай, либо я его так влопаю, что ему с его сродственником и не расхлебать. Такую матушку-репку запоют, что мне же в ноги поклонятся. Прямо скажу: не им сломить Мишку Трофимова, а я их выучу!

— И выучи; ништо им! — подхватил архитектор и пошел садиться на свою пролетку.

— И выучу! — отвечал Михайло Трофимов, приказывая рукой кучеру ехать.

— И выучи! — ободрял его вслед архитектор.

— И выучу! — повторил Михайло Трофимов уезжая.

Назначенные торги семнадцатого сентября, наконец, наступили. Господа члены и желающие торговаться были уже в присутствии строительной комиссии. Больше всех волновался и егозил Николашка Травин, только еще начинавший разживаться мелкий плутишка. У него подергивало руки и ноги, и вообще он как-то шевелился всем телом. Михайло Трофимов сидел спокойно в креслах. Рядом с ним помещался сухой, как скелет, Гребенка, как говорили, скопец-раскольник, промышлявший более процентами, чем подрядами. Он тоже был спокоен. Григорий Полосухин, мужик с бельмом на правом глазу, был только грустен. На противоположной от них стороне сидел князь. Все лицо его было покрыто какими-то багровыми пятнами, и глаза были так нехороши, что как будто он не спал несколько ночей. Двенадцать часов пробило, но управляющего губернией все еще не было. При его аккуратности это было несколько странно. Добродушный секретарь, наконец, вошел в присутствие и с улыбающеюся физиономией объявил: «Едет». Все немного подправились. Калинович вошел бледный; рука его, державшая портфель, заметно дрожала.

— Извините, господа, что я позадержал немного,— начал он, садясь на свое председательское место, и потом, обратившись к секретарю, сказал: — Подайте мне залоги, которые представлены к сегодняшним торгам.

Секретарь подал.

— Они все тут? — спросил вице-губернатор, устремляя на него пристальный взгляд.

Секретарь начинал бледнеть.

— Все, ваше высокородие,— отвечал он дрожащим голосом.

Калинович, перебрав бумаги, остановился на одной.

— Все это, собственно, мы рассматривали,— отнесся он к членам присутствия,— но дело в том, что насчет свидетельства пензенской гражданской палаты я сейчас получил, на запрос мой, оттуда уведомление, что на такое имение она никогда и никакого свидетельства не выдавала: значит, оно подложное...

Проговоря это, вице-губернатор вынул из кармана и подал штаб-офицеру отношение гражданской палаты. Лица между тем у всех вытянулись. Михайлу Трофимова

подало даже назад. Пятна на лице князя слились в один багровый цвет.

— Торгов, значит, господа, сегодня не состоится,— сказал Калинович купцам, кладя и запирая вместе с тем в свою портфель залоги.— Нам надобно еще прежде рассмотреть обстоятельства подлога,— обратился он к членам.

— Конечно-с,— отвечали те в один голос.

Вице-губернатор торопливо поклонился им и, как бы желая прекратить эту тяжелую для него сцену, проворно вышел. Князь тотчас же юркнул за ним. Проходя по канцелярии, Калинович сказал ему что-то очень тихо. Красный цвет в лице князя мгновенно превратился в бледный. Некоторые писцы видели, как он, почти шатаясь, сошел потом с лестницы, где ожидал его полицеймейстер, с которым он и поехал куда-то.

В тот же день, вечером, по городу разнеслась страшная молва, что князь Иван пойман с фальшивым свидетельством и посажен вице-губернатором в острог.

## VII

Политика моего маленького мирка поколебалась в самом основании. Дворянство решительно восстало на Калиновича. Каким образом дворянина князя, без суда и следствия, посадить в острог? — говорилось всюду на вечерах, балах и клубах. Губернский предводитель, подстрекаемый доброжелателями князя, официально спросил вице-губернатора, на каком основании князь Иван арестован без депутатов со стороны дворянства. На это последовал дерзкий ответ, что по незаконности вопроса не считают даже за нужное отвечать на него. Предводитель донес о том министру. Молодой прокурор, решившийся в последнее время кончить свою танцевальную карьеру и жениться именно на дочери губернского предводителя, тоже вошел к управляющему губернией с вопросом, по какому именно делу содержится в тюремном замке арестант, коллежский советник, князь Иван Раменский и в какой мере важны взводимые на него обвинения. В лаконическом ответе, что князь Иван содержится по делу составления им фальшивого свидетельства, прокурору вместе с тем предложено было обратить исключительное

свое внимание, дабы употреблены были все указанные в законе меры строгости к прекращению всякой возможности к побегу или к другим упущениям и злоупотреблениям при содержании сего столь важного арестанта. Следствие производить начал красноносый полицеймейстер: отчасти по кровожадности собственного характера, отчасти для того, чтоб угодить вице-губернатору, он заставлял, говорят, самого князя отвечать себе часа по два, по три, не позволяя при этом садиться. Посажен был тоже в острог неизвестно за что один из княжеских лакеев; потом взят в Эн-ске дьячок-резчик, и, наконец, схвачен на дороге в Москву беглый кантонист, умевший будто бы подписываться под всевозможные руки.

Мягкосердый секретарь строительной комиссии удавился от страха. Проходя мимо полиции, некоторые слышали, что там раздавались крики и стоны, которые показывали, что вряд ли несчастных подсудимых не пытают во время допросов. Словом, страсти господни, что рассказывалось по всем закоулкам! Мужчины только качали головами и с часу на час ожидали, что управляющему губернией будет, наконец, сверху такой щелчок, после которого он и не опомнится. Дамы были тоже в ужасном волнении. Они беспрестанно делали друг другу визиты, чтоб сообщить или узнать какую-нибудь новость. Про князя они говорили, что не знают, может быть, он и виноват и достоин своей участи, но семейства нельзя было не пожалеть. Несчастная княгиня, эта кроткая, как ангел, женщина, посвятившая всю жизнь свою на любовь к мужу, должна была видеть его в таком положении — это ужасно! Обыкновенная молчаливость княгини перешла, говорят, в какой-то идиотизм. Лечивший ее доктор положительно опасался за ее умственные способности; ко всему этому толстый Четвериков выкинул такую штуку, в которой выразилась вся его торговая душа. Едва только узнал он о постигшем несчастии тестя, как тотчас же ускакал в Сибирь, чтоб отклонить от себя всякое подозрение на участие в этом деле и бросил даже свою бедную жену, не хотевшую, конечно, оставить отца в подобном положении. Про Калиновича и говорить уж нечего, каким чудовищем казался он дамам.

— Ведь, согласитесь, он бы недурен был собою, но всегда у него в лице было что-то инквизиторское! — говорили они почти открыто.

Как бы подлаживаясь к этому всеобщему страху и печальному настроению общества, наступила туманная, сырая осень. Вечера сделались бесконечны. В один из них порывисто дул по улицам холодный, с изморозью, ветер. Фонари едва мерцали в темноте. Хоть бы человек прошел, хоть бы экипаж проехал; и среди этой тишины все очень хорошо знали, что, не останавливаясь, производится страшное следствие в полицейском склепе, куда жандармы то привозили, то отвозили различные лица, прикосновенные к делу. В настоящий час сам вице-губернатор присутствовал при допросе старого энского почтмейстера, на днях только еще взятого и привезенного в губернский город. Молча и крупными буквами, как видели писцы, писал старик свои ответы, но что именно — неизвестно.

В вице-губернаторской квартире тоже было мрачно и пустынно. Огонек светился только в огромной официантской, где дремал швейцар и с полчаса уже дожидался какой-то господин в оборванном пальто. На другом конце дома падал на мостовую свет из наугольной и единственной комнаты, где Полина, никуда не выезжавшая в последнее время, проводила целые дни. Поступок мужа ее против родственника и друга дома, конечно, не мог быть ей приятен. В этот раз, впрочем, она была не одна: у ней сидела m-me Четверикова, и, боже мой, как изменились в последнее время обе дамы! Вице-губернаторша была совсем уж старуха; и смолоду болезненное лицо Полины теперь, как на трупе, обвалилось; на исхудалых пальцах ее едва держались, хлябая, несколько дорогих колец. Ясно было, что семейная жизнь, и когда-то не много давшая ей радости, доканывала ее теперь окончательно. M-me Четверикова, этот недавний еще цветок красоты и свежести, была тоже немного лучше: бледный, матовый отлив был на ее щеках вместо роз; веки прекрасных глаз опухли от слез; хоть бы брошка, хоть бы светлая булавка была видна в ее костюме. Вместо цветных и блестящих платьев из дама̀, на ней был надет простой черный шелковый капот. Роскошная коса ее, едва свернутая, была кое-как приколота шпильками. Ей ли, дочери преступника, было иначе одеваться? По беспристрастию историка, я должен сказать, что в этой светской даме, до сих пор не обнаружившей пред нами никаких человеческих чувств, как бы сразу откликнулась горячая и нежная душа женщины.

Понятно стало, что она для отца готова на все, что он единственный идеал ее, как мужчина, ее любовь, ее счастье... Князь умел воспитывать в свою пользу детей, как вообще умеют это делать практические люди.

С полчаса, я думаю, сидели обе дамы молча. У каждой из них так много наболело на душе, что говорить даже было тошно, и они только перекидывались фразами.

— Ты когда его видела? — спросила Полина.

— Вчера. Смотритель тут добрый; пускает меня,—отвечала Четверикова, закрывая лицо руками.

— Что, он переменился?.. Упал духом?

— Ужасно! Денег, говорит, главное, теперь ему нужно; а у меня решительно нет. Муж уехал и оставил какие-то пустяки. Чаю, вообрази, chère amie, не дают ему: говорят, что сожжет острог.

Проговоря это, Четверикова заплакала. У Полины тоже были полны глаза слез.

— Вся теперь надежда, как мне говорят, это — просить Якова Васильича. Неужели, наконец, он не сжалится? Есть же в нем хоть капля сострадания!

Полина горько улыбнулась.

— Яков Васильич никогда, кажется, и ни над чем еще не сжалился, где говорит его самолюбие. Я успела его узнать хорошо! — отвечала она.

— Нет, chère amie, я уговорю его, я, наконец, стану перед ним на колени, буду умолять его... Я женщина: он поймет это. Позволь только мне просить его и пусти меня к нему одну.

— Хорошо,—отвечала Полина,—но только наперед тебе говорю, что это, я не знаю, какой ужасный человек! — прибавила она с каким-то нервным содроганием.

На этих словах дамы замолчали и задумались, но раздавшийся вскоре сердитый звонок заставил их вздрогнуть.

— Это он приехал! — проговорила Полина.

— Он! — повторила Четверикова, и обе они побледнели.

Воротился действительно Калинович. При входе его швейцар вскочил и вытянулся в струнку. Господин в пальто подскочил к нему.

— Записка, ваше высокородие...— начал было он.

— Дожидайся тут, болван; лезет! — крикнул сердито вице-губернатор.

Пальто подалось назад и стало на прежнее место. Калинович прошел прямо в свой кабинет. Человек поставил на стол две зажженные свечи. Вице-губернатор, показав ему головой, что он может уйти, опустился в кресло и глубоко задумался: видно, и ему нелегок пришелся настоящий его пост, особенно в последнее время: седины на висках распространились по всей уж голове; взгляд был какой-то растерянный, руки опущены; словом, перед вами был человек как бы совсем нравственно разбитый... Но послышались тихие шаги Полины — и лицо Калиновича в одну минуту приняло холодное и строгое выражение.

— Четверикова там приехала, желает тебя видеть,— проговорила та.

— Что такое? — спросил Калинович.

— Не знаю. Об отце, кажется, желает что-то тебя попросить,— отвечала Полина.

Вице-губернатор покраснел. В первый раз еще приходилось ему встретиться с семейством князя после несчастного с ним случая. Несколько минут он заметно колебался. Отказать было чересчур жестоко; но, с другой стороны, принять он стыдился и боялся за самого себя.

— Просите! — проговорил он, наконец.

Полина с удовольствием пошла. Ответ этот дал ей маленькую надежду. Вошла m-me Четверикова и проговорила: «Bonsoir!»[1] Она была так же стройна и грациозна, как некогда; но с бесстрастным и холодным выражением в лице принял ее герой мой.

— Bonsoir! — ответил он ей и пригласил движением руки садиться.

— Я пришла, Яков Васильич, просить вас за отца. Сжальтесь, наконец, вы над ним! — начала она прямо.

— Но что я могу сделать, Катерина Ивановна? — спросил Калинович.

— Господи! Говорят, вы все можете! — воскликнула m-me Четверикова, всплеснув руками.

Вице-губернатор пожал плечами.

— Послушайте, Калинович,— продолжала она, протягивая ему прекрасную свою ручку,— мне казалось, что я когда-то нравилась вам; наконец, в последнее время вы

---

[1] Добрый вечер! (*франц.*)

были так любезны, вы говорили, что только встречи со мной доставляют вам удовольствие и воскрешают ваши прежние радости... Послушайте, я всю жизнь буду вам благодарна, всю жизнь буду любить вас; только спасите отца моего, спасите его, Калинович!

Проговоря это, m-me Четверикова все еще не выпускала руку Калиновича; он тоже не отнимал ее.

— За прежнее,— начал он,— я не говорю: вы можете называть меня тираном, злодеем; но теперь, что теперь я могу сделать? Научите вы меня сами.

— Послушайте,— начала Четверикова,— говорят, вот что теперь надо сделать: у отца есть другое свидетельство на имение этого старика-почтмейстера: вы возьмите его и скажите, что оно было у вас, а не то, за которое вы его судите, скажите, что это была ошибка,— вам ничего за это не будет.

Калинович нахмурился и отнял руку.

— Старик этот сознался уж, что только на днях дал это свидетельство, и, наконец,— продолжал он, хватая себя за голову,— вы говорите, как женщина. Сделать этого нельзя, не говоря уже о том, как безнравствен будет такой поступок!

— Спасти человека не безнравственно, Калинович! — проговорила Четверикова.

Вице-губернатор пожал плечами.

— Но что ж из этого будет? Поймите вы меня,— перебил он,— будет одно, что вместе с вашим отцом посадят и меня в острог, и приедет другой чиновник, который будет делать точно то же, что и я.

— Нет, можно: не говорите этого, можно! — повторяла молодая женщина с раздирающей душу тоской и отчаянием.— Я вот стану перед вами на колени, буду целовать ваши руки...— произнесла она и действительно склонилась перед Калиновичем, так что он сам поспешил наклониться.

— Господи! Катерина Ивановна! Что вы делаете? — восклицал он, силясь поднять ее.

— Я не встану, не уйду от вас. Спасите моего отца!.. Спасите! — говорила она и начала истерически рыдать.

Калинович почти в объятиях поддерживал ее.

— Успокойтесь, Катерина Ивановна! — говорил он.— Успокойтесь! Даю вам честное слово, что дело это я кончу

на этой же неделе и передам его в судебное место, где гораздо больше будет средств облегчить участь подсудимого; наконец, уверяю вас, употреблю все мои связи... будем ходатайствовать о высочайшем милосердии. Поймите вы меня, что один только царь может спасти и помиловать вашего отца — клянусь вам!

Четверикова встала и, как безумная, забросила своей восхитительной ручкой разбившийся локон волос за ухо.

— Злой вы человек! Не даст вам бог счастья! — проговорила она и, шатаясь, вышла из кабинета. За дверьми приняла ее Полина.

— Tout est fini! [1] — проговорила молодая женщина голосом, полным отчаяния.

— Слышала,— отвечала вице-губернаторша, не менее встревоженная.— Ecoutez, chère amie [2],— продолжала она скороговоркой, ведя приятельницу в гостиную,— ты к нему ездишь. Позволь мне в твоей карете вместо тебя ехать. Сама я не могу, да меня и не пустят; позволь!.. Я хочу и должна его видеть. Он, бедный, страдает за меня.

— Да, съезди, Полина, съезди, chère amie! Но, господи, что с ним будет? — заключила Четверикова, и обе дамы, зарыдав, бросились друг к другу в объятия.

Калинович между тем, как остался, взявшись за спинку кресла, так и стоял, не изменяя своего положения.

«Все меня проклинают, все меня ненавидят, и за что?» — проговорил он с ироническою улыбкою и потом, как бы желая задушить внутреннюю муку, хотел чем-нибудь заняться и позвонил.

Вошел тот же лакей.

— Там какой-то человек стоит на лестнице. Позови его сюда! — проговорил Калинович.

Пальто явилось.

— Кто ты такой? — спросил довольно строго вице-губернатор.

— Суфлер, ваше превосходительство,— отвечало пальто.— Так как труппа наша имеет прибыть сюда, и госпожа Минаева, первая, значит, наша драматическая актриса, стали мне говорить. «Ты теперь, говорит, Михеич,

---

[1] Все кончено! *(франц.)*

[2] Послушай, дорогая, *(франц.)*

едешь ранее нашего, явись, значит, прямо к господину вице-губернатору и записку, говорит, предоставь ему от меня». Записочку, ваше превосходительство, предоставить приказано.

Проговоря это, суфлер модно подал небольшое письмецо и, сделав несколько шагов назад, принял ту позу, которую обыкновенно принимают, в чулках и башмаках, театральные лакеи, роли которых он, вероятно, часто исполнял.

— Что такое?—проговорил между тем Калинович, развертывая письмо.

Там было написано:

«По почерку вы узнаете, кто это пишет. Через несколько дней вы можете увидеть меня на вашей сцене — и, бога ради, не обнаружьте ни словом, ни взглядом, что вы меня знаете; иначе я не выдержу себя; но если хотите меня видеть, то приезжайте послезавтра в какой-то ваш глухой переулок, где я остановлюсь в доме Коркина. О, как я хочу сказать вам многое, многое!.. Ваша...»

При чтении этих строк лицо Калиновича загорелось радостью. Письмо это было от Настеньки. Десять лет он не имел о ней ни слуху ни духу, не переставая почти никогда думать о ней, и через десять лет, наконец, снова откликнулась эта женщина, питавшая к нему какую-то собачью привязанность.

— Что ж, скажи: госпожа Минаева у вас в труппе и будет здесь играть всю зиму? — спросил он каким-то смешным от внутреннего волнения тоном.

— Точно так, ваше превосходительство!—отвечал модно суфлер.— Будет публика довольна, собственно, через них,— надеемся на то! — прибавил он.

— И хорошая, значит, она актриса? — проговорил Калинович. Голос его перехватывался.

Суфлер усмехнулся этому вопросу.

— Актриса такая, ваше превосходительство, что понимай только умеючи,— отвечал он с каким-то умилением.— Хоть бы теперь про себя мне сказать: человек я маленький! Значит, все равно, что свинья, бесчувственный, и то без слез не могу быть, когда оне играть изволят; слов моих лишаюсь суфлировать по тому самому, что все это у них на чувствах идет; а теперь, хоть бы в Калуге, на проб-

ных спектаклях публика тоже была все офицеры, народ буйный, ветреный, но и те горести сердца своего ощутили и навзрыд плакали... Самим богом уж, видно, им на то особливое дарование дано за их, может быть, ангельскую добрую душу, которой и пределов, кажется, нет.

Проговоря это, Михеич заметил, что вице-губернатор в каждое слово его как бы впивается, и потому, еще более расчувствовавшись, снова распространился.

— Хоть бы теперь, ваше превосходительство, опять мне самого себя взять: сколько я ихними милостями взыскан — так и сказать того не могу! Жалованье тоже получаю маленькое. Три рубля серебром в месяц, а хлеба́ нынче пошли дорогие; обуться, одеться из этого надобно прилично своему званию: не мужик простой — артист!.. В затрапезном халате не пойдешь. А в этой нашей проклятой будке ужасно как платье дерется по тому самому, что нечистота... сырость... ужасно-с! И оне, видев собственно меня в бедном моем положении, прямо мне сказали: «Михеич, говорят, живи, братец у меня; я тебя прокормлю!» — «Благодарю, говорю, сударыня, благодарю!» А что я... что ж?.. Я служить готов. Дяденька вот теперь при них живет: хоша бы теперь, сапоги или платье завсегда готов для них приготовить; но они только сами того не допускают: сами изволят все делать.

— А дядя разве с ней живет? — спросил Калинович, закидывая голову на спинку кресла.

— При них, ваше превосходительство, старичок добрейший. Уж как Настасью Петровну любят, так хоть бы отцу родному так беречь и лелеять их; хоть и про барышню нашу грех что-нибудь сказать: не ветреница! Сами, может быть, ваше превосходительство, изволите знать: у других из их званья по два, по три за раз бывает, а у нас, что-что при театре состоим, живем словно в монастыре: мужского духу в доме не слыхать, сколь ни много на то соискателей, но ни к кому как-то из них наша барышня желанья не имеет. В другой раз, видючи, как их молодость втуне пропадает, жалко даже становится, ну, и тоже, по нашему смелому, театральному обращению, прямо говоришь: «Что это, Настасья Петровна, ни с кем вы себе удовольствия не хотите сделать, хоть бы насчет этой любви

или самых амуров себя развлекли». Оне только и скажут на то: «Ах, говорит, дружок мой, Михеич, много, говорит, я в жизни моей перенесла горя и перестрадала, ничего я теперь не желаю»; и точно: кабы не это, так уж действительно какому ни на есть господину хорошему нашей барышней заняться можно: не острамит, не оконфузит перед публикой! — заключил Михеич с несколько лукавой улыбкой, и, точно капли кипящей смолы, падали все слова его на сердце Калиновича, так что он не в состоянии был более скрывать волновавших его чувствований.

— Хорошо, хорошо! — поспешил он перебить.— Кланяйся Настасье Петровне и скажи, что я непременно буду в театре и всем, что она пишет мне, я воспользуюсь. Понимаешь?

— Понимаю, ваше превосходительство,— отвечал с глубокомысленным выражением Михеич.

— Да, скажи ей! — повторил Калинович.— А тебе вот на покуда на твои нужды,— прибавил он и, взяв со стола бумажку в пятьдесят рублей серебром, подал ее суфлеру.

Того даже попятило назад.

— Такую, ваше превосходительство, награду изволите давать, что и принять не смею! — проговорил он.

— Ничего, возьми и ступай: не говори только никому.

— Слушаю, ваше превосходительство, — подхватил Михеич и, модно расшаркавшись, вышел на цыпочках.

Оставшись один, Калинович всплеснул благоговейно руками перед висевшим в углу распятием.

— Боже! Благодарю тебя, что ты посылаешь мне этого ангела-хранителя!.. Я теперь не один: она спасет меня от окружающих меня врагов и злодеев! — воскликнул он и в изнеможении опустился в кресло. По щекам его текли слезы; лицо умилилось. Как бы посреди холодной и мертвящей вьюги вдруг на него пахнуло весной, и показалось теплое, светлое и животворное солнце. Десятилетней отвратительной семейной жизни и суровых служебных хлопот как будто бы и не бывало. Перед ним снова воскресла и впереди мелькала опять молодость с ее любовью, наслаждениями и мечтами.— Боже! Благодарю тебя!.. За такие минуты счастья можно платиться годами нравственных мук! Боже, благодарю тебя!.. — повторял он тысячекратно.

## VIII

На выезде главной Никольской улицы, вслед за маленькими деревянными домиками, в окнах которых виднелись иногда цветы и детские головки, вдруг показывался, неприятно поражая, огромный серый острог с своей высокой стеной и железной крышей. Все в нем, по-видимому, обстояло благополучно: ружья караула были в козлах, и у пестрой будки стоял посиневший от холода солдат. Наступили сумерки. По всему зданию то тут, то там замелькали огоньки.

На правой стороне, в караульной комнате, сидел гарнизонный, из поляков, прапорщик Лимовский. Несмотря на полную офицерскую форму, он имел совершенно плоское женское лицо и в настоящую минуту, покуривая трубку, погружен был в самые романические мысли о родине и прелестных паннах. Жить в обществе, быть знакому с хорошими дамами, танцевать там — составляло страсть прапорщика. Желая представить из себя светского человека, он старался говорить как можно более мягким голосом и прибирал обыкновенно самые нежные фразы.

Около средних ворот, с ключами в руках, ходил молодцеватый унтер-офицер Карпенко. Он представлял гораздо более строгого блюстителя порядка, чем его офицер, и нелегко было никому попасть за его пост, так что даже пробежавшую через платформу собаку он сильно пихнул ногой, проговоря: «Э, черт, бегает тут! Дьявол!» К гауптвахте между тем подъехала карета с опущенными шторами. Соскочивший с задка ливрейный лакей сбегал сначала к смотрителю, потом подошел было к унтер-офицеру и проговорил:

— Княгиня приехала: отворить потрудитесь.

— Не велено,— отвечал тот лаконически и с малороссийским акцентом.

— Да ведь княгиня ездит; как же не велено? Помилуйте! — возразил лакей.

— Да что мини ездит, коли не велено. Давича вон еще гобернатор наезжал с полицеймейстером... наказывали. Ездит! — отвечал унтер-офицер.

— Что ж! Я у смотрителя был: они приказали,— возразил опять лакей.

— Ничего не приказали. Что мини смотритель? Не

начальство мое. У меня свой офицер здесь есть... Смотритель! — говорил сурово Карпенко.

— И офицер прикажет,— произнес лакей и побежал.

— Прикажут? Да! — повторил ему вслед со злобой унтер-офицер.

— Княгиня, ваше благородие, приехала, солдаты не пускают,— доложил лакей, входя в караульню.

Прапорщик вскочил.

— Ах, боже мой! Боже мой! — воскликнул он и тотчас же побежал.

— Отворить! — крикнул он унтер-офицеру.

— Не приказано, ваше благородие...— осмелился было ему возразить Карпенко.

— Отворить, дурак! — крикнул грозным голосом нежнейший прапорщик и, как истый рыцарь, вышел даже из себя для защиты дам; но потом, приняв, сколько возможно, любезную улыбку, побежал к карете.

— Pardon, madame, тысячу раз виноват. Позвольте мне предложить вам руку,— говорил он, принимая из кареты наглухо закутанную даму.

— Эти наши солдаты такой народ, что возможности никакой нет! — говорил он, ведя свою спутницу под руку.— И я, признаться сказать, давно желал иметь честь представиться в ваш дом, но решительно не смел, не зная, как это будет принято, а если б позволили, то...

— Пожалуйста, мы рады будем,— отвечала дама не своим голосом.

— А для меня это будет неожиданным и величайшим блаженством! — воскликнул прапорщик восторженным тоном.— Но, madame, вы трепещете? — прибавил он.— Будьте тверды, не падайте духом, заклинаю вас! И, бога ради, бога ради, осторожнее перешагивайте этот ужасный порог, не повредите вашей прелестной ножки...— объяснялся прапорщик, проходя внутренний двор.

На лестнице самого здания страх его дамы еще более увеличился: зловонный, удушливый воздух, который отовсюду пахнул, захватывал у ней дыхание. Почти около нее раздался звук цепей. Она невольно отшатнулась в сторону: проводили скованного по рукам и ногам, с бритой головой арестанта. Вдали слышалась перебранка нескольких голосов. В полутемном коридоре мелькали стволы и штыки часовых.

— Князь здесь,— проговорил, наконец, прапорщик,

подведя ее к двери со стеклами.— Желаю вам воспользоваться приятным свиданием, а себя поручаю вашему высокому вниманию,— заключил он и, отворив дверь, пустил туда даму, а сам отправился в караульню, чтоб помечтать там на свободе, как он будет принят в такой хороший дом.

Дама между тем, вошедши, увидела, что князь сидел в глубокой задумчивости, облокотясь на маленький столик. Перед ним горела сальная свечка. Слегка кудрявые на висках его волосы были совсем уже седы; худоба лица еще более оттенилась отпущенными усами и окладистой бородой, которые тоже были, как молоком, спрыснуты проседью. Князь все еще был в щеголеватом бархатном халате; чистая рубашка его была расстегнута и обнаруживала часть белой груди, покрытой волосами; словом, при этом небрежном туалете, с выразительным лицом своим, он был решительно красавец, какого когда-либо содержали тюремные стены. Легкий шорох вошедшей дамы заставил его обернуться. Он встал, недоумевая, кто это пришел. Дама в это время откинула скрывавший ее капюшон бурнуса.

— Боже мой! Полина! — воскликнул князь.

— Да,— отвечала та, подходя.

Князь схватил и начал целовать ее руку. Она в изнеможении опустилась на его арестантскую кровать.

— Ну, что ты? Здоров? — проговорила она, как бы не зная, что сказать.

— К несчастию,— отвечал князь и тоже опустился на свой стул.

Оба они несколько времени смотрели друг другу в глаза, как бы желая поверить, кто из них в последнее время больше страдал.

— Как ты приехала от твоего аргуса? — начал, наконец, князь.

— В карете княгини. Под ее уж именем,— отвечала Полина.— Я денег тебе привезла. Catherine вчера говорила... две тысячи тут...— прибавила она, вынимая толстый бумажник.

— Mersi! — произнес князь, целуя ее руку и дрожащей рукой засовывая деньги в халатный карман.

На глазах его навернулись слезы.

— Catherine, значит, была у вас? — спросил он после короткого молчания.

— Была и просила было...

— И что ж?

— Разумеется, ничего.

Лицо князя приняло мрачное выражение.

— Гм! — повторил он насмешливым тоном и хотел, кажется, еще что-то сказать, но промолчал.

— Это он тебе за меня мстит, решительно за меня,— продолжала Полина.

— Да. Но каким же образом он это узнал? Не черт же ему на бересте написал! — произнес князь.

— Я сама ему все рассказала,— произнесла Полина задыхавшимся голосом.

Князь пожал плечами.

— Это сумасшествие! — воскликнул он.— Девочка... пансионерка, и та того не сделает. Помилуйте, Полина!

— Что делать! — возразила она.— Ты сам хорошо помнишь, как я за него выходила; не совершенно же я была какая-нибудь потерянная женщина. Я все-таки хотела быть настоящей ему женой и раскаялась перед ним, как только может человек раскаяться перед смертью. Всю душу, все сердце я открыла ему, и он, вместо того чтоб поддержать во мне этот порыв, мной же данное оружие употребил против меня.— На этих словах Полина приостановилась, но потом, горько улыбнувшись, снова продолжала: — Обиднее всего для меня то, что сам на мне женился решительно по расчету и никогда мне не был настоящим мужем, а в то же время мстит и преследует меня за мое прошедшее. Вначале, когда я имела еще глупость выговаривать ему за его холодность и почти презрение ко мне, он прямо отвечал,— что разве такие женщины, как я, имеют право ожидать от мужей любви?.. Каково это было выслушивать? Или теперь, в Петербурге, соберутся иногда знакомые и начнут в обыкновенном гостином разговоре рассказывать про какую-нибудь немножко скандалезную любовь — ну, и скажешь к слову: «Что это? Как это можно?», он сейчас же возразит, что в этом случае гораздо лучше быть строгим к себе, чем к другим, и на себя посмотреть надобно! Ну и покраснеешь невольно. Десять лет, мой друг, терплю я эту муку, ожидая каждую минуту всякого рода оскорбления и унижения!

— Мерзавец! — воскликнул князь.

— Ужасный! — подхватила Полина.— Просто, я тебе говорю, он страшный человек!.. Раз до того меня вывел из

терпения своими колкостями, что я прямо ему высказала эту твою — помнишь? — мысль, что он креатура наша. «Вы, говорю, не смеете так со мной обращаться! Если вы действительно оскорблены как муж, так не имеете на то права,— вас вывели из грязи, сделали человеком и заплатили вам деньги...» Он — ничего; закусил только свои тонкие, гладкие губы и побледнел. «Да, говорит, действительно: вы первое еще справедливое слово сказали. Благодарю вас за урок». И ушел. Я, конечно, очень хорошо знала, что этим не кончится; и действительно,— кто бы после того к нам ни приехал, сколько бы человек ни сидело в гостиной, он непременно начнет развивать и доказывать, «как пошло и ничтожно наше барство и что превосходный представитель, как он выражается, этого гнилого сословия, это ты — извини меня — гадкий, мерзкий, скверный человек, который так развращен, что не только сам мошенничает, но чувствует какое-то дьявольское наслаждение совращать других». Я дала себе слово на все это решительно молчать, как будто ничего не понимаю. Он видит, что этого мало, не действует,— начинает вдруг из своей протестации против взяток, которой так гордится, начинает прямо, при целом обществе, говорить, что отец мой, бывши полковым командиром, воровал, что, служа там, в Польше, тоже воровал и в доказательство всего этого ссылается на меня... Дочь приводит в свидетели против отца!

Князь пожал плечами.

— Я тебе говорю! — продолжала Полина.— Ты знаешь, он очень осторожный человек на словах, но если что коснется до меня, чтобы мне нанести оскорбление, он решительно тут делается сумасшедшим человеком: забывает даже всякое приличие, и, наконец... этот поступок с тобой? Он теперь ссылается на свое правосудие, беспристрастие, на долг службы — лжет! И даже это он тебе мстит, а главное — тут я. Он очень хорошо понимает, что во мне может снова явиться любовь к тебе, потому что ты единственный человек, который меня истинно любил и которого бы я должна была любить всю жизнь — он это видит и, чтоб ударить меня в последнее больное место моего сердца, изобрел это проклятое дело, от которого, если бог спасет тебя,— продолжала Полина с большим одушевлением,— то я разойдусь с ним и буду жить около тебя, что бы в свете ни говорили... Наконец, если сошлют тебя, я пойду за тобой в Сибирь. Пускай же все видят, что жена

его ушла с любовником, человеком, которого он из мести погубил. Это, я знаю, как заденет его самолюбие и какое положит пятно на его имя, которое он, как святыню какую, бережет,— мерзавец!

Князь видел, до какой степени Полина была ожесточена против мужа, и очень хорошо в то же время знал, что в подобном нравственном настроении женщина способна решиться на многое.

— Ты любишь еще меня, друг мой? — произнес он вкрадчивым голосом и, пересев рядом с ней на кровать, взял ее за руку.

Полина вспыхнула.

— Решительно люблю! — отвечала она с какой-то гордой экзальтацией.

Князь поцеловал ее. Лицо ее совсем горело.

— Он, я знаю, не высказывает, но ревнует меня по сю пору к тебе... Пускай же по крайней мере имеет право на то.

— Да, пускай! — повторил князь.

— Всякому терпению, наконец, бывает предел: в десять лет камень лопнет! Я не знаю, как и чем могу отмстить ему за все обиды, которые он мне наносил и наносит,— говорила Полина.

Князь думал.

— Одно, что остается,— начал он медленным тоном,— напиши ты баронессе письмо, расскажи ей всю твою ужасную домашнюю жизнь и объясни, что господин этот заигрался теперь до того, что из ненависти к тебе начинает мстить твоим родным и что я сделался первой его жертвой... Заступились бы там за меня... Не только что человека, собаки, я думаю, не следует оставлять в безответственной власти озлобленного и пристрастного тирана. Где ж тут справедливость и правосудие?..

— Я готова. Но что она может сделать? — возразила Полина.

— Она может многое сделать... Она будет говорить, кричать везде, требовать, как о деле вопиющем, а ты между прочим, так как Петербург не любит ни о чем даром беспокоиться, прибавь в письме, что, считая себя виновною в моем несчастии, готова половиной состояния пожертвовать для моего спасения.

— Я готова,— согласилась Полина.

— Или наконец...— продолжал князь, хватаясь за голову и как бы придумывая еще что-то такое,— наконец, поезжай сама в Петербург... Я составлю тебе записку, как и через кого там действовать.

— Как же, поезжай! Он не пустит меня, конечно.

— Черт его возьми! Его и спрашивать не надо. Деньги и вещи при тебе?

— Да,— подтвердила Полина.

— Ты все это уложи, выбери день, когда его дома не будет, пошли за наемными лошадьми и поезжай... всего какие-нибудь полчаса времени на это надо.

Полина грустно покачала головой.

— Я боюсь его ужасно!.. Если б ты только знал, какой он страх мне внушает... Он отнял у меня всякий характер, всякую волю... Я делаюсь совершенным ребенком, как только еще говорить с ним начинаю...— произнесла она голосом, полным отчаяния.

— Ты боишься, сама не знаешь чего; а мне угрожает каторга. Помилуй, Полина! Сжальтесь же вы надо мной! Твое предположение идти за мной в Сибирь — это вздор, детские мысли; и если мы не будем действовать теперь, когда можно еще спастись, так в результате будет, что ты останешься блаженствовать с твоим супругом, а я пойду в рудники. Это безбожно! Ты сама сейчас сказала, что я гибну за тебя. Помоги же мне хоть сколько-нибудь...

— О господи! — воскликнула Полина.— Неужели ты сомневаешься, что если б от меня что-нибудь зависело...

— Конечно, от тебя,— перебил князь.

Полина зарыдала... Но в это время раздался шум, и послышались явственные шаги по коридору. Князь вздрогнул и отскочил от нее; та тоже, сама не зная чего, испугалась и поспешно отерла слезы.

— Что такое? — проговорила она.

— Не знаю,— отвечал князь уже шепотом.

В это время двери отворились, и вошел Калинович в вицмундирном сюртуке и в крестах. Его сопровождал бледный, как мертвец, смотритель Медиокритский.

Полина схватилась за стул, чтоб не упасть. Судороги исказили лицо моего героя; но минута — и они перешли в улыбку.

— Вас, князь, так любят дамы, что я решительно не могу им отказать в желании посещать вас и даже жену

мою отпустил, хоть это совершенно противозаконно,— проговорил Калинович довольно громко.

— Я вам очень благодарен,— отвечал князь.

— У вас, кажется, помещение нехорошо; я постараюсь поместить вас удобнее,— продолжал Калинович.— Ну, я за тобой приехал, пора уж! Поедем в моей карете,— прибавил он, обращаясь к Полине.

— Поедем,— отвечала она.

— Идем, значит. Я уж все кончил,— заключил Калинович, указывая рукой на дверь.

Полина пошла.

— До свиданья,— присовокупил он князю и вышел.

У кареты их встретил и посадил любезный, но уже струсивший прапорщик.

— Я дам допускаю к князю... как же дамам отказать? — проговорил он.

— Конечно! — отвечал Калинович, захлопывая дверцы у кареты и подымая стекло.

Медиокритский только посмотрел ему вслед глупым и бессмысленным взглядом.

В продолжение дороги кучеру послышался в экипаже шум, и он хотел было остановиться, думая, не господа ли его зовут; но вскоре все смолкло. У подъезда Калинович вышел в свой кабинет. Полину человек вынул из кареты почти без чувств и провел на ее половину. Лицо ее опять было наглухо закрыто капюшоном.

## IX

Посещение вице-губернатором острога имело довольно энергические последствия. Князь был переведен и посажен в камору с железными дверьми, где с самой постройки острога содержался из дворян один только арестант, Василий Замятин, десять лет грабивший и разбойничавший на больших дорогах. Батальонный командир отдал строжайший приказ, чтоб гг. офицеры, содержащие при тюремном замке караулы, отнюдь не допускали, согласно требованию господина начальника губернии, никого из посторонних лиц к арестанту князю Ивану Раменскому во все время производства над ним исследования. В отношении смотрителя Медиокритского управляющим губернией дано было губернскому правлению предложение уволить его от службы без прошения, по неблагонадежности.

В последний вечер перед сдачей должности своей несчастный смотритель сидел, понурив голову, в сырой и мрачной камере князя. Сальная свечка тускло горела на столе. Невдалеке от нее валялся огрызок огурца на тарелке и стоял штоф водки, собственно для Медиокритского купленный, из которого он рюмочку — другую уже выпил; князь ходил взад и вперед. Видимо, что между ними происходил очень серьезный разговор.

— А что, скажите, пожалуйста, что говорит этот мерзавец кантонист?

— О кантонисте вы, ваше сиятельство, не беспокойтесь,— отвечал Медиокритский убедительным тоном.— Он третий раз уж в остроге сидит, два раза сквозь строй был прогнан; человек ломаный, не наболтает на себя лишнего! Я все дело, от первой строки до последней, читал. Прямо говорит: «Я и писать, говорит, не умею, не то что под чужие руки, да и своей собственной». К показаниям даже рукоприкладства не делает... бестия малый — одно слово! Теперь они его больше на том допытывают, что он за человек. Ну, а ему тоже сказать свое звание, значит, третий раз сквозь зеленую улицу пройти — не хочется уж этого. Наименовал себя не помнящим родства, да и стоит на том, хоть ты режь! «Пускай, говорит, в арестантскую роту сажают, все без телесного наказания». А что про вас ему разболтать? Помилуйте! Какой резон? Тут уж прямо выходит, крестись да на кобылу укладывайся — знает это, понимает!

— Ну, а резчик? — спросил князь, продолжая ходить взад и вперед.

— Резчик тоже умно показывает. Хорошо старичок говорит! — отвечал Медиокритский с каким-то умилением.— Печати, говорит, действительно, для князя я вырезывал, но гербовые, для его фамилии — только. Так как, говорит, по нашему ремеслу мы подписками даже обязаны, чтоб казенные печати изготовлять по требованию только присутственных мест, каким же образом теперь и на каком основании мог сделать это для частного человека?

— Умно,— повторил князь.

— Умно-с! — повторил и Медиокритский.

— Один только Петрушка мой, выходит, и наболтал... это черт знает, какая скотина! — воскликнул князь.

— И Петр ваш ничего, решительно ничего! — подхватил Медиокритский.— Во-первых, показания крепостных

людей приемлются на господ только по первым трем пунктам; а второе, он и сговаривает.

— Сговаривает?

— Сговаривает. Вот этта ему как-то на днях с кантонистом очная ставка была,— тот его разбил на всех пунктах. «Ты, говорит, говоришь, что видел меня у барина: в каком же я тогда был платье?» — «В таком-то».— «Хорошо, говорит, где у меня такое платье? Не угодно ли господам следователям осмотреть мои вещи?» А платья уж, конечно, нет такого: по три раза, может, в неделю свой туалет пропивает и новый заводит. «Ты говоришь, что в барской усадьбе меня видел: кто же меня еще из других людей видел? Я не иголка, а целый человек; кто меня еще видел?» — «Кто тебя видел еще, того не знаю».— «То-то, братец, говорит, ты, видно, больше говоришь, чем знаешь. Попомни-ка хорошенько, дурак этакой, меня ли еще видел?»—«А может, говорит, и не вас»... Словом, путает.

— Путает! — подтвердил князь.

— Да еще то ли он им наплетет — погодите вы немного! — продолжал Медиокритский таинственным тоном.— Не знаю, как при новом смотрителе будет, а у меня он сидел с дедушкой Самойлом... старичок из раскольников, может, изволили видать: белая этакая борода. Тот на это преловкий человек, ни один арестант теперь из острога к допросу не уедет без его наставления, и старик сведущий... законник... лет семь теперь его по острогам таскают... И он это делает не то, чтоб ради корысти какой, а собственно для спасения души своей. «Если, говорит, я не наставлю их, в слепоте ходящих, в ком же им после того защиту иметь?» Он Петру прямо начал с того: «Несть, говорит, Петруша, власти аще не от бога, а ты, я слышал, против барина идешь. Нехорошо, говорит, братец!.. Но, и окроме того, если барину будет худо, так и ты не уйдешь».— «Ах, говорит, дедушка, что ж мне теперь делать, если я в первый раз дал такие ответы?» А я, как нарочно, тут на эти его самые слова и вхожу. «Ну уж, я говорю, братец, ты этого не говори: мы тоже знаем, каким манером тобой первые показания сделаны. Видели, как пучки розог проносили. Достало, чай, припарки на две, на три».— «Точно так, говорит, ваше благородие, было это дело!»

— О-то, мерзавцы! — воскликнул князь, пожимая плечами.

— Три раза принимались...— подтвердил Медиокрит-

ский,— ну, и, разумеется, сробел, разболтал все!.. А что теперь ему прямо попервоначалу объявить надо прокурору, а потом и на допросах сговорить, пояснив, что все первые показания им сделаны из-под страха — так мы ему и внушили.

— Из страха? Да! Хорошо! — подхватил князь, одобрительно кивнув головой.

— Хорошо-с! Да и все дело могло бы прекраснейшим манером идти. Резчик тоже говорит, что они его стращали, а кантонисту, как целковых десять обещать, так он и рубцы покажет, где сечен. У него, по прежним еще деяньям, вся спина исполосована — доказательства, значит, когда хочешь, налицо... Да как теперь вы еще объявите, что первое показание вами дано из-под страха пытки, коей вам угрожали, несмотря на ваше дворянское и княжеское достоинство, так они черт знает, куда улетят — черт знает! — заключил Медиокритский с одушевлением.

— Улетят! — повторил князь.

— Непременно! Строжайшей ответственности, по закону, должны быть подвергнуты. Но главная теперь их опора в свидетельстве: говорят, документ, вами составленный, при прошении вашем представлен; и ежели бы даже теперь лица, к делу прикосновенные, оказались от него изъятыми, то правительство должно будет других отыскивать, потому что фальшивый акт существует, и вы всетаки перед законом стоите один его совершитель.

Князь побледнел.

— Украсть его! — произнес он, закусывая усы.— Украсть во что б то ни стало!

Медиокритский усмехнулся.

— Не украсть бы, а, как я тогда предполагал, подменить бы его следовало, благо такой прекрасный случай выходил: этого старика почтмейстера свидетельство той же губернии, того же уезда... точно оба документа в одну форму отливали, и все-таки ничего нельзя сделать. Полицеймейстер, говорят, теперь подлинного дела не только что писцам в руки не дает, а даже в полицию совсем не сносит; все допросы напамять отбирает, по тому самому, что боится очень,— себя тоже бережет... Где это видано, помилуйте! Начальник губернии делает распоряжение о производстве следствия и сам присутствует на нем: ведь это прямо, значит, направлять следователя, чтоб он дей-

ствовал, как *я хочу*, а тот, конечно, как подчиненный, и действует так... Как же это возможно-с?

— Да,— подтвердил князь.

— Невозможно-с,— повторил Медиокритский,— и не будь теперь подобного, незаконного, со стороны губернатора, настояния, разве такое бы могло иметь направление ваше дело? Разве тот же полицеймейстер не пошел бы на деньги? Знаем тоже его не сегодня; может, своими глазами видали, сколько все действия этого человека на интересе основаны: за какие-нибудь тысячи две-три он мало что ваше там незаконное свидетельство, а все бы дело вам отдал — берите только да жгите, а мы-де начнем новое,— бывали этакие случаи, по смертоубийствам даже, где уж точно что кровь иногда вопиет на небо; а вы, слава богу, еще не душу человеческую загубили! И после прямо бы можно было написать, что действительно вами было представляемо свидетельство, но на имение существующее господина почтмейстера; а почему начальство таким образом распорядилось и подвергло вас тюремному заключению,— вы неизвестны и на обстоятельство это неоднократно жаловались как уголовных дел стряпчему, так и прокурору.

Князь соображал...

— Доверенности у меня нет от этого старого черта,— не поворотишь ее задним числом! — возразил он.

— Доверенности пускай и не будет; что вы беспокоитесь! — воскликнул Медиокритский.— Это их вина, что они вас, без доверия от залогодателя, допустили до торгов. Старого журнала комиссии у них нет. Я тогда, с ваших слов, пугнул этого секретаря. Он при мне его сжег, а после, сглупа да со страха, удавился. Нового они теперь поэтому составить не могут, а если б и составили, так не будет его скрепы, как человека мертвого; прямо на это обстоятельство и упереть можно будет, и накидать таких тут петель, что сам черт их не разберет, кто кого дерет... Пределы судебной власти мы тоже знаем. Коли ваше дело таким манером затемнить да запутать, так много-много, что оставят вас в подозрении, да и то еще можно будет обжаловать.

Князь очень хорошо понимал, что Медиокритский говорит почти правду. Надежда *остаться только в подозрении* мелькнула перед ним во всей прелести своими радужными цветами.

— Что же делать нам, а? — больше спросил он.

Медиокритский пожал плечами.

— Делать одно, что хлопотать надо об удалении вашего сродственничка и общего всех нас злодея! — произнес он каким-то отчаянно-решительным голосом; потом, помолчав, продолжал с грустным умилением: — И сколько бы вам все благодарны были за то — так и выразить того невозможно. Хотя бы теперь по губернскому правлению послушать: только одни университетские и превозносят его, а что прочие служащие стоном от него стонут. Исстари было там заведено, что коли проситель пришел, прямо идет в отделение; там сделают ему какую-нибудь справочку, он рублик либо два — все уж беспременно в стол даст; а нынче и думать забудь: собаки посторонней в канцелярские комнаты не пустят. Как арестанты какие-нибудь сидят запертыми! Коли кто из публики пришел, сейчас пожалуй в присутствие; туда для него дело вынесут и все, что надо, прочтут и объяснят. Когда бывали в каком присутственном месте такие порядки? Ведь это значит у служащего последний кусок отнимать!

Князь почти не слушал Медиокритского и что-то сам с собою соображал.

— А хоть бы и про себя мне сказать,— продолжал между тем тот, выпивая еще рюмку водки,— за что этот человек всю жизнь мою гонит меня и преследует? За что? Что я у его и моей, с позволения сказать, любовницы ворота дегтем вымазал, так она, бестия, сама была того достойна; и как он меня тогда подвел, так по все дни живота не забудешь того.

— Да... и, наконец, теперь все преследует! — отозвался, наконец, князь.

— Да-с... а и теперь...— подхватил Медиокритский,— из старших секретарей в какую должность попал! Хороший писец губернского правления на это место не пойдет, но он и в том поэхидствовал и позавидовал, что я с детьми своими, может быть, одной с арестантами пищей питался — и того меня лишил теперь! Пьяного мужика, коли хозяин прогоняет от себя, так тому от правительства запрещено марать у него паспорт, чтоб он мог найти кусок хлеба в другом месте, а чиновнику и этой льготы не дано! Куда я теперь сунусь! Помилуйте! Всякий начальник, взглянув на аттестат, прямо скажет: «Были вы, милостивый государь, секретарем губернского правления, пони-

зили вас сначала в тюремные смотрители, а тут и совсем выгнали: как я вас могу принять!» Ведь он, эхидная душа, поступаючи так со мной, понимал это, и что ж мне после того осталось делать? Полевой работы я не снесу по силам моим, к мастерствам не приучен, в извозчики идти—званье не позволяет, значит, и осталось одно: взять нож да идти на дорогу.

На последних словах Медиокритский даже прослезился и отер глаза бумажным носовым платком.

— Все это вздор и со временем поправится, но тут такого рода обстоятельство открывается...— начал князь каким-то протяжным тоном,— господин этот выведен в люди и держится теперь решительно по милости своей жены...

— Это слыхали-с,— подтвердил Медиокритский.

— Да,— продолжал князь,— жена же эта, как вам известно, мне родственница и в то же время, как женщина очень добрая и благородная, она понимает, конечно, все безобразие поступков мужа и сегодня именно писала ко мне, что на днях же нарочно едет в Петербург, чтобы там действовать и хлопотать...

Медиокритский слушал князя, склонив голову.

— А потому,— продолжал тот,— завтрашний же день извольте вы отправиться к ней от моего имени. Вас пропустят! Вы расскажите ей сегодняшний разговор наш и постарайтесь, сколько возможно, растолковать, что именно мы хотим и чего первого надобно добиваться.

— Это можно будет сделать,— отвечал Медиокритский кротким голосом.

— Да, но и кроме того: так как она все-таки женщина и, при всем своем желании, при всей возможности, не в состоянии сама будет вести всего дела и соображать, тем больше, что на многие, может быть, обстоятельства придется указать доносом, подать какую-нибудь докладную записку...

— Действительно-с,— подтвердил Медиокритский тем же кротким тоном.

— По всему этому необходимо, чтобы при ней был руководитель, и вот, если вы хотите, я рекомендую ей, чтобы она вас взяла с собой в Петербург как человека мне преданного и хорошо знающего самое дело.

Лицо Медиокритского просияло удовольствием, но он счел, однако, за нужное скрыть это.

— Вам ведь теперь здесь делать нечего,— заключил князь.

— Конечно, что нечего-с! — подтвердил Медиокритский.— Только, откровенно говоря, ваше сиятельство,— прибавил он после короткого молчания и с какой-то кислой улыбкой,— сколько ни несчастно теперь мое положение, но в это дело мне даром влопываться невозможно.

— Кой черт даром! Кто это вам говорит? Просите там, сколько вам надобно! — проговорил князь.

Лицо Медиокритского умилилось.

— Мне надобно, ваше сиятельство, не больше других. Вон тоже отсюда не то, что по уголовным делам, а по гражданским искам чиновники езжали в Петербург, так у всех почти, как калач купить, была одна цена: полторы тысячи в год на содержание да потом треть или половину с самого иска, а мне в вашем деле, при благополучном его окончании, если назначите сверх жалованья десять тысяч серебром, так я и доволен буду.

— Как десять тысяч? Ведь это состояние! Что вы? — воскликнул князь.

— А как же иначе? — возразил Медиокритский, склонив голову.— Хоть бы теперь насчет этих доносов,— если он безыменный, так ему почти никакой веры не дают, а коли с подписью, так тоже очень ответствен, и тем паче, что вице-губернатор — машина большая, и обвинять его перед правительством не городничего какого-нибудь. Он в Петербурге, может быть, на двенадцати якорях стоит, и каждый, может, из них примет это себе в обиду. Я же маленький человек, в порошок стереть могут... к слову какому-нибудь нескладному придерутся, и за то отдадут в уголовную, а я ее, матушку, тоже знаю: по должности станового пристава, за пустяки, за медленность — судился, так и тут всякую шваль напой да накорми... совершенно было разорили! А хоть бы и вам,— продолжал Медиокритский вразумляющим тоном,—скупиться тут нечего, потому что, прямо надобно сказать, голова ваша все равно что в пасти львиной или на плахе смертной лежит, пока этот человек на своем месте властвовать будет.

— Ну, черт тут в деньгах! Сочтемся! — перебил князь.

— Разумеется,— подтвердил его себеседник, а потом, как бы сам с собой, принялся рассуждать печальным тоном: — Как бы, кажется, царь небесный помог низвергнуть этого человека, так бы не пожалел новую ризу, из золота

кованную, сделать на нашу владычицу божью матерь, хранительницу града сего.

— Именно,— подхватил князь.— Так та̀к, значит,— заключил он, видимо, желая поскорее выпроводить своего собеседника.

— Да уж так покуда будет!.. Начнем хлопотать,— отвечал тот.— Посошок, однако, на дорожку позвольте взять,— прибавил он, наливая и выпивая рюмку водки.

— Сделайте одолжение,— отвечал князь, скрывая гримасу и с заметно неприятным чувством пожимая протянутую ему Медиокритским руку, который, раскланявшись, вышел тихой и кроткой походкой.

Присутствие духа, одушевлявшее, как мы видели, все это время князя, вдруг оставило его совершенно. Бросившись на диван, он вздохнул всей грудью и простонал: «О, тяжело! Тяжело!»

Тяжело, признаться сказать, было и мне, смиренному рассказчику, довесть до конца эту сцену, и я с полной радостью и любовью обращаю умственное око в грядущую перспективу событий, где мелькнет хоть ненадолго для моего героя, в его суровой жизни, такое полное, искреннее и молодое счастье!

## X

У театрального подъезда горели два фонаря. Как рыцарь, вооруженный с головы до ног, сидел жандарм на лошади, употребляя все свои умственные способности на то, чтоб лошадь под ним не шевелилась и стояла смирно. Другой жандарм, побрякивая саблей, ходил пеший. Хожалый, в кивере и с палочкой, тоже ходил, перебраниваясь с предводительским форейтором.

— Что мотаешься, дылда? — говорил он.

— А ты что лаешься? — отвечал форейтор.

— Еще бы те не лаяться, коли порядку не знаешь, черт этакой!

— Сам черт! Дьяволы экие, право! — продолжал форейтор, осаживая лошадей.

— Ну да, дьяволы! Поговори еще у меня! — ответил хожалый и отступился.

Толстый кучер советника питейного отделения, по правам своего барина, выпив даром в ближайшем кабаке водки, спал на пролетке. Худощавая лошадь директора

гимназии, скромно питаемая пансионским овсом, вдруг почему-то вздумала молодцевато порыть землю ногою и тем ужасно рассмешила длинновязого дуралея, асессорского кучера.

— Глянь-ко, глянь, как лапы выкидывает!.. Штукарка же она, паря, у тебя! — сказал он директорскому кучеру.

— Какая тут штукарка? Так лошадь-леший, пустая!— ответил тот.

— Леший?

— Леший! — подтвердил директорский кучер, и затем более замечательного у подъезда ничего не было; но во всяком случае вся губернская публика, так долго скучавшая, была на этот раз в сборе, ожидая видеть превосходную, говорят, актрису Минаеву в роли Эйлалии, которую она должна была играть в известной печальной драме Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние». Трагик, говорят, тоже был очень хороший и с душой. Зала театра по случаю торжественного спектакля была освещена в два ряда. Занавес, изображающий городскую площадь, таинственно колебался, и сквозь обычную на средине его дырочку показывался по временам любопытствующий человеческий глаз. Кресла были полнехоньки мужчинами, между которыми лоснилось и блестело довольное число, как ладонь, гладких, плешивых голов, и очень рельефно рисовалась молодцеватая фигура председателя казенной палаты, который стоял в первом ряду, небрежно опершись на перегородку, отделявшую музыкантов. Инженерный поручик, прекрасно играющий на фортепьяно, был также в первом ряду и не без эффекта кутался в шинель с бобровым воротником. В третьем или четвертом ряду сидел толстый магистр. Отпускной мичман беспрестанно глядел, прищурившись, в свой бинокль и с таким выражением обводил его по всем ложам, что, видимо, хотел заявить эту прекрасную вещь глупой провинциальной публике, которая, по его мнению, таких биноклей и не видывала; но, как бы ради смирения его гордости, тут же сидевший с ним рядом жирный и сильно потевший Михайло Трофимов Папушкин, заплативший, между прочим, за кресло пятьдесят целковых, вдруг вытащил, не умея даже хорошенько в руках держать, свой бинокль огромной величины и рублей в семьдесят, вероятно, ценою. Мичман был уничтожен! Бельэтаж в свою очередь блестел дамами, из которых многие, несмотря на явную опасность просту-

диться, приехали декольте. Большая часть из них имела при себе детей, из которых иные начали уж реветь. Одна только ложа в этом случае представляла исключение и была сравнительно с другими пустынна. В ней помещался один-одинехонек повеса Козленев. Он, по его словам, нарочно взял ложу, чтоб иметь возможность падать в обморок в *раздирательных сценах* драмы. Семь часов, наконец, пробило. В залу вошел торопливо, с озабоченным лицом, полицеймейстер, прямо подошел к председателю казенной палаты и шепнул ему что-то на ухо. Тот побледнел. Едва полицеймейстер успел оборотиться в другую сторону, как к нему адресовался инженерный поручик.

— Что такое? Не случилось ли чего-нибудь?

— Губернатор новый у нас; старик в отставку вышел,— отвечал полицеймейстер.

— По своему желанию?

— Какое по желанию... велели!

— Кто ж на его место будет? — спросил поручик с заметным уж беспокойством.

— Да вряд ли не вице-губернатор,— отвечал полицеймейстер.

У инженера окончательно лицо вытянулось.

— Это черт знает, как человека выводят!..— невольно воскликнул он, но потом тотчас же опомнился.— А что, в театре он будет? — прибавил он, взглянув на губернаторскую ложу, где так еще недавно сидела его милая и обязательная покровительница губернаторша; но теперь там было пусто, и никогда уж она там не будет сидеть. Молодому инженеру сделалось не на шутку грустно: тут только он понял, что любил эту женщину. Полицеймейстер между тем прошел в другие ряды и стремился к магистру, желая, вероятно, на всякий случай заискать в нем, так как тот заметно начинал становиться любимцем вице-губернатора. Наклонившись к нему, он шепнул:

— Губернатор сменен, и вице-губернатор на место его назначается.

— Пора, наконец! — воскликнул магистр.— И отлично будет: этот славный человек! — прибавил он.

Полицеймейстер ничего на это не сказал и переглянулся с Папушкиным.

— Так ли, как мне в Питере говорили? — спросил тот.

— Так, так,— отвечал полицеймейстер.

Папушкин вздохнул.

— Эх-ма! — проговорил он и задумался.

В бельэтаже тоже очень невдолге распространилась эта новость.

Встревоженный председатель казенной палаты сейчас же прошел в ложу к своему семейству и сказал на ухо жене. Та отвечала ему значительным взглядом своих больших и очень еще недурных голубых глаз. Она, с одной стороны, испугалась за мужа, который пользовался дружбой прежнего губернатора, а с этим был только что не враг, но с другой — глубоко обрадовалась в душе, что эта длинновязая губернаторша будет, наконец, сведена с своего престола. Сидевшая с ней рядом председательша уголовной палаты сейчас же поинтересовалась узнать, что такое сказал ей генерал?

— Губернатор сменен, и вице-губернатор будет вместо его,—отвечала председательша казенной палаты, сколь возможно, по важности предмета, спокойным тоном.

Председательша уголовной палаты поступила совершенно иначе. Кто знает дело, тот поймет, конечно, что даму эту, по независимости положения ее мужа, менее, чем кого-либо, должно было беспокоить, кто бы ни был губернатор; но, быв от природы женщиной нервной, она вообще тревожилась и волновалась при каждой перемене сильных лиц, и потому это известие приняла как-то уж очень близко к сердцу.

— Ах, боже мой! Скажите! Боже мой! — начала она восклицать вслух, двигаясь на кресле, так что сидевшая с ней дочь, девушка лет семнадцати, покраснела за нее.

— Мамаша, не говорите так громко! Все смотрят,— сказала она; но председательша не унималась.

— Ах, боже мой, боже мой! — продолжала она стонать и шевелиться.

Впрочем, надобно сказать, что и вся публика, если и не так явно, то в душе ахала и охала. Превосходную актрису, которую предстояло видеть, все почти забыли, и все ожидали, когда и как появится новый кумир, к которому устремлены были теперь все помыслы. Полицейский хожалый первый завидел двух рыжих вице-губернаторских рысаков и, с остервенением бросившись на подъехавшего в это время к подъезду с купцом извозчика, начал его лупить палкой по голове и по роже, говоря:

— Убирайся, шваль этакая! Не видишь, кто едет?

— Позвольте, почтеннейший, что ж такое? Мы сами только что подъехали,— начал было возражать купец.

— Убирайся! — крикнул хожалый и с неистовством оттащил лошадь извозчика в сторону. Вице-губернатор подъехал. Скромно и несколько сгорбившись, вошел он в сени. Довольно почтенной наружности частный пристав, имевший собственно тут свой пост и только было сбиравшийся выкурить папироску, презентованную ему вместе с рюмкой водки содержателем буфета, при виде управляющего губернией побледнел и бросил папироску на пол. Перед ложей губернатора Калиновича встретил сам полицеймейстер и хотел было отворить в нее дверь, но вице-губернатор отрицательно мотнул головой и прошел в кресла. Появление его в зале сопровождалось полным эффектом. Все взоры направились на него, и все как бы приняло несколько официальный вид. Председатель казенной палаты всеми силами души желал, чтобы он заговорил с ним первым. Один из любимых писцов старого губернатора нарочно перебежал с своего места на другое, чтоб попасть на глаза вице-губернатору, и когда попал, то поклонился ему в пояс. Даже ленивый магистр привстал и кивнул Калиновичу головой с значительной улыбкой. Он отвечал ему тоже улыбкой. Инженерный поручик, еще за минуту перед тем так неосторожно про него сказавший, отдал теперь почтительный поклон, приложив руку по форме ко лбу. Прекрасный пол — и тот, в настоящем случае, снова доказал старую истину, что ничто в глазах его не поднимает так мужчину, как публичный и официальный успех. Даже m-me Потвинова, которая, как известно, любит только молоденьких молодых людей, так что по этой страсти она жила в Петербурге и брала к себе каждое воскресенье человек по пяти кадет,— и та при появлении столь молодого еще начальника губернии спустила будто невзначай с левого плеча мантилью и таким образом обнаружила полную шею, которою она, предпочтительно перед всеми своими другими женскими достоинствами, гордилась. Но еще с большим волнением забилось сердце у пожилой девственницы, родной сестры управляющего палатой государственных имуществ. В начале этой части она была влюблена в приезжавшего по набору флигель-адъютанта, а потом тайно влюбилась в вице-губернатора и в своей полусумасшедшей экзальтации безусловно оправдывала все его действия, к величайшему неудовольствию своего

брата. На сцене тоже засуетились. Содержатель, смотревший в дырочку занавеса, когда Калинович сел на свое место, хлопнул что есть силы в ладони — и музыканты заиграли, а вскоре и занавес поднялся. Театр представлял сельский вид с бедной хижиной. Актер, игравший роль глупого сына управителя, только что не кувыркался, стараясь смешить публику,—однако никто не смеялся. Вышел потом Неизвестный, в высочайших воротничках и повесив голову. Первому трагику захлопали. С притворною злобою стал говорить он о ненавистных ему людях с своим лакеем, которого играл задушевнейшим образом Михеич, особенно когда ему надобно было говорить о г-же Миллер; но трагик с мрачным спокойствием выслушивал все рассказы о ее благодеяниях старому нищему, которому, в свою очередь, дав тайно денег на выкуп сына, торжественно ушел. Ему опять похлопали. Декорация потом переменилась и представила комнату в замке. Вошла Настенька, в роли несчастной Эйлалии, скрывавшейся под именем г-жи Миллер. Мужчины в креслах сейчас же захлопали; дамы с любопытством уставили на нее лорнеты; Козленев аплодировал как сумасшедший. Любимый писец старого губернатора, гораздо более занятый созерцанием своего нового начальника, чем пьесой, заметил, что у вице-губернатора задрожала голова. Настенька тоже была сконфужена: едва владея собой, начала она говорить довольно тихо и просто, но, помимо слов, в звуках ее голоса, в задумчивой позе, в этой тонкой игре лица чувствовалась какая-то глубокая затаенная тоска, сдержанные страдания, так что все смолкло и притаило дыхание, и только в конце монолога, когда она, с грустной улыбкой и взглянув на Калиновича, произнесла: «Хотя на свете одни только глаза, которых я должна страшиться», публика не вытерпела и разразилась аплодисментом. Козленев, вовсе уж не шутя и не стесняясь тем, что сидел в ложе, стучал руками и ногами. Даже председатель казенной палаты, забыв мысль о новом губернаторе, проговорил почти вслух: «Хорошо, очень хорошо!», а любимый губернаторский писец опять заметил, что на глазах вице-губернатора, молчавшего и не хлопавшего, заискрились слезы. Словом, сколько публика ни была грубовата, как ни мало эстетически развита, но душа взяла свое, и когда упал занавес, все остались как бы ошеломленные под влиянием совершенно нового и неиспытанного впечатления, не пони-

мая даже хорошенько, что это такое. В первый еще раз на театральных подмостках стояла перед ними не актриса, а женщина, с такой правдой страдающая, что, пожалуй, не встретишь того и в жизни, где, как известно, очень много притворщиц. Во втором действии артистка еще более поразила своих зрителей. Как светская женщина, говорила она с майором, скромно старалась уклониться от благодарности старика-нищего; встретила, наконец, своих господ, графа и графиню, хлопотала, когда граф упал в воду; но в то же время каждый, не выключая, я думаю, вон этого сиволапого мужика, свесившего из райка свою рыжую бороду,— каждый чувствовал, как все это тяжело было ей. Все почти молодые женщины ясней поняли, что и они, по большей части, осуждены так же притворяться — поняли это и потихоньку отирали слезы. Экзальтированная сестра управляющего палатою государственных имуществ, откинувшись на задок кресла, произнесла:

— Нет, это невозможно! Я бы на ее месте не вынесла!

С концом этого акта ужасно всех интересовало, что ж дальше будет.

— Чудесная актриса, чудесная! — слышалось всюду.

— Мила, чрезвычайно мила! — подтверждали дамы.

— Я только такую в Варшаве и видел, когда мы там стояли; а то ни в Петербурге, ни в Москве нет такой,— рассказывал почти всем председатель казенной палаты.

Калинович сидел, опустив голову.

В третьем акте драма начала развязываться. Графиня делает бедной Эйлалии предложение от своего брата, честного майора. Отказать никаких нет причин, но она не может его принять, потому что считает себя мало еще пострадавшею.

— Не слыхали ли вы чего-нибудь о баронессе Мейнау? — спрашивает она.

— Да,— отвечала ей графиня,— мне помнится, что я что-то слышала об этой твари... Она, как мне говорили, сделала несчастным честнейшего человека.

— Самого честнейшего! — подтвердила Настенька и взглянула на Калиновича.

— Она убежала от него с каким-то негодяем,— продолжала графиня.

— Так,— подтвердила Настенька,— но!..— произнесла она, захлебываясь от рыданий.— Но...— повторила она,

бросаясь на колени,— не выгоняйте меня, дайте мне местечко, где бы я могла спокойно умереть.

— Бога ради... вы? — спросила растроганная графиня.

— Эта тварь — я,— отвечала Настенька глухим голосом.

Публика захлопала было, но опять как-то торжественно примолкла и стала слушать.

— Я уверяю вас, что я буду молчать,— говорила графиня, поднимая ее.

— А совесть? Совесть разве замолчит когда-нибудь?— произнесла Настенька.

Публика не выдержала более и загремела рукоплесканиями. С каким-то отчаянным хладнокровием начала бедная женщина доканчивать свою исповедь.

— А у меня был любви достойный супруг,— говорила она.

— Ободритесь! — утешала ее графиня.

— Бог знает, жив ли он теперь или умер.

— Взор ваш становится страшен! — говорила ей графиня. И в самом деле, взгляд Настеньки как бы помутился.

— Для меня он умер! — произнесла она, опуская руки.— У меня был отец,—продолжала она,— и печаль по мне умертвила его...

Аплодисмент снова раздался. Вице-губернатор отвернулся и стал смотреть на губернаторскую ложу. Впечатление этой сцены было таково, что конец действия публика уже слушала в каком-то утомлении от перенесенных ощущений. Антракт перед четвертым действием тянулся довольно долго. Годнева просила не поднимать занавеса. Заметно утомленная, сидела она на скамейке Неизвестного. Перед ней стоял Козленев с восторженным выражением в лице.

— Послушайте, mademoiselle Минаева, прелесть!.. Чудо!..— говорил он.— Это божественно, как вы играете. . Я — наперед вы знайте — непременно в вас влюблюсь.

— А я в вас не влюблюсь — вы тоже наперед это знайте,— отвечала нехотя Настенька и взглянула на декорации, между которыми стоявшие актеры вдруг вытянулись и появилась сухощавая фигура вице-губернатора.

— Послушайте,— начала она торопливо,— подите ту-

да, к себе, в ложу... оставьте меня: я устала, и мне еще очень трудный акт предстоит.

— Что ж, я вам мешаю, сокровище мое? — воскликнул с упреком Козленев.

— Ну да, мешаете! Ступайте — я этого требую... несносный! — говорила Настенька.

Козленев пожал плечами.

— Послушай, ты, чертенок! — обратился он к одному из рабочих мужиков.— Спусти меня в этот провал: иначе я не могу уйти отсюда!

— Спусти его, Михайло, поскорей только; я тебе целковый дам,— подхватила Настенька.

— Сейчас! — отвечал мужик и, проворно сбежав, начал опускать Козленева.

— Иду в ад и буду вечно пленен! — воскликнул он, простирая руки кверху; но пол за ним задвинулся, и с противоположной стороны вошел на сцену Калинович, сопровождаемый содержателем театра, толстым и оборотливым малым, прежде поверенным по откупам, а теперь занимавшимся театром.

— Как здесь, однако, хорошо! Я никогда тут не бывал! — говорил вице-губернатор, обводя глазами.

— Слава богу, хорошо теперь стало,— отвечал содержатель, потирая руки,— одних декораций, ваше превосходительство, сделано мною пять новых; стены тоже побелил, механику наверху поправил; а то было, того и гляди что убьет кого-нибудь из артистов. Не могу, как другие антрепренеры, кое-как заниматься театром. Приехал сюда — так не то что на сцене, в зале было хуже, чем в мусорной яме. В одну неделю просадил тысячи две серебром. Не знаю, поддержит ли публика, а теперь тяжело: дай бог концы с концами свести.

— Конечно, поддержит. У вас прекрасно играют,— отвечал Калинович,— я, однако, подписался на кресла и на ложу, а не расплатился еще: тут ровно так! — прибавил он, подавая антрепренеру триста рублей серебром.

У того задрожали руки.

— Хорошо играют, ваше превосходительство,— продолжал он, не зная от радости, что говорить,— труппа чистенькая, с поведеньем! Ко мне тоже много артистов просилось, и артисты хорошие, да запивают либо в картишки зашибаются — и не беру. Я лучше дороже заплачу, да по крайней мере знаю, что человек исправный.

— Разумеется,— отвечал вице-губернатор и взглянул в ту сторону, где сидела Настенька.

Антрепренер это подметил.

— А как вам нравится, ваше превосходительство, наша Минаева? — спросил он с несколько лукавым взором.

— Очень хороша! — проговорил Калинович равнодушным тоном, как прилично было его званию.

— Великая артистка!—подхватил содержатель.— Мне просто бог послал за мою простоту этот брильянт! Не знаю, как здесь, а в Калуге она делала большие сборы.

— Не мудрено: она очень мила,— отвечал вице-губернатор, заметно желая подойти к Настеньке.

Антрепренер, как человек ловкий и опытный в делах этого рода, счел за нужное стушеваться. Калинович совсем подошел к ней.

— Как вы прекрасно играете! — проговорил он.

Годнева взглянула на него — и боже! — сколько нежности, любви выразил этот короткий взгляд.

— Вы будете у меня сегодня после театра? — прошептала она.

— Буду,— отвечал Калинович задыхавшимся от волнения голосом и, отвернувшись, сказал актрисе, игравшей графиню, маленькую любезность насчет ее игры.

— Ах, очень рада, что я вам нравлюсь! — отвечала та жеманно, и затем вице-губернатор ушел со сцены.

Антрепренер, проводя его до дверей, тотчас начал звонить — и занавес поднялся. Трагик между тем был оскорблен до глубины души равнодушием к нему публики, но и на его долю выпало хлопанье. Читатель, может быть, знает тот монолог, где барон Мейнау, скрывавшийся под именем Неизвестного, рассказывает майору, своему старому другу, повесть своих несчастий, монолог, в котором шепот покойного Мочалова до сих пор еще многим снится и слышится в ушах. В этом монологе, когда барон говорит, что, возвращаясь на родину, он думал исправлять закоренелые глупости, покрытые столетним мраком предрассудков; «О! Кому дорого свое спокойствие,— тот не жертвуй им никогда для человеческих глупостей. Меня гнали, обижали! — произносил актер с ударением.— Я прослыл опасным человеком. Он умен, говорили везде, но он имеет дурное сердце».

На этих словах вице-губернатор вдруг захлопал, и за ним все общество, как бы произнося себе публичное обвинение.

«Умер у нас полковник,— говорил актер,— полковников было у нас много; я думал, что сделают кого-нибудь из них, и желал того; но у какой-то прелестницы был двоюродный брат, глупый и надменный повеса, который служил только шесть месяцев, и его сделали моим командиром. Я не стерпел этого и вышел в отставку».

Вице-губернатор опять захлопал, а за ним и все.

«Один из моих друзей,— продолжал Мейнау,— которого я считал за честнейшего человека, обманул меня на половину состояния; я это вытерпел и ограничил свои издержки. Потом явился другой друг, молодой: этот обольстил мою жену. Доволен ли ты этим? Извиняешь ли мою ненависть к людям?»

Вице-губернатор снова и с каким-то уж исступлением захлопал. Публика тоже хлопала и с любопытством смотрела на него. Наблюдал его еще зритель, которому он, кажется, и хотел быть только понятен,— это Настенька, которая стояла, прислонившись к декорации, и, дрожа всем телом, впилась в него глазами. В явлении ее с обманутым мужем она вышла с покойной твердостью принять на себя всю тяжесть обвинения; но когда трагик спросил ее, и спросил довольно задушевным голосом: «Чего ты хочешь от меня, Эйлалия?», она вздрогнула всем телом. «Нет, бога ради! Я к этому не приготовилась! Ах, этот голос пронзает мое сердце! Это *ты*, это дружеское *ты!* Ради бога, великодушный супруг! Грубый и жестокий голос должен быть для слуха преступницы!» — проговорила она, и проговорила так, что половина кресел привстала с своих мест.

— Это совсем душа! — сказал магистр, и вместе с ним, у сотни тут сидевших картежников, взяточников, даже в райке у плутов-купцов, полупьяных лакеев, развратных горничных—у всех навернулись слезы. Дамы высшего круга, забыв приличие, высунулись из лож — и так прошло все явление довольно тихо; но когда привели детей, Эйлалия кинулась в объятия мужа с каким-то потрясающим душу воплем, так что вздрогнула вся толпа; с сестрой управляющего палатой государственных имуществ сделалось дурно. Козленев опустил голову на перегородку в

соседнюю ложу. У Потвиновой заревел осьмилетний мальчишка, и занавес опустился... Толпа загремела рукоплесканьем и криком: «Минаеву!» Она вышла. Публика вызывала ее еще раз — она показалась уже в салопе и тотчас скрылась; но молодежь продолжала вызывать, и между всеми ими слышался по преимуществу бас магистра. Содержатель театра, однако, вышел и объявил, что г-жа Минаева уехала, потому что очень устала. Вслед за тем поднялся и вице-губернатор. Полицеймейстер, мимо которого он прошел, последовал было за ним, но скоро вернулся.

— Что, уехал? — спросил его председатель казенной палаты.

— Уехал,— отвечал полицеймейстер,— хотел было проводить — не велел!

— Да и не велит! А у старого хрыча, бывало, помните, все парад! А этот большого ума человек! — проговорил председатель.

— Ну... да!..— подтвердил полицеймейстер.

## XI

На полных рысях неслась вице-губернаторская карета по главной Никольской улице, на которой полицеймейстер распорядился, чтоб все фонари горели светлейшим образом, но потом — чего никак не ожидал полицеймейстер — вице-губернатор вдруг повернул в Дворянскую улицу, по которой ему вовсе не следовало ехать и которая поэтому была совершенно не освещена. В улице этой чуть-чуть не попали им под дышло дрожки инспектора врачебной управы, тоже ладившие объехать лужу и державшиеся к сторонке.

— Что ты, ворона? Руки, что ль, не знаешь! — крикнул вице-губернаторский кучер и, быстро продергивая, задел дрожки за переднее колесо и оборвал тяж. Инспекторский кучер, или в сущности больничный солдат, едва усидел на козлах.

— Эк, тя, черт, сблаговал! Прямые вице-губернаторские разбойники,— осмелился он вполголоса пробормотать им вслед.

Карета между тем повернула направо в переулок и по-

ехала было шагом, так как колеи и рытвины пошли неимоверные; но вице-губернатор сердито крикнул: «Пошел!»,— и кучер понесся так, что одно только сотенное достоинство лежачих рессор могло выдерживать толчки, которые затем последовали. Куда стремился Калинович—мы знаем, и, глядя на него, нельзя было не подумать, что богу еще ведомо, чья любовь стремительней: мальчика ли неопытного, бегущего с лихорадкой во всем теле, с пылающим лицом и с поэтически разбросанными кудрями на тайное свидание, или человека с солидно выстриженной и поседелой уже головой, который десятки лет прожил без всякой уж любви в мелких служебных хлопотах и дрязгах, в ненавистных для души поклонах, в угнетении и наказании подчиненных,— человека, который по опыту жизни узнал и оценил всю чарующую прелесть этих тайных свиданий, этого *сродства душ,* столь осмеянного практическими людьми, которые, однако, платят иногда сотни тысяч, чтоб воскресить хоть фальшивую тень этого сердечного сродства с какой-нибудь не совсем свежей, немецкого или испанского происхождения, m-lle Миной.

В глухом переулке, перед маленьким деревянным домиком, Калинович крикнул: «Стой!» и, сам отворив себе дверцы, проворно юркнул в калитку. На дворе ему пришлось идти по деревянным мосткам, которые прыгали под ногами, как фортепьянные клавиши. В маленьких сеничках он запнулся за кадку, стукнулся потом головой о верхний косяк двери и очутился в темной передней, где, сбросив торопливо на пол свою двухтысячную шубу, вошел в серенькое зальцо. Сильный запах турецкого табаку и сухих трав, заткнутых за божницей, обдал его—и боже!—сколь знакомая картина предстала его взору: с беспорядочно причесанной головой, с следами еще румян на лице, в широкой блузе, полузастегнутой на груди, сидела Настенька в креслах. На ломберном столе с прожженным сукном стоял самовар, и чай разливал в полунаклоненном положении капитан, в том же как будто неизносимом вицмундире с светлыми пуговицами; та же, кажется, его коротенькая пенковая трубка стояла между чашками и только вместо умершей Дианки сидел в углу комнаты на задних лапах огромный кобель, Трезор, родной сын ее и как две капли воды похожий на нее. К дополнению этой дорогой и ни с чем не сравнимой для Калиновича сцены у кося-

ка стоял с подносом в руках Михеич, нарочно отказавшийся суфлировать в последней пьесе и теперь даже снявший сапоги и надевший туфли из «Калифа Багдадского», чтобы не так хлопать и ловче подавать чай.

— Приехал!—встретила, привставая, Настенька своего гостя.

— Приехал! —повторил он с каким-то сияющим лицом.

— Честь имею рекомендовать вам знакомого капитана,— продолжала Настенька.

— Да, здравствуйте! — говорил вице-губернатор, протягивая капитану руку, но в самом деле готовый броситься ему на шею.

— Здравствуйте,— отвечал тот радушно, но все-таки церемонно.

— Ну, садись! — говорила Настенька, силясь своей рукой достать и подвинуть Калиновичу стул; но Михеич предупредил ее: с ловкостью театрального лакея он подставил самое покойное кресло и с такой же ловкостью отошел и стал на свое место.

Калинович сел и, уставив глаза на Настеньку, ничего не мог говорить.

— Угодно вашему превосходительству чаю?—спросила она шутя.

— Хорошо,— отвечал Калинович.

Дальше они опять замолчали, решительно не находя, что им говорить, и только смотрели друг другу в глаза. Капитан между тем начал аккуратно разливать чай, а Михеич вытянул поднос для принятия чашек.

— Однако ваше превосходительство изволили порядочно постареть! — заговорила наконец Настенька, продолжая с нежностью смотреть на Калиновича. Тот провел рукою по коротким и поседевшим волосам своим.

— И вы не помолодели! — проговорил он.

— Еще бы! Но только не в чувствах,— отвечала Настенька с шутливой кокетливостью.

— А может быть, и я тоже,— возразил Калинович с улыбкой.

Лицо Настеньки вдруг приняло серьезное выражение.

— Слышала, мой друг... все мне рассказывали, как ты здесь служишь, держишь себя, и я тебе говорю откровенно, что начала после этого еще больше тебя уважать,— проговорила она со вздохом.

Калинович потупился и поспешил обратиться к капитану, который разлил чай и сел около него.

— И с вами, капитан, еще бог привел увидеться!

— Да-с,— отвечал тот и, конечно, далее не поддержал разговора.

— Но, скажите мне, давно ли вы и каким образом попали на театр? — спросил Калинович Настеньку.

— История эта длинная,— отвечала она,— впрочем, тут все свои: значит, можно говорить свободно. Дядя уж теперь не рассердится — так, дядя?

Капитан потупил глаза.

— И ты, Михеич, никому не болтай — слышишь? — обратилась она, погрозя рукой суфлеру.

— Понимаю, матушка Настасья Петровна, и только теперь, глядевши на вас, всем сердцем моим восхищаюсь! — возразил тот и с умилением склонил голову набок.

— Ну-с, так вот как! — продолжала Настенька.— После той прекрасной минуты, когда вам угодно было убежать от меня и потом так великодушно расплатиться со мной деньгами, которые мне ужасно хотелось вместе с каким-нибудь медным шандалом бросить тебе в лицо... и, конечно, не будь тогда около меня Белавина, я не знаю, что бы со мной было...

Калинович слегка улыбнулся.

— Белавина? — повторил он.

— Да... Что ж вы с таким ударением сказали это?— подхватила Настенька.

— Vous étiez en liaison avec lui? [1] — спросил Калинович нарочно по-французски, чтобы капитан и Михеич не поняли его.

Настенька покраснела.

— Ты почему это знаешь? — спросила она, бросая несколько лукавый взгляд.

Надобно сказать, что вообще тон и манеры актрисы заметно обнаруживались в моей героине; но Калиновича это еще более восхищало.

— Я все знаю, что вы делали в Петербурге,— отвечал он.

Настенька улыбнулась.

— Послушай,— начала она,— если когда-нибудь тебя

---

[1] Вы были близки с ним? *(франц.)*

женщина уверяла или станет уверять, что вот она любила там мужа или любовника, что ли... он потом умер или изменил ей, а она все-таки продолжала любить его до гроба, поверь ты мне, что она или ничего еще в жизни не испытала, или лжет. Все мы имеем не ту способность, что вот любить именно одно существо, а просто способны любить или нет. У одной это чувство больше развито, у другой меньше, а у третьей и ничего нет... Как я глубоко и сильно была привязана к тебе, в этом я кидаю перчатку всем в мире женщинам! — воскликнула Настенька.

Калинович поцеловал у ней при этом руку.

— Но в то же время,— продолжала она,— когда была брошена тобой и когда около меня остался другой человек, который, казалось, принимает во мне такое участие, что дай бог отцу с матерью... я видела это и невольно привязалась к нему.

— И...— добавил Калинович.

— Что *и*?.. В том-то и дело, что не *и*! — возразила Настенька.— Послушайте, дядя, подите похлопочите об ужине... Как бы кстати была теперь Палагея Евграфовна! Как бы она обрадовалась тебе и как бы угостила тебя! — обратилась она к Калиновичу.

— А где она? — спросил тот.

Настенька вздохнула.

— Она умерла, друг мой; году после отца не жила. Вот любила так любила, не по-нашему с тобой, а потому именно, что была очень простая и непосредственная натура... Вина тоже, дядя, дайте нам: я хочу, чтоб Жак у меня сегодня пил... Помнишь, как пили мы с тобой, когда ты сделался литератором? Какие были счастливые минуты!.. Впрочем, зачем я это говорю? И теперь хорошо! Ступайте, дядя.

Капитан, мигнув Михеичу, ушел с ним.

Калинович сейчас же воспользовался их отсутствием: он привлек к себе Настеньку, обнял ее и поцеловал.

— Ну-с? — проговорил он, сажая ее к себе на колени.

— Ну-с? — отвечала Настенька.— Ты говоришь *и*... но ошибаешься: связи у меня с ним не было... Что вы изволите так насмешливо улыбаться? Вы думаете, что я скрытничаю?

— Есть немножко,— возразил с улыбкою Калинович.

Настенька отрицательно покачала головой.

— Давно уж, друг мой, —начала она с грустной улыбкой,— прошло для меня время хранить и беречь свое имя, и чтоб тебе доказать это, скажу прямо, что меня удержало от близкой интриги с ним не pruderie[1] моя, а он сам того не хотел. Довольны ли вы этим признанием?

Калинович опять улыбнулся и проговорил:

— Глуп же он!

— Нет, он умней нас с тобой. Он очень хорошо рассчитал, что стать в эти отношения с женщиной, значит прямо взять на себя нравственную и денежную ответственность.

— Ты думаешь?

— Конечно, потому что это один из тех милых петербургских холостяков, которые на подобные вещи не рискуют, и потому он мелкий, по-моему, человек! — заключила Настенька с одушевлением.

— О-о! Чувство оскорбленной любви говорит вашими устами, моя милая! — воскликнул Калинович.

— Нет, мой друг,— возразила она,— это не оскорбленная любовь, а скорей досада разочарования, которое тем тяжеле, что пришло совершенно неожиданно и негаданно... Ты сам очень хорошо знаешь, на каких этот человек всегда умел себя держать заманчивых ходулях, которые я только после поняла и оценила. Ты, например, можешь взбеситься, показаться сухим, черствым человеком, а Белавин в ноте никогда не ошибется: он всегда как-то возвышен, симпатичен и благороден. Очень естественно, что стал мне казаться каким-то идеалом мужчины, но потом, от первого же серьезного вопроса, который задала нам жизнь, вся эта фольга и мишура сразу облетела, так что смешно и грустно теперь становится, как вспомнишь, что было.

— Что ж такое? — спросил Калинович.

Настенька пожала плечами.

— Было,— продолжала она,— что я в самом деле полюбила его, привыкла, наконец, к нему и вижу в то же время, что нравилась ему, потому что, как хочешь, он целые дни просиживает у меня, предупреждает малейшие

---

[1] стыдливость *(франц.)*.

мои желания, читает мне, толкует — а между тем деньжонки мои начинают подходить все. Я, знаешь, по своей провинциальной наивности думаю: что ж тут скрываться? Очень просто и прямо говорю ему однажды: «Послушайте, говорю, Белавин, у меня нет денег; мне жить нечем; пожалуйста, сыщите мне какое-нибудь место». Он как-то особенно торопливо поддержал меня в этой мысли, и на другой же, кажется, день получаю от него письмо, что место есть для меня у одной его родственницы, старой графини, быть компаньонкой... Однако пусти меня... дядя сейчас придет.

Проговоря это, Настенька пересела на свое место и задумалась. Калинович глядел на нее, не спуская глаз.

— И сколько я страдала тут, друг мой! — начала она.— Ты вообразить себе не можешь: старуха оказалась злейшее существо, гордое, напыщенное, так что в полгода какие-нибудь я начала чувствовать, что у меня решительно делается чахотка от этого постоянного унижения, вечного ожидания, что вот заставят тебя подать скамеечку или поднять платок. Белавин все это наперед знал и мог предвидеть: значит, он прямо мной жертвовал в этом случае. Но, что ужаснее всего, когда я стала ему наконец говорить прямо, что я не могу тут жить, потому что меня все оскорбляет, что я не рождена быть ни у кого рабой и служанкой... Он вдруг ни с того ни с сего надулся, начал мне читать рацею, что он любит меня, как сестру, что готов для меня сделать все, что сделал бы для родной сестры... и так далее на одну и ту же тему: сестра да сестра... Я наконец поняла, что он хотел этим сказать. Самолюбие во мне заговорило. Как Гоголь говорит, что долго человек пред вами скрывается, но достаточно иногда одного нечистого движения его души, чтоб он сделался совершенно ясен для вас — так и Белавин: весь стал передо мной как на ладони. «Я сама, говорю, Михайло Сергеич, вас люблю, как брата, и никакой особенной жертвы от вас не требую».

— Что ж он на это? — спросил Калинович.

— Ничего, смолчал, и, знаешь, показался мне какой-то старой, бессемейной девкой, которые от собственной душевной пустоты занимаются участью других и для которых ничего нет страшнее, как прямые, серьезные отношения в жизни, и они любят только *играть в чувства*...—

вот вам и гуманность вся его... откуда она происходит!..

Калинович усмехнулся

— Наконец — господи боже мой! — я тебе узнала цену, сравнив его с тобой! — воскликнула Настенька.— Ты тоже эгоист, но ты живой человек, ты век свой стремишься к чему-нибудь, страдаешь ты, наконец, чувствуешь к людям и к их известным убеждениям либо симпатию, либо отвращение, и сейчас же это выразишь в жизни; а Белавин никогда: он обо всем очень благородно рассудит и дальше не пойдет! Ему легко жить на свете, потому что он тряпка, без крови, без сердца, с одним только умом!..

Калинович более не выдержал.

— О милая моя! Какая ты умница! — воскликнул он и, взяв ее за руку, хотел опять привлечь к себе.

— Нет, оставь, идут,— проговорила она, и капитан действительно вместе с Михеичем внесли накрытый стол.

— Этот человек,—снова заговорила Настенька о Белавине,— до такой степени лелеет себя, что на тысячу верст постарается убежать от всякого ничтожного ощущения, которое может хоть сколько-нибудь его обеспокоить, слова не скажет, после которого бы от него чего-нибудь потребовали; а мы так с вашим превосходительством не таковы, хоть и наделали, может быть, в жизни много серьезных проступков — не правда ли?

— Да, мы не таковы,— подтвердил и Калинович, глядя с любовью на нее.

— Кушать готово,— доложил в это время Флегонт Михайлыч.

— Отлично, капитан! Я ужасно есть хочу!—воскликнула Настенька.— Monsieur, prenez votre place! — скомандовала она Калиновичу и сама села. Тот поместился напротив нее.

— Обоих вас, господа, как я подумаю,— продолжала Настенька, покачав головой,— обоих вас умников лучше мой Иволгин.

— И Иволгин ваш? — спросил Калинович, выпивая целый стакан вина, чего почти никогда с ним не бывало.

— Конечно, мой. И это отличнейший человек.

— Чем же он отличнейший?

— Тем, что художник в душе,— возразила Настенька.— Кто тогда первый открыл и поддержал во мне призвание актрисы и дал мне этот, что называется, кусок хлеба на всю жизнь? За одну его страсть к театру можно бог знает как любить его... Тогда только что умер у него отец, он сейчас же заложил именье, согласился с одним старым антрепренером и является ко мне. «Вот, говорит, Настасья Петровна, мы все хотели с вами сыграть на театре, и все нам не удавалось; а теперь я набираю провинциальную труппу... Пожалуйста, бога ради, поедемте с нами и будьте у нас первой драматической актрисой». Я сначала было рассмеялась его предложению, но потом думаю: «Что ж, господи! Не гораздо ли благороднее зарабатывать себе хлеб на подмостках, чем быть лакейкой у какой-нибудь засохшей графини», и решилась... Написала дяде: «Поедемте, говорю, мой рыцарь, искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок... Карету мне, карету!..» Так, дядя?

— Так-с; этими самыми словами...— отвечал с добродушной улыбкой капитан.

Но Калинович между тем начинал что-то хмуриться.

— Или, теперь, это...— продолжала Настенька, обращаясь к нему,— все вы, господа молодежь, не исключая и вашего превосходительства, все вы, что бы вы ни говорили, смотрите на нас, особенно провинциальных актрис, свысока; вы очень любите за нами волочиться, ухаживать; способны даже немножко промотаться для нас, в то же время считаете нас достойными только стать на степень вашей любовницы — никак не больше! А Иволга, милая моя, иначе на это смотрел: то, что я актриса, это именно и возвышало меня в глазах его: два года он о том только и мечтал, чтоб я сделалась его женой, и дядя вот до сих пор меня бранит, отчего я за него не вышла. Нехорошо ведь, капитан, я сделала?

— Нет, что ж, ваша воля! — отвечал Флегонт Михайлыч, подливая Калиновичу еще вина.

— Мозгами еще жидок господин Иволгин, чтоб быть ему вашим супругом — извините вы меня! — вмешался вдруг стоявший с тарелкой за столом Михеич.

— Хорошо сказано! — воскликнул вице-губернатор.

— Да как же, помилуйте, ваше превосходительство,— продолжал тот,— какая это партия может быть?.. Жена

теперь, по своему воспитанию, слово скажет, а муж и понять его не может! Слыхали мы тоже часто его разговор с барышней: лям... тлям — и дальше нейдет; ходит только да волосы ерошит.

— Ну, перестань, Михеич, не говори этого: мы сами с тобой не очень умны... Да и кроме того, если бы даже он немного и глуповат был, зато в приданое с ним шло две тысячи душ; а это такая порядочная цифра, что я знаю, например, очень хороших людей, которые некогда не устояли против половины...— пошутила Настенька и взглянула на Калиновича; но, заметив, что он еще более нахмурился, сейчас переменила тон.— Ты сердишься? Ну нет; что же это? Или ревнуешь? Да... Так вот же тебе, послушай! — проговорила она, протягивая ему руку.— Слушай: в один достопамятный день случайно прочла я в газетах, что знакомый вам господин назначен вице-губернатором... Что я почувствовала тогда — знают только ночь да темные леса. Как сумасшедшая, начала я потом расспрашивать кого только можно... Рассказали, разумеется, многое... Как бы то ни было, думаю, я хочу видеть этого человека — и увидела. Успокоились ли теперь?

Лицо Калиновича в самом деле просветлело.

— Что ж тебе говорили обо мне? — спросил он.

— Говорили, разумеется, что ты взяток не берешь, что человек очень умный, знающий, но деспот и строгий без милосердия... Что общество ты ненавидишь и что в театре ты, вероятно, ни разу не будешь, потому что предпочитаешь казни на площади сценическим представлениям; словом, все похвалы были очень серьезные, а обвинения — сущий вздор, на который я тебе советую не обращать никакого внимания,— присовокупила Настенька, снова заметив, что последние слова были неприятны Калиновичу.

— Нет, это не вздор! Дайте мне, капитан, вина! — проговорил он, обращаясь к Флегонту Михайлычу.

Тот сейчас же и с большим удовольствием налил ему.

— Это не вздор!..— повторил вице-губернатор, выпивая вино и каким-то задыхающимся голосом.— Про меня тысячи языков говорят, что я человек сухой, тиран, злодей; но отчего же никто не хочет во мне заметить хоть одной хорошей человеческой черты, что я никогда не был подлецом и никогда ни пред кем не сгибал головы?

— Господи! Кто же в этом сомневается? — возразила Настенька.

— Все! — воскликнул Калинович.— И никто даже знать не хочет, что если я достигал чего-нибудь в жизни, так никогда ни просьбами, ни искательствами в людях, а всегда, наперед поймав человека в свои лапы, заставлял его делать для себя. Поступок с тобой и женитьба моя — единственные случаи, в которых я считаю себя сделавшим подлость; но к этому привело меня то же милое общество, которое произносит мне теперь проклятие и которое с ребячьих лет давило меня; а я... что ж мне делать? Я по натуре большой корабль, и мне всегда было надобно большое плаванье.

— Я ужасно досадую,— перебила Настенька,— что ты не сделался литератором: это настоящее твое было назначение по твоему уму, по твоему воспитанию и по твоему, наконец, взгляду на вещи.

Калинович почти вышел из себя.

— О, черт... эта литература! Менее чем что-либо она была мне всегда свойственна. И, наконец, если б я даже был каким-нибудь русским Байроном, Шекспиром — что ж из этого? На наших глазах мы видели, какая участь постигает у нас всех передовых людей на этом деле: кого подстрелят, кто нищим умрет на соломе, кто с кругу сопьется или с ума сойдет... Нет еще-с!.. Покуда у нас не вод поэтам и художникам... Не ко двору они нам пришли...— Проговоря это, вице-губернатор остановился на несколько минут. Потом, как бы рассуждая сам с собою, снова продолжал, разведя руками:

— Более сорока лет живу я теперь на свете и что же вижу, что выдвигается вперед: труд ли почтенный, дарованье ли блестящее, ум ли большой? Ничуть не бывало! Какая-нибудь выгодная наружность, случайность породы или, наконец, деньги. Я избрал последнее: отвратительнейшим образом продал себя в женитьбе и сделался миллионером. Тогда сразу горизонт прояснился и дорога всюду открылась. Господа, которые очей своих не хотели низвести до меня, очутились у ног моих!..

— Все это я очень хорошо знаю и понимаю...— подтверждала Настенька.

Калинович между тем все больше и больше приходил в волненье и выпил еще вина.

— Послушайте,— начал он, беря Настеньку за руку,—

я теперь немного пьян, и это, может быть, первая еще откровенная минута моя после десяти лет адского, упорного молчания. Вы, мой маленький друг, и вы, капитан, единственные в мире люди, которые, я желал бы, чтоб хоть сколько-нибудь меня любили и понимали... Послушайте! Знаете ли вы, что с первого дня моего брака я сделался чиновником, гражданином, как хотите назовите, но только уж больше не принадлежал себе. Я искал и желал одного: чтоб сделать пользу и добро другим; за что же, скажите вы мне, преследует меня общественное мнение? Богач — я почти веду аскетическую жизнь. Быв чиновником, я работал день и ночь, подкупал на свои деньги шпионов, сам делался фискалом, сыщиком, чтоб открыть какое-нибудь ничтожное зло. На настоящем моем посту я сломил губернатора, который пятнадцать лет тяготел над губернией и сосал из нее деньги. Отъявленного мерзавца, известного вам князя Ивана, я посадил за уголовное преступление в острог и, может быть, еще каких-нибудь пять или шесть взяточников выгнал из службы. И за все это... за то, что я очищаю губернию от подобного сора, меня же обвиняют... Двух—трех учителей, в честности которых я был убежден и потому перевел на очень ничтожные места — и то мне поставлено в вину: говорят, что я подбираю себе шайку, тогда как я сыну бы родному, умирай он с голоду на моих глазах, гроша бы жалованья не прибавил, если б не знал, что он полезен для службы, в которой я хочу быть, как голубь, свят и чист от всякого лицеприятия — это единственная мечта моя... Это слава моя... Кроме этого у меня ничего нет в жизни...— Проговоря это, вице-губернатор закрыл лицо руками и склонил голову.

— Как сведешь все это в итог,— продолжал он каким-то озлобленно-насмешливым тоном,— так выходит далеко не пустяки — жить в обществе, в котором так еще шатко развито понятие о чести, о справедливости; жить и действовать в таком обществе — далеко не вздор!

— Кто ж с этим не согласится? Но зачем принимать так к сердцу? — возразила было Настенька.

— Принимать к сердцу! — повторил с усмешкой Калинович.—Поневоле примешь, когда знаешь, что все тут твои враги, и ты один стоишь против всех. Как хочешь, сколько ни дай человеку силы, поневоле он ослабеет и будет разбит.

Разговор на некоторое время прекратился, и, так как ужин кончался, то капитан с Михеичем стали убирать со стола. Настенька с Калиновичем опять остались вдвоем.

— А что жена твоя? Скажи, пожалуйста,— спросила она.

Слова эти точно обожгли Калиновича. Он проворно приподнял голову и проговорил:

— С женой нас бог будет судить, кто больше виноват: она или я. Во всяком случае, я знаю, что в настоящее время меня готовы были бы отравить, если б только не боялись законов.

— Господи! Что ж это такое, друг мой, ты говоришь? — произнесла Настенька и, подошедши к Калиновичу, положила ему руку на плечо.—Зачем ты в таком раздраженном состоянии? Послушай... молишься ли ты? — прибавила она шепотом.

— Молюсь! — отвечал Калинович со вздохом.— Какое странное, однако, наше свидание,— продолжал он, взмахнув глаза на Настеньку,— вместо того чтоб говорить слова любви и нежности, мы толкуем бог знает о чем... Такие ли мы были прежде?

— Да; но что ж? Мы любим друг друга не меньше прежнего!

— Я больше,— проговорил Калинович.

— А я разве не тоже? — подхватила Настенька и поцеловала его.

Вошли капитан и Михеич. Она села на прежнее свое место. Некоторое время продолжалось молчание.

— Прощайте, однако,— проговорил вдруг вице-губернатор, вставая.

— Куда ж ты? — спросила Настенька.

— Домой,— отвечал Калинович.— Я нынче начинаю верить в предчувствие, и вот, как хочешь объясни,— продолжал он, беря себя за голову,— но только меня как будто бы в клещи ущемил какой-то непонятный страх, так что я ясно чувствую... почти вижу, что в эти именно минуты там, где-то на небе, по таинственной воле судеб, совершается перелом моей жизни: к худому он или к хорошему — не знаю, но только страшный перелом... страшный.

— Очень понятно это предчувствие,— возразила Настенька,— встретился со мной и, конечно, будет перелом.

— Нет, это не то! Прощай!.. Прощайте, Флегонт Михайлыч,— проговорил Калинович и пошел.

Настенька с некоторым беспокойством и с грустью проводила его до передней. Капитан бросился ему светить, а Михеич, подав ему шубу и взяв от Флегонта Михайлыча свечку, последовал за вице-губернатором до самого экипажа.

— Не ушибитесь тут, ваше превосходительство, сохрани вас господи! — предостерегал он его, слегка придерживая под руку, и потом, захлопнув за ним дверцы в карете, присовокупил, расшаркиваясь на грязи:— Покойной ночи вашему превосходительству желаю!

— Спасибо! — сказал ласковым голосом Калинович и уехал.

Предчувствие его по приезде домой оправдалось. На слабо освещенной лестнице ему попалось под ноги что-то белое.

— Это что такое? — спросил он лакея, который встречал его.

— Ящик... барынин,— отвечал тот нетвердым голосом.

— Зачем же он тут?

Лакей еще больше замялся.

— Они уехать изволили, так в карету не установился, и оставили тут.

— Как уехала, куда? — спрашивал Калинович, продолжая идти.

— В дорогу, должно быть, на почтовых... Письмо там на вашем столе оставлено,—отвечал лакей совсем уж бледный.

Вице-губернатор, наконец, остановился и посмотрел ему несколько времени в лицо.

— Гм! — больше простонал он и, переведя дыханье, прошел в свой кабинет. Там действительно на столе лежала записка от Полины. Она писала:

«Последний ваш поступок дает мне право исполнить давнишнее мое желание и разойтись с вами. Если вы вздумаете меня преследовать и захотите силой заставить меня жить с вами, я обращусь к правительству и буду у него просить защиты от вас».

По всему было заметно, что Калинович никак не ожидал удара с этой стороны. Удивленный, взбешенный и в то же время испуганный мыслью об общественной огласке

и другими соображениями, он на первых порах как бы совершенно потерялся и, сам не зная, что предпринять, судорожно позвонил.

Вбежал лакей.

— Пошел, скажи карете, чтоб она ехала туда, где я сейчас был и там отдать эту записку! — сказал он, подавая лоскуток бумаги, на которой написал несколько слов.

— Погоди!—крикнул вице-губернатор.—Послать жандарма к полицеймейстеру и велеть ему от моего имени, чтоб он сию же секунду ехал в острог, осмотрел бы там, все ли благополучно, и сейчас же мне донес. Распорядившись таким образом, он тряхнул головой, как бы желая тем придать себе бодрости, и вошел в спальню Полины. Шифоньерка, в которой по обыкновению хранились вещи и деньги, была даже не затворена и совершенно пуста. Калинович усмехнулся и возвратился в свой кабинет. Здесь, опустившись в кресло и с каким-то бессмысленным выражением в лице, он пробыл до тех пор, пока не вошла с беспокойным лицом Настенька, за которою он и посылал карету.

— Поздравьте меня: я теперь человек совершенно свободный... разводок! — встретил ее вице-губернатор на первых же шагах.

— Что такое случилось, скажи, пожалуйста! — говорила она, садясь, но не снимая ни салопа, ни шляпки.

— Ничего!.. Комплот... заговор составлен против меня. Я недаром ее застал у него... Вон оно откуда все это идет!.. Целая галерея, я думаю, мин и подкопов подведена теперь, чтоб разом взорвать меня... Поглядим... посмотрим...— говорил он, как-то странно пожимая плечами.

Настенька со страхом смотрела на него. Раздавшийся в зале звук сабли дал знать, что приехал полицеймейстер. Калинович вышел к нему.

— Что скажете? — спросил он с беспокойством.

— Все благополучно,— отвечал полицеймейстер.

— А арестант, князь Иван Раменский?

— Содержится. Спит теперь.

Калинович некоторое время думал.

— Так как к допросам он не будет требоваться, то заколотить его камору совершенно и пищу давать ему в окошечко,— проговорил он строго повелительным голосом.

Полицеймейстер был человек привычный и по натуре своей склонный ко всякого рода крутым мерам; но, услышав это приказание, несколько смутился.

— Предписание на то от вашего высокородия будет? — спросил он.

— Будет-с!.— отвечал вице-губернатор.

Полицеймейстер откланялся. Настенька слушала этот разговор, дрожа всем телом.

— Друг мой, что ты хочешь делать? — спросила она, когда Калинович возвратился в кабинет.

— Ничего! Хочу только покрепче посадить, а то они все разбегутся! — отвечал он с истерическим хохотом, снова опускаясь в кресло.— Их много, а я один,— говорил он, между тем как в лице его подергивало все мускулы.

— Как же ты один, когда я около тебя? — сказала Настенька, подходя к нему.

— Да, ты должна быть моей женой... другом, сестрой... И пускай об этом знают все — да! Не оставь меня, друг мой,— заключил вице-губернатор и, как малый ребенок, зарыдав, склонил голову на грудь Годневой.

Она обвила его руками и начала целовать в темя, в лоб, в глаза. Эти искренние ласки, кажется, несколько успокоили Калиновича. Посадив невдалеке от себя Настеньку, он сейчас же принялся писать и занимался почти всю ночь. На другой день от него была отправлена в Петербург эстафета и куча писем. По всему было видно, что он чего-то сильно опасался и принимал против этого всевозможные меры.

## XII

Умы между тем продолжали в губернии волноваться. Три собственно пункта были исходными точками настоящего движения. На первом плане, конечно, стояло назначение нового губернатора, исправляющим должность которого действительно был утвержден Калинович, с производством в действительные статские советники. Вторым пунктом был нечаянный и быстрый отъезд новой губернаторши. Как и зачем она уехала? — спросили себя многие не без удивления. Однако Калинович в разговоре с некоторыми лицами совершенно удовлетворительно объяснил это, говоря, что он давно сбирался съездить с семей-

ством в Петербург, но теперь, получив настоящее назначение, не может этого сделать, а потому отпустил жену одну. Третий пункт превышал всякое ожидание, всякую меру терпенья — и это был официальный прием, который сделал новый губернатор чиновникам. На другой же день после получения указа об утверждении его полицеймейстер повестил все губернские и уездные присутственные места, чтоб члены оных, а равно и секретари явились 12 марта в одиннадцать часов утра на представление начальнику губернии. Повестка эта произвела, как водится, некоторую ажитацию. Автору, например, совершенно известно, что уездный судья Бобков, уже несколько лет имевший обыкновение пить перед обедом по восьми и перед ужином по десяти рюмок водки, целые два дня перед тем не употреблял ни капли, чтоб не дохнуть каким-нибудь образом на начальника губернии этим неприятно пахучим напитком. Городской глава, точно перед каким-нибудь таинством, подстриг накануне немного бороду, сходил в баню и потом на самое представление страшно напомадился. Помощник почтмейстера, по крайней мере с двух часов до пяти, ходил по рядам и выбирал себе новую шляпу и шпагу: все они казались ему не того достоинства, какого бы он желал иметь. Повивальная бабка Эрнестина, наслышавшись о строгости нового губернатора, в ужаснейшем беспокойстве ездила по городу и всех умоляла сказать ей, что должна ли она представляться или нет, потому что тоже служащая, хоть и дома.

Двенадцатого числа, наконец, еще с десяти часов утра вся почти улица перед подъездом начальника губернии переполнилась экипажами разнообразнейших фасонов, начиная с уродливых дрожек судьи Бобкова до очень красивой кареты на лежачих рессорах советника питейного отделения. Молоденькая жена чиновника особых поручений вместе с молоденькою прокуроршей, будто катаясь, несколько уж раз проезжали по набережной, чтоб хоть в окна заглянуть и посмотреть, что будет делаться в губернаторской квартире, где действительно в огромной зале собрались все чиновники, начиная с девятого класса до пятого, чиновники, по большей части полные, как черепахи, и выставлявшие свои несколько сутуловатые головы из нескладных, хоть и золотом шитых воротников. Ближе прочих к кабинету стояло губернское правление, замыкавшееся секретарем Экзархатовым, который, кажется, из всех

тут находившихся был спокойнее других. Председатель казенной палаты, держа в руках свою генеральскую шляпу и ходя около взвода своей палаты, заметно старался казаться веселым, насмешливым и даже несколько вольнодумным; но лицо ему изменяло! Строительная комиссия по преимуществу бросалась в глаза штаб-офицером, который, по словам зубоскала Козленева, был первоначально делан на шоссейную будку, но потом, когда увидели, что он вышел очень неуклюж, так повернули его в настоящее звание... Стоявший рядом с ним губернский архитектор был как распущенный в воде. У него уж тысячи на три меньше очутилось в кармане, когда Калинович был еще только вице-губернатором, а теперь, пожалуй, и ничего не попадет. Управляющий палатой государственных имуществ, чтоб представить своих чиновников в более полном комплекте, пригнал даже трех волостных голов; но у одного из них до такой степени сапоги воняли ворванью, что принуждены были его прогнать. Почтовое ведомство, по родственным сношениям с директором гимназии, стояло в одной кучке с министерством народного просвещения. Когда все власти таким образом расстановились, Калинович не заставил себя долго дожидаться: он вышел в полной губернаторской форме, впрочем, нисколько не рисуясь, а, напротив, очень просто всем поклонившись, остановился на средине залы, так что все почти видели его лицо.

— По распоряжению правительства, господа, я назначен начальником здешней губернии,— начал он скороговоркой и потупляя глаза.— Характер моего управления вам несколько известен из действий моих как вице-губернатора и потом как управляющего губернией. Ко всему этому мне остается разве прибавить несколько слов. Все, которых я имею честь здесь видеть, все мы чиновники, и потому маскироваться нам друг перед другом нечего. Всякий, конечно, из нас понимает, что единственными руководителями каждого благонамеренного чиновника должны быть закон, его собственный здравый смысл и, наконец, полная готовность делать добро. Никаких других побуждений он иметь не должен; но в то же время кто не согласится, что это далеко не так бывает на самом деле?.. Я не говорю уже о полицейских властях, которые, я знаю, дозволяют себе и фальшивое направление в следствиях, и умышленную медленность при производстве взы-

сканий, и вообще вопиющую нераспорядительность от незнания дела, от лености, от пьянства; и так как все это непосредственно подчинено мне, то потому я наперед говорю, что все это буду преследовать с полною строгостью и в отношении виновных буду чужд всякого снисхождения.

При этих словах Калиновича все невольно взглянули на полицеймейстера, который, однако, как человек бывалый, хоть бы глазом мигнул.

— Но, кроме этих частных случаев,—продолжал губернатор, не поднимая глаз,— существуют, если можно так выразиться, установившиеся, вошедшие в какую-то законность злоупотребления, которые не влекут за собой никаких жалоб, а потому почти не оглашаются. Например, при служебных разъездах мне часто случалось встречать чрезвычайно дурных лошадей; и когда я спрашивал, отчего это, почтсодержатели откровенно мне говорили, что они не могут вести иначе дела, потому что платят местному почтовому начальству по пятнадцати рублей с пары.

Губернский почтмейстер побледнел и переглянулся с шурином своим, директором гимназии.

— Живя в молодости по уездным городкам, я слышал как самую обыкновенную вещь, что в казначействах взимаются какие-то гроши с паспортов, берется с мужиков сбор на мытье полов, которые они будто бы очень топчут, и, наконец, заставляют их делать вклад на масло для образной лампады!

По всем ведомствам, за исключением казенной палаты, пробежала улыбка.

— При рекрутских наборах я тоже бывал печальным свидетелем, как эта, и без того тяжелая обязанность наших низших классов, составляет сенокос, праздник для волостных голов, окружных начальников, рекрутских присутствий и докторов в особенности! — сказал губернатор и, как все заметили, прямо при этом посмотрел на кривошейку инспектора врачебной управы, который в свою очередь как-то весь съежился, сознавая сам в душе, что при наборах касательно интереса он действительно был не человек, а дьявол.

Один из голов тоже представлял при этом случае довольно любопытную фигуру: как услышал он, что дело коснулось рекрутства, сейчас же вытянулся всем телом и умоляющим выражением своих глаз, плаксивым складом

носа, губ как бы говорил: «Знать ничего не знаю... На все воля начальства была».

— Все эти злоупотребления,— продолжал губернатор, выпрямляя наконец свой стан и поднимая голову,— все они еще не так крупны, как сделки господ чиновников с разного рода поставщиками, подрядчиками, которые — доставляют ли в казну вино, хлеб, берут ли на себя какую-нибудь работу — по необходимости должны бывают иметь в виду при сносе цены на торгах, во-первых, лиц, которые утверждают торги, потом производителей работ и, наконец, тех, которые будут принимать самое дело.

Проговоря это, Калинович приостановился на несколько секунд. В зале между тем царствовало совершенное молчание: все были заметно и глубоко оскорблены.

— Из всего, что я перечислил теперь, вероятно, сотой доли не существует в здешней губернии; но если б и было что-нибудь подобное, так все мы, председательствующие лица, поставим, конечно, себе в святую обязанность истребить и уничтожить это с корнем,— заключил он более ядовитым, чем искренним, тоном и, раскланявшись потом на все стороны, поспешно ушел в кабинет.

Молчание продолжалось еще некоторое время.

— Что ж это такое? — проговорил первый председатель казенной палаты.

— Всем досталось... всех обругал...— подхватил управляющий палатою государственных имуществ.

— Беспокойный человек, беспокойный! — повторял в раздумье штаб-офицер строительной комиссии.

Почтмейстер с директором гимназии нежно глядели друг другу в глаза. Губернское правление, как более других привыкшее к выходкам своего бывшего вице-губернатора, первое пошло по домам, а за ним и прочие.

— Что ж это такое? — повторил председатель казенной палаты, сходя с лестницы, и тут же перешепнулся кой с кем из значительных лиц, чтоб съехаться и потолковать насчет подобного казуса.

— Непременно надобно! — подтвердили те, и в тот же вечер к нему собралось человек десять; но чтоб не было огласки их собранию, нарочно уселись в хозяйском кабинете с запертыми ставнями и опущенными даже сторами.

Больше всех горячился сам хозяин.

— Я, ваше превосходительство,— говорил он губернскому предводителю, заклятому врагу Калиновича по делу князя,— я старше его летами, службой, чином, наконец, потому что он пока еще вчера только испеченный действительный статский, а я генерал-майор государя моего императора, и, как начальнику губернии, я всегда и везде уступлю ему первое место; но если он, во всеуслышание, при общем собрании, говорит, что все мы взяточники, я не могу этого перенесть!

Губернский предводитель кивком головы одобрил его.

— Какое он право имеет на то? — вмешался молодой прокурор.— Я с сенаторами ревизовал несколько губерний; они посылаются с большею властью, но и те не принимали таким образом чиновников.

— Теперь он на улице встретит худую почтовую лошадь — я и виноват! — добавил губернский почтмейстер.

На этот разговор приехал инженерный полковник вместе с Папушкиным.

— Я привез к вам Михайла Трофимыча... Он недавно из Питера и слышал там кое-что о нашем новом начальнике,— проговорил он, указывая на подрядчика.

— Скажите, пожалуйста,— начал хозяин прямо,— как его там разумеют: сумасшедший ли он, дурак ли, или уж очень умный человек, так что мы понимать его не можем?

— А что разумеют! — отвечал грубо Мишка Папушкин и, не стесняясь тем, что находится в генеральском доме, нецеремонно опустился в кресло.— Разумеют так, что человек в большой силе. Я было... так как и по нашим хошь бы теперь производствам дело от него не поет... говорил было тоже кое с кем из начальства ихнего... «Что, я говорю, господа, хоть контрибуцию с нас возьмите, да разведите нас только с этим человеком».— «Нет, говорят, Михайло Трофимыч, этого ты и не проси, а лучше с ним ладьте... У нас только то и делается, что он сам захочет!..»

— Что ж, его там считают за человека очень способного, гениального, что ли? — спросил губернский предводитель.

— Бог ведь знает, господа, как, и про что, и за что у нас человека возвышают. Больше всего, чай, надо пола-

гать, что письмами от Хованского он очень хорошую себе рекомендацию делает, а тут тоже говорят, что и через супругу держится. Она там сродственница другой барыне, а та тоже по министерии-то у них фавер большой имеет. Прах их знает! Болтали многое... Я другого, пожалуй, и не разобрал, а много болтали.

— Это так,— проговорил губернский предводитель, соображая.— Он теперь за тем жену и послал, чтоб крепче связать этот узел.

— Может быть,— подхватил со вздохом хозяин.— Во всяком случае, господа, я полагаю, что и мне, и вам, Федор Иваныч,— обратился он к жандармскому штаб-офицеру,— и вашему превосходительству, конечно, и вам, наконец, Рафаил Никитич,— говорил он, относясь к губернскому предводителю и губернскому почтмейстеру,— всем нам донести по своим начальствам, как мы были приняты, и просить защиты, потому что он теперь говорит, а потом будет и действовать, тогда служить будет невозможно!

С этим были почти все согласны. Один только Мишка Папушкин как-то сурово поглядывал на председателя.

— Отчего служить нельзя?.. Пустяки!.. Можно!..— проговорил он.

— То-то, что не можно,— возразил тот с досадой.— Ты это, братец, говоришь потому, что службы не знаешь и не понимаешь!

— Можно! — повторил настойчиво Михайло Трофимов.— У нас насчет таких случаев складная деревенская побасенка есть... слышь!..

— Не до побасенок твоих, Михайло Трофимыч,—заметил было инженерный штаб-офицер.

— Да ты погоди, постой, не до побасенок! — перебил его Папушкин.— И побасенки послушай, коли она тебя уму-разуму учит. Дело, батеньки мои, было такого ходу!..— продолжал он, погладив себе усы и бороду.— Во времена это происходило еще древние, старые... жил-был по деревне мужик жаднеющий... бывало, на обухе рожь молотить примется, зернышка не уронит; только было у него, промеж прочего другого именья, стадо овец... Слышит-прослышит он одним временем, что в немецких землях с овец шерсть стригут и большую пользу от того имеют. Парень наш, не будь глуп, сейчас в поле, и ну валять да стричь ту да другую овцу, а те, дуры, сглупа да с непривычки ля-

гаться да брыкаться начали... Ну, а при таком положении, известно, обиходить неловко. Вот он которую по нечаянности, а которую и в сердцах ткнет да пхнет ножницами в бок... Смотришь, выскочит от него сердечная овечка, шерсть острижена и бока помяты... Испугались наши овцы... пошли, делать нечего, к козлу за советом. «Ах, вы, дуры, дуры! — говорит.— Лежите только смирно — больше ничего! Пускай потешится, пострижет: сам собой отстанет, как руки-то намозолит; а у вас промеж тем шерстка-то опять втихомолку подрастет, да и бока-то будут целы, не помяты!» То и вам, господа генералы и полковники, в вашем теперешнем деле я советовал бы козлиного наставления послушать. Не лягайтесь — пускай его потешится, пострижет! По пословице: один у каши не спор... Умается, поверьте вы моему слову.

Заключение присказки Михайло Трофимова заставило всех улыбнуться.

— Хороша побасенка! — сказал губернский предводитель.

— Хорошая! — повторил подрядчик и в скором времени, неуклюже раскланявшись, уехал.

## XIII

Точно сама мудрость на этот раз вещала устами Папушкина. Как обозначил он, так и пошло в губернии. Все почти чиновники, бывшие и небывшие на совещании, сказали себе мысленно: «Прах его побери! Пускай потешится и пострижет... шерстки, одно дело, заранее уж позапасено, а другое, может быть, и напредь сего, хоть не очень шибко, а все-таки станет подрастать!» Калинович тоже как будто бы действовал по сказке Папушкина. Он стал валять и стричь, как овец, одного чиновника за другим. Первый, конечно, был уничтожен правитель канцелярии, и на место его определен Экзархатов. Потом удар разразился над ведомством государственных имуществ, в котором, по представлению начальника губернии, был удален управляющий и перетасованы окружные начальники. Полиция, начиная с последнего квартального до частных приставов, была сменена. Красноносому полицеймейстеру, говорят, угрожала та же участь. Ко всему этому ожидалась еще

губернаторская ревизия. Исправники, почти не выезжая из уездов, выбивали недоимку и сгоняли народ на дорогу, чтоб привести все в благоустроенный вид. Городничие в уездных городишках, посредством брани, палок и даже на свой собственный счет, мостили мостовые и красили заборы. В палатах, по судам, в думах, в магистратах секретари целые дни и ночи просиживали в канцеляриях и писали.

Но в то время как служебная деятельность была разлита таким образом по всем судебным и административным артериям, в обществе распространилась довольно странная молва: Сашка Козленев, как известный театрал, знавший все закулисные тайны, первый начал ездить по городу и болтать, что новый губернатор — этот идеал чиновничьего поведения — тотчас после отъезда жены приблизил к себе актрису Минаеву и проводит с ней все вечера. Обстоятельство это показалось до такой степени значительным, что две дамы, из самых первых сановниц, сочли нужным сделать Настеньке визит, который, конечно, был им не отплачен. Смело уверяя читателя в достоверности этого факта, я в то же время никогда не позволю себе назвать имена совершивших его, потому что, кто знает строгость и щепетильность губернских понятий насчет нравственности, тот поймет всю громадность уступки, которую сделали в этом случае обе дамы и которая, между прочим, может показать, на какую жертву после того не решатся женщины нашего времени для служебной пользы мужей. Губернатор между тем, как бы желая выразить окончательно свое неуважение к обществу, решительно начал *дурачиться*. Часто среди дня он прямо из присутственных мест проезжал на квартиру к Настеньке, где, как все видели, экипаж его стоял у ворот до поздней ночи; видели потом, как Настенька иногда проезжала к нему в его карете с неподнятыми даже окнами, и, наконец, он дошел до того, что однажды во время многолюдного гулянья на бульваре проехал с ней мимо в открытом фаэтоне.

Молоденькая прокурорша и молоденькая жена чиновника особых поручений, гулявшие по обыкновению вместе, первые это заметили и вспыхнули от стыда; а жена председателя уголовной палаты, некогда столь обеспокоившаяся отставкою прежнего начальника губернии, в этот раз с каким-то неистовством выбежала из сада, села на

пролетку и велела себя везти вслед за губернаторским экипажем.

На ее глазах Калинович подъехал к своему крыльцу, вышел сам первый, а потом, высадив Минаеву, как жену, под руку, скрылся с нею за свою стеклянную дверь. Вслед за тем Настенька совершенно по-домашнему взбежала на лестницу, прошла в залу и, садясь небрежно в гостиной на диван, проговорила: «Ох, устала... жарко немножко». Калинович сел и с какой-то грустной нежностью смотрел на нее... Здесь я не могу обойти молчанием того, что если кто видал мою героиню, когда она была девочкой, тот, конечно бы, теперь не узнал ее — так она похорошела. Для женских личиков, розовых, свеженьких, тридцать лет обыкновенно почти беда: розы переходят в багровые пятна, глаза тускнеют, черты еще более пошлеют. Но не то бывает с осмысленными женскими физиономиями, под которыми таится духовная красота. В этом возрасте присутствие ума, чувств, некоторой страстности — все это ярче и больше начинает в них выражаться, и к такого рода физиономиям принадлежало именно лицо Настеньки. Одета она была очень мило. Петербург и звание актрисы докончили в этом отношении ее воспитание. Часов в восемь человек на огромном серебряном подносе принес чайный прибор и приготовил его на особенном столе. Настенька, совершенно как бы хозяйка, села за него и начала разливать чай. Из боковых дверей появился Флегонт Михайлыч, и за ним нецеремонно вошел кобель Трезор.

— Здравствуйте, дядя! — проговорил ему приветливо губернатор.

Капитан с обычным приемом раскланялся и, сев несколько поодаль, потупил глаза. За несколько еще дней перед тем он имел очень длинный разговор с Калиновичем в кабинете, откуда вышел если не опечаленный, то очень расстроенный. Возвратившись домой, он как-то особенно моргал глазами.

— Ну что, дядя, говорили вы с ним? — спросила его Настенька.

— Говорил-с,— отвечал капитан.

— Что ж, успокоились теперь и поняли, что когда дело сделано, так нечего пятиться назад?

— Да-с.

— И убедились, наконец, что этот человек меня любит? — заключила Настенька.

— Да-с! — подтверждал Флегонт Михайлыч и начал после того все почти вечера вместе с Настенькой проводить у губернатора. В простодушных понятиях его чины имели такое громадное значение, что тот же Калинович казался ему теперь совершенно иным человеком, и он никогда ни в чем не позволял себе забыть, где и перед кем он находится. Что касается губернатора, то после служебной ломки, которую он почти каждое утро производил, присутствие этих добрых людей, видимо, заставляло его как-то отдыхать душой, и какое-то тихое, отрадное чувство поселяло в нем. В настоящий вечер, впрочем, он был что-то особенно грустен и мрачен, так что Настенька спросила его, что с ним.

— Ничего! Позвони, пожалуйста, друг мой! — отвечал он.

Та дернула сонетку.

Вошел лакей.

— Что там, пришла ли почта или нет? Пошлите узнать жандарма к Экзархатову!

— Они сами здесь, ваше превосходительство,—отвечал лакей.

— Что ж вы, болваны, не скажете? Проси!..— проговорил с беспокойством губернатор.— Как это, Николай Иваныч, вы не велите о себе сказывать... что за щепетильность пустая! — встретил он Экзархатова.

Тот подал ему целую кучу пакетов. Калинович с пренебрежением перекидал их и остановился только на одной бумаге, на которой была сделана надпись *в собственные руки*. Он распечатал ее, прочитал внимательно и захохотал таким странным смехом, что все посмотрели на него с удивлением, а Настенька даже испугалась.

— Всегда тебя эта проклятая почта встревожит! — проговорила она.

Калинович ничего не отвечал ей и снова прочитал бумагу.

— Еще по трем доносам требуют объяснения! — обратился он, наконец, с судорожной усмешкой к Экзархатову, подавая ему бумагу.— Теперь уж присланы совершенно вопросные пункты. Как преступника или подсудимого какого-нибудь спрашивают!

Экзархатов не знал, читать ему бумагу или нет.

— Взгляните, прочтите! Я ни скрывать, ни сты-

диться этого не намерен...— сказал Калинович и опять захохотал.

Настенька смотрела на него с беспокойством. Она очень хорошо видела, что он был под влиянием страшнейшего гнева.

— Ни стыдиться, ни скрывать этого не намерен! — повторял губернатор, а потом вдруг обратился к Экзархатову.— Послушайте! — начал он.— Не хотите ли, пока есть еще время, вместо настоящей вашей службы получить место какого-нибудь городничего или исправника, окружного, наконец, начальника?.. Я, по своему влиянию, могу еще теперь сделать это для вас.

Предложение это заметно удивило и оскорбило Экзархатова.

— Разве я не гожусь в настоящей моей должности?— проговорил он.

— О боже мой! Кто ж вам это говорит! — воскликнул Калинович.— Но я могу быть переведен; приедет другой, который вас вытеснит, и вы останетесь без куска хлеба.

Экзархатов выпрямился, поднял свою опущенную голову и вообще как-то приосанился.

— Я, Яков Васильевич, сколько себя понимаю, служу не лицам, а делу... что ж мне этого очень опасаться? — проговорил он.

Калинович захохотал.

— Не лицам!.. На службе делу хочет выехать! Нельзя, сударь, у нас так служить! — воскликнул он и, встав с своего места, начал, злобно усмехаясь, ходить по комнате. Выражение лица его было таково, что из сидевших тут лиц никто не решался с ним заговорить.

— Потрудитесь, пожалуйста,— обратился он наконец к Экзархатову,— написать к завтрему ответ на это. Там спрашивают, на каком основании князь арестован и теперь производится о нем следствие без депутата со стороны дворянства. Пишите, что полицейская власть всякое лицо, совершившее уголовное преступление, имеет право одна, сама собой, арестовать, потому что, пока бы она стала собирать депутатов, у ней все преступники разбежались бы. Кажется, это ясно и понятно? А что при допросах нет депутата, так нигде и никаким законом не вменено следователю в обязанность спрашивать грамотных дворян при каких бы то ни было заступниках, и мне для этого не

выдумывать новых постановлений. Насчет откупа отвечайте тоже, что делал с него сбор в пользу города и нахожу это с своей стороны совершенно законным, потому что хоть сотую часть возвращаю обществу из огромных барышей, которые получает откупщик,— так и пишите этими самыми словами.

— Чтоб не оскорбились за выражения...— заметил было Экзархатов.

— А я не оскорблен? Они меня не оскорбили, когда я помыслом не считаю себя виновным в службе? — воскликнул губернатор, хватая себя за голову и потом, с заметным усилием приняв спокойный вид, снова заговорил: — На вопрос о вступительной речи моей пропишите ее всю целиком, все, что припомните, от слова до слова, как и о какого рода взяточниках я говорил; а если что забыли, я сам дополню и добавлю: у меня все на памяти. Я говорил тогда не зря. Ну, теперь, значит, до свиданья... Ступайте, займитесь этим.

Экзархатов, потупив голову, вышел.

— Скажи, пожалуйста, отчего это и откуда пошли все эти неприятности тебе? Ты прежде так же служил и действовал, но тебя еще повышали, а тут вдруг...

Калинович в упор и насмешливо поглядел на нее.

— За то, что я не имел счастия угодить моей супруге Полине Александровне. Ха, ха, ха! И мне уж, конечно, не тягаться с ней. У меня вон всего в шкатулке пятьдесят тысяч, которые мне заплатили за женитьбу и которыми я не рискну, потому что они все равно что кровью моей добыты и теперь у меня остались последние; а у ней, благодаря творцу небесному, все-таки еще тысяча душ с сотнями тысяч денег. Мне с ней никак не бороться.

— Говорят, с ней Медиокритский поехал — это зачем?— спросила Настенька.

— Да, воришка Медиокритский... Он теперь главный ее поверенный и дает почти каждую неделю у Дюссо обеды разным господам, чтоб как-нибудь повредить мне и поправить дело князя, и который, между прочим, пишет сюда своему мерзавцу родственнику, бывшему правителю канцелярии, что если им бог поможет меня уничтожить, так он, наверное, приедет сюда старшим советником губернского правления!

Заключив последние слова, губернатор снова захохотал.

— Как же они могут тебя уничтожить? — спросила Настенька.

Калинович пожал плечами.

— Я полагаю,— начал он ироническим тоном,— что помня мои услуги, на первый раз ограничатся тем, что запрячут меня в какую-нибудь маленькую недворянскую губернию с приличным наставлением, чтоб я служебно и нравственно исправился, *ибо,* как мне писали оттуда, там возмущены не только действиями моими как чиновника, но и как человека, имеющего беспокойный характер и совершенно лишенного гуманных убеждений... Ха, ха, ха!

— Но что ж тебе так беспокоиться? Пускай посылают! Нам с тобой везде будет весело! — возразила Настенька.

Калинович глубоко вздохнул.

— Нет! — начал он.— Это обидно, очень обидно! Обидно за себя, когда знаешь, что в десять лет положил на службу и душу и сердце... Наконец, грустно за самое дело, которое, что б ни говорили, мало подвигается к лучшему.

Вскоре после этой маленькой сцены и в обществе стали догадываться, что ветер как-то подул с другой стороны. Началось это с того, что по делу князя была вдруг прислана из Петербурга особая комиссия, под председательством статского советника Опенкина. Надобно было не иметь никакого соображения, чтоб не видеть в этом случае щелчка губернатору, тем более что сама комиссия открыла свои действия с того, что сейчас же сделала распоряжение о выпуске князя Ивана из острога на поруки его родной дочери. Обстоятельству этому были очень рады в обществе, и все, кто только не очень зависел по службе от губернатора, поехали на другой же день к князю поздравить его. Однако он был так осторожен, что сказался больным и благодарил всех через дочь за участие, но никого не принял. По делу его между тем со старого почтмейстера снята была подписка о невыезде его из города, и он уже отправился на место своего служения. Дьячок-резчик был тоже выпущен как человек совершенно ни в чем не уличенный. Даже крепостной человек князя и кантонист,— как сказывал писец губернского правления, командированный для переписки в комиссию,— даже эти ли-

ца теперь содержались один за разноречивые показания, а другой за преступления, совершенные им в других случаях; словом, всему делу было дано, видимо, другое направление!.. Один из членов комиссии, молодой еще человек, прекрасно образованный и, вероятно, пооткровеннее других, даже явно об этом проболтался.

— Ваш губернатор, господа, вообще странный человек; но в деле князя он поступал решительно как сумасшедший! — сказал он по крайней мере при сотне лиц, которые в ответ ему двусмысленно улыбнулись, но ничего не возразили, и один только толстый магистр, сидевший совершенно у другого столика, прислушавшись к словам молодого человека, довольно дерзко обратился к нему и спросил:

— А почему бы это губернатор действовал, как сумасшедший?

Молодой человек пожал плечами и начал ему пунктуально доказывать.

— Во-первых,— говорил он,— губернатор посадил дворянина в острог, в то время как еще не было совершено преступление.

— Как не было совершено преступление? — возразил с упорством магистр.— Оно совершено в то время, когда князь сделал фальшивое свидетельство,— вот когда оно совершено!

— Ничуть не бывало,— продолжал молодой человек прежним деловым тоном,—преступление в этом деле тогда бы можно считать совершенным, когда бы сам подряд, обеспеченный этим свидетельством, лопнул: казна, значит, должна была бы дальнейшие работы производить на счет залогов, которых в действительности не оказалось, и тогда в самом деле существовало бы фактическое зло, а потому существовало бы и преступление.

— А если б он, с божией помощью, на это фальшивое свидетельство взял подряд и благополучно его кончил, тогда бы ничего? — возразил магистр.

— Я думаю, что ничего!—проговорил молодой человек, несколько сконфуженный этим замечанием.

— Я сам тоже думаю, что ничего! — сказал магистр с явной уж насмешкой.

— С чем вас и поздравляю,— отвечал ему тоже с насмешкой молодой человек и тотчас обратился к другим своим слушателям.— Кроме уж этих теоретических сооб-

ражений,— продолжал он,— смотрите, что самые факты показывают. Губернатор говорит, что князем Раменским составлено фальшивое свидетельство. Князь говорит, что им представляем был акт не фальшивый, а на именье существующее, энского почтмейстера, которому действительно и выдано было из гражданской палаты за год перед тем свидетельство. Строительная комиссия отозвалась, что какого рода в рассмотрении ее находилось свидетельство, она, за давнопрошедшим временем, не запомнит. В прошении князя подпись его руки половина секретарей признала, а половина нет. Значит, сколько тут шансов направо и налево?

— Поэтому фальшивое свидетельство составил сам губернатор? — возразил ему магистр.

— Я ничего не знаю,— ответил уклончиво молодой человек.— Вы знаете, следователь не имеет даже право делать заключения в деле, чтоб не спутать и не связать судебного места. Я говорю только факты.

— Только факты! — повторил, глядя ему в лицо, магистр.— О-то шемякин суд! — произнес он почти вслух и, неуклюже вышедши из-за стола, ушел в бильярдную.

— Заступник! — повторил ему вслед чиновник.

Несколько голов легким кивком подтвердили его мысль. Разговор этот на другой же день разнесся, конечно, по всему городу.

— Плохо будет губернатору, плохо! — решили почти единогласно все губернские дипломаты, и только один Папушкин, не любивший скоро отступать от своих убеждений, возражал на это: «Ничего не плохо — осилит!»

— Чего осилит? Сам уж струсил. Недели две, говорят, ни по канцелярии, ни по губернскому правлению ничего не делает — струсил,— доказывали ему.

— Ничего не струсил! — стоял на своем Папушкин, и последние слова его подтвердились в непродолжительном времени.

Случился пожар в казенных соляных магазинах, которые, как водится, богу ведомо, отчего загорелись. Калинович прискакал на пожар первый, верхом на лошади, без седла, распек потом полицеймейстера, поклялся брандмейстера сделать солдатом и начал сам распоряжаться. Плоховатая пожарная команда под его грозными рас-

поряжениями начала обнаруживать рьяную храбрость и молодечество, и в то время, как он, запыленный, закоптелый, в саже, облитый водою, стоял почти перед самым пламенем, так что лошадь его беспрестанно фыркала и пятилась назад,— в это самое время с обеда председателя казенной палаты, а потому порядком навеселе, приехал тоже на пожар статский советник Опенкин. Взглянув сквозь очки на страшную сцену разрушения, он тоже начал кричать на частного пристава и приказывать команде действовать трубами не на ту часть стены, на которую она действовала. Услышав это, Калинович вдруг повернул к нему лошадь и громким голосом проговорил:

— Господин Опенкин! Я и господин полицеймейстер здесь, а потому в других распорядителях никакой нет надобности.

— Я, ваше превосходительство, распоряжаюсь и действую для спасения казенного интереса,— возразил, в свою очередь разгорячившись, статский советник.

— Я тут хозяин, и я один только должен оберегать всякого рода казенный интерес! — закричал уж Калинович, колотя себя в грудь.— Господин офицер! Вытяните от пожара цепь, и чтоб никого тут из зевак не было за ней; а который прорвется, брать под караул! — отдал он тем же голосом приказание наряженному на пожар офицеру. Тот скомандовал взводу — и цепь вытянулась почти перед самым носом статского советника. Сбежавшиеся на пожар гимназисты засмеялись этому во все горло. Опенкин позеленел, но, по наружности будто смеясь, сел на председательские пролетки и уехал.

На другой же день после этого случая комиссия прекратила все свои действия и уехала в Петербург, а общество осталось в каком-то томительном недоумении. Чем все это кончится — интересовало ужасно всех. Наконец восьмнадцатого декабря все это разрешилось: получена была такого рода бумага, что писцы, столоначальники и секретари губернского правления, как прочитали ее, так и присели на своих местах, выпучив глаза и растопырив руки. Секретарь казенной палаты что есть духу поскакал на извозчике к бывшему еще дома председателю казенной палаты. У губернского предводителя за его завтраком в двенадцатом часу перебывал почти весь город, и на большей части лиц было написано удовольствие. Губерн-

ский архитектор, встретившись опять на улице с Папушкиным, еще издали кричал ему каким-то радостным голосом:

— А что? Не сбылось ваше пророчество! Не сбылось!

— Что ж не сбылось! *Зарвался очень... оченно зарвался!* — отвечал на этот раз и Папушкин.

В бумаге было сказано, что Калинович увольняется от службы с преданием суду за противозаконные действия как по управлению своему в звании вице-губернатора, так и в настоящей своей должности.

---

Выйдя на сцену с героем моим при первом его поступлении на службу, я считаю себя совершенно вправе расстаться с ним при выходе его в отставку... Что мне дальше с ним делать?.. Пора молодости, любви и каких бы то ни было новых сердечных отношений для него давно уже миновалась, а служебную деятельность, которая была бы теперь свойственна его возрасту и могла бы вызвать его снова на борьбу, эту деятельность он должен был покинуть навсегда и, как подстреленный орел, примкнув к числу недовольных, скромно поселиться вместе с Настенькой и капитаном в Москве. Из партии врагов его князь, не оставленный даже в подозрении по своему делу, снова поселился в своей усадьбе и начал жить решительно на прежнюю ногу. Обновление сего феникса объяснялось на этот раз очень просто: стакнувшись с Медиокритским, он так, говорят, распорядился состоянием Полины, что та потеряла весь свой капитал и половину имения. Всеми оставленная, всеми обманутая, бедная женщина не перенесла этого удара и с первым вскрытием невской воды вытерпела последнюю житейскую неприятность — предсмертную агонию, и скончалась. Чрез полгода после ее смерти Калинович женился на Настеньке. Факт этот, казалось бы, развязывал для меня, как для романиста, все нити, но в то же время я никак не могу, подобно старым повествователям, сказать, что главные герои мои после долговременных треволнений пристали, наконец, в мирную пристань тихого семейного счастия. Далеко это было не так на самом деле! Сломанный нравственно, больной физически, Калинович решился на новый брак единственно по-

тому только, что ни на что более не надеялся и ничего уж более не ожидал от жизни, да и Настенька, более уж, кажется, любившая Калиновича по воспоминаниям, оставила театр и сделалась действительною статскою советницею скорее из сознания какого-то долга, что она одна осталась в мире для этого человека и обязана хоть сколько-нибудь поддержать и усладить жизнь этой разбитой, но все-таки любезной для нее силы, и таким образом один только капитан стал вполне наслаждаться жизнию, заправляя по всему дому хозяйством и постоянно называя племянника и племянницу: «ваше превосходительство».

# ПРИМЕЧАНИЯ

## ТЫСЯЧА ДУШ

Впервые роман напечатан в «Отечественных записках» за 1858 год (№№ 1—6, январь — июнь); датирован 19 мая 1858 года.

Над «Тысячью душ» Писемский работал около пяти лет — с 1853 по 1858 год.

Осенью 1853 года, будучи в Петербурге и Москве, Писемский подробно рассказывал в литературных кружках о замысле своего нового «длинного» романа. По-видимому, тогда же он начал предварительные переговоры с И. И. Панаевым о том, чтобы этот роман, как только он будет закончен, был напечатан в «Современнике». По возвращении в Кострому Писемский приступил к работе над романом. В письме к издателям «Современника» И. И. Панаеву и Н. А. Некрасову он сообщил: «Роман, о котором я с Вами, Иван Иваныч, говорил, я начал и написал две главы,—он будет в 3-х частях — листов на 35 печатных»[1]. Выйдя в отставку и получив возможность все свое время отдавать творчеству, Писемский, вероятно, рассчитывал закончить «Тысячу душ» в течение года. 12 марта 1854 года он писал Н. А. Некрасову: «...три месяца скоро, как я оставил службу и живу в деревне, где, конечно, пишу и пишу много: написал 1-ю часть очень длинного романа...»[2]. Есть основание предполагать, что в первой книжке «Современника» за 1855 год должно было начаться его печатание, но Некрасов не решился на это, так как роман еще не был закончен. «...На авось начать печатать страшно,— писал он И. С. Тургеневу,— надо бы весь посмотреть»[3]. Очевидно, эти сомнения Некрасова были одной из причин

---

[1] Письма, стр. 61.
[2] Письма, стр. 64.
[3] Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. X, М., 1952, стр. 211.

того, что летом 1854 года Писемский решил печатать новый роман уже в «Отечественных записках». «...По осени надеюсь к вам привезти длиннейший роман для печатания в «Отечественных записках»,— писал он 17 июня 1854 года издателю этого журнала А. Краевскому; — одно, что меня только пугает или просто ужасает,— ваш цензор»[1]. Но свое обещание Писемский не сумел выполнить. Живя в Раменье, он с каждым днем все острее сознавал, как не хватает ему свежих жизненных впечатлений, не хватает общения с литературной средой: «Пишу много, но ни прочитать, ни посоветоваться не с кем, это много отнимает энергии. Служенье музам не терпит суеты, но зато и продолжительное уединение не совсем благотворно этим занятиям»[2]. Осенью работа над романом пошла гораздо медленнее, чем раньше. «Длинный роман, который я задумал, остановился,— жаловался Писемский А. Н. Майкову,— просто лень писать, а насиловать себя боюсь, пожалуй так напишешь, что лучше бы совсем не писать...»[3].

К концу 1854 года, до переезда Писемского в Петербург, были закончены, и то, по-видимому, вчерне, лишь первые две части «Тысячи душ». В Петербурге, обогащенный новыми непосредственными наблюдениями над столичной жизнью, он начал писать третью часть романа. «...В длиннейшем моем романе,— сообщал он А. Н. Островскому 26 июля 1855 года,— перевалился уж в третью часть. Мечтаю кончить к 1 январю 56-го года, кончить совсем, но вряд ли сил хватит»[4]. О том, что в этом письме речь идет об окончании не только третьей части, но и всего романа, видно из редакционного объявления, впервые помещенного в IX (сентябрьской) книжке «Отечественных записок» за 1855 год, где «Тысяча душ» названа в числе произведений, которые должны были быть напечатаны на страницах этого журнала в 1856 году. Однако Писемскому и на этот раз не удалось выполнить свои намерения — к концу 1855 года роман был еще далек от завершения.

В следующем, 1856 году работа над ним была прервана длительной поездкой в Астрахань. «За роман не принимался,— сообщал Писемский Краевскому 2 июня 1856 года,— и покуда не кончу своего вояжа, заняться им не могу: совершенно другое в голове. Рассчитываю на осень, когда возвращусь в деревню, и если только мое здоровье не расстроится еще более, то есть окончательно, то печатание вам можно будет начать с генварской книжки будущего, 1857 года»[5].

---

1 Письма, стр. 76.
2 Там же.
3 Письма, стр. 77.
4 Письма, стр. 83.
5 Письма, стр. 98.

Но печатание «Тысячи душ» было снова отложено. Для ее окончания потребовалось еще почти полтора года. Над третьей и четвертой частями романа Писемский продолжал работать в январе — апреле 1858 года, когда первые его части уже печатались в журнале. «Занят я теперь по горло окончанием моего романа,— писал он А. Н. Островскому 19 апреля 1858 года,— которого три части сбыл, наконец, но как пройдет 4-я цензуру — неизвестно!» [1].

«Тысяча душ» печаталась в пору относительного послабления цензурных требований, и поэтому первые три части романа были пропущены, по-видимому, без существенных изменений. Зато четвертая встретила значительные препятствия и была разрешена главным образом благодаря энергичному содействию И. А. Гончарова. Через семнадцать с лишним лет после опубликования романа, в дни двадцатипятилетия своей литературной деятельности, Писемский с благодарностью напомнил Гончарову об этой его услуге: «Вы знаете, как я высоко всегда ценил ваши литературные мнения и как часто и много пользовался вашими эстетическими советами и замечаниями. Но помимо этого вы были для меня спаситель и хранитель цензурный: вы пропустили 4-ю часть «Тысячи душ» и получили за это выговор. Вы «Горькой судьбине» дали возможность увидать свет божий в том виде, в каком она написана» [2].

«Тысяча душ» была задумана в глухую пору «мрачного семилетия» и закончена в условиях общественного подъема конца 1850-х годов. Естественно, что значительный поворот в политической и общественной жизни, происшедший за эти годы в России, не мог не отразиться на процессе создания этого социально насыщенного романа. Поэтому изучение этого процесса могло бы дать весьма ценные материалы для понимания «Тысячи душ». Однако главные документы, необходимые для такого изучения,— рукописи первых трех ее частей — не сохранились. То, что дошло до нас (переписка Писемского со своими современниками, рукопись четвертой части), позволяет проследить основные этапы работы над романом лишь в самых общих чертах.

Первые высказывания Писемского о «Тысяче душ» свидетельствуют о том, что на ранней стадии воплощения замысла в основе сюжета должна была быть история писательской карьеры главного героя романа. В связи с этим предполагалось, по-видимому, более широко, чем в окончательном тексте, привлечь факты литературного быта того времени. В декабре 1853 года Писемский сообщил А. Н. Майкову: «...начал новый и очень длинный, длинный роман, написал две главы — сюжет долго рассказывать, я говорил об нем

---

[1] Письма, стр. 119.
[2] Письма, стр. 284, 285.

Панаеву, спроси, если любопытно, у него, но только выведется литератор не по призванию, а из самолюбия. Петербург я трону, но, не бойся, не ошибусь, потому что возьму из него только то, что хорошо узнал и знал еще прежде. В отношении петербургских литераторов я скажу откровенно, что они, не говоря уже про вашу милость, ей-богу понравились мне лучше московских, не тартюфят, по крайней мере, тогда как там [всюду почти] встречаешь лицемерие, ханжество... и возму[ти]тельное, безсмысленное славянофильство в одном кружку, собственно, московском, и бездарное педантство в другом — петербургском» [1]. Этому замыслу соответствовало и первоначальное название романа: «Умный человек» [2].

О дальнейшей эволюции замысла романа можно судить по следующему высказыванию его автора в письме А. Н. Майкову от 1 октября 1854 года: «Не знаю, писал ли я тебе об основной мысли романа, но во всяком случае вот она: что бы про наш век ни говорили, какие бы в нем ни были частные проявления, главное и отличительное его направление — практическое: составить себе карьеру, устроить себя покомфортабельнее, обеспечить [св] будущность свою и потомства своего — вот божки, которым поклоняются герои нашего времени,— все это даже очень недурно, если ты хочешь: стремление к карьере производит полезное трудолюбие, из частного комфорта слагается общий комфорт и так далее, но дело в том, что человеку, идущему, не оглядываясь и не обертываясь никуда, по этому пути, приходится убивать в себе самые благородные, самые справедливые требования сердца, а потом, когда цель достигается, то всегда почти [человек] он видит, что стремился к пустякам, видит, что по всей прошедшей жизни подлец и подлец черт знает для чего!» [3].

Теперь, как это можно судить по только что цитированному изложению, тема романа приобрела большую социальную остроту. На этой стадии работы над романом история литературных занятий героя, по-видимому, уже отодвинулась на второй план: литератор «не по призванию, а из самолюбия» едва ли мог быть назван подлецом. Теперь уже речь идет преимущественно о служебной карьере героя.

Но характеристика главного героя в журнальном тексте «Тысячи душ» значительно смягчена. Особенно явственно стремление Писемского реабилитировать своего героя в четвертой части романа (см. вступительную статью, т. I, стр. 27—30). С особенной наглядностью это старание превратить Калиновича из «подлеца» в по-

---

[1] Письма, стр. 62.
[2] Письма, стр. 63.
[3] Письма, стр. 77, 78.

ложительного общественного деятеля сказалось в рукописи четвертой части романа, хранящейся в Государственной публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (Собрание отдельных поступлений 1947 года, № 227). Эта рукопись является копией, по-видимому, первой редакции четвертой части «Тысячи душ». На полях и между строк этой копии имеются многочисленные поправки и вставки, сделанные рукою Писемского. В результате этой переработки сложилась вторая редакция заключительной части романа. Однако текст второй редакции во многом отличается от журнального текста четвертой части романа. Это заставляет предположить, что существовала еще одна, третья, редакция четвертой части, с которой и производился набор журнального текста.

В большинстве случаев изменения текста второй редакции были, по-видимому, произведены по соображениям стилистического или композиционного порядка. Но между текстом второй редакции и журнальным текстом имеется несколько таких расхождений, характер которых заставляет предположить прямое или косвенное вмешательство цензуры. Однако это предположение не может быть проверено ввиду того, что рукопись третьей редакции и цензурный экземпляр четвертой части романа не сохранились.

Ниже приводятся некоторые места из второй редакции, не вошедшие в журнальный текст романа.

Стр. 355. После слов: «...нелицеприятное прокурорское око» в рукописи было: «Еще отчасти знают, наконец, и потолкуют об ней мужики, потому что и у них на спинах она кладет иногда свои следы» (стр. 1 об.).

Стр. 366. После слов: «...не совсем лестную для себя улыбку» в рукописи было: «Каково здесь дворянство, ваше превосходительство? — спросил Калинович, потупляя глаза и, кажется, желая вызвать его на дальнейший откровенный разговор.

— Отличное здесь дворянство, превосходное,— отвечал губернатор.— Тысяча душ, две, три, наконец, двенадцать! — продолжал он, прищуривая глаза.

— Вам здесь, я думаю, ваше превосходительство, много неприятных столкновений,— заметил Калинович.

— Нет,— отвечал губернатор решительно,— я дела этого рода всегда стараюсь покончить домашним образом. Задурят там мужики, введу команду, попугают их, и по большей части тем кончается. Дела этого рода вообще развивать и оглашать опасно. Если даже и виноват барин, так вы, наказывая одного виноватого, двадцать невинных подвергаете опасности. Я сам помещик, и знаю, что такое русский мужик. Ему только дай эту идею. А! Рябининские

вон пошумели, им ничего не было, давай-ка, паря, и мы. Вот что-с?» (стр. 18 об.—19).

Стр. 374. Вместо слов: «...которому она сама, своими руками, каждый год платила, не стыдно было предать их?..» в рукописи было: «...не стыдно было, как Иуде какому-нибудь, продать их... тогда, как муж ее (это она уже добавляла по секрету), Семен Никитич, каждый год, из рук в руки, платил ему полторы тысячи серебром, что в пятнадцать лет составляло 22 тысячи с половиной. Ведь это состояние!»

Стр. 388. Вместо слов: «...замечательно деятельным и, пожалуй, даже полезным человеком» в рукописи было: «...если не великим, то по крайней мере замечательно полезным человеком» (стр. 50 об.).

После слов: «...сквозь толстую кору прежних подьяческих плутней» в рукописи следовало: «...барских авторитетов и генеральских властей» (стр. 50 об.).

Стр. 461. После слов: «Калинович глубоко вздохнул» во второй редакции были такие строки: «Нет, начал он, это обидно, очень обидно. Обидно за себя, когда знаешь, что десять лет имел глупость положить в службу и душу и сердце... Наконец, грустно за самое дело, в котором, что бы ни говорили, ничего нейдет к лучшему и, чтобы поправить машину, нечего из этого старья вынимать по одному винтику, а сразу надобно все сломать и все части поставить новые, а пока этого нет и просвету еще ни к чему порядочному не предвидится: какая была мерзость, такая есть и будет» (стр. 166 об. рукописи).

Удаление фразы о том, что надо все сломать, едва ли можно объяснить только опасениями цензурного запрета. Это программное высказывание Калиновича, завершавшее роман во второй его редакции, снято, надо полагать, главным образом потому, что оно слишком резко нарушало внутреннюю логику образа, почти нацело отрывая Калиновича четвертой части от Калиновича первых трех частей романа. Именно с целью смягчения этого разрыва в третьей редакции четвертой части появился эпилог.

Из текста второй редакции удалены все эпизоды, связанные с выработанным князем Иваном и Медиокритским замыслом убийства Калиновича. В связи с удалением этих эпизодов не вошла в журнальный текст и история лакея Давыдки, который по предложению Медиокритского должен был убить Калиновича.

Вскоре после того как закончилось печатание «Тысячи душ» в «Отечественных записках», вышло отдельное издание романа, где с некоторыми изменениями был воспроизведен журнальный текст.

В начале 1861 года (цензурное разрешение 5 декабря 1860 года)

в 3-м томе «Сочинений А. Ф. Писемского», изданных Ф. Стелловским, роман был напечатан в третий раз. Подготавливая роман к этому изданию, Писемский внес в его текст много стилистических исправлений и дополнений.

Стр. 4. *Волоковое окно* — маленькое задвижное оконце, прорубавшееся в избах старинной постройки в боковых стенах.

Стр. 6. *Коренная рыба* — круто соленая красная рыба весеннего улова.

*Лукулл* Люций Лициний (106—56 до н. э.) — римский полководец и государственный деятель, обладавший огромным богатством; роскошь его пиров вошла в поговорку.

*Модести* — вставка (чаще всего кружевная) к дамскому платью.

Стр. 15. *«Амалат-Бек»*— повесть писателя-декабриста А. А. Бестужева (1797—1837), выступавшего в печати под псевдонимом А. Марлинский.

Стр. 16. *«Норма»* — опера итальянского композитора Винченцо Беллини (1801—1835).

Стр 17. *Феваль* Поль (1817—1887)—французский писатель, автор бульварных романов.

*Карамзин* Николай Михайлович (1766—1826) — известный русский писатель и историк, автор повести «Бедная Лиза», пользовавшейся большим успехом.

*Склаваж* — золотая цепь, украшенная драгоценными камнями.

Стр. 19—20. *Трип* — шерстяной мебельный плюш.

Стр. 20. *Фермуар* — здесь — застежка на ожерелье.

Стр. 24. *Орас* — герой одноименного романа французской писательницы Жорж Санд (1804—1876).

Стр. 26. *...историю двенадцатого года Данилевского.*— Имеется в виду книга русского военного историка А. И. Михайловского-Данилевского (1790—1848) «Описание Отечественной войны в 1812 году».

Стр. 38. *Маркиза* — наружный холщовый или парусиновый навес над окнами для защиты от солнца.

Стр. 50. *Загоскин* Михаил Николаевич (1789—1852) — русский писатель, автор многочисленных романов, из которых наибольшей известностью пользовались «Юрий Милославский» и «Рославлев».

*Лажечников* Иван Иванович (1792—1869) — русский писатель, автор популярных в 30—40-е годы XIX в. исторических романов: «Ледяной дом» и др.

*Соллогуб* Владимир Александрович (1814—1882) — русский писатель, повести которого пользовались в 30—40-х годах большим успехом.

*Кукольник* Нестор Васильевич (1809—1868) — русский писатель, автор многочисленных драм и повестей, проникнутых охранительными крепостническими идеями.

*Вельтман* Александр Фомич (1800—1870) — русский писатель, автор произведений, в которых идеализировалась патриархальная старина.

*Даль* Владимир Иванович (1801—1872) — русский писатель, этнограф и языковед, печатавший свои повести и рассказы под псевдонимом Казак Луганский. Примыкал в 40-е годы к гоголевской школе в русской литературе.

*Основьяненко* — псевдоним украинского писателя Квитки, Григория Федоровича (1778—1843), писавшего также и на русском языке. Его сатирический роман «Пан Халявский», написанный на русском языке, пользовался большой популярностью.

Стр. 95. *Ефимон* — великопостная церковная служба.

Стр. 112. *Талейран-Перигор* Шарль Морис (1754—1838) — выдающийся французский дипломат, известный своей беспринципностью и корыстолюбием.

Стр. 128. *Баратынский* Евгений Абрамович (1800—1844) — выдающийся русский поэт, близкий друг Пушкина.

*Дельвиг* Антон Антонович (1798—1831) — поэт, один из ближайших друзей Пушкина.

*Нащокин* Павел Воинович (1800—1854) — близкий друг Пушкина.

Стр. 165. *Драдедамовый* — сделанный из тонкого сукна.

Стр. 174. *Финифтяный* — сделанный из финифти. Финифть — древнерусское название эмали.

Стр. 229. *Калам* Александр (1810—1864) — швейцарский живописец, горные пейзажи которого пользовались в 40—50-е годы XIX в. большой популярностью.

*Иордан* Федор Иванович (1800—1883) — русский художник-гравер. Здесь имеется в виду его известная гравюра с картины итальянского художника Рафаэля Санти (1483—1520) «Преображение».

Стр. 247. *«Жак»* — один из романов Жорж Санд.

Стр. 250. *Каратыгин* Василий Андреевич (1802—1853) — русский актер-трагик, игра которого отличалась чрезвычайным рационализмом.

Стр. 252. *Мочалов* Павел Степанович (1800—1848) — великий русский актер-трагик.

Стр 256. *«Лючия»* — опера итальянского композитора Г. Доницетти (1797—1848) «Лючия ди Ламермур».

Стр. 297. *Мурильо* Бартоломе Эстебан (1618—1682) — выдающийся испанский художник.

*Пуссен* Николà (1594—1665) — выдающийся французский художник.

Стр 320. *Платон Михайлыч тоже говорит Чадскому...*—Имеются в виду слова одного из персонажей «Горя от ума» А. С. Грибоедова, Платона Михайловича Горича, обращенные к Чацкому: *«Теперь, брат, я не тот...»*

Стр. 322. *Аристид* (ок. 540—467 до н. э.) — древнегреческий политический деятель и полководец, получивший прозвание «Справедливый».

Стр. 347. *Домби* — герой романа Ч. Диккенса (1812—1870) «Домби и сын».

Стр. 350. *Одоевский* Владимир Федорович (1803—1869) — русский писатель, критик и историк музыки.

Стр. 356. *«Débats»* — французская ежедневная газета («Журналь де Деба»), основанная в 1789 году.

*«Siècle»* — французская газета («Век»), основанная в 1836 году.

*«Times»* — английская газета («Время»), основанная в 1785 году.

Стр. 384. *Киприда* — одно из имен древнегреческой богини любви и красоты Афродиты.

Стр. 393. *...жены Пентефрия.*— По библейской легенде жена начальника телохранителей фараона Пентефрия тщетно пыталась соблазнить целомудренного Иосифа.

Стр. 402. *Дамà* — шелковая ткань.

Стр. 426. *Коцебу* Август (1761—1819) — немецкий реакционный писатель.

Стр. 446. *...не вод поэтам и художчикам* — старинное словоупотребление, означающее — не водиться.

# СОДЕРЖАНИЕ

А. Ф. ПИСЕМСКИЙ

Собрание сочинений
в 9 томах. Том 3.

Оформление художника
Г. И. Фишера.

Иллюстрации художника
П. Пинкисевича.

Технический редактор
А. Ефимова.

---

Подп к печати 19/II 1959 г.
Тираж 236 000 экз. Изд. № 470.
Зак. 3008. Форм. бум. 84×108 1/32.
Печ. л. 24,6+4 вкл. (0,41 п. л.) Бум. л.
7,5. Уч.-изд. л. 27,44.

---

Ордена Ленина типография газеты
«Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, улица «Правды», 24.